

M 76
641

cep. 5
N5-6



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

Серія V, № № 5 и 6

89
203
M 76
641

М. Липпс

проф. Мюнхенскаго университета

801-86
14350-0

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ЭТИКИ

Переводъ съ нѣмец. *М. А. Лихарева*

подъ редакціей

П. Струве и Н. О. Лосскаго

98

Издательство
О. Н. Поповой

С.-Петербург
Невскій пр., 5

Изданія О. Н. Поповой.

Золотая медаль на международной промышленной выставкѣ

„Дѣтскій Міръ“.

Образовательная Библіотека.

даніе выходитъ серіями, заключающими каждая 10 книжекъ отъ 7 до 12 печатныхъ листовъ убористой печати.

Задача „Образовательной Библіотеки“ — дать рядъ общедоступно составленныхъ книгъ по всеѣмъ отраслямъ научнаго знанія. Редакція будетъ стремиться къ тому, чтобы въ выпускаемыхъ книгахъ научность содержанія сочеталась съ живымъ и легкимъ изложеніемъ. Изъ послѣдовательнаго ряда сочиненій получается систематическое въ извѣстной степени цѣлое, но эта систематичность цѣлаго не помѣшаетъ читателю свободно выбирать то, въ данный моментъ всего болѣе соотвѣтствуетъ его интересамъ.

До настоящаго времени отпечатаны шесть серій Образовательной библіотеки. Полный каталогъ ея высылается по требованію бесплатно

СЕРІЯ ПЯТАЯ.

№ 1. **Р. Лотарь.** *Ибсенъ.* Монографія. Пер. съ нѣм. О. А. Бкенштейнъ. Съ портр. и автографомъ Ибсена. 60 к.

№ 2. Проф. **А. Л. Погодинъ.** *Религія Зороастра.* — Проф. **Джакъ.** *Жизнь Зороастра.* Пер. съ англ. проф. А. Л. Погодина. 60 к.

№ 3. **Г.-Ф. Липпсъ.** *Основы психофизики.* Пер. съ нѣм. Г. А. Ляра. 40 к.

№ 4. **Ф.-В. Хёттонъ.** *Чтенія объ эволюціи.* Пер. съ англ. М. Александровича. 40 к.

Допущена въ учен., старш. возр., библиот. средн. уч. зав. М. Н. Пр.

№ 5 и 6. **Т. Липпсъ.** *Основные вопросы этики.* Пер. съ нѣм. М. А. Карева, подъ ред. П. Б. Струве и Н. О. Лоссаго. 1 р.

№ 7. **Н. Н. Яковлевъ,** проф. Горн. Инст. *Геологическая исторія организмовъ.* (Введеніе въ изученіе палеонтологіи). Съ 33 рис. коп.

Допущена въ учен., ст. возр., библиот. средн. уч. зав. М. Н. Пр.

№ 8. **Лоджъ, Оливеръ.** *Электроны.* Пер. съ англ. В. М. Филиппова. Съ 17 рис. 40 к.

Допущена въ учен., ст. возр., библиот. средн. уч. зав. М. Н. Пр.

№ 9 и 10. **А. Гредъ,** проф. Мюнх. унив. *Краткій курсъ причества.* Пер. съ нѣм. В. М. Филиппова. Съ 161 рис. 80 к.

Допущена въ ученич., старш. возр., библіотеки сред. учеб. и въ бесплатныя народныя библіотеки.

159
203
3756
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

Серія V, № № 5 и 6

М. Липпс

М $\frac{76}{641}$ проф. Мюнхенскаго университета

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ЭТИКИ

Переводъ съ нѣмец. *М. А. Лихарева*

подъ редакціей

П. Струве и Н. О. Лосскаго



Издательство
О. Н. Поповой

С.-Петербургъ
Невскій пр., 54

ХV
24683



2007334086

КНИГА ИМЕЕТ

Листов печатных	Выпуск	В перепл. слин. соедин. №№ вып.	Таблиц	Карт	Иллюстр.	Служебн. №№№	№№№ списка и порядковый	Итого
		сер 5 н 5-6				5	195	7

✓
5

Содержаніе.

		Стр.
Лекція	I. Введеніе.—Эгоизмъ и альтруизмъ	1
»	II. Основные мотивы нравственности и зло . . .	34
»	III. Дѣйствіе и нравственный строй личности. (Эвдемонизмъ и улитаризмъ)	69
»	IV. Повиновеніе и нравственная свобода. (Авто- номія и гетерономія)	99
»	V. Нравственно правильное. (Обязательство и склонность)	135
»	VI. Высшія нормы нравственности и совѣсть . .	169
»	VII. Система цѣлей	206
»	VIII. Соціальные организмы. (Семья и государство)	250
»	IX. Свобода воли	306
»	X. Вмѣненіе, отвѣтственность, наказаніе . . .	347

Первая лекція.

Введеніе.—Эгоизмъ и альтруизмъ.

Я имѣю въ виду говорить въ послѣдующемъ не о какой-либо морали, а о нравственности. Каждый народъ, каждое время, каждое сословіе, даже каждая отдѣльная личность—имѣютъ свою собственную мораль, то-есть, свою сумму, а, можетъ быть, и свою систему воззрѣній и требованій, относящихся къ явленіямъ нравственнаго міра. Люди не были бы людьми, если бы во всѣхъ этихъ моральныхъ воззрѣніяхъ и требованіяхъ нельзя было найти нравственной основы. Но люди не были бы также людьми, если бы съ этой нравственной основой не связывалось повсюду и безнравственное: если бы въ образованіи этихъ моральныхъ воззрѣній и требованій не принимали большаго или меньшаго участія чело-вѣческая лѣнь и ограниченность, чело-вѣческіе предразсудки, своекорыстное стремленіе къ владѣнію и власти, съ одной стороны, и недостатокъ самоуваженія—съ другой.

Мораль въ смыслѣ моральныхъ воззрѣній и требованій, гдѣ-либо имѣющихъ силу, или къ-мъ-либо признанныхъ, здѣсь бываетъ такая, а тамъ — иная. Разсматриваемая съ точки зрѣнія послѣдовательности во времени, она представляется, какъ бы находящеюся въ постоянномъ теченіи. *Нравственность же*, напротивъ, всегда *одна*. Этика есть ученіе о нравственномъ; слѣдовательно, и она можетъ быть только *одна*.

Эта противоположность можетъ быть разъяснена слѣдующаго рода аналогичнымъ примѣромъ. Существовало время,

когда въ глазахъ всѣхъ людей звѣзды были искрами; луна— маленькимъ кружкомъ. Солнце вращалось вокругъ земли, стоящей неподвижно въ міровомъ пространствѣ. Мысль о томъ, что на нашей планетѣ, прямо подъ нами живутъ люди и что этимъ людямъ не грозитъ опасность свалиться въ пространство, считалась совершенной нелѣпностью. Всѣ эти физическія воззрѣнія были тогда ходячими истинами. Такія истины различны въ различныя времена. Чтѣ въ одно время считается истиной, можетъ впослѣдствіи быть признано заблужденіемъ. Ходячія истины могутъ быть низвергнуты.

Этимъ ходячимъ истинамъ слѣдуетъ противопоставить истины *обязательныя* (*giltig*). Сумма и система послѣднихъ и составляетъ самое Истину. Эта Истина единственна и одинакова для всѣхъ временъ и народовъ.

Какъ въ области физическихъ явленій обязательная истина, или Истина, относится къ истинамъ ходячимъ, такъ въ области нравственной *обязательная* мораль относится къ морали, имѣющей значеніе здѣсь или тамъ. Обязательная мораль есть Нравственное. Ею, слѣдовательно, и занимается этика.

Уже теперь мы можемъ вскрыть странность нѣкоторыхъ столь часто повторяемыхъ утвержденій. Увѣряютъ, что нѣтъ такого нравственнаго предложенія, которое имѣло бы значеніе для всѣхъ временъ и всѣхъ народовъ. Если допустить, что это такъ, то тогда не должно быть и этики. Но какъ доказываютъ это утвержденіе? Исторія, говорятъ, учитъ, что воззрѣнія на нравственное мѣняются. Но развѣ отрицаютъ существованіе обязательныхъ для всѣхъ людей физическихъ истинъ потому, что воззрѣнія на истинное въ области физическихъ явленій мѣняются? Развѣ эти мѣняющіяся физическія воззрѣнія составляютъ *физическую Истину*? Или фактъ, что люди заблуждались относительно физическихъ явленій, устраняетъ возможность существованія истины въ этой области?

Этого никто не думаетъ, но всякій дѣлаетъ различіе

между настоящею *Истиною* въ области физики и ходячими физическими истинами, то-есть, простыми мнѣніями, возникающими вѣдствіе недостаточнаго пониманія и неполнаго познанія Истины. Пусть мы и теперь еще очень далеки отъ полнаго познанія этой Истины; все-таки, никто не отрицаетъ, что она существуетъ.

А въ такомъ случаѣ и въ области нравственнаго не слѣдуетъ дѣлать выводовъ, подобныхъ вышеприведенному. Какъ въ области физики частичному познаванію Истины или переходящему мнѣнію о томъ, что истинно, противопоставляется Истина, такъ и въ нравственной области неполному пониманію того, что заслуживаетъ называться нравственнымъ, или переходящей морали противопоставляется Нравственное. Пусть и мы въ нашей морали еще очень далеки отъ Нравственнаго; это, все-таки, не устранить существованія того, что заявляетъ о своемъ правѣ называться Нравственнымъ.

Но не задается ли этика слишкомъ дерзкимъ намѣреніемъ, желая окончательно установить Нравственное, несмотря на всѣ много разъ мѣнявшіяся мнѣнія о Нравственномъ, мнѣнія, которыя имѣлись у людей, которыя ими проповѣдывались и доказывались на дѣлѣ? — На этотъ вопросъ нужно въ извѣстномъ смыслѣ отвѣтить — да. Но, съ другой стороны, на него должно дать столь же рѣшительно и отрицательный отвѣтъ.

Подобное рѣшеніе станетъ намъ понятнѣе, если мы снова прибѣгнемъ къ сравненію съ познаніемъ вещей, съ познаніемъ того, что существуетъ и совершается на свѣтѣ. Что есть истина? Этотъ старый вопросъ можетъ имѣть два смысла. Во-первыхъ: что истинно относительно вещей и событій на свѣтѣ? Наука не даетъ и не имѣетъ претензіи дать полный и окончательный отвѣтъ на этотъ вопросъ. Но тотъ же вопросъ имѣетъ еще и другой смыслъ. А именно, спрашивается не о томъ, что является истиннымъ въ томъ или другомъ случаѣ, а о томъ, что значить слово истина. Въ чемъ вообще состоитъ *Истина*? Каковы ея признаки? Какимъ требо-

ваніямъ долженъ удовлетворять человѣческой духъ, если онъ хочетъ найти гдѣ-нибудь истину? Какимъ законамъ подчинено познаніе истины?

Такой же самый двойной смыслъ имѣеть и вопросъ: что нравственно? Этотъ вопросъ можетъ имѣть такой смыслъ: что нравственно, что требуется или допускается нравственностью въ томъ или другомъ случаѣ? Какъ долженъ я дѣйствовать при извѣстныхъ обстоятельствахъ, чтобы поступать нравственно-правильно? Отвѣтъ на подобный вопросъ всякій разъ предполагаетъ исчерпывающее знаніе случая, полное разумѣніе того, какимъ образомъ всякій изъ возможныхъ въ данный моментъ волевыхъ актовъ повліялъ бы при извѣстныхъ обстоятельствахъ на мое существованіе и на существованіе другихъ людей, то-есть полное пониманіе возможныхъ слѣдствій дѣйствія. А для этого потребуется, быть можетъ, знаніе не только настоящаго, но и будущаго, знаніе, котораго у меня нѣтъ и быть не можетъ. Въ подобномъ случаѣ нельзя принять безусловно состоятельнаго рѣшенія относительно того, что нравственно. Тогда каждому остается рѣшать лишь по чистой совѣсти.

Но даже и въ той мѣрѣ, въ какой рѣшеніе вопроса о нравственно-правильномъ при извѣстныхъ обстоятельствахъ не превосходитъ мѣры нашего пониманія, все-таки первичная и настоящая задача этики не заключается въ постановленіи подобныхъ рѣшеній. Конечно, этика не можетъ вполнѣ уклониться отъ этого. Но въ такомъ случаѣ предполагается, что она уже отвѣтила на общій вопросъ: что является нравственнымъ не въ извѣстное время и въ извѣстномъ мѣстѣ, а всегда и повсюду; въ чемъ вообще состоитъ нравственность; каковы общіе признаки нравственнаго; чѣмъ оно обуславливается и какимъ законамъ подчиняется. Лишь отвѣтивъ на этотъ вопросъ, этика можетъ также попытаться обсудить и то, въ какой мѣрѣ определенное волевое рѣшеніе заключаетъ въ себѣ эти признаки, удовлетворяетъ этимъ усло-

віямъ, соотвѣтствуетъ этой закономѣрности, въ какой мѣрѣ, слѣдовательно, оно нравственно.

Но на этотъ общій вопросъ этика можетъ дать окончательный отвѣтъ. Для этого не требуется ни знанія разнообразныхъ, независимыхъ отъ человѣческаго духа отношеній между дѣйствіями и ихъ возможными слѣдствіями, ни пониманія различныхъ способовъ, какими дѣйствія людей могутъ вліять на человѣческое существованіе, человѣческую судьбу и міровой ходъ вещей, для этого надобно только знаніе человѣческаго духа. Этотъ общій вопросъ есть вопросъ о психологическомъ фактѣ, вопросъ о познаваніи самого себя, а не міра.

Однако мы все-таки не можемъ немедленно приступить здѣсь къ рѣшенію этого вопроса. Сперва надо покончить съ однимъ предварительнымъ вопросомъ. Уже выше на ряду съ нравственными воззрѣніями я поставилъ нравственныя требованія. На это я несомнѣнно имѣлъ право. Я не могу считать что-нибудь нравственно-хорошимъ, не требуя въ то же время его осуществленія. Я не могу считать чего-нибудь нравственно-негоднымъ, не требуя вмѣстѣ съ тѣмъ—если не словами и поступками, то хотя мысленно—чтобы этого не было, или чтобы это было устранено.

Далѣе, эти нравственныя требованія являются требованіями, предъявляемыми нами къ *людямъ*. А требованія, которыя мы предъявляемъ къ людямъ, всегда имѣютъ смыслъ лишь въ томъ случаѣ, если люди могутъ ихъ исполнять. Нѣтъ смысла требовать, чтобы я прыгнулъ черезъ свою собственную тѣнь, или чтобы я схватилъ звѣзды и стащилъ ихъ на землю. Подобныя же соображенія приложимы и къ нравственнымъ требованіямъ. Въ чемъ бы эти требованія ни состояли, во всякомъ случаѣ, человѣкъ долженъ обладать чѣмъ-либо такимъ, что влекло бы или побуждало его къ ихъ выполненію. У него должны существовать побуди-

гельныя причины или мотивы, соотвѣтствующіе этимъ требованіямъ.

Какіе же мотивы существуютъ у человѣка? Здѣсь мы прежде всего сталкиваемся съ утвержденіемъ, что все чело-вѣческіе мотивы, въ концѣ концовъ, неизбѣжно *эгоистичны*. Если бы это было дѣйствительно такъ, тогда могла бы существовать лишь эгоистическая этика. Эгоизмъ оказался бы единственно возможнымъ моральнымъ принципомъ. Все нравственныя требованія должны были бы заключаться въ одномъ: будь эгоистомъ. И только съ однимъ добавленіемъ: будь умнымъ эгоистомъ; хорошо обдумывай, что дѣйствительно служить твоимъ эгоистическимъ интересамъ, и что въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ служить имъ наилучшимъ образомъ.

Но справедливо ли подобное утвержденіе? Дѣйствительно ли люди эгоисты и ничего болѣе, какъ эгоисты? Мы не можемъ дать отвѣта на этотъ вопросъ, пока не узнаемъ, что будемъ мы понимать подъ словомъ „эгоизмъ“. Можетъ оказаться, что оно принадлежитъ къ тѣмъ многочисленнымъ словамъ, которыя заключаютъ въ себѣ двусмысленность. Тогда явилась бы опасность, что споръ объ эгоизмѣ превратится въ споръ о словахъ.

Сопоставимъ два случая. Я иду мимо рѣки и вижу, что въ воду упалъ ребенокъ. Я могъ бы его спасти, но боюсь за свое здоровье. Такимъ образомъ я допускаю ребенка утонуть. Другой разъ я нахожусь въ подобномъ же положеніи; но теперь я бросаюсь за ребенкомъ и спасаю его съ опасностью собственной жизни. Я дѣлаю это ради спасенія жизни ребенку и ради его родителей.

Въ первомъ случаѣ я, конечно, являюсь эгоистомъ. Ну, а во второмъ? Были моралисты, отвѣчавшіе „да“ и на этотъ вопросъ. Почему, спрашивали они, бросаюся велѣдь за ребенкомъ? Безъ сомнѣнія потому, что мысль—спасти его и возвратитъ родителямъ *въ большей мѣрѣ „удовлетворяетъ“* меня, чѣмъ мысль—дать ему утонуть. Слѣдовательно, въ своемъ поступкѣ я руководствуюсь соображеніемъ о собственномъ

„удовлетвореніи“. А тотъ, кто въ своихъ дѣйствіяхъ стремится къ *собственному удовлетворенію*, — поступаетъ *эгоистически*.

Здѣсь въ основѣ лежитъ правильная мысль. Въ самомъ дѣлѣ, я не спасъ бы ребенка, если бы мысль—спасти его и вернуть родителямъ не предстала бы передо мною, какъ приносящая удовлетвореніе, пріятная, радостная. Каждый, сознательно отдающій себя въ жертву за хорошее дѣло, поступаетъ такимъ образомъ потому, что получаетъ удовлетвореніе отъ мысли—пожертвовать собой. Всякій, дѣйствующій изъ сознанія долга, не поступалъ бы такимъ образомъ, если бы мысль объ исполненіи обязанности не удовлетворяла его больше мысли о нарушеніи ея. Или, говоря вообще: всякій разъ, когда моя воля сознательно направляется на какую-нибудь цѣль, это несомнѣнно указываетъ, что мысль о достиженіи данной цѣли связана съ удовлетвореніемъ. Мы можемъ сказать: каждый сознательный волевой актъ стремится, въ вышеуказанномъ смыслѣ, къ удовлетворенію не кого-либо вообще, а къ удовлетворенію именно самого дѣятеля. Это такъ есть и такъ должно быть. Психологически это совершенно необходимо. Ибо у человѣка желаніе и удовлетвореніе находятся именно въ такой закономерной связи.

Не слѣдуетъ однако заблуждаться относительно значенія этого факта. Мы хотѣли „стремиться къ удовлетворенію“; это не значитъ: если я хочу, то *представляемая цѣль* моего хотѣнія есть *удовлетвореніе*. Когда я хочу спасти дитя, находящееся въ смертельной опасности, я не ставлю предъ собою цѣлью удовлетвореніе, которое получится для меня отъ этого, и не направляю на это удовлетвореніе моего хотѣнія. Цѣлью же моего хотѣнія, которую я себѣ представляю, является *спасеніе ребенка*, сохраненіе его жизни, радость его родителей. Въ то же время, представляя себѣ эту цѣль и предвосхищая событія, я тѣмъ самымъ фактически переживаю удовлетвореніе, а не представляю его только.

Или говоря иначе: я не потому хочу сохранить жизнь ребенка, *чтобы* создать себѣ изъ этого новый видъ *удовлетворенія*, а потому желаю сохранить ему жизнь, чтобы онъ сохранилъ жизнь. Но мысль о томъ, что это совершается и совершается благодаря мнѣ, *доставляетъ* мнѣ *удовлетвореніе* въ то самое время, какъ она у меня появляется. Или, наконецъ, говоря возможно кратко: удовлетвореніе является не *предметомъ* хотѣнія, а *содержится* непосредственно въ самомъ хотѣніи, какъ одна изъ его сторонъ.

Можетъ возникнуть сомнѣніе относительно того, имѣетъ ли указанный фактъ всеобщее значеніе. Но это сомнѣніе было бы только результатомъ недоразумѣнія. Ребенку, пожалуй, мысль о повиновеніи родительскому приказанію гораздо менѣе привлекательна, чѣмъ мысль о неповиновеніи. Тѣмъ не менѣе, онъ *хочетъ* ему повиноваться. Но въ этомъ случаѣ повиновеніе не является *собственно* предметомъ хотѣнія. Ребенокъ, можетъ быть, *хочетъ* повиноваться приказанію изъ боязни наказанія. Тогда онъ „хочетъ“ *отсутствія* наказанія, и повиновеніе является лишь средствомъ къ этому. А желаніе ребенка избѣжать наказанія опять-таки предполагаетъ, что отсутствіе наказанія кажется ему относительно удовлетворяющимъ. Относительно удовлетворяющимъ, т. е., удовлетворяющимъ по сравненію съ наказаніемъ.

Такъ слѣдуетъ понимать дѣло, когда я говорю, что хотящему предметъ хотѣнія представляется удовлетворяющимъ, разумѣя подъ этимъ всякій разъ предметъ хотѣнія въ собственномъ или *окончательномъ* смыслѣ, не какое-нибудь средство къ цѣли, а *конечный результатъ*. А удовлетвореніе при этомъ имѣется въ виду *всегда* лишь, какъ *относительное* удовлетвореніе. Мысль о достиженіи конечнаго результата связана съ *большимъ* удовлетвореніемъ, чѣмъ мысль о *недостиженіи* его.

Такимъ образомъ положеніе, что всякое хотѣнье имѣетъ въ виду *удовлетвореніе хотящаго*, отнюдь не является недвусмысленнымъ выраженіемъ для обозначенія извѣстнаго пси-

хологическаго факта. И все-таки, ради краткости мы иногда будемъ пользоваться этой формулой.

Теперь спрашивается, какой выводъ относительно мотивовъ человѣческой дѣятельности можно сдѣлать изъ только что добытыхъ нами свѣдѣній. Отвѣтъ будетъ таковъ: ровно никакого. Если я скажу, что сознательное человѣческое хотѣніе имѣетъ въ виду удовлетвореніе хотящаго, то это то же самое, какъ если бы я сказалъ, что сознательное человѣческое хотѣніе всегда какимъ-либо образомъ мотивируется. Мотивъ, опредѣляющій въ какомъ-либо данномъ случаѣ мою волю, неизбѣжно и состоитъ изъ мысли о цѣли или о конечномъ результатѣ, осуществленіе котораго представляется мнѣ приносящимъ удовлетвореніе.

Одновременно изъ этого видно, какимъ образомъ „мотивъ“, опредѣляющій волевой актъ, относится къ его „конечному результату“: мотивъ есть не что иное, какъ мысль о конечномъ результатѣ. Если я желаю итти гулять ради здоровья, то сохраненіе здоровья и будетъ желаемымъ конечнымъ результатомъ, а мысль объ этомъ будетъ опредѣляющимъ мотивомъ. Опредѣляющій мотивъ и конечный результатъ—одно и то же, разсматриваемое съ двухъ различныхъ сторонъ. Оба имѣютъ своимъ содержаніемъ одно и то же, представляющееся мнѣ относительно пріятнымъ, и именно потому, что оно представляется мнѣ этимъ относительно пріятнымъ, могущее побудить меня къ хотѣнію.

Только теперь становится яснымъ, что тотъ психологическій фактъ, о которомъ мы здѣсь говоримъ, никоимъ образомъ не можетъ включать въ себя *этическую точку зрѣнія*. Онъ не является моральнымъ принципомъ: этика не требуетъ существованія этого психологическаго факта, она не требуетъ, слѣдовательно, чтобы при нашемъ хотѣніи предметъ хотѣнія всякій разъ представлялся намъ, какъ нѣчто приносящее удовлетвореніе; но она и не воспрещаетъ этого. И требованіе, и запрещеніе этого одинаково имѣли бы мало смысла. Но она говоритъ, *что должно быть предметомъ на-*

шего удовлетворенія, и *что* должно представляться намъ приносящимъ удовлетвореніе и представляться таковымъ ранѣе всего прочаго; и на *что*, согласно этому, должно быть направлено наше хотѣніе.

Теперь вернемся снова къ „эгоизму“. Какъ уже было замѣчено, спасеніе ребенка съ рискомъ собственной жизни называютъ эгоизмомъ на томъ лишь основаніи, что мысль о спасеніи ребенка и радости его родителей приноситъ мнѣ удовлетвореніе. Если понимать жизнь такимъ образомъ, то эгоизмъ будетъ лишь иное названіе только-что отмѣченнаго психологическаго факта.

Конечно, понятіе эгоизма можно такимъ образомъ искусственно расширять или перемѣщать. Но въ такомъ случаѣ оно совершенно утрачиваетъ значеніе для этики. Въ тоже время этимъ совершаютъ грѣхъ и противъ обычнаго словоупотребленія. А мы хотимъ здѣсь знать не все то, что можно назвать эгоизмомъ, *играя* установленными понятіями, а то, что дѣйствительно *обыкновенно подразумеваютъ подъ эгоизмомъ*.

Становясь на эту точку зрѣнія, приходится считать только-что указанное дѣйствіе—не эгоистическимъ, а вполне безкорыстнымъ. Оно альтруистично. А альтруистическое дѣйствіе прямо противоположно эгоистическому. Наименованіе—некрасиво. Но словоупотребленіе этики все-таки противопоставляетъ альтруизмъ эгоизму, какъ противоположность послѣдняго.

Итакъ, какъ же слѣдуетъ понимать слово „эгоизмъ“ для того, чтобы оно имѣло вполне опредѣленный и пригодный для этики смыслъ? Проявленіями эгоизма слѣдуетъ считать и называть тѣ случаи, когда цѣль моего хотѣнія представляется мнѣ всегда чѣмъ-то такимъ, достиженіе чего доставляетъ мнѣ удовлетвореніе. Цѣлью моего хотѣнія, въ томъ случаѣ, когда я ради своего здоровья даю утонуть погибающему ребенку, является сохраненіе собственнаго здоровья.

Напротивъ, когда я спасаю ребенка и возвращаю его родителямъ, тогда цѣль, представляющаяся моему сознанию есть радость родителей, сохранившихъ своего ребенка, и радость самого ребенка, возвращеннаго къ жизни.

Въ первомъ случаѣ искомое мной удовлетвореніе только *мое собственное*. Во *второмъ* — послѣднее связано съ удовлетвореніемъ, радостью, счастьемъ другихъ. *Чужое* удовлетвореніе въ данномъ случаѣ удовлетворяетъ и *меня*. Мое удовлетвореніе является участіемъ въ удовлетвореніи другихъ, моя радость — сорадованіемъ; меня дѣлаетъ счастливымъ счастье, которое я доставляю другимъ.

Этимъ ясно указывается противоположность эгоизма и альтруизма. Въ смыслѣ, который ранѣе былъ опредѣленъ подробно, всякое мое хотѣнье имѣетъ цѣлью удовлетвореніе. Но хотѣнье эгоистично, въ томъ случаѣ и поскольку преслѣдуемое имъ удовлетвореніе является только *мое* принадлежащимъ; или выражаясь отрицательно: въ томъ случаѣ и поскольку я равнодушенъ при этомъ къ удовлетворенію другихъ. Мое хотѣнье альтруистично, въ томъ случаѣ и поскольку преслѣдуемое имъ удовлетвореніе вызывается чужимъ удовлетвореніемъ, участіемъ въ чужомъ счастьѣ. — Но этого опредѣленія еще не достаточно. Предположимъ, что я для сохраненія *самоуваженія* отказываюсь отъ всякаго рода выгодъ и наслажденій или жертвую собой. Въ такомъ случаѣ я стремлюсь къ тому, чтобы имѣть возможность уважать себя, быть личностью, на которую я могъ бы взирать съ чувствомъ удовлетворенія. Но и это удовлетвореніе непосредственно связано съ предметомъ хотѣнья: я преслѣдую *свое* удовлетвореніе *непосредственно* въ томъ, какъ я кажусь самъ себѣ, а не ищу его въ удовлетвореніи, которое получили бы изъ этого другіе. И все-таки никто не назоветъ такого поведенія эгоистичнымъ.

Изъ этого видно, какое *дальнѣйшее* опредѣленіе должны мы включить въ понятіе эгоизма. Цѣнность моей собственной личности является цѣнностью личности вообще. Эгои-

стичнымъ же является хотѣніе, преслѣдующее цѣнность не такого рода, а *вещную*, отдѣльную отъ личности. Эгоистическое чувство цѣнности является чувствомъ *вещной цѣнности*. Эгоистическія цѣли—*вещными*. Эгоистическія побужденія состоятъ въ мысли осуществить нѣчто, находящееся внѣ личности, нѣчто вещное.

Соединяя вмѣстѣ то и другое, мы должны сказать: хотѣніе эгоистично, когда оно преслѣдуетъ вещную цѣль, и при этомъ въ томъ случаѣ и поскольку оно доставляетъ удовлетвореніе непосредственно *тому, кто хочетъ*.

Это мы можемъ выразить еще короче. Вещи, доставляющія удовлетвореніе, мы называемъ „благами“. Поскольку блага доставляютъ удовлетвореніе непосредственно *мнѣ*, они являются для меня „собственными“ благами. Такимъ образомъ эгоистическія хотѣніе и дѣйствіе направлены на обладаніе, пріобрѣтеніе и сохраненіе *собственныхъ благъ*.

Конечно, и слово „блага“ можно брать въ болѣе общемъ значеніи. Можно называть благами и то, что *представляютъ собою* люди: ихъ достоинство, благожелательность. Но это опять является искусственнымъ расширеніемъ словоупотребленія, которому мы не будемъ слѣдовать. Въ этомъ случаѣ „благами“ для насъ будетъ не то, что представляютъ собою люди, не моменты или свойства ихъ сущности, но нѣчто отличное отъ послѣдней: то что они имѣютъ, чѣмъ обладаютъ, что выпадаетъ имъ на долю, однимъ словомъ, вещь, такъ или иначе служащая имъ на „благо“, или, если угодно, нѣчто „*объективное*“.

Въ этомъ болѣе точномъ опредѣленіи эгоизма содержится въ то же время и болѣе точное опредѣленіе альтруизма. Я предполагаю при этомъ, что альтруизмъ есть дѣйствительно точная противоположность эгоизму. Въ такомъ случаѣ мы должны разумѣть подъ альтруизмомъ стремленіе къ осуществленію чужихъ *благъ*, то-есть, къ осуществленію такихъ *вещныхъ цѣнностей*, которыя доставляютъ удовлетвореніе *другимъ*. Я альтруистъ, поскольку осуществленіе вещ-

ныхъ или объективныхъ цѣнностей доставляетъ удовлетвореніе *лично* мнѣ какъ разъ потому, что онѣ являются источникомъ удовлетворенія для другихъ.

Теперь я снова задаюсь вопросомъ: эгоисты ли люди и только ли эгоисты? Или они также и альтруисты? Исключительно ли они эгоисты и не въ томъ искусственно расширенномъ смыслѣ слова „эгоизмъ“, отъ котораго мы отказались, а въ его теперешнемъ, точнѣе опредѣленномъ *собственно* смыслѣ.

Многіе, повидимому, отвѣчаютъ утвердительно и на этотъ вопросъ. Нельзя признать, чтобы въ основѣ ихъ мнѣнія лежало очень ясное представленіе. Можно, конечно, сказать, что моральная теорія эгоизма въ этомъ строгомъ смыслѣ слова никогда не выступала какъ рѣзко опредѣленная мысль. И не удивительно: полная ясность была бы для нея смертельна. Зато тѣмъ чаще мы наталкиваемся на всякаго рода утвержденія и увѣренія, какъ будто приводящія къ подобной теоріи.

При этомъ не отрицается, что люди принимаютъ во вниманіе „благополучіе“ другихъ; считается только, что и тутъ въ послѣднемъ основаніи мотивъ все-таки постоянно эгоистиченъ.

Точнѣе, утверждаютъ приблизительно слѣдующее: человекъ по природѣ похожъ на дикаго звѣря, на волка. Онъ по существу склоненъ захватывать все себѣ. Но ему свойственно также и размышленіе. Онъ видитъ, что стремленье— все захватить должно вести къ истребительной борьбѣ всѣхъ противъ всѣхъ. Если онъ нападаетъ на владѣніе другихъ, то и его владѣніе подвергается нападению. И наоборотъ, если ему хочется спокойно пользоваться своимъ, то онъ долженъ также уважать чужое. Слѣдовательно, онъ соблюдаетъ это, поскольку онъ именно является разумнымъ существомъ. Въ своихъ дѣйствіяхъ онъ альтруистиченъ изъ *эгоистическаго* расчета.

Такого рода воззрѣнія сбивали многихъ съ толку. Но они не выдерживаютъ критики. Они покоятся на непониманіи человѣческой природы, въ особенности на непониманіи внутреннихъ отношеній человѣка къ человѣку. Что человѣку по природѣ свойственны альтруистическіе и социальныя интересы, участіе къ счастью и страданью другихъ — объ этомъ не только свидѣтельствуютъ исторія и повседневная жизнь, но очевидно такъ оно и *должно* быть. Противоположное утвержденіе опровергается удостовѣреннымъ психологическимъ фактомъ.

Конечно, альтруистическіе интересы могутъ существовать для меня лишь при предположеніи, что рядомъ со мной находятся другіе люди, и что мнѣ о нихъ *известно*. Но равнымъ образомъ несомнѣнно, что такіе интересы *должны* существовать, если это предположеніе *осуществлено*. Мое знаніе о другихъ людяхъ неизбѣжно заключаетъ въ себѣ наличность такого рода интересовъ.

Мы видимъ вокругъ себя людей, которые, какъ люди, подобны намъ. Въ точномъ смыслѣ это положеніе невѣрно. Мы не „видимъ“ вокругъ себя людей. То, что мы видимъ, суть человѣческія тѣла и движенія, происходящія въ нихъ и исходящія *отъ* нихъ. Кромѣ того, мы слышимъ человѣческіе звуки, прежде всего — звуки рѣчи. Но это не то, что мы разумѣемъ, говоря о „людяхъ“. Человѣкъ не тѣло, двигающееся и издающее звуки; онъ личность, существо, ощущающее, представляющее, чувствующее, хотящее, надѣющееся, боящееся и т. д. Но мы ничего подобнаго не видимъ; все это ускользаетъ отъ нашего чувственнаго воспріятія. Поэтому мы и можемъ сказать: еще никогда человѣкъ не видалъ другого человѣкъ, то-есть другую личность.

Однако у насъ имѣется образъ чужой личности. Откуда же мы его получаемъ? Изъ какихъ составныхъ частей онъ слагается?

На этотъ вопросъ возможенъ лишь одинъ отвѣтъ. Непосредственно мы не знаемъ никакой другой личности, кромѣ

своей собственной. Лишь ее образъ получается у насъ изъ непосредственнаго опыта. Всякій образъ посторонней личности долженъ, слѣдовательно, быть заимствованъ отъ самой этой личности. Что мы находимъ въ себѣ, то же, думаемъ мы, заключается и въ чужомъ тѣлѣ, не въ неизмѣнномъ, но такъ или иначе измѣненномъ, модифицированномъ видѣ, смотря по свойству чужихъ проявленій жизни: черты собственной нашей личности въ этомъ образѣ чужой—то усилены, то ослаблены.

Здѣсь нѣтъ ничего удивительнаго. Намъ извѣстно, какъ въ мысляхъ мы сами можемъ мѣняться. Мы можемъ допустить или пожелать, чтобы мы были иными въ томъ или другомъ отношеніи. Въ этомъ всякій разъ заключается подобное мысленное измѣненіе насъ самихъ. Съ другой стороны, мы можемъ мысленно переноситься туда или сюда, напримѣръ, въ прошлыя времена или въ дальнія страны. Такимъ же образомъ мы можемъ переноситься въ чужія тѣла. И мы это дѣлаемъ всякій разъ, какъ мыслимъ о посторонней личности или сознаемъ ее присутствіе. Для нашего сознанья чужая личность не что иное, какъ наша собственная, перенесенная представленіемъ въ чужое тѣло, и въ то же время такъ или иначе модифицированная.

Я говорю въ нѣсколько болѣе узкомъ смыслѣ: я вижу человѣка печальнымъ. Но опять-таки я долженъ отказаться и отъ этого утвержденія. Въ дѣйствительности я *вижу* лишь извѣстныя измѣненія въ осанкѣ и чертахъ человѣка. Можетъ быть, я вижу слезы. Однимъ словомъ, я вижу извѣстные знаки печали. Эти-то знаки я и истолковываю. Но я могу истолковывать ихъ смыслѣ лишь изъ лично мною *пережитаго*.

Истолкованіе заключается въ томъ, что во мнѣ воскресаетъ воспоминаніе о собственныхъ печальныхъ состояніяхъ души и связывается съ воспринятыми мною знаками и чувственными обнаруженіями личности, въ которой я замѣчаю эти знаки. Если предположить, что я никогда не испытывалъ чувства печали и, слѣдовательно, мнѣ не было бы

изъ собственнаго опыта извѣстно, что такое печаль, то знаки чужой печали не имѣли бы для меня значенья, подобно тому, какъ слово „цвѣтъ“ лишено смысла для того, кто самъ никогда не видалъ цвѣта. При такомъ предположеніи для меня не существовало бы печальныхъ или грустящихъ людей.

Но къ этому надо прибавить еще кое-что. Предположимъ, что мнѣ представляется, будто я переживаю что-нибудь печальное; въ то же время мнѣ извѣстно, что этому представленію дѣйствительность не соотвѣтствуетъ; тогда, слѣдовательно, данное представленіе—чисто фантастическій образъ. Но и оно не проходитъ, не оказывая на меня совершенно никакого вліянія. Оно оказываетъ на меня, главнымъ образомъ, определенное дѣйствіе на чувство: къ представленію, о которомъ здѣсь идетъ рѣчь, присоединяется чувство, подобное тому, которое возникло бы во мнѣ, если бы я теперь дѣйствительно пережилъ эту печаль.

Но это чувство, разумѣется, будетъ слабо. Оно можетъ быть даже подавлено и перейти въ свою противоположность путемъ выступающаго впередъ сознанія, что теперь со мной, къ счастью, ничего подобнаго не происходитъ. Но если допустить, что данное представленіе выступаетъ сильнѣе, приближаясь такимъ образомъ къ характеру дѣйствительнаго опыта (въдь это легко съ нами случается), тогда усиливается и психическое дѣйствіе представленія, и особенно ея дѣйствіе на чувство.

Нѣчто сходное имѣетъ мѣсто всякій разъ, когда мнѣ *извѣстно, что кто-нибудь испытываетъ что-либо печальное*, что волнуется чѣмъ-нибудь подобнымъ. Это „знаніе“, какъ всякое другое, является сознаніемъ чего-нибудь фактическаго или дѣйствительнаго. У меня есть такого рода знаніе; это значитъ не только, что во мнѣ пробуждаются или воспроизводятся собственныя переживанія и кажутся мнѣ связанными съ чужимъ тѣломъ; а также, что въ связи съ этимъ тѣломъ они являются для меня, какъ нѣчто *дѣйствительное*.

Такимъ образомъ для меня они обладаютъ особенной навязчивостью и психической дѣйственностью; они оказываютъ на меня принужденіе, которое заключается для меня во всемъ, что я дѣйствительно позналъ.

Но если это такъ, то сознаваемое мною чужое переживаніе или внутреннее событіе и во мнѣ должно вызывать соотвѣтственное *дѣйствіе на чувство*. Послѣднее должно быть аналогично тому дѣйствію, которое я испытываю, когда просто лишь въ *фантазіи* представляю себѣ подобное собственное переживаніе такъ, какъ будто бы оно теперь *дѣйствительно* во мнѣ совершалось. То-есть, по вышесказанному, извѣстное мнѣ чужое внутреннее событіе должно въ большей или меньшей степени повліять на меня или во мнѣ точно такъ же, какъ мое собственное такое же переживаніе повліяло бы на меня или во мнѣ въ настоящее время.

Этимъ я, въ сущности, не говорю ничего новаго; но мнѣ хочется опредѣлить здѣсь совершенно точно отношеніе вещей. Говорятъ, что мы „переживаемъ“, „воспроизводимъ“, „копируемъ“ въ себѣ чужое переживаніе или чужія внутреннія событія. Ставится вопросъ, какимъ образомъ является возможнымъ переживать, воспроизводить и т. д. въ себѣ чужое. Строго говоря, вопросъ этотъ ложно поставленъ. Въ дѣйствительности совѣмъ не происходитъ такого „переживанія“ или „воспроизведенія“. То-есть, дѣло не происходитъ такъ, какъ будто чужое переживаніе сперва является мнѣ чужимъ, а затѣмъ воспроизводится во мнѣ, иными словами, будто я создаю второе, уже свое собственное, переживаніе *по первому* или *по его образцу*. Напротивъ, съ самаго начала имѣется непремѣнно лишь одно переживаніе. И оно не является замѣтнованнымъ мной, *чужимъ*, а, наоборотъ, моимъ *собственнымъ* переживаніемъ, приписываемымъ въ то же время чужой личности. Переживаніе, о которомъ здѣсь идетъ рѣчь, является моимъ, а, именно, моимъ воспроизведеннымъ переживаніемъ, каковымъ оно и *должно* непремѣнно *оставаться*. Этого ничуть не измѣняетъ тотъ, если

угодно, замѣчательный фактъ, что я мысленно отношу это мое переживаніе къ постороннему лицу и лишь въ этой связи переживаю его, какъ дѣйствительное. При этомъ я не отдѣляю отъ себя моего переживанія такъ, чтобы оно переставало мнѣ принадлежать; я, какъ говорится, не „проектирую“ его въ чужое тѣло въ томъ смыслѣ, что отнимаю его отъ себя и переносу туда, конечно, въ пространство; я не „объективирую“ его такъ, чтобы оно тѣмъ самымъ переставало быть субъективнымъ. Такое отрываніе, такое наивно-чувственное представленіе проектированія или объективированія психологически бессмысленно. Напротивъ, весь актъ заключается въ томъ, что я *одновременно влажаю* въ чужое лицо собственное воспроизведенное переживаніе, или что оно, *не* переставая быть моимъ, въ то же время срастается для меня въ единый комплексъ представленій съ постороннимъ лицомъ. вмѣстѣ съ тѣмъ, говоря не фигурально, а вполне фактически, чужая личность и моя собственная сливаются для моего сознанія *воедино* въ одномъ пунктѣ. Зная о чужой личности или о какихъ-нибудь ея душевныхъ движеніяхъ, я *переживаю самъ себя непосредственно въ другомъ*, именно, въ этой чужой личности.

Дадимъ этому факту названіе „симпатіи“. Тогда, слѣдовательно, подъ симпатіей мы разумѣемъ непосредственное переживаніе въ другомъ своего „я“. И намъ извѣстно, что эта симпатія не есть фактъ, *рождающийся* какимъ-нибудь образомъ изъ моего знанія о другихъ личностяхъ, но она непосредственно *заключается* въ этомъ фактѣ знанія.

Здѣсь можно было бы легко прослѣдить дальше этотъ фактъ симпатіи. Но я намѣренъ удовольствоваться напоминаніемъ еще объ одномъ: всякое *эстетическое наслажденіе* основано на такой симпатіи. Я вкладываю воспроизведенныя душевныя движенія моей собственной личности въ каждый воспринятый прекрасный объектъ, на примѣръ, въ ландшафтъ, въ формы архитектуры, въ звуки и ритмъ музыки, даже въ простую линію или краску. Я „одушевляю“ эти объекты,

какъ разъ въ томъ смыслѣ, въ какомъ я одушевляю воспринятое человѣческое тѣло. Наслаждаясь этими объектами, я наслаждаюсь самимъ собою, но собою не фактически даннымъ, а воображаемымъ и, въ концѣ концовъ, идеальнымъ „я“. Въ данномъ случаѣ я тоже переживаю „самого себя непосредственно въ другомъ“.

Въ то же время, между этой эстетической симпатіей и той, которую я испытываю при видѣ дѣйствительности, существуетъ все-таки извѣстная разница. Жизнь въ ландшафтѣ или музыкѣ, ликование или страсть, какъ мнѣ хорошо извѣстно, существуютъ не въ этихъ эстетическихъ объектахъ, а лишь въ моей фантазіи. Но именно послѣднее и имѣетъ для насъ въ данномъ случаѣ положительное значеніе. Никто не сомнѣвается, что настроенія, вкладываемыя нами въ ландшафтъ, душевныя движенія, паѳосъ, страсть, вносимыя нами въ музыкальное художественное произведеніе, дѣйствуютъ въ насъ такимъ же образомъ, какъ обыкновенно въ насъ дѣйствуютъ другія подобныя настроенія, душевныя движенія, виды паѳоса или страсти. Но въ такомъ случаѣ это дѣйствіе должно имѣть возможность проявляться въ еще болѣе высокой степени, если мы какіе-нибудь внутренніе процессы и состоянія влагаемъ въ *людей* и въ людяхъ приписываемъ имъ *дѣйствительное существованіе*.

Къ тому же люди являются людьми, подобными намъ существами, которыя мы наполняемъ жизненнымъ содержаніемъ, заимствованнымъ изъ лично пережитаго, гораздо опредѣленнѣе и конкретнѣе, чѣмъ болѣе далекіе для насъ ландшафтъ и музыку. Ландшафтъ и музыка внесеніемъ въ нихъ нашего „я“ становятся *аналогами* человѣческой личности; а люди такимъ же путемъ становятся для насъ *человѣческими личностями*.

Конечно, эта послѣдняя разница, повидимому, сглаживается, если вспомнить о *высшихъ* объектахъ эстетической симпатіи. Я имѣю въ виду при этомъ человѣческіе образы, какъ намъ ихъ изображаетъ, напримѣръ, поэтическое и,

главнымъ образомъ, драматическое произведеніе. Но, повторю, если мы переживаемъ жизнь, не существующую въ дѣйствительности, а лишь *представленную* въ этихъ образахъ, переживаемъ радость и печаль, надежды и опасенія послѣднихъ, и если это переживаніе дѣйствуетъ на насъ, какъ собственная радость, печаль, надежда и опасенія — а что это имѣеть мѣсто, извѣстно каждому — тогда тѣмъ болѣе подобная „симпатія“ должна быть возможна въ *дѣйствительной жизни*.

Отмѣченное различіе между эстетической симпатіей и симпатіей, испытываемой предъ лицомъ дѣйствительности, имѣеть, разумѣется, и свою оборотную сторону. То обстоятельство, что изображенное лишь изображается и, слѣдовательно, существуетъ лишь идеально, является опять-таки *благопріятнымъ* моментомъ для эстетической симпатіи. Идеальный міръ художественныхъ произведеній не совпадаетъ съ тѣмъ реальнымъ міромъ, къ которому принадлежимъ мы. Это значитъ, главнымъ образомъ, что представленные образы являются для меня совершенно безразличными въ отношеніи пользы или вреда, а также — не могутъ приходить со мной въ столкновеніе изъ-за обладанія благами. Что достается имъ на долю, не отнимается у меня; что берется у нихъ, не обращается не пользу мнѣ. Ихъ желанія не перекрещиваются съ моими. Для нихъ это уже потому невозможно, что при видѣ художественнаго произведенія у меня совершенно не является подобныхъ собственныхъ желаній, такъ какъ въ основѣ эстетической интуиціи или созерцанія лежитъ такое самопогруженіе въ міръ художественнаго произведенія, при которомъ забывается собственное реальное „я“ съ его интересами, желаніями, страстями. Напротивъ, то, что переживаютъ въ себѣ люди *дѣйствительной жизни*, ихъ желанія и радости могутъ во всякое время столкнуться съ моими собственными желаніями: отсюда для меня можетъ произойти польза или вредъ.

Это обстоятельство опять свидѣтельствуетъ о справедливости того, на чемъ я здѣсь настаиваю. Какъ уже ска-

зано, въ эстетической симпатіи чувство симпатіи можетъ проявляться въ чистой, незатемненной формѣ, въ своей полной своеобразности; между тѣмъ, какъ въ практической жизни эгоизмъ способенъ загрязнить, затормозить и, въ концѣ концовъ, совсѣмъ подавить ее. Такимъ образомъ, въ эстетической симпатіи мы имѣемъ, такъ сказать, экспериментъ, представляющій намъ фактъ симпатіи въ *чистомъ видѣ* и дающій возможность познать ее въ ея сущности. И очевидно, чему прежде всего насъ учитъ этотъ экспериментъ: если симпатія проявляется въ ея *полной силѣ* какъ разъ тамъ, гдѣ всякая мысль объ эгоистическихъ интересахъ, о пользѣ или вредѣ, могущихъ произойти изъ чужого хотѣнія или желанія, радости или горя, оказывается *исключенной*, тогда первая является по необходимости чѣмъ-то самостоятельнымъ и противоположающимся эгоистическимъ интересамъ. Въ такомъ случаѣ не можетъ быть никоимъ образомъ рѣчи о томъ, чтобы производить симпатію изъ эгоизма.

А тогда нельзя говорить также и о томъ, чтобы вывести отсюда наши альтруистическіе интересы, такъ какъ они являются непосредственно данными вмѣстѣ съ симпатіей. Симпатія къ постороннимъ побуждаетъ насъ къ альтруистическимъ поступкамъ. Поэтому, если симпатія фактъ самостоятельный, то альтруизмъ имѣетъ въ насъ самостоятельный корень.

Тѣмъ не менѣе, какъ мы уже видѣли, дѣлались попытки свести альтруистическіе интересы непременно на эгоистическіе. Въ заключеніе вернемся еще разъ къ этимъ попыткамъ.

Въ предыдущемъ *эстетическая* симпатія явилась для насъ яснѣйшимъ доказательствомъ самостоятельности симпатическихъ чувствъ цѣнности, слѣдовательно, и альтруистическихъ мотивовъ рядомъ съ эгоистическими. Этимъ я

не хочу сказать, чтобы и практическая жизнь не могла бы указать намъ этой самостоятельности; напротивъ, она показываетъ намъ еще больше. Люди могутъ *одушевляться* чужимъ благомъ или горемъ даже и тамъ, гдѣ ихъ собственные интересы *противоречатъ* такому настроенію. Здѣсь совершенно безразлично, насколько часто это случается.

Какимъ образомъ это было бы возможно, если бы человеческой природѣ былъ свойственъ только эгоизмъ! На это дадутъ, пожалуй, слѣдующій отвѣтъ: вѣдь на практикѣ часто альтруистическій образъ дѣйствія оказывается для насъ самихъ выгоднымъ по своимъ послѣдствіямъ; онъ служитъ нашимъ интересамъ. Гдѣ это имѣетъ мѣсто, тамъ мы дѣйствуемъ подобнымъ образомъ. Впослѣдствіи мы такъ привыкаемъ къ этому, что поступаемъ альтруистически даже и тамъ, гдѣ изъ такого образа дѣйствій *не* происходитъ удовлетворенія эгоистическихъ интересовъ.

Противъ этого *прежде всего* надо возразить, что здѣсь дѣло идетъ не о *привычныхъ* альтруистическихъ поступкахъ, а о горячемъ, можетъ быть, страстномъ *внутреннемъ участіи* къ чужому благу или горю, которое затѣмъ, при благопріятныхъ обстоятельствахъ *переходитъ* въ дѣйствіе. Является ли тогда возможнымъ совершенно серьезно полагать, что это участіе можетъ прямо *возникать* изъ удовлетворенія эгоистическихъ интересовъ, и что, возникнувъ, оно въ состояніи затѣмъ *утвердиться* путемъ привычки, даже если съ эгоистической точки зрѣнія оно и является бессмысленнымъ, нелѣпымъ!

И то, и другое невозможно. Прежде всего здѣсь *играютъ* словомъ „привычка“. Такого могущества привычки не существуетъ. Привычка *притупляетъ* всякій интересъ. И напротивъ, невозможно, чтобы что-нибудь безразличное *пріобрѣтало* для меня цѣнность единственно въ силу привычки.

Обратимъ вниманіе на слѣдующее: пусть кто-нибудь, по своей природѣ, совершенно не впечатлителенъ къ музы-

къ, такъ же не впечатлительнъ, какъ, согласно эгоистической теоріи морали, все люди не впечатлительны къ чужимъ интересамъ. Но пусть однако онъ усердно посѣщаетъ исполненіе музыкальныхъ произведеній, такъ какъ на нихъ онъ можетъ показывать себя, видѣть всякаго рода красивыя вещи, встрѣчать друзей, болтать, играть роль любезнаго человѣка, короче, наслаждаться всею возможнымъ, что не имѣетъ никакого отношенія къ музыкѣ. Можно ли думать, что такого рода усердный посѣтитель концертовъ въ состояніи съ теченіемъ времени сдѣлаться, силою *привычки*, музыкальнымъ энтузіастомъ, человѣкомъ, для котораго музыка, какъ таковая, является *внутренней потребностью*.

Если допустить, что въ немъ есть нѣкоторая степень музыкальной впечатлительности, сначала только не выработанной, конечно, она могла пробудиться и развиваться въ немъ; отсюда, въ концѣ концовъ, могъ бы получиться такого рода результатъ. Но безъ сдѣланнаго предположенія, такой человѣкъ будетъ продолжать *покорно переносить* музыку, пока его манятъ упомянутыя удовольствія, чуждыя послѣдней. Но онъ навѣрно отъ нея откажется, когда этой цѣли не будетъ; и никогда онъ не пожертвуетъ вполне этими близкими его сердцу удовольствіями внутреннему стремленію къ музыкѣ. Психологически тоже ничто не возникаетъ изъ ничего; даже могущество „привычки“ не можетъ совершить этого чуда.

Равнымъ образомъ, и тотъ, кто дѣлаетъ добро другимъ изъ эгоистическаго интереса, можетъ навѣрно достигнуть впоследствии того, чтобы дѣлать его безъ подобнаго побужденія. Но при этомъ предполагается, что склонность къ подобному образу дѣйствій уже раньше самостоятельно существовала въ его природѣ. Если я изъ себялюбія слѣдовательно, не думая о другихъ, доставляю имъ тѣмъ не менѣе радость или избавляю ихъ отъ горя, то мнѣ представляется *случай испытать*, какое это имѣетъ для меня значеніе. Такъ, путемъ *проявленія эгоизма* во мнѣ можетъ про-

будиться *альтруистическое* чувство цѣнности, которое далѣе можетъ дѣйствовать во мнѣ и самостоятельно. Но для этого какъ разъ требуется, чтобы подобное альтруистическое чувство цѣнности находилось во мнѣ въ скрытомъ состояніи. Если предположить, что этого не было бы, я дѣлалъ бы добро другимъ лишь тогда, когда я могъ бы ожидать отъ этого для себя выгоды.

Не лучше обоснованной является и другая попытка вывести альтруизмъ изъ эгоизма. Разсужденіе это таково: съ давнихъ поръ люди, понятно, называли похвальными такія дѣйствія другихъ людей, которыя, хотя и возникали изъ эгоистическихъ мотивовъ, однако приносили пользу тѣмъ, кто эти дѣйствія хвалилъ. Такимъ образомъ всюду, куда бы мы ни взглянули, мы находимъ предикатъ „похвально“ въ соединеніи съ дѣйствіями, приносящими пользу, не самимъ дѣйствующимъ лицамъ, но другимъ. Это сочетаніе понятій, или сужденіе, мы усваиваемъ точно такимъ же образомъ, какъ и другія сужденія, которыя слышимъ со всѣхъ сторонъ. Поэтому мы считаемъ похвальными дѣйствія, приносящія пользу другимъ. А считая ихъ такими, мы чувствуемъ побужденіе совершать ихъ.

Въ основаніи этого хода мысли лежитъ нѣкоторое смѣшеніе. Дѣйствительно, слыша со всѣхъ сторонъ сужденіе о физическомъ или историческомъ *фактѣ*, я, въ концѣ концовъ, начинаю въ него вѣрить. Чужое сужденіе становится непосредственно моимъ собственнымъ. Но сужденіе о томъ, похвально ли данное дѣйствіе, является *сужденіемъ о цѣнности*, а не подобнымъ *объективнымъ сужденіемъ о фактѣ*. Оно не указываетъ на принадлежность дѣйствію какого-нибудь свойства, а лишь на то, что дѣйствіе извѣстнымъ образомъ *нравится тому, кто высказываетъ о немъ сужденіе*. А такія сужденія не передаются непосредственно словами.

Эстетическія сужденія также являются сужденіями о цѣнности. Допустимъ, кто-нибудь увѣряетъ, что картина, къ которой я совершенно равнодушенъ, прекрасна, удивительна

восхитительна. Въ этомъ случаѣ я прежде всего слышу, какъ произносятся эти слова, содержащія сужденіе о картинѣ. Пожалуй, я вѣрю, что мой собесѣдникъ самъ дѣйствительно восхищенъ картиной. Можетъ быть, въ концѣ концовъ, чтобы его не обидѣть, я и самъ говорю: „да, это вѣрно“. Но можно ли думать, что чрезъ это картина и для меня стала *прекрасной*, что, благодаря чужимъ словамъ, она и для меня могла получить соотвѣтствующую ихъ смыслу эстетическую *цѣнность*.

Конечно, если допустить, что тотъ, кто восхищается картиной, не просто хвалитъ ее, а обращаетъ мое вниманіе на тѣ стороны ея, которыя до сихъ поръ отъ меня ускользали, или даетъ мнѣ поводъ, благодаря своей похвалѣ—лишь впервые правильно посмотрѣть на картину, и, какъ того требуетъ каждое произведеніе искусства, — погрузиться въ нее, тогда, разумѣется, его слова смогли бы вызвать во мнѣ собственную эстетическую оцѣнку. Но въ данномъ случаѣ эта оцѣнка исходила бы всетаки отъ *меня*. Она явилась бы въ то время, когда я открылъ бы въ картинѣ что-нибудь, находящее *отзвукъ во мнѣ самомъ*, или что-нибудь, съ чѣмъ я самъ долженъ былъ бы внутренно согласиться съ эстетической точки зрѣнія.

Наше разсужденіе въ тоже время и показываетъ тотъ единственный путь, какимъ можетъ возникнуть эстетическое сужденіе о цѣнности или — чтобы избѣжать недоразумѣній, могущихъ соединяться со словомъ „сужденіе“—эстетическая оцѣнка или эстетическое сознаніе цѣнности. А именно оно можетъ возникнуть только путемъ собственнаго внутренняго *переживанія* цѣнности.

Такимъ же точно образомъ обстоитъ дѣло съ этическими сужденіями о цѣнности. Пусть тысячи людей называютъ поступокъ благороднымъ; это убѣждаетъ меня, пожалуй, лишь въ томъ, что тысячи *находятъ* его таковымъ. Но для меня онъ становится благороднымъ лишь съ того момента, когда я самъ нахожу его таковымъ, то-есть, когда я замѣ-

чаю его согласіе съ моею собственною нравственной сущностью.

Это не исключаетъ того, что собственныя оцѣнки какъ въ области эстетики, такъ и въ области этики, могутъ *вызываться* чужими сужденіями. И въ такомъ случаѣ, можетъ быть, путемъ сужденія впервые только доходить до моего *сознанія* вея сущность факта, подлежащаго этической оцѣнкѣ.

Или я принадлежу къ извѣстному народу, общественному классу, сословію, среди которыхъ я постоянно слышу опредѣленную, скажемъ, одностороннюю оцѣнку человѣческихъ свойствъ и отношеній. Въ то же время я выслушиваю основанія такой оцѣнки, разумѣется,—лишь положительныя. Въ свойствахъ или отношеніяхъ всегда выставляется впередъ та точка или сторона, которая, разсматриваемая отдѣльно, оправдываетъ данную оцѣнку. Поэтому и я, съ своей стороны, научаюсь разсматривать оцѣниваемый предметъ такимъ одностороннимъ образомъ. Я привыкаю упускать изъ виду другія стороны, могущія опровергнуть принятую оцѣнку. Въ результатъ получается, что я оцѣниваю разбираемыя человѣческія свойства или отношенія точно такъ же, какъ и тѣ люди, подъ вліяніемъ которыхъ я нахожусь, я смотрю на дѣло такъ же односторонне, какъ они. Такимъ образомъ, нравы, традиція, этическое сужденіе и предразсудокъ, господствующіе въ окружающей меня средѣ, безспорно могутъ опредѣлять мои этическія оцѣнки; и тѣмъ не менѣе, процессъ оцѣнки всегда исходитъ отъ меня самого. Оцѣнки *какъ бы* непосредственно передаются мнѣ, оказывая заразительное вліяніе на меня, оказываясь „внушеніемъ“. По правдѣ, мнѣ передается или мнѣ внушается лишь *взглядъ* на вещь, подлежащую моей оцѣнкѣ, и *освѣщеніе* этой вещи.

Наконецъ, я могу подчиняться чужимъ оцѣнкамъ также и потому, что подобное подчиненіе связано съ извѣстными послѣдствіями. Можетъ статься, что болѣе или менѣе тѣсный или широкій кругъ лицъ, къ которому я принадлежу, не только считаетъ извѣстнаго рода поведеніе правильнымъ,

пристойнымъ, почтеннымъ, но и отказывается мнѣ въ значеніи, признаніи, уваженіи, если я практически сопротивляюсь этимъ сужденіямъ. Въ концѣ концовъ, сопротивленіе, оказываемое мною, можетъ являться даже *матеріально* не безопаснымъ для моей жизни въ этомъ кругу. Мысль о такихъ послѣдствіяхъ моего поведенія можетъ столь тѣсно соединиться съ мыслью о самомъ поведеніи, что, безъ нарочитаго обдумыванія или добросовѣстной провѣрки самого себя, я не смогу отличить моей оцѣнки требуемаго поведенія отъ оцѣнки социальныхъ послѣдствій, которыя оно для меня влечетъ или можетъ повлечь за собой. Въ этомъ случаѣ мнѣ только кажется, что для меня являются важными самые способы поведенія, тогда какъ въ дѣйствительности лишь ихъ послѣдствія цѣнятся много такъ или иначе.

Поэтому то, мое чувство цѣнности фактически все-таки остается связаннымъ съ этими *послѣдствіями*. Ошибочно также, съ психологической точки зрѣнія, думать, что чувство цѣнности можетъ переноситься съ послѣдствій какого-либо способа поведенія на него самого. Мнѣ достаточно лишь то и другое, способъ поведенія и его послѣдствія, отдѣлать мысленно другъ отъ друга, или обратить исключительное вниманіе на одинъ только способъ поведенія, и послѣдній предстанетъ предо мной въ томъ значеніи, какое онъ имѣетъ для меня, какъ таковой.

Сводя все это воедино, мы должны сказать: альтруистическія наклонности — въ существованіи которыхъ никто не сомнѣвается — никоимъ образомъ нельзя выводить изъ эгоизма. Онѣ не представляютъ собой замаскированнаго эгоизма и никоимъ образомъ не происходятъ изъ эгоизма. Онѣ не *привиты* намъ ни средой, ни традиціей, ни привычкой, ни какими-нибудь воздѣйствіями на насъ со стороны постороннихъ, а имѣютъ свой собственный корень. И такимъ корнемъ является неизбѣжная симпатія челоуѣка къ челоуѣку, особенное психологическое, очень понятное и необ-

ходимое внутреннее единство меня самого съ чужими личностями, о которыхъ мнѣ *извѣстно*.

Теперь можно предложить еще слѣдующій вопросъ: „если альтруистическія склонности имѣютъ подобное самостоятельное происхожденіе, то какъ понять, что онѣ, тѣмъ не менѣе, часто играютъ подчиненную роль“.

На этотъ вопросъ существуютъ различные отвѣты. Прежде всего слѣдующій: эгоистическіе мотивы не только стоятъ *на ряду* съ альтруистическими, но при прочихъ равныхъ условіяхъ они имѣютъ даже естественный перевѣсъ надъ послѣдними. Въ актѣ симпатіи я вкладываю въ другихъ людей *воспроизведенное* собственное переживаніе и потому нахожу его въ нихъ. Но такого рода воспроизведенное или данное лишь въ воспоминаніи переживаніе всегда само по себѣ производитъ болѣе слабое дѣйствіе, чѣмъ непосредственное фактическое переживаніе. Поэтому я неизбѣжно интересуюсь прежде всего всегда самимъ собою.

Конечно, я имѣю возможность представлять себѣ это воспроизведенное и вложенное въ другихъ собственное переживаніе съ большей или съ меньшей точностью и живостью. И чѣмъ точнѣе и живѣе я представляю себѣ его, тѣмъ болѣе оно можетъ приблизиться въ отношеніи производимаго имъ на меня дѣйствія не только къ воспроизведенному переживанію, но и къ тому, что я дѣйствительно переживаю. Чѣмъ точнѣе и живѣе я вдумываюсь въ страданіе другихъ, тѣмъ болѣе оно можетъ дѣйствовать на меня одинаково не только по качеству, но приблизительно и по *силѣ*, какъ дѣйствовало бы тождественное страданіе, удручающее теперь меня самого.

Въ дѣйствительности однако долженъ имѣть мѣсто сперва этотъ процессъ „вкладыванія“ своей души въ другого; неизбѣжность же наступленія этого процесса отнюдь не самоочевидна.

Я сказалъ, что это вдумыванье заключается въ нашемъ

знаніи о чужой личности. Но это знаніе пріобрѣтается. Оно основывается на истолкованіи воспринятыхъ знаковъ или признаковъ бытія такъ или иначе организованной личности, въ особенности, личности, что-либо переживающей. А такое истолкованіе подлежитъ изученію.

И если даже мы можемъ совершить подобное истолкованіе вѣрнымъ образомъ, то все-таки упомянутое „знаніе“ о чужой личности все еще можетъ быть весьма различно. Я могу знать разныя вещи, не имѣя о нихъ отчетливаго сознанія. Я вижу, напримѣръ, электрической аккумуляторъ и знаю, что это аккумуляторъ; но у меня нѣтъ никакого представленія о томъ, что, собственно, значить это слово. Я знаю лишь слова, лишь то, что извѣстнымъ понятіямъ присуще какое-то значеніе; но это не составляетъ знанія о вещи, внутренняго воспрѣдставленія ея.

Такимъ образомъ, и мое знаніе о радости или горести другихъ людей можетъ быть знаніемъ словъ. Я знаю, что слова „радость“ и „горестъ“ умѣстны въ данномъ случаѣ. Но вещь, которую я обозначаю такимъ образомъ, не находится въ моемъ сознаніи, или же находится въ немъ подобно лишь бѣглому тѣни. Такое знаніе не имѣетъ силы.

Но въ заключеніе не слѣдуетъ прежде всего упускать изъ виду главнѣйшее условіе дѣйственности альтруистическихъ мотивовъ. Оно состоитъ въ энергіи *собственнаго переживанія*; кто самъ не въ состояніи испытывать сердечную радость по поводу какой-нибудь вещи, или кто не умѣетъ чувствовать постигающее его бѣдствіе во всей полнотѣ, — тотъ и не способенъ цѣликомъ переживать что-либо подобное въ другихъ.

Радость по поводу собственныхъ благъ и горе по поводу собственныхъ бѣдствій, разсматриваемыя сами по себѣ, — эгоистичны. И потому мы можемъ сказать: сильное эгоистическое чувство цѣнности есть первое условіе альтруистическаго чувства цѣнности.

Это эгоистическое чувство цѣнности развивается; оно распространяется и въ ширину, и въ глубину. вмѣстѣ съ нимъ могутъ впервые расширяться и углубляться и альтруистическія чувства цѣнности.

Съ другой стороны, развитіе послѣднихъ зависитъ отъ развитія отношеній между отдѣльною личностію и человѣчествомъ. Чѣмъ многообразнѣе и тѣснѣе становятся эти отношенія, тѣмъ болѣе между отдѣльными личностями усиливается связь, осуществляющая и облегчающая проникновеніе одного человѣка другимъ и погруженіе одного въ жизненные интересы другого, другими словами, — связь, осуществляющая альтруистическое участіе одной личности въ судьбахъ другой. При этомъ эгоизмъ является, какъ уже указано выше, возможной точкой исхода или перехода для альтруизма: отношенія завязываются прежде всего изъ эгоистическаго интереса, ради взаимной защиты и взаимопомощи. Осуществленіе этихъ интересовъ однако даетъ поводъ къ пробужденію симпатическихъ чувствъ цѣнности.

Къ тому же съ расширеніемъ упомянутыхъ отношеній человѣкъ все болѣе и болѣе *познаетъ* и *понимаетъ* другого человѣка, какъ родственнаго себѣ не только внѣшнимъ, но и внутреннимъ образомъ. Общее понятіе „человѣкъ“, сначала означающее преимущественно общее внѣшнее строеніе и форму бытія, захватываетъ внутреннюю сторону означаемой имъ вещи и получаетъ болѣе богатое содержаніе. „Люди“ становятся существами съ одинаковыми потребностями и общими цѣлями. Еще для грека все другіе народы — варвары. Для христіанства же все люди въ равной степени — дѣти Бога, или — призваны стать таковыми.

Если теперь обратиться снова къ сказанному объ отношеніи альтруизма къ эгоизму, то, конечно, и намъ эгоизмъ покажется имѣющимъ, и притомъ даже въ различномъ смыслѣ, первостепенное значеніе, альтруизмъ же — второстепенное. Первоначальное исключительное господство эгоизма

есть, разумѣется, фикція. Но первоначальное преобладаніе эгоистическихъ мотивовъ у первобытнаго человѣка и у ребенка есть вполнѣ естественное явленіе.

Въ извѣстномъ смыслѣ онъ является естественнымъ и у насъ, а именно, поскольку естественны всякая душевная тупость, косность и отсутствіе мысли. А замкнутость въ эгоистическихъ мотивахъ есть какъ разъ такого рода тупость, косность, безмысліе.

И тѣмъ не менѣе, съ другой стороны, такое состояніе нашего духа неестественно.

Естественно, чтобы луна производила на насъ сперва впечатлѣніе, будто ея величина и свойства таковы, какъ мы ихъ видимъ, и будто она стоитъ тамъ, гдѣ она кажется стоящей, примѣрно, немного выше дома сосѣда. Но было бы неестественно, если бы мы такъ и остановились на этомъ представленіи и намѣревались бы сообразовать съ нимъ наше поведеніе. Напримѣръ, было бы неестественно, если бы мы, слѣдуя этому первому впечатлѣнію, желали подняться на крышу сосѣда, чтобы созерцать оттуда луну въ непосредственной близости. Напротивъ, естественно, если мы въ то же время примемъ въ соображеніе данныя астрономіи, которыя не являются столь непосредственными и могутъ исправить первоначальное и ближайшее впечатлѣніе.

Такимъ же точно образомъ было бы не естественно, а противоестественно, если бы въ нашемъ сужденіи о томъ, что должно, и чего не должно быть, а слѣдовательно,—въ нашихъ дѣйствіяхъ мы руководились исключительно и непосредственно лишь тѣмъ, что мы лично переживаемъ; напримѣръ, проходили бы безъ вниманія мимо бѣдняка, безпомощно лежащаго при дорогѣ, потому, что насъ манитъ къ себѣ собственное удовольствіе; или — наслаждались бы своими благами и забывали о тѣхъ, кто терпитъ нужду. Конечно, наше удовольствіе есть фактъ, но вѣдь нужда другого—точно такъ же фактъ. Подобно тому какъ астрономическіе факты доказываютъ намъ истину иного сужде-

нія о величинѣ и мѣстоположеніи луны, чѣмъ факты, заключающіеся въ непосредственной видимости, точно такъ же фактъ чужой нужды при тщательномъ обдумываніи, быть можетъ, указалъ бы намъ на желательность и правильность иного образа дѣйствій, чѣмъ тотъ, которому мы собираемся слѣдовать. Въ этомъ случаѣ невниманіе къ лежащему при дорогѣ несчастному, или забвеніе о существующей на свѣтѣ нуждѣ, было бы точно такимъ же безмысліемъ, какъ наивное сужденіе о величинѣ и мѣстоположеніи луны, если бы мы при немъ остались.

Легко однако видѣть, что *первое* безмысліе заслуживаетъ этого названія въ *болѣе высокой степени*. Мы не всѣ астрономы, но мы всѣ—люди. Относительно существованія упомянутыхъ астрономическихъ фактовъ мы должны *вѣрить* астроному. Въ наличности же фактовъ, свидѣтельствующихъ о существованіи на свѣтѣ нужды, мы можемъ убѣдиться сами; если намъ слишкомъ трудно непосредственно убѣдиться въ послѣднемъ, то есть достаточно фактовъ, изъ которыхъ мы можемъ съ увѣренностью заключить о существованіи нужды. И въ данномъ случаѣ ничто намъ не мѣшаетъ мысленно перенестись въ душу терпящихъ нужду, представить себѣ внутренніе душевные факты печали, напрасной борьбы и пережить ихъ въ насъ самихъ. Слѣдовательно, и факты, предъ лицомъ которыхъ мы остаемся безмысленными, если мы эгоисты суть факты, для насъ очевидные.

Къ этому надо прибавить еще одно соображеніе. Какое намъ, въ сущности, дѣло до луны—я имѣю въ виду не астрономовъ, а всѣхъ насъ—покаместъ есть люди, имѣющіе къ намъ какое-либо отношеніе! Познваніе фактовъ естествознанія, какъ бы они ни были важны, имѣетъ вѣдь для насъ значеніе лишь потому, что оно отвѣчаетъ одной изъ человѣческихъ потребностей. Слѣдовательно, для насъ ближайшимъ образомъ важны человѣческія потребности и люди,

являющіеся ихъ носителями. Ничто для насъ, людей, не можетъ быть ближе человѣка.

Здѣсь обнаруживается безмысліе эгоизма во всей его полнотѣ. Это не только безмысліе, но и безуміе: создавая изъ эгоизма принципъ морали, мы возводимъ безмысліе въ принципъ.

Въ концѣ концовъ, подобный моральный принципъ упразднилъ бы самъ себя. Если я чистый эгоистъ, то я могу лишь требовать, чтобы всѣ служили *мнѣ*. Обратно, если я и отъ другихъ требую—быть эгоистами, то-есть, служить *самимъ себѣ*, то тѣмъ самымъ я признаю за ними право—служить ихъ собственнымъ интересамъ. Но благодаря этому признанію, я становлюсь *альтруистомъ*.

Вторая лекція.

Основные мотивы нравственности и зло.

Виды человѣческихъ мотивовъ не исчерпываются эгоистическими и альтруистическими, которые мы различали въ нашей первой лекціи. Недостають еще тѣхъ, которые, забывая впередъ, мы можемъ назвать уже здѣсь, подлинными или основными нравственными мотивами.

Я говорилъ выше, отграничивая точнѣе понятіе эгоизма, что при опредѣленіи нашего дѣйствія или образа поведенія, мы можемъ исходить не изъ соображенія о собственномъ или чужомъ „благѣ“, а изъ стремленія *уважать* самихъ себя. Есть ли это эгоизмъ?

Понятіе эгоизма можно безъ сомнѣнія опять таки искусственно расширить такимъ путемъ. Но мы уже видѣли, что обычное словоупотребленіе — противъ такого расширенія; для него „эгоистъ“ является только *себялюбивымъ человекомъ*. А себялюбивымъ мы назовемъ того, кто направляетъ свою дѣятельность на добываніе чего-либо лично для себя, кто стремится что либо, не принадлежащее къ его личности, сдѣлать своимъ или присвоить. Напротивъ, согласно принятому словоупотребленію, когда я, жертвуя благами и наслажденіями, ищу чего-нибудь *въ* самомъ себѣ, когда мнѣ въ моихъ дѣйствіяхъ представляется удовлетворяющимъ или достойнымъ домогательства не то, что я черезъ нихъ получаю, а способъ, какимъ я въ нихъ *проявляюсь*; когда я стремлюсь не къ тому, чтобы какой-нибудь *предметъ* ради

меня являлся такимъ или инымъ, а къ тому, чтобы я *самъ себѣ являлся* въ моемъ поведеніи такимъ или инымъ, — все это означаетъ не эгоизмъ а его противоположность.

Во всякомъ случаѣ понятіе объ эгоизмѣ, искусственно расширенное и на такія движенія души соединило бы въ себѣ совершенно противоположное, и потому явилось бы без-полезнымъ для этики. Вѣдь, въ концѣ концовъ, нѣтъ болѣе основной противоположности, чѣмъ раздѣляющая то, что мы *есть*, отъ того, что мы *имѣемъ*, нѣтъ грани, болѣе рѣзкой, чѣмъ лежащая между нами и міромъ вещей.

Но съ другой стороны, и мотивы самоуваженія тоже не являются *альтруистическими*. Поскольку мои дѣйствія обусловлены стремленіемъ къ самоуваженію, я думаю о себѣ и только о себѣ. Поскольку самоуваженіе является предметомъ моего стремленія, мои дѣйствія совершенно не имѣютъ никакой связи съ вниманіемъ къ другимъ людямъ.

Итакъ, дѣйствія по мотивамъ самоуваженія ни эгоистичны, ни альтруистичны. Противоположность эгоизма и альтруизма вообще не имѣетъ здѣсь мѣста. Лишь крайне поверхностное отношеніе къ дѣлу позволяетъ нѣкоторымъ моралистамъ при разсмотрѣніи человѣческихъ дѣйствій постоянно противопоставлять другъ другу только эгоистическіе и альтруистическіе мотивы, между тѣмъ какъ мотивы самоуваженія въ дѣйствительности стоятъ наравнѣ съ ними. Первые — чувства вещной цѣнности, послѣдніе — чувства цѣнности личности. И какъ я уже указывалъ выше, чувства цѣнности личности являются подлинными основными этическими мотивами. А если это такъ, то упомянутые моралисты вообще не проникаютъ со своимъ различеніемъ въ собственно этическую область. Мотивы самоуваженія, какъ я только-что упомянулъ, являются чувствами цѣнности личности. Но они не совпадаютъ по своему объему съ чувствами цѣнности личности *вообще*, а представляютъ собой чувства цѣнности *собственной* личности. Короче, мы ихъ будемъ называть *чувствами собственной цѣнности*.

Но, можетъ быть, эти чувства или мотивы, если сами по себѣ и не эгоистичны, то сводимы на эгоизмъ?

Точный смыслъ этого воззрѣнія долженъ бы быть таковъ: то, что составляетъ мою цѣнность, или что дѣлаетъ меня достойнымъ собственнаго уваженія, есть не что иное, какъ моя способность доставлять себѣ блага и наслажденія какого-нибудь рода: здоровье, богатство, могущество, почести и т. п., — не обращая вниманія на другихъ и даже, если на то пошло, на ихъ счетъ. Я уважаю себя; это значитъ: я знаю, что я въ настоящемъ своемъ видѣ годенъ для осуществленія эгоистическихъ цѣлей, и я этому радуюсь. Сознавая эту годность, я съ удовольствіемъ предвкушаю становящіяся такимъ образомъ возможными блага и наслажденія. Я поступаю такъ, чтобы быть въ состояніи уважать себя, это значитъ: я поступаю такъ, чтобы не лишиться возможности такого предвкушенія.

Между тѣмъ подобное воззрѣніе было бы опять страннымъ насилуваніемъ фактовъ. Конечно, я могу также гордиться моей годностью или способностью осуществлять *эгоистическія цѣли*. Но эта гордость есть уже нѣчто *иное*, чѣмъ радость по поводу *осуществленія* такого рода цѣлей; вѣдь меня можетъ надѣлать благами равнымъ образомъ и благопріятный случай; но тогда уже во мнѣ не явится этой гордости, т. е. *особаго рода* удовлетворенія, которое я испытываю, когда я самъ *достигъ* этихъ благъ; не явится счастливаго сознанія собственннхъ силъ — совершенно особеннаго, свободнаго и широкаго чувства мощности, энергіи, или силы моего хотѣнія.

Разберемъ этотъ вопросъ нѣсколько ближе. Въ настоящее время при этическихъ изслѣдованіяхъ охотно ссылаются на первобытныя ступени развитія, на первые начатки культуры. Послѣдуемъ этому указанію. Мы сталкиваемся, напр. съ дикаремъ, который скорѣе дастъ замучить себя до смерти чѣмъ преклонится предъ крестомъ, т. е., чѣмъ откажется

отъ гордаго чувства—быть сильнымъ волею, выдерживая мученія, утверждать самаго себя.

Или же мы видимъ, какъ тотъ же дикарь жертвуетъ для *мести* своимъ спокойствіемъ и, можетъ быть, жизнью. Мечь для него — самоосвобожденіе. Онъ не получитъ отъ нея ничего, никакого блага, кромѣ чувства счастливаго самообладанія. Безъ нея онъ являлся бы самому себѣ маленькимъ, слабымъ, трусливымъ, а ему хочется чувствовать себя великимъ, смѣлымъ, могущественнымъ.

Можетъ статья, самъ по себѣ дикарь не *мстителенъ*, но онъ *долженъ* отомстить за себя. Иначе онъ подвергнется презрѣнію своихъ товарищей, а ему этого не *хочется*. Т. е., опять-таки: ему не хочется презирать *самого себя*; чужое презрѣніе ничего для насъ не значило бы, если бы намъ не приходилось внутренно переживать его, какъ нѣкоторое происходящее въ насъ отрицаніе нашего самосознанія.

Такимъ образомъ всякое стремленіе къ почестямъ со стороны другихъ есть стремленіе къ самоуваженію. Если *это стремленіе* первоначально, то первоначальны и мотивы *самоуваженія*.

Или представимъ себѣ ребенка, упрямо настаивающаго на своемъ, несмотря на побои и выговоры; онъ въ концѣ концовъ, торжествуетъ, если ему позволить поступать по его желанію, хотя бы это причиняло ему одинъ лишь вредъ.

Какъ подобное упрямство, такъ и дѣтская *игра*, или радость, испытываемая по поводу нея, происходятъ не изъ соображеній о пользѣ. Въдъ съ объективной или вещной точки зрѣнія, игрѣ свойственна *безцѣльность*. Ребенокъ играетъ, т. е. проявляетъ нѣкоторую самодѣятельность и находитъ въ этомъ счастье. Онъ испытываетъ счастье при созиданіи или разрушеніи, поскольку онъ въ томъ или другомъ можетъ обнаружить свою самодѣятельность.

Конечно, здѣсь приходится различать два момента: радость по поводу собственнаго дѣйствія, какъ такового, и радость по поводу *удачи*. Последняя радость—особаго рода.

Мнѣ что-либо удастся; это значить, что вещи или объекты подчиняются моему хотѣнію.

Но радость ребенка не является простою лишь радостью послѣдняго рода. Радость по поводу удачи естественно тѣмъ больше, чѣмъ меньше внѣшніе объекты оказываютъ сопротивленія моему хотѣнію, чѣмъ *легче*, слѣдовательно, удается желаемое. Мы однако можемъ облегчить ребенку удачу, можемъ помочь ему. Если же мы окажемъ помощь ребенку въ томъ, что онъ могъ бы совершить самостоятельно, то мы, пожалуй, разстроимъ его радость. Мы лишимъ его какъ разъ того, чего онъ собственно хочетъ, — гордаго сознанія *собственной силы и собственной мощности*, этого вида наслажденія *самочувствіемъ*.

Наконецъ, мы можемъ совершенно отнять у ребенка его лучшую радость, надаривъ ему такихъ игрушекъ, которыя его самодѣятельности уже совсѣмъ не оставятъ мѣста. Можетъ быть, ребенокъ окажется умнѣе насъ: онъ оставитъ безъ вниманія вещи, доставляющія удовольствіе *намъ*, и *самъ* сдѣлаетъ себѣ предметъ игры изъ какой-нибудь *бездѣлушки*. Но можетъ случиться, что наше стараніе увѣнчается успѣхомъ: ребенокъ станетъ такимъ же реалистомъ, какими сдѣлались мы сами, благодаря военитанію или благодаря судьбѣ. Въ такомъ случаѣ мы принесемъ ребенку большой вредъ.

Радость, доставляемая ребенку ученіемъ, — подобнаго же рода; такова же и гордость отъ возможности оказывать взрослымъ помощь или мелкія услуги. Ребенку еще ничего не извѣстно о пользѣ ученія для жизни, его радуетъ просто лишь возможность учиться. Равнымъ образомъ, это происходитъ и въ томъ случаѣ, когда ребенокъ проявляетъ честолюбіе въ школѣ, желая быть первымъ; послѣднее обстоятельство предполагаетъ, что дѣло, въ которомъ онъ хочетъ первенствовать, кажется ему цѣннымъ.

И здѣсь однако необходимо различать между удовольствіемъ по поводу процесса дѣйствія и удовольствіемъ по поводу его удачи. Успѣхомъ интеллектуальнаго усилія

является знаніе, познаваніе. Ребенокъ—любопытнелень. Но удовольствіе, испытываемое имъ отъ исканія и отыскиванія, отъ духовной живости, отъ умственной *работы*, не превосходящей дѣтскія силы,—больше удовольствія, доставляемаго ему знаніемъ, какъ таковымъ.

Сдѣлаемъ еще одинъ шагъ впередъ. Обратимъ вниманіе на подростка. Въ немъ въ разнообразной формѣ живетъ удовольствіе, испытываемое человѣкомъ отъ того способа, какимъ онъ можетъ чувствовать себя, свою личность. Мы замѣчаемъ веселость при дерзкой отвагѣ, гордость при сопротивленіи препятствіямъ, упорное, можетъ быть, прикрываемое смѣхомъ затаиванье горя и т. п. Мы видимъ, что глаза мальчика горятъ не потому, чтобы онъ получилъ какую-нибудь пріятную или полезную вещь, а оттого, что онъ увидѣлъ самъ себя, что онъ открылъ въ себѣ нѣкоторую силу и почувствовалъ ея проявленіе.

Отмѣченные здѣсь виды чувства силы или чувства самопроявленія, можетъ быть, недостаточно высоко оцѣниваются. Но въ данномъ случаѣ рѣчь идетъ прежде всего лишь о томъ, чтобы установить ихъ существованіе, какъ самостоятельнаго психологическаго факта.

Если мы правы въ этомъ утвержденіи, то факты того же самого порядка предстанутъ предъ нами въ специфическо-нравственномъ самоуваженіи, въ радостномъ сознаніи, что хотѣніе и дѣятельность направлены согласно обязанности,—въ гордомъ самочувствіи человѣка, твердо держащагося за то, что онъ признаетъ истиной, хотя бы его поступокъ не только не принесъ ему никакой награды, а вызвалъ бы лишь однѣ насмѣшки и преслѣдованія и, пожалуй, повелъ бы его даже на крестъ или на костеръ. Ибо въ послѣднемъ основаніи всѣхъ этихъ фактовъ лежитъ одно и то же, „самочувствіе“, какъ бы ни были различны его основы, специальное содержаніе, а потому и цѣнность.

Сообразно съ этимъ и нравственное самочувствіе не могло возникнуть изъ эгоистическихъ соображеній. Оно не

могло быть *привито*, напрімѣръ, обстоятельствами или чело-вѣческимъ искусствомъ чело-вѣку, имѣющему отъ природы исключительно лишь эгоистическія стремленія.

Дѣйствиѣ подобнаго воспитанія скорѣе должно было бы оказаться, по существу, прямо противоположнымъ. Мы видимъ всюду, что искусство воспитанія признается успѣшнымъ въ томъ случаѣ, когда сила и гордость свободной само-дѣятельности не только имъ не воспитываются, а скорѣе—*ломаются*, когда оно создаетъ людей, дѣйствія которыхъ всецѣло зависятъ отъ награды или наказанія, которые по слѣпой привычкѣ покоряются правилу, или благоразумно взвѣшиваютъ въ жизни выгоды и невыгоды. Намъ извѣстно также искусство *правленія*, ставящее своимъ высшимъ идеаломъ превращеніе людей въ хорошо прилаженные по-лезныя колеса нѣкоторой машины.

И въ *естественной борьбѣ* жизни *счастьѣ* преимущественно благопріятствуетъ не тому, кто въ своихъ поступкахъ всюду руководствуется вопросомъ о достиженіи высшаго самоува-женія и наибольшаго согласія съ самимъ собою. Кто пре-слѣдуетъ внѣшнее счастье, тотъ долженъ, наоборотъ, прекло-няться передъ обстоятельствами, капризами случая, волею могущественныхъ и „вліятельныхъ“, приносить жертвы об-щественному мнѣнію съ его предразсудками, его понятіями о „чести“ и т. п., долженъ съ толпою ликовать и негодовать въ угоду ея любимцамъ.

Спеціально про наше время говорятъ, что теперь гос-подствуетъ матеріалистическое настроеніе. Подъ послѣд-нимъ разумѣютъ неразборчивую погоню за внѣшними бла-гами. Этого рода „матеріализмъ“ отмѣчали названіемъ „ карье-ризма“. Послѣдній терминъ въ сущности означаетъ лишь другую сторону того же самага явленія, ибо матеріалисти-ческое настроеніе лучше всего проявляется въ карьеризмъ, то-есть, во всяческихъ жертвахъ, приносимыхъ чело-вѣкомъ на счетъ уваженія къ своей личности, или самоуваженія. Кто, пренебрегая этимъ средствомъ успѣха, слишкомъ часто спра-

шивается, может ли онъ въ своемъ дѣйствіи остаться самъ себѣ вѣренъ, чувствовать себя въ немъ сильно, широко, свободно, тотъ подвергается опасности показаться глупцомъ, быть исторгнутымъ изъ среды людей и затертымъ судьбою. Если даже допустить, что подобная опасность не осуществится, то, все-таки, боязнь ея—плохое средство для воспитанія самоуваженія или стремленія къ послѣд-нему.

Но и само по себѣ немислимо думать, чтобы мотивы къ самоуваженію происходили какимъ-нибудь образомъ изъ эгоистическихъ или какихъ-либо мотивовъ иного рода. И въ данномъ случаѣ протестъ подымается опять-таки со стороны психологическихъ фактовъ. Мотивы, о которыхъ идетъ рѣчь, рождаются самостоятельно изъ человѣческой природы и *рядомъ* со всеми остальными.

Какимъ образомъ вообще рождаются въ насъ чувства удовлетворенія? Я воспринимаю нѣкоторый объектъ; это значить, что послѣдній ищетъ доступа въ мое сознаніе; онъ претендуетъ на часть моего вниманія; онъ требуетъ, чтобы я обратилъ къ нему мой внутренній міръ. Теперь спрашивается, какъ относится моя духовная природа къ этому требованію,—соотвѣтствуетъ или нѣтъ актъ воспріятія, имѣющій содержаніемъ данный опредѣленный объектъ, нѣкоторой потребности моего духа или естественному направленію его дѣятельности; иными словами: согласуется или противорѣчить объектъ тому, что вообще происходитъ въ моемъ духѣ. Въ зависимости отъ того, имѣетъ ли мѣсто первый или второй случай, во мнѣ возникаетъ чувство удовлетворенія или неудовлетворенія. Чувство есть *вообще* непосредственный рефлексъ сознанія на способъ, какимъ тотъ или другой душевный процессъ приспособляется къ совокупности отношеній душевной жизни и къ ея данному содержанію. Чувство *удовлетворенія* или *довольство* есть тотъ способъ, какимъ непосредственно даетъ о себѣ знать сознанію *согласіе* какого либо психическаго процесса съ тѣмъ, что онъ находитъ уже въ душѣ; чѣмъ сильнѣе психическій процессъ по

своей природѣ, чѣмъ разнообразіе его содержаніе, и чѣмъ полнѣе въ то же время его согласіе съ остальной наличностью душевнаго содержанія,—тѣмъ выше удовлетвореніе.

Въ настоящемъ случаѣ рѣчь идетъ прежде всего о томъ, отличномъ отъ меня, что мнѣ *представляется*, или о томъ *объективно*, которое мнѣ *достается на долю*. Но взаимное соотвѣтствіе или несоотвѣтствіе могутъ проявляться также въ большей или меньшей степени и въ моемъ внутреннемъ дѣйствованіи и хотѣніи самомъ по себѣ, во мнѣ самомъ, когда я дѣйствую или желаю, стремлюсь къ нѣкоторому объекту или, наконецъ, вообще, когда послѣдній занимаетъ меня какимъ-либо образомъ. И въ этомъ случаѣ возможны количественныя измѣненія въ силѣ и богатствѣ содержанія такого рода дѣйствія и хотѣнія.

И тутъ долженъ получиться одинаковый результатъ. Я испытываю тѣмъ больше удовольствія, чѣмъ интенсивнѣе мое внутреннее дѣйствованіе, чѣмъ богаче его содержаніе, и чѣмъ болѣе, въ то же время, я въ этомъ дѣйствованіи согласенъ съ самимъ собою. Только въ данномъ случаѣ удовольствіе относится не къ объектамъ, а къ моему дѣйствованію или ко мнѣ самому, къ субъекту дѣйствованія, опознающему въ послѣднемъ самого себя.

Положимъ, все мое дѣйствованіе, сила моего хотѣнія сосредоточивается въ одномъ пунктѣ, иначе говоря: посредствомъ сознательной дѣятельности я духовно обнимаю разнообразныя вещи; въ то же время послѣднія собираются въ одной точкѣ; мое хотѣніе обладаетъ единымъ направленіемъ или нѣкоторымъ центромъ, подчиняющимъ себѣ все остальное. Въ такомъ случаѣ у меня является соотвѣтственное чувство—чувство силы или величія, богатства или внутренней широты, согласія съ самимъ собою или внутренней свободы. Сила, богатство, согласіе являются и тутъ факторами, опредѣляющими чувство довольства. *Чувства* внутренней силы, внутренней широты и внутренней свободы являются возможными формами *самочувствія*, доставляющаго

удовлетвореніе. Единство этихъ формъ есть „самочувствіе“ въ положительномъ смыслѣ этого слова, или *чувство собственной цѣнности*.

Такимъ образомъ, чувство собственной цѣнности и чувство цѣнности объектовъ означаютъ два *сосуществующія одно рядомъ съ другимъ* направленія или двѣ формы чувства цѣнности. Наша психическая жизнь есть нѣкоторое взаимодействіе между нами и объектами. Это взаимодействіе содержитъ то дѣйствованіе, то переживаніе, то активность, то пассивность. Точнѣе говоря: оно является то въ большей мѣрѣ однимъ, то въ большей мѣрѣ другимъ, другими словами: наше сознаніе различаетъ въ немъ яснѣе то ту, то иную сторону.

И здѣсь одинаковыя условія производятъ повсюду одинаковое дѣйствіе. Но одни и тѣ же условія *чувства цѣнности* или *удовлетворенія* могутъ преобладать то съ одной, то съ другой стороны.

Это обстоятельство исключаетъ всякую возможность свести одинъ видъ чувства цѣнности на другой. Они оба возникаютъ одно рядомъ съ другимъ *по одинаковому закону*.

Въ данномъ случаѣ, какъ и при альтруистическихъ оцѣнкахъ, можно снова спросить: какимъ же образомъ чувство собственной цѣнности часто имѣетъ такъ мало рѣшающаго значенія въ нашихъ дѣйствіяхъ? Намъ слѣдуетъ отвѣтить на это такъ же, какъ и выше: объекты внѣшняго міра являются первыми данными для нашего сознанія. Предметы чувственного воспріятія даютъ личности *содержаніе раньше всего другого*. Лишь послѣ того какъ личность получила подобное содержаніе, для нея является нѣчто, на чемъ и въ отношеніи чего она теперь пріобрѣтаетъ возможность проявляться. И лишь тогда-то, въ этой дѣятельности, она можетъ опознать самое себя.

Но чувственные предметы, объекты внѣшняго міра, являются не только первымъ содержаніемъ нашего сознанія; на

нихъ прежде всего направляется *интересъ* человѣка, такъ какъ они *даютъ ему возможность жить на свѣтѣ*. Они нужны ему ближайшимъ образомъ для питанія и защиты. Самый фактъ нашего существованія предполагаетъ, что мы существуемъ *какимъ-нибудь образомъ*, существуемъ, какъ личности, способныя дорожить собою. Кто принужденъ еще бороться всѣми силами лишь за простое существованіе, тотъ можетъ, конечно, и въ этой борьбѣ испытывать чувство гордости. У него на это даже больше права, чѣмъ у человѣка, который ни за что не борется; онъ стоитъ ближе къ благороднѣйшимъ представителямъ человѣчества, чѣмъ тотъ, который, пользуясь услугами другихъ, въ наслажденіяхъ губить всю способность къ труду. Однако ему неизбежно остается недоступнымъ болѣе богатое и болѣе полное развитіе человѣческой личности, а вслѣдствіе этого, и болѣе богатое и болѣе широкое самосознаніе.

Это значитъ въ то же время, что и чувства собственной цѣнности, и альтруистическія чувства реальной цѣнности въ ихъ проявленіи и дѣйствіи, опредѣляющемъ человѣческіе поступки, подчиняются закону *развитія*. При этомъ обнаруживаются прежде всего три условія послѣдняго.

Для болѣе или менѣе полного и богатаго развитія указанныхъ чувствъ требуется нѣкоторая степень свободы въ борьбѣ за матеріальное существованіе. Объ этомъ только что шла рѣчь.

Съ другой стороны, личность проявляется всестороннѣе, и потому получаетъ болѣе богатое самосознаніе, по мѣрѣ того, какъ опытъ умножается и становится разнообразнѣе, кругозоръ расширяется, и, вслѣдствіе этого появляются одновременно все новыя и новыя цѣли для человѣческихъ стремленій. И новыя эгоистическія цѣли пробуждаютъ новыя силы и даютъ новое содержаніе чувству собственной цѣнности.

Наконецъ, надо прежде всего имѣть въ виду слѣдующее: каждый человѣкъ стоитъ на нѣкоторой ступени развитія, поэтому обладаетъ своей собственной цѣнностью личности,

на которой основана извѣстная высота его самосознанія. Въ то же время каждому грозитъ опасность довольствоваться той степенью человѣческаго развитія, на которой онъ находится, пока у него не является повода выработать въ себѣ представленіе о болѣе высокой ступени. Подобный поводъ дается—если не исключительно, то преимущественно—знакомствомъ съ другими людьми и соревнованіемъ съ ними въ томъ видѣ, какъ оно создается человѣческими отношеніями или социальнымъ общеніемъ.

Оглядываясь вокругъ себя, каждый изъ насъ (напримѣръ я) видитъ, что „человѣкъ“ въ томъ или иномъ отношеніи сильнѣе выраженъ въ другихъ человѣческихъ личностяхъ по сравненію съ тѣмъ, что каждый находитъ въ себѣ. Это, какъ намъ извѣстно, значить, что проявленія жизни въ другихъ будятъ во мнѣ представленіе объ усиленіи нѣ котораго момента въ моемъ собственномъ существѣ. Такимъ образомъ во мнѣ рождается воображаемая собственная личность, которая является вмѣстѣ съ тѣмъ ровно настолько идеальнѣе моей дѣйствительной личности, насколько послѣдняя представляется въ ней въ усиленномъ видѣ. Въ концѣ концовъ, въ теченіе этого процесса во мнѣ возникаетъ представленіе объ *идеальной* личности, которое происходитъ и можетъ происходить лишь *изъ* элементовъ моей *собственной*. Всякій другой способъ возникновенія былъ бы возникновеніемъ изъ ничего. Но въ то же время существованіе другихъ личностей, точнѣе: истолкованіе ихъ жизненныхъ проявленій,—есть именно то, что даетъ мнѣ поводъ или заставляетъ меня выработать эту идеальную личность или образъ ея.

Итакъ, болѣе идеальная и, въ концѣ концовъ, совершенно идеальная личность можетъ получиться лишь путемъ мысленнаго усиленія моихъ собственныхъ чертъ; это обстоятельство является для меня источникомъ необходимости *ощинивать* ее именно *тѣмъ выше, чѣмъ* она является идеальнѣе. Эта высокая оцѣнка является лишь естественнымъ усиленіемъ той, которую я прилагаю къ моему *дѣйствительному* содер-

жанію. Въ то время однако, какъ я произвожу эту высшую оцѣнку, во мнѣ неизбежно возникаетъ вмѣстѣ съ тѣмъ стремленіе и живѣйшее желаніе — осуществить предметъ этой оцѣнки, то-есть, достигнуть такой же *дѣйствительной* собственной цѣнности. При этомъ непременно предполагается полное опредѣленіе размѣровъ собственной личности, слѣдовательно, глубоко-вдумчивое отношеніе къ другимъ людямъ и пониманіе ихъ. И мы уже видѣли, что условіемъ послѣдъ яго является созданіе все болѣе и болѣе крѣпкихъ, но одновременно съ тѣмъ и все болѣе и болѣе широкихъ, общественныхъ связей, притомъ и такихъ, первоначальнымъ назначеніемъ которыхъ было служеніе только эгоистическимъ интересамъ.

Резюмируя все предыдущее, можно сказать: стремленіе къ высшему содержанію цѣнности собственной личности является продуктомъ роста матеріальной культуры и вытекающаго отсюда матеріальнаго освобожденія человѣка: продуктомъ накопленія опыта и происходящей изъ этого дифференціаціи человѣческихъ цѣлей, и—прежде всего продуктомъ соціальнаго развитія, связывающаго людей внѣшнимъ образомъ другъ съ другомъ и создающаго между ними отношенія внутренней зависимости.

Однако это стремленіе не является простымъ продуктомъ упомянутыхъ факторовъ. Но всѣ они представляютъ собой лишь условія осуществленія закона человѣческой оцѣнки, первоначально заложеннаго въ человѣческой природѣ.

Выражая только что сказанное въ отрицательной формѣ, можно утверждать, что *состояніе, ограниченное* матеріальной борьбой за существованіе, *узость* духовнаго кругозора, *изолированность* человѣка является *препятствіемъ* для стремленія къ высшей собственной цѣнности. Къ этимъ препятствіямъ прибавимъ еще одно: люди создаютъ себѣ при-

зракъ собственной цѣнности и ставятъ его на мѣсто дѣйствительной.

Существуетъ странное, но, какъ извѣстно, широко распространенное явленіе, что люди кажутся самимъ себѣ лучше другихъ потому, что носятъ „громкое“ имя, обладаютъ богатствомъ, пользуются почетомъ, имѣютъ ордена и титулы.

Можетъ быть, эти люди въ самомъ дѣлѣ лучше другихъ. Но въ такомъ случаѣ ихъ достоинства не зависятъ отъ дѣйствительныхъ или мнимыхъ благъ, которыми они располагаютъ. Можетъ быть, они *приобрѣли* то, что имѣютъ, благодаря собственнымъ достоинствамъ; но въ такомъ случаѣ они были бы столь же достойными людьми, даже если бы неблагоприятная судьба не увѣнчала ихъ успѣхомъ. Въ дѣйствительности судьба имъ благопріятствовала, за что они и должны ей быть благодарны; но сами-то они здѣсь все-таки не при чемъ.

А если эти блага имъ доставилъ или доставляетъ только случай, безъ содѣйствія ихъ собственныхъ достоинствъ, на примѣръ, случайность рожденія, или человѣческой капризъ, или чужое неблагоразуміе, каково тогда положеніе дѣла? И тогда, конечно, эти блага сохраняютъ свою цѣнность; но мы должны снова сказать, что цѣнность этихъ благъ принадлежитъ не ихъ *обладателямъ*, такъ какъ послѣдніе не тождественны съ этими благами. Повидимому, однако многіе совершаютъ эту подмѣну и, пожалуй, не безъ основанія: кто *самъ по себѣ представляетъ* нѣчто малое, для того бываетъ выгодно кичиться тѣмъ, что онъ имѣетъ.

Тѣмъ не менѣе, подобная подмѣна не остается безъ объясненія съ точки зрѣнія психологін: богатство, на примѣръ, даетъ могущество и возможность всякаго рода дѣйствій или способовъ проявленія личности, которые недоступны бѣдняку; эти дѣйствія совершаются самою личностью и имѣютъ въ ней свое основаніе, которое, правда, лежитъ вмѣстѣ съ тѣмъ и въ *богатствѣ*; точнѣе говоря, такія дѣйствія имѣютъ основаніе и въ личности, и въ богат-

ствѣ, то-есть въ *существованіи* или *соединеніи* того и другого.

Однако въ данномъ случаѣ мы легко впадаемъ въ заблужденіе, жертвою котораго мы становимся и въ другихъ случаяхъ: изъ совокупности двухъ факторовъ, лежащихъ въ основѣ нѣкотораго явленія, мы обращаемъ вниманіе лишь на тотъ, который, если смотрѣть на дѣло съ внѣшней стороны, самымъ непосредственнымъ образомъ связывается съ явленіемъ и потому первый *бросается въ глаза*. Велѣдствіе этого мы кладемъ его въ основу явленія, обусловливаемъ послѣднее *этимъ факторомъ, какъ таковымъ*. Такъ, напримѣръ, мы выводимъ ростъ дерева изъ присущей ему силы роста, хотя онъ становится возможнымъ лишь при наличности воздуха, свѣта, почвы. Или намъ, напримѣръ, кажется, что мѣсяцъ свѣтитъ самъ по себѣ, хотя въ дѣйствительности свѣтятъ солнечные лучи, а мѣсяцъ ихъ только отражаетъ; намъ же видно, только какъ свѣтъ *исходитъ* непосредственно отъ мѣсяца.

Подобнымъ же образомъ мы смотримъ и на наши дѣйствія, сдѣлавшіяся возможными благодаря богатству; мы считаемъ, будто они имѣли основаніе въ нашей личности. Мы видимъ, какъ они *исходятъ* непосредственно изъ нея. Такъ какъ мы обращаемъ исключительное вниманіе на сущность дѣла лишь съ этой ближайшей къ намъ и потому непосредственно бросающейся въ глаза стороны, то *возможность* совершенія дѣйствій, которая заключается въ *богатствѣ* или которую мы получаемъ благодаря послѣднему, становится на нашихъ глазахъ *способностью*, лежащей въ нашей *личности*, какъ таковой. И такъ какъ разматриваемыя дѣйствія—болѣе высокаго порядка, то и наша способность совершать ихъ кажется намъ высшей. Если допустить, что луна такое же одаренное сознаниемъ, но въ то же время безмысленное существо, какъ и мы, она должна была бы также воображать себя самогвѣтящимся

тѣломъ и чваниться этимъ, какъ это дѣлаемъ мы, когда насъ озаряетъ солнце счастья.

Надо еще особенно коснуться *чести*, выпадающей намъ на долю. *Наша истинная честь* можетъ быть лишь та, которая *принадлежитъ* намъ, т.-е. наша честность, нравственная высота нашей личности. Но нѣчто совершенно иное представляетъ собою *почтеніе*, этотъ внутренній процессъ въ *другомъ человѣкѣ*. Можетъ случиться, конечно, что наша честь соотвѣтствуетъ этому почтенію, въ послѣднемъ случаѣ у насъ является полное основаніе радоваться по этому поводу; чести же нашей это обстоятельство не увеличиваетъ и не уменьшаетъ.

Но можетъ также быть, что наша честь ниже оказываемаго намъ почтенія. Тогда обнаруживаются двѣ противоположныя возможности. Если мы являемся сильными и ясно понимающими себя личностями, то въ насъ рождается конфликтъ: нашъ недостатокъ сознается нами сильнѣе, мы стыдимся.

Если мы люди слабые и неспособные къ яену самопониманію, тогда почтеніе, которое намъ оказывается со стороны другого лица и которое мы воспроизводимъ въ нашемъ сознаніи, *заступаетъ мѣсто* недостающей собственной чести. Посредствомъ нѣкотораго самообмана мы получаемъ преувеличенное сознаніе о послѣдней. Мы ставимъ себя высоко не потому, чтобы у насъ имѣлось къ этому основаніе, но потому, что этого *хотятъ другіе*, или, по крайней мѣрѣ, дѣлаютъ видъ, что хотятъ.

Такимъ образомъ, мы видимъ повсюду, что люди окружаютъ себя цѣлой системой знаковъ почтенія, уваженія, „отличій“, благоговѣнія, куреній ѳиміама и такимъ путемъ дешево приобрѣтаютъ мнимую честь. Мы, пожалуй, даже держимся тѣмъ болѣе гордо, чѣмъ меньше у насъ имѣется къ этому основанія, въ увѣренности найти такихъ людей, которые впадутъ въ обманъ и тѣмъ самымъ дадутъ намъ возможность заполнить недостатокъ нашей собственной чести

ихъ почтеніемъ. Или же когда выраженія почтенія, ничтожность которыхъ всѣмъ извѣстна и которыя мы не смотря на ихъ ничтожность, разъ они обращены къ намъ самимъ, принимаемъ за чистую монету и приписываемъ ихъ своимъ достоинствамъ.—у насъ путемъ нѣкотораго рода молчаливаго соглашенія происходитъ взаимное самообличеніе. Мы воображаемъ себя великими въ этой дѣтски важной игрѣ; у многихъ людей, конечно, есть въ ней потребность: имъ пришлось бы слишкомъ плохо, если бы они должны были довольствоваться тою честью, которая *принадлежитъ* имъ.

Я не думаю этимъ отрицать возможности этического вліянія вышеуказанныхъ благъ, въ особенности же обладанія имуществомъ и выраженій почтенія. Такъ какъ обладаніе имуществомъ создаетъ возможность *проявленія* личности, то оно и содѣйствуетъ развитію и *выработкѣ* личности. А почтеніе или выраженіе уваженія не только, какъ мы это уже видѣли, заставляетъ людей, обладающихъ достаточною силою духа и ясностью ума, почувствовать сильнѣе свои дѣйствительные недостатки,—но еще и побуждаетъ ихъ стремиться къ тому, чтобы сдѣлаться достойными этого, почтенія или уваженія ибо именно благодаря почтенію они яснѣе сознаютъ устыжающихъ различіе между дѣйствительною цѣнностью ихъ личности и той цѣнностью, которая ей приписывается.

Таковъ истинный смыслъ выраженія „noblesse oblige... Оно означаетъ, говоря кратко, что почтеніе должно побуждать къ соотвѣтственному нравственному строю личности и поведенію; что для человѣка благороднаго нѣтъ иного рода чести, кромѣ той, которая заключается въ его собственной личности; что лишь человѣкъ неблагородный платитъ свой долгъ жизни случайными благами, ниспосланными ему судьбой: именемъ, имуществомъ, оказываемымъ ему почтеніемъ и тому подобнымъ; благородный же, напротивъ, всегда платитъ *внутреннимъ содержаніемъ* своей личности, а также плодами *дѣйствій своихъ собственными* силъ.

Я уже сказалъ, что чувство собственной цѣнности ни эгоистично, ни альтруистично. Это однако не мѣшаетъ тому, что на ряду съ чувствомъ собственной цѣнности существуетъ иное чувство цѣнности личности, относящееся къ первому такъ, какъ альтруистическая оцѣнка относится къ эгоистической. Я говорю о чувствѣ цѣнности чужой личности, или о „симпатическомъ чувствѣ“ цѣнности личности. Здѣсь мы имѣемъ послѣдній видъ чувствъ цѣнности, или мотивовъ, который намъ нужно было выдѣлить.

Никто не сомнѣвается въ существованіи такого рода симпатическихъ чувствъ цѣнности личности. Но не подлежитъ сомнѣнію равнымъ образомъ и то, что они представляютъ собою самостоятельный видъ чувствъ цѣнности и мотивовъ, не сводимый ни на какой другой, подобно до сихъ поръ отмѣченнымъ видамъ чувствъ цѣнности и соотвѣтственныхъ мотивовъ.

Я здѣсь снова напоминаю о главномъ обстоятельстве: альтруистическія *чувства вещной цѣнности* являлись намъ какъ необходимое слѣдствіе понятной психологической сущности дѣла. Изъ той же самой сущности вытекаютъ и симпатическія чувства цѣнности личности. Наше представленіе о чужихъ личностяхъ, какъ мы видѣли образовано изъ чертъ нашей собственной личности. Чужая личность, какъ предметъ нашего сознанія, является извѣстной намъ путемъ опыта собственной личностью, лишь здѣсь или тамъ усиленной или смягченной, и мысленно соединяемой съ чужимъ тѣломъ и его жизненными проявленіями. Отсюда мы заключили, что радости и горести постороннихъ личностей, поскольку мы о нихъ знаемъ, должны дѣйствовать въ насъ такимъ же образомъ, какъ если бы мы ихъ сами переживали въ настоящую минуту.

Но намъ извѣстно не только, что переживаютъ другіе люди, но также и то, какимъ образомъ они внутренно проявляютъ себя, каково то личное существо которое они обнаруживаютъ въ своемъ проявленіи. Но и это знаніе, въ концѣ

концовъ, заключаетъ въ себѣ лишь то, что мы находимъ уже раньше въ самихъ себѣ; оно является нѣкотораго рода мышленіемъ и нахожденіемъ насъ самихъ въ другихъ личностяхъ. Согласно этому у насъ должно являться и по отношенію къ проявленіямъ и свойствамъ чужой личности то же чувство цѣнности или ея отсутствія, которое у насъ бываетъ, когда мы представляемъ себѣ, что мы въ данный моментъ находимъ въ себѣ эти проявленія и свойства.

Поэтому существованіе чувствъ цѣнности личности столь же несомнѣнно, какъ и существованіе чувствъ собственной цѣнности. Непосредственнымъ объектомъ перваго рода чувствъ является чужая личность. Мы не потому приписываемъ цѣнность проявленіямъ и свойствамъ чужой личности, что онѣ служатъ чему-нибудь другому, напримѣръ, хотя бы нашимъ эгоистическимъ интересамъ. Эти симпатическія чувства цѣнности личности, равно какъ и альтруистическія чувства вещной цѣнности, необходимо сопровождаютъ наше *знаніе* о чужихъ личностяхъ.

Впрочемъ, и въ данномъ случаѣ *отдѣльные факты* показываютъ съ достаточной ясностью самостоятельное существованіе разбираемыхъ здѣсь чувствъ цѣнности и мотивовъ. А чтобы для освѣщенія и этой связи сослаться снова на свидѣтельство, представляемое „дикаремъ“, замѣтимъ, что дикарь удивляется и восхваляетъ сильнаго, гордаго, выносливаго въ горѣ, метительнаго, пожалуй, даже — особенно хитраго или коварнаго. Въ этомъ заключается извѣстное признаніе, извѣстная положительная оцѣнка нѣкоторыхъ личныхъ свойствъ.

Можетъ быть, конечно, сильный или гордый человѣкъ полезенъ для дикаря, онъ является его товарищемъ, который оказываетъ ему помощь и заступается за него. Въ такомъ случаѣ отсюда прежде всего вытекаетъ *эгоистическое* удовлетвореніе: но оно совсѣмъ иного рода, чѣмъ удивленіе, о которомъ только-что шла рѣчь. Въ немъ нѣтъ того чувства радостнаго *величія, возвышенности*, придаю-

шаго „удивленію“ его отличительный оттѣнокъ. Миѣ можетъ доставлять удовольствіе предметъ, самъ по себѣ безразличный, но выгодный для меня; однако, я ему не *удивляюсь*, слѣдующее говорить еще яснѣе въ пользу нашего положенія: дикарю могутъ быть выгодны не только *сила и хитрость союзника*, но также *слабость и глупость врага*, послѣднее ему, пожалуй, даже еще полезнѣе перваго; однако, при наличности этого обстоятельства слабосильный и глупый противникъ является въ его глазахъ предметомъ презрѣнія, а не *уваженія*. Поэтому чувство удивленія, уваженія, восторженнаго признанія, никакъ нельзя объяснить эгоистическими соображеніями, оно относится всегда къ предмету удивленія, какъ *таковому*.

Подобное сознаніе цѣнности чужой личности заключается уже въ той зависти, которая направляется на внутреннее содержаніе другого человѣка, а не на его имущество; это сознаніе заключается и въ возникающей отсюда ненависти вмѣстѣ съ соотвѣтствующимъ ей злорадствомъ. Какимъ образомъ дикарь или, пожалуй, для большей опредѣленности, человѣкъ, низко стоящій въ нравственномъ отношеніи, встрѣчающійся въ обществѣ цивилизованныхъ людей, можетъ ненавидѣть кого-нибудь, какъ личность высшую, какъ сильную натуру, какъ гордый характеръ? Какъ онъ можетъ ликовать, если такого рода личности случится обнаружить свои мелкія и слабыя стороны? Что ему до ея слабости? Отвѣтъ на это слѣдующій: дикарь или человѣкъ, низко стоящій въ нравственномъ отношеніи, *чувствуетъ* и вынужденъ *признавать* личное или моральное величіе человѣка, котораго онъ ненавидитъ; онъ сравниваетъ себя съ нимъ и при такомъ сравненіи кажется самъ себѣ и вдвое болѣе мелкимъ, и жалкимъ. Эта-то ничтожность и гнусность собственной личности и являются истиннымъ предметомъ его ненависти. Ненависть по отношенію къ человѣку болѣе высокому происходитъ изъ сознанія уваженія къ величію его личности и презрѣнія къ своей собственной. Она является

чувствомъ сильнаго недовольства нравственно низкаго человѣка, вынужденнаго уважать нравственно высокую личность и презирать самого себя. А его злорадство является радостью о томъ, что онъ можетъ по сравненію съ униженной теперь высокой личностью, чувствовать свою относительную величину.

Ничто не обнаруживаетъ съ такой непосредственностью могущества симпатическихъ чувствъ цѣнности и въ то же время чувствъ или мотивовъ собственной цѣнности, какъ такого рода зависть, ненависть и злорадство.

Подобнымъ же образомъ ребенокъ испытываетъ къ болѣе сильному энергичному и ловкому товарищу игръ чувство удивленія, а иной разъ — чувство зависти, ненависти, злорадства. И здѣсь оба рода чувствъ проистекаютъ изъ того же источника. Въ обоихъ случаяхъ у ребенка проявляется то же симпатическое чувство цѣнности личности, что и у дикаря, а, именно, и въ данномъ случаѣ при этомъ отрицательномъ или враждебномъ чувствѣ происходитъ сравненіе цѣнности собственной личности съ чужой: создается заблужденіе, будто *являешься* выше, достойнѣе, будто имѣешь *основаніе* для болѣе высокаго чувства собственной цѣнности, если ничтожество того, съ кѣмъ себя сравниваешь, порождаетъ *чувство* ничтожности своей личности въ меньшей мѣрѣ, чѣмъ прежде, или же полнѣе осуществляется чувство относительной собственной цѣнности. Заключающееся въ этомъ заблужденіе совершенно однородно съ „оптической“ иллюзіей, когда человѣкъ небольшого роста одинъ разъ очутится среди рослыхъ людей, другой—среди такихъ же или еще болѣе малорослыхъ; въ первомъ случаѣ онъ кажется себѣ вдвое меньше, а во второмъ—выше; послѣднее обстоятельство вызываетъ въ немъ радостное чувство по поводу мнимой высоты его роста. Зависть, ненависть, злорадство въ отношеніи того, кто нравственно выше, возникаетъ какъ результатъ подобнаго сравненія и подобной

иллюзии вълѣдствіе взаимодѣйствія чувствъ собственной цѣнности и симпатическаго чувства цѣнности.

На этомъ я не буду долѣе останавливаться, а вмѣсто того, сошлюсь и въ настоящемъ случаѣ на область фактовъ, на которую настойчиво указывали при изслѣдованіи альтруистическихъ чувствъ реальной цѣнности. Я имѣю въ виду факты *эстетической* симпатіи. Эстетическія чувства симпатіи, въ которыхъ, какъ уже однажды говорилось, состоитъ каждое эстетическое наслажденіе, не только *также* представляютъ собою симпатическія чувства цѣнности личности, но и являются *преимущественно* и по основнымъ своимъ свойствамъ видомъ послѣднихъ. Такъ, напримѣръ, восхищаясь какимъ-нибудь зданіемъ, мы наслаждаемся въ немъ силой и свободнымъ взаимодѣйствіемъ силъ, легкостью и могуществомъ, вѣрностью, спокойствіемъ, иначе — силой, легкостью, вѣрностью и тому подобнымъ качествомъ нѣкотораго какъ бы личнаго существа, уподобляемаго намъ. Отъ насъ и какъ бы изъ насъ эти качества переносятся на зданіе. Поэтому мы наслаждаемся цѣнностью личности. — Но мнѣ нѣтъ нужды повторять еще разъ, что эстетическія оцѣнки по своей природѣ не зависятъ отъ эгоистическихъ интересовъ.

Спрашивается, отчего симпатическія чувства цѣнности личности, повидимому, бываютъ такъ слабы; почему люди, кажется, такъ мало склонны уважать въ другихъ достоинство личности, признавать въ нихъ начала права и добра, судить о нихъ справедливо, охранять и умножать то, что даетъ другимъ человѣческое достоинство, слѣдовательно, нравственную цѣнность?

Мы отчасти дали на это отвѣтъ, говоря о зависти и злорадствѣ. Люди ненавидятъ въ душѣ великое, здоровое, свободное, такъ какъ все это даетъ имъ сильнѣе чувствовать собственное ничтожество, недугъ, рабство.

Впрочемъ, здѣсь тоже дѣйствуютъ общіе факторы: пред-

почтеніе, оказываемое эгоистическимъ интересамъ передъ всѣми другими; вопросъ о благахъ, счастья, удовольствіи, преобладающей надъ всѣмъ остальнымъ, выступаетъ впередъ даже тамъ, гдѣ дѣло идетъ о другихъ людяхъ, онъ оттѣсняетъ на задній планъ вопросъ о добрѣ, о цѣнности личности: далѣе, духовная косность и узость, мѣшающая намъ перенестись во внутреннюю сущность чужой личности, вѣрно узнать и точно оцѣнить ея черты и мысленно воспроизвести ихъ въ ихъ полномъ и истинномъ значеніи

Но въ данномъ случаѣ важнѣе всего слѣдующее: я говорилъ уже раньше, что отъ человѣка, неспособнаго чему-либо сердечно радоваться, мы не должны ожидать пониманія и сочувствія радости другихъ людей. Къ этому положенію намъ слѣдуетъ присоединить еще и другое: отъ человѣка, лишеннаго чувства собственнаго нравственнаго достоинства, нельзя ожидать пониманія и уваженія нравственнаго достоинства другихъ людей. Отсутствие уваженія къ нравственному достоинству другихъ людей, и равнодушіе къ тому, могутъ ли они быть людьми и чувствовать себя таковыми, даже намѣренное униженіе личности въ человѣкѣ, все это является признакомъ, что и съ собственнымъ нравственнымъ самосознаніемъ дѣло обстоитъ плохо.

Намъ извѣстно, почему иначе не можетъ и быть: чужая личность является для насъ въ послѣднемъ основаніи не чѣмъ инымъ, какъ нашей собственной личностью, ея модифицированнымъ повтореніемъ. Въ такомъ случаѣ и чужое достоинство является нашимъ собственнымъ достоинствомъ, чужая честь также нашей собственной; величіе другихъ людей оказывается нашимъ величіемъ, ихъ внутренняя широта и свобода—расширеніемъ и освобожденіемъ нашей собственной личности. Все это имѣетъ значеніе настолько, насколько чужая личность является для насъ вообще тѣмъ, что она есть на самомъ дѣлѣ, а именно, —не только тѣломъ и простымъ чувственнымъ явленіемъ, но личностью. Однако, чѣмъ болѣе мы сами смотримъ на себя не какъ на простое

тѣло, чѣмъ болѣе мы сознаемъ наше человѣческое достоинство, тѣмъ яснѣе становится для насъ, что и другіе суть люди, то-есть, личности. А въ такомъ случаѣ мы и въ нихъ *должны* уважать то, что мы уважаемъ въ самихъ *себѣ*. Если въ отношеніи другихъ людей у насъ не проявляется сознание человѣческаго достоинства, то у насъ его нѣтъ и въ отношеніи самихъ себя.

Мы можемъ сказать, что благородный, великодушный, свободный человѣкъ, гордая натура, хочетъ, чтобы и другіе люди были и могли себя чувствовать такими же, какъ онъ. Онъ уважаетъ всякаго рода достоинства, честность, всякое доброе хотѣніе, оправдываемое человѣческой природой. Онъ не топчетъ человѣческой личности, а ободряетъ ее. Истинный человѣкъ хочетъ, чтобы его окружали люди. Истинный человекъ—король въ царствѣ нравственнаго, король „божьей милостью“, въ собственномъ смыслѣ; ему хочется, чтобы и другіе люди были королями. Дѣйствительно властная „господская натура“ („Herrennatur“) ненавидитъ рабство во всякой формѣ и потому не хочетъ, чтобы другіе люди являлись и корчили ей рабовъ. Тотъ, кто самъ правдивъ и проникнутъ сознаниемъ значенія правдивости, чувствуетъ отвращеніе къ лести, самоуничиженію, пресмыкательству и низкопоклонству. Обратное, кто хочетъ, чтобы другіе люди были рабами въ отношеніи его или постороннихъ, чтобы они унижались, льстили, отрицали самихъ себя и собственныя убѣжденія, оказывали слѣпое повиновеніе, тотъ самъ по природѣ рабъ. Человѣкъ деспотически-надменный, высокомерный тиранъ, лишенъ нравственной гордости. Оттого мы и видимъ повсюду, что человѣкъ высокомерный превращается въ подобострастнаго, когда на него нападаетъ болѣе сильный; подобно тому, какъ рабъ становится деспотомъ, когда можетъ безнаказанно играть роль послѣдняго.—Читатель помнитъ приводившееся раньше положеніе, что матеріализмъ (практическій) и карьеризмъ характерны для нашей эпохи. Деспотическая заносчивость того, кому судьба или слабость дру-

гихъ людей дозволяетъ ее, является третьимъ отличительнымъ признакомъ нашего времени и происходитъ изъ одного корня съ карьеризмомъ.

Какъ мы видѣли, симпатическія чувства цѣнности личности не обуславливаются эгоистическими интересами. Напротивъ, тотъ фактъ, что этого рода чувства несомнѣнно находятся въ отношеніи зависимости къ альтруистическимъ чувствамъ реальной цѣнности, имѣетъ особенно важное значеніе. Только при этомъ не первыя зависятъ отъ послѣднихъ, а послѣднія отъ первыхъ.

Пусть какой-нибудь человѣкъ радуется счастливому результату нѣкотораго *низкаго* поступка. Въ такомъ случаѣ подобная радость является для насъ предметомъ не сорадованія, а—недовольства. И понятно, почему: радость этого человѣка обуславливается его злонамѣренностью, говоря вообще, она происходитъ изъ такого корня, такой черты характера, такого момента въ личности человѣка, которому мы не можемъ симпатизировать, съ которымъ мы не можемъ чувствовать себя въ согласіи.

Этотъ фактъ соотвѣтствуетъ тому, что уже раньше было сказано относительно основанія сочувствія. Я указывалъ, что радостный или печальный результатъ чужого переживанія, дошедшій до нашего свѣдѣнія, долженъ по своему характеру дѣйствовать въ насъ точно такъ же, какъ *подобный результатъ нашего собственнаго переживанія*. Въ нашемъ случаѣ это значитъ: радость по поводу удачи дурного поступка должна произвести въ насъ дѣйствіе, которое мы почувствовали бы въ себѣ, допустивъ, что радуемся въ настоящее время подобному поступку, совершенному нами. Сдѣлавъ однако это допущеніе, мы *стыдимся* такого рода радостнаго чувства. Поэтому мы осуждаемъ такую радость и у другого человѣка, если намъ становится о ней извѣстно. Намъ стыдно „вчужь за другого“, какъ гласитъ психологически вполне

удачное выраженіе обыденной жизни. Мы стыдимся потому, что въ насъ самихъ не только не существуетъ условій для такой радости, но мы, наоборотъ, подчиняемся воздѣйствію мотивовъ, противорѣчащихъ послѣдней. Въ силу этого мы не въ состояніи симпатизировать условіямъ, порождающимъ радость въ чужой личности, но должны оказывать имъ сопротивленіе.

Мы можемъ обобщить сказанное. Участіе къ чужой радости или горю не возникаетъ въ насъ просто само собой, а лишь въ предположеніи, что и въ насъ имѣются условія для осуществленія этихъ чувствъ, и что соотвѣтственно этому мы можемъ симпатизировать чужой личности, или той части ея существа, откуда возникаетъ радость или горе.

Но эта симпатія является чувствомъ цѣнности личности. Поэтому указанное участіе или „альтруизмъ“ *предполагаетъ наличность* симпатическаго чувства цѣнности личности, или возможность такового.

Я говорилъ вначалѣ, что чувства цѣнности личности являются основными и собственно этическими чувствами. Теперь это положеніе у насъ подтвердилось: согласно психологической закономерности удовольствіе доставляетъ намъ удовлетвореніе; слѣдовательно, оно можетъ быть цѣлью нашего хотѣнія лишь постольку, поскольку для насъ существуютъ цѣнности личности. Цѣнность личности является естественнымъ, а потому, необходимымъ образомъ, и этическимъ основаніемъ для побудительной силы чувства удовольствія.

Вослѣдствіи этотъ фактъ представится намъ во всемъ своемъ значеніи. Сначала же оставимъ его въ сторонѣ, чтобы намѣтить еще одинъ вопросъ, касающійся мотивовъ чело-вѣческаго хотѣнія вообще.

Можно ли съ точки зрѣнія этики требовать, чтобы мы были лишены какого-нибудь вида отмѣченныхъ нами моти-

вовъ, или чтобы одни мотивы дѣйствовали бы въ насъ *помимо* другихъ? Можетъ ли она, напримѣръ, требовать, чтобы въ насъ стали дѣйствовать только эгоистическіе мотивы, или чтобы эгоистическіе мотивы при нашемъ хотѣніи и дѣйствіяхъ не имѣли бы мѣста.

Очевидно, подобныя этическія требованія—безсмысленны. Этическія требованія являются выраженіемъ нашего нравственнаго сознанія, нашей собственной сущности. Поэтому нравственное требованіе не можетъ воспрещать того, что необходимо содержится въ нашей сущности, или что неизбежно изъ нея вытекаетъ. Нравственный законъ, противорѣчащій психологической необходимости или требующій, чтобы люди стали иными, чѣмъ они должны быть согласно обще-человѣческой природѣ,—не можетъ имѣть никакого значенія. Но существованіе, а слѣдовательно, и дѣйствіе, всѣхъ означенныхъ видовъ мотивовъ — является неизбежной психологической необходимостью.

Это мы можемъ выразить нѣсколько инымъ и болѣе общимъ образомъ: то, что мы осуждаемъ съ нравственной точки зрѣнія, мы означаемъ словомъ „зло“. Но ни съ какой точки зрѣнія, слѣдовательно, и съ точки зрѣнія нравственности, мы не можемъ осуждать того, что необходимымъ образомъ основано на человѣческой природѣ вообще, и въ частности—на нашей собственной. Поэтому никакое стремленіе, присущее человѣческой природѣ, никакое побужденіе, никакое желаніе, короче говоря, никакой общечеловѣческой, а потому понятный намъ, съ человѣческой точки зрѣнія, мотивъ не можетъ представлять для насъ „зло“.

Положимъ, въ какомъ-нибудь человѣкѣ я нахожу извѣстный мотивъ; то-есть, я знаю, что онъ внутренне стремится или преслѣдуетъ осуществленіе нѣкоторой намѣченной ранѣе цѣли. Въ томъ случаѣ, когда подобный мотивъ имѣетъ основаніе и въ моей природѣ, то-есть, когда *и мнѣ* свойственно преслѣдовать такимъ образомъ упомянутую цѣль,—тогда у меня получается сознаніе, что между мною и данной

личностью существуетъ соотвѣтствіе, поскольку именно личность проявляется въ этомъ мотивѣ. Это значитъ, что я не осуждаю, а, напротивъ, одобряю данный мотивъ. Одобрение, выраженное не въ словахъ, а внутреннимъ образомъ, въ чувствѣ и хотѣніи, состоитъ именно въ такого рода сознаниіи соотвѣтствія; подобнымъ же образомъ неодобрение или осужденіе заключается въ аналогичномъ сознаниіи конфликта. Однако предметъ моего одобренія является для меня хорошимъ. Слѣдовательно, всякій мотивъ, имѣющій основаніе въ общечеловѣческой природѣ, является для меня не зломъ, а *добромъ*, если разсматривать этотъ мотивъ самъ по себѣ.

Однако если дѣло обстоитъ такимъ образомъ, то какъ вообще возможно, что какое-нибудь человѣческое хотѣніе осуждается мною или является для меня зломъ?

Отвѣтъ на это уже указывается самимъ вопросомъ. Предметомъ нашего нравственнаго суда, а слѣдовательно, и нашего осужденія, являются не отдѣльные мотивы, какъ таковые, а хотѣніе, или вѣрнѣе, — *воля*. Воля же — не что иное, какъ личность въ томъ видѣ, какъ она обнаруживается въ актахъ хотѣнія или волевыхъ рѣшенійхъ. А къ этому относится не только каждое данное „хотѣніе“, но также и нехотѣніе того, что мы *могли бы* хотѣть въ томъ или другомъ случаѣ, слѣдовательно, не только дѣйствіе мотивовъ, но также недостатокъ такого дѣйствія, или порабощеніе и подавленіе этихъ мотивовъ другими.

Все это можно соединить въ одномъ выраженіи: предметомъ нашего нравственнаго суда, а потому и нравственнаго осужденія, является не какой-нибудь мотивъ, какъ таковой, а *отношеніе* мотивовъ или относительная энергія ихъ дѣйствія въ насъ. Волевыя рѣшенія происходятъ, когда одни мотивы дѣйствуютъ, *не встрѣчая сопротивленія* со стороны другихъ, или когда одни мотивы получаютъ *перевѣсъ* надъ другими. И лишь эта общая сущность дѣла можетъ быть предметомъ нравственнаго осужденія и называться зломъ.

Это ученіе подтверждается анализомъ всякаго безнрав

ственнаго дѣйствія; послѣдній долженъ только быть всегда полнымъ.

Пусть, напримѣръ, разбойнику хочется приобрести имущество или увеличить то, которымъ онъ уже владѣеть. Въ этомъ случаѣ зло состоитъ не въ желаніи, которое само по себѣ является даже хорошимъ, а въ томъ, что разбойникъ не подавляетъ этого желанія при видѣ чужого имущества изъ чувства уваженія къ нему.

Или, напримѣръ: кто изъ жестокости, доходящій до сладострастія медленно замучиваетъ другого до смерти, тому *хочется* сознанія могущества, превосходства; хочется, чтобы его жертва извивалась и стонала, такъ какъ въ этомъ невольно выражается признаніе превосходства силъ мучителя, признаніе тѣмъ болѣе выразительное, чѣмъ больше жертва оказывала сначала моральнаго сопротивленія. Жестокій человѣкъ растягиваетъ свое мучительство, чтобы тѣмъ долѣе сохранять такого рода чувство мощности. При этомъ стремленіе къ этому чувству, или къ поднятію и расширенію собственнаго существа, сказывающемуся въ немъ, само по себѣ не плохо, а хорошо. Зло же и гнусность заключаются въ томъ, что въ мучителѣ шевелится такъ мало человѣческаго сочувствія, что онъ изъ стремленія къ чувству мощности можетъ употреблять такія средства.

Я выбралъ этотъ послѣдній примѣръ потому, что при немъ является возможнымъ еще одно возраженіе. Почему человѣкъ, отдавшійся во власть жестокосердію, ищетъ усиленія своего самосознанія на этомъ именно пути? Или почему онъ ищетъ какъ разъ *такого своеобразнаго* чувства мощности? Ибо вѣдь въ данномъ случаѣ рѣчь идетъ, несомнѣнно, о чувствѣ подобнаго характера; при чемъ боль, испытываемая жертвой, не является сама по себѣ безразличнымъ средствомъ, напротивъ—способствуетъ своеобразному наслажденію. Жестокій человѣкъ наслаждается извѣстнымъ образомъ такою *болью* и *хочетъ* ею наслаждаться. Жестокій слѣдуетъ такому мотиву, заключающему въ себѣ извращеніе человѣческой при-

роды. А этотъ мотивъ мы должны осудить, *какъ таковой*. Слѣдовательно, въ жестокомъ дѣйствуетъ мотивъ *самъ по себѣ злой*

Въ этомъ возраженіи истина соединена съ неясностью въ психологическомъ отношеніи. Справедливо, что удовольствіе, доставляемое жестокостью, должно разематриваться, какъ *своеобразное* наслажденіе. Жестокой, какъ говорится, *„содрогается“* отъ боли своей жертвы. Такое наслажденіе и для него является въ извѣстномъ смыслѣ ужаснымъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ оно является для него высшимъ.

Что же однако это значить? Прежде всего — что и для жестокаго человѣка боль его жертвы сама по себѣ составляетъ предметъ не удовольствія, а — *неудовольства*. И для него эта боль является чѣмъ-то неестественнымъ, чѣмъ-то противорѣчащимъ праву каждаго на наслажденіе своимъ существованіемъ. И поскольку его *дѣйствіе порождаетъ* боль, оно является для него съ характеромъ неестественности и противорѣчія его собственному естественному чувствованію и хотѣнію. Онъ не *стремится* къ причиненію своей жертвѣ боли, *какъ таковой*, а напротивъ, подобно намъ, *сопротивляется* послѣдней. Но ему именно и хочется создать то, что вызываетъ его сопротивленіе. Онъ страстно стремится къ тому, что возбуждаетъ въ немъ отвращеніе. И намъ понятна возможность такого положенія дѣла. То обстоятельство, что его дѣйствіе неестественно, производитъ на него тѣмъ *больше впечатлѣнія*. То, что это дѣйствіе противорѣчитъ всѣмъ правиламъ естественнаго человѣческаго поведенія, слѣдовательно, является *экстраординарнымъ, необычнымъ* въ высшемъ смыслѣ слова, придаетъ мысли о немъ больше силъ и въ то же время повышаетъ сопровождающее его чувство дѣятельности или мощности. Такимъ образомъ наслажденіе или удовольствіе усиливается, между тѣмъ какъ предметъ его заключаетъ въ себѣ нѣкоторый посредствующій моментъ неудовольства.

Ничто подобное мы встрѣчаемъ и въ другихъ случаяхъ. Я не буду здѣсь подробнѣе касаться этой задачи въ ея общей постановкѣ. Напомню лишь одинъ случай такого же

характера. Я имѣю въ виду чувство трагическаго. Трагическая личность страдаетъ. Это страданіе само по себѣ является для насъ предметомъ недовольства. Оно противрѣчить тому, что мы, естественно, требуемъ для человѣка. Но какъ разъ вмѣстѣ съ этимъ усиливается возвышенное наслажденіе тѣмъ великимъ въ человѣческомъ существѣ, или достойнымъ человѣческаго участія, которое выступаетъ передъ нами въ трагической личности. Это страданіе придаетъ чувству трагическаго особенный характеръ. И въ данномъ случаѣ мы чувствуемъ, что „содрогаемся“. Въ то же время чувство трагическаго является наслажденіемъ особенно интенсивнымъ, захватывающимъ, покоряющимъ.

Это происходитъ по общему психологическому закону. Основанія недовольства находятся въ опредѣленной непосредственной связи съ основаніями удовольствія, доставляютъ послѣднему новый характеръ и въ то же время усиливаютъ его интенсивность.

Этому закону подчиняется также и жестокой человѣкъ. Послѣднее обстоятельство опять-таки нельзя порицать. Мы не можемъ также осуждать дѣйствія общаго психологическаго закона въ человѣкѣ.

Но изъ отмѣченнаго здѣсь факта не вытекаетъ никакого измѣненія въ нашемъ воззрѣніи на природу зла. Жестокое удовольствіе зависитъ одновременно, подобно чувству трагическаго, отъ опредѣленнаго *отношенія дѣйствія моментовъ удовольствія и недовольства*. Подобное чувство удовольствія возникаетъ и можетъ возникать лишь въ томъ случаѣ, когда недовольство, причиняемое болью жертвѣ, то-есть сочувствіе къ послѣдней, *мало* сравнительно съ удовольствіемъ отъ сознанія мощи. Напротивъ, оно переходитъ въ ужасъ и отвращеніе, когда это сочувствіе получаетъ всю свою силу. Такимъ же образомъ и наслажденіе *трагическимъ* можетъ переходить въ ужасъ, когда страданіе трагической личности, а вмѣстѣ съ нимъ наше чувство недовольства достигаетъ несмягченной ничѣмъ остроты. Поэтому родъ и высоту

нравственнаго сочувствія отдѣльныхъ личностей и эпохъ можно опредѣлить, между прочимъ, еще и по тому, что способно вызывать въ нихъ наслажденіе трагическимъ. Существуетъ видъ чувства наслажденія трагическимъ, подобный жестокому удовольствію: онъвозможенъ лишь на извѣстной ступени нравственной дикости.

Такимъ образомъ мы здѣсь опять пришли къ нашему положенію: зло заключается въ отношеніи между силою мотивовъ, а именно, въ перевѣсѣ однихъ мотивовъ, самихъ по себѣ хорошихъ и дозволительныхъ, надъ другими, и въ подавленіи этихъ послѣднихъ,—говоря точнѣе, оно состоитъ въ перевѣсѣ высшихъ мотивовъ надъ низшими, которые отъ этого сами по себѣ еще не являются плохими.

Съ этимъ связывается еще одинъ вопросъ. Очевидно, что болѣе высокой мотивъ можетъ получить преобладаніе двоякимъ образомъ: во-первыхъ, путемъ усиленія самого себя, во-вторыхъ, ослабленіемъ болѣе низкаго мотива. Какая изъ обѣихъ возможностей желательна съ нравственной точки зрѣнія? Или, можетъ быть, обѣ—нравственно-равноцѣнны?

Вернемся къ примѣру съ „разбойникомъ“. Въ данномъ случаѣ по мнѣнію того, кто порицаетъ разбойника, болѣе высокимъ мотивомъ является уваженіе къ чужому имуществу или вообще къ существующему имущественному порядку вещей; болѣе низкимъ—стремленіе къ собственному обогащенію.

Допустимъ же, что въ разбойникѣ получаетъ преобладаніе болѣе высокой мотивъ,—не потому, чтобы онъ проникся большимъ уваженіемъ къ существующему порядку имущественныхъ отношеній (положимъ, что до послѣдняго ему очень мало дѣла), а только потому, что побужденіе къ приобрѣтенію собственнаго имущества—еще *меньше*. Разбойникъ отказывается отъ грабежа исключительно потому, что онъ слишкомъ лѣнивъ: потому, что и самая мысль объ обладаніи имуществомъ, о большей свободѣ дѣятельности и свободной

жизни, благодаря такому обладанію, не въ состояніи вызвать въ немъ замѣтной внутренней реакціи.

Это даетъ отвѣтъ на поставленный выше вопросъ. Если бы съ нравственной точки зрѣнія было безразлично, сильны или слабы болѣе высокіе и наивысочайшіе мотивы у даннаго человѣка, если бы требовалось лишь то, чтобы они были сильнѣе низшихъ мотивовъ, тогда и самый вялый и самый нравственно-тупой и совершенно слабый человѣкъ, могъ бы заслужить высшее нравственное одобреніе. Въ такомъ случаѣ нравственное величіе, моральная энергія, благородная страсть оказались бы лишенными всякаго значенія. Добродѣтель стала бы чѣмъ-то отрицательнымъ. Въ самомъ дѣлѣ существуетъ подобная точка зрѣнія. Людей, которые „воды не замутиятъ“, называютъ „хорошими людьми“. Но это — точка зрѣнія эгоизма, успѣха, утилитарныхъ соображеній. Эти „добрые“ люди намъ не *вредятъ*; они не нарушаютъ покоя, а можетъ быть, и сна буржуазнаго общества.

Но, принимая во вниманіе личность, какъ таковую, и производя соотвѣтственную оцѣнку, мы судимъ иначе. Въ этомъ случаѣ всякая величина, всякая энергія, живость, полная силы подвижность, разсматриваемыя сами по себѣ, пріобрѣтаютъ цѣнность. Онѣ могутъ вызывать въ насъ удивленіе, хотя бы и являлись ужасными въ крайностяхъ своего развитія и своихъ послѣдствіяхъ. Во всякомъ случаѣ *нравственное* величіе, *благородная* страсть не можетъ не имѣть для насъ значенія. Поэтому въ сущности мы требуемъ не того, чтобы низшіе мотивы дѣлались все болѣе и болѣе слабыми, а того, чтобы болѣе высокіе и наивысочайшіе мотивы дѣлались все сильнѣе и сильнѣе. Для насъ является долженствующимъ быть не устраненіе чего-нибудь положительнаго, относящагося къ человѣческой личности во всей ея полнотѣ, а напротивъ, наибольшее развитіе того, что дѣлаетъ послѣднюю человѣкомъ въ самомъ *высокомъ* смыслѣ слова.

Такъ и должно быть, если, какъ мы видѣли, все поло-

жительное въ человѣкѣ, всякое стремленіе или мотивы, разсматриваемые сами по себѣ, дѣйствительно хороши. Ибо все должно быть. Но лучшее должно быть еще въ большей мѣрѣ: оно должно господствовать.

Теперь мы можемъ сказать опредѣленіе: въ чемъ состоитъ зло въ человѣкѣ? Оно — отрицаніе, отсутствіе того, что должно быть, слабость того, что должно быть въ высшей степени сильно. Зломъ является не *хотѣніе* человѣка, а *отсутствіе хотѣнія*.

Поясненіемъ такому отношенію вещей можетъ служить подобное же отношеніе въ интеллектуальной области. Въ сферѣ познанія дѣйствительности отдѣльному мотиву соответствуетъ отдѣльный опытъ. Подобно тому какъ никакой отдѣльный мотивъ, какъ таковой, не является дурнымъ, такъ и ни одинъ отдѣльный опытъ, какъ таковой, не бываетъ ложнымъ, а напротивъ, каждый содержитъ въ себѣ элементъ истины. Ложнымъ можетъ быть только сужденіе. Последнее же есть *отношеніе* между опытными данными, нашъ способъ соединять мысленно содержаніе опыта и приводить его во взаимную связь. Всякій опытъ, а также и тотъ, по которому мнѣ кажется, что луна стоитъ въ настоящее время на высотѣ одного метра надъ сосѣдней крышей, — имѣетъ свое право и значеніе на своемъ мѣстѣ и въ данной своей связи съ другими опытами. Знающимъ является не тотъ, кто дѣлаетъ одни опыты, а не другіе, а напротивъ, — тотъ, кто всякому опыту указываетъ его истинное *мѣсто*.

Нѣтъ также и ложнаго *мышленія*, которое можно было бы противопоставить истинному, какъ мышленіе иного рода. Ложность мышленія состоитъ въ его неполнотѣ. Подобное неполное мышленіе вмѣстѣ съ неполнымъ опытомъ даетъ основаніе заблужденію въ области разсудочнаго познанія. Такое заблужденіе представляетъ нѣчто отрицательное, а не положительное.

То же самое относится и къ нравственному заблужденію, т. е. злу. Въ области нравственнаго хотѣнія тоже суще-

ствуешь мышление, моральное размышление. Последнее также может являться неполнымъ и такимъ образомъ вести къ ошибкѣ, а эта въ свою очередь—къ злу.

Итакъ, говоря точнѣе, есть два источника зла: слабость мотивовъ и заблужденіе или обманъ, и прежде всего—самообманъ. Такимъ образомъ мы видѣли, что зависть и злорадство основываются на нѣкоторомъ обманѣ: болѣе или менѣе сильное *чувство* собственного недостатка принимается за самый *недостатокъ* въ большей или меньшей степени. Человѣку иногда кажется, что онъ дѣлается богаче, когда другой терпитъ убытокъ, потому что тогда его собственная бѣдность *чувствуется* не столь живо, какъ раньше.

Поскольку нравственное основывается на нѣкоторомъ *отношеніи* мотивовъ, на нѣкоторомъ ихъ *строгѣ*, или *порядкѣ*, постольку нравственный законъ требуетъ наличности такого *порядка*. Порядокъ это—форма. Поэтому нравственный законъ требуетъ нѣкоторой формы, а, именно, формы нашего внутренняго поведенія. Постольку онъ является закономъ формы или только „формальнымъ“ закономъ. Объ этой формѣ рѣчь будетъ впереди.

Третья лекція.

Дѣйствіе и нравственный строй личности.

(Эвдемонизмъ и утилитаризмъ).

Что является *предметомъ нравственной оцѣнки*? Что называемъ мы нравственно-цѣннымъ или нравственно-негоднымъ? На это, конечно, можно отвѣтить прежде всего: человѣческія дѣйствія.

Затѣмъ можно спросить: что въ человѣческихъ дѣйствіяхъ подвергается нравственной оцѣнкѣ? Процессы ли, являющіеся внѣшней формой этихъ дѣйствій? Ихъ ли имѣемъ мы въ виду, называя „дѣйствія“ достойными или негодными съ точки зрѣнія нравственности?

Послѣдняго никто не можетъ думать. Если я спасаю человѣка отъ утопленія, то внѣшній процессъ моего дѣйствія состоитъ въ извѣстныхъ движеніяхъ: плаванія, нырнія, схватыванія и т. д. Послѣднія могутъ быть исполнены сильно, пожалуй, красиво и — сообразно съ этимъ — могутъ заслуживать похвалы съ *эстетической* стороны. Но нравственная цѣнность дѣйствія въ данномъ случаѣ не при чемъ.

Однако „дѣйствія“ не *заключаются* только въ этихъ внѣшнихъ процессахъ. Къ „дѣйствованію“ относится хоть-ніе. Дѣйствія суть процессы, основывающіеся на познава-

тельныхъ и волевыхъ актахъ моей личности. Последнее обстоятельство заключается непосредственно въ самомъ понятіи дѣйствія.

Въ такомъ случаѣ возможны два отвѣта на нашъ вопросъ. Первый гласить такъ: дѣйствія являются цѣнными или негодными съ точки зрѣнія нравственности, смотря по *свойству ихъ основанія* въ моей личности. Второй отвѣтъ можно формулировать такъ: нравственная цѣнность дѣйствій зависитъ отъ ихъ слѣдствій или *результата*.

Эту противоположность можно обозначить также и инымъ образомъ. Основаніемъ дѣйствія являются акты сознанія и воли дѣйствующей личности; это обстоятельство, какъ только-что было сказано, относится къ самому „дѣйствію“. Дѣйствіе состоитъ изъ внѣшняго процесса, *включая* сюда и способъ, какимъ дѣйствующая *личность осуществляетъ его*. Напротивъ, *результатъ* дѣйствія есть нѣчто, лежащее *внѣ* самого дѣйствія и лишь въ послѣдствіи къ нему *присоединяющееся*. Дѣйствіе „само по себѣ“ остается *однимъ и тѣмъ же*, каковъ бы ни былъ его случайный результатъ. Оно осталось бы *однимъ и тѣмъ же*, даже если бы оказалось *совсѣмъ* безъ результата.

Согласно этому, мы въ состояніи различать обѣ возможности также и слѣдующимъ образомъ: дѣйствія могутъ имѣть нравственную цѣнность или не имѣть ея, то-есть, быть негодными въ нравственномъ отношеніи,—во-первыхъ, „*сами по себѣ*“, иными словами, въ качествѣ опредѣленныхъ дѣйствій, опредѣленнымъ образомъ зависящихъ отъ дѣйствующей личности; во-вторыхъ, въ силу *вытекающаго* изъ нихъ *результата*.

Однако обѣ возможности не исключаютъ другъ друга. Дѣйствія могутъ обладать „нравственной цѣностью“ *какъ* на томъ, *такъ* и на другомъ основаніи. Зато тѣмъ *вѣрнѣе* должны мы различать то и другое. Задаваясь вопросомъ о нравственной цѣности дѣйствій, мы должны особенно опредѣленнымъ образомъ знать, понимаемъ ли мы эту „нравственную цѣнность“ въ томъ или другомъ смыслѣ;

такъ какъ, очевидно, „нравственная цѣнность“ имѣеть въ обоихъ случаяхъ *различный смыслъ*; въ каждомъ случаѣ эта *цѣнность* является *различной*.

Существуютъ нравственныя цѣли, которыя должны быть осуществлены; онѣ заключаются въ одномъ понятіи—„добро“. Добро *должно быть*, и мы должны вызывать его къ жизни. Поскольку дѣйствіе способствуетъ осуществленію въ мірѣ добра, оно, безъ сомнѣнія, цѣнно, и цѣнно съ нравственной точки зрѣнія; то-есть, съ этой точки зрѣнія *отрадно*, что данное дѣйствіе совершилось; послѣднее хорошо потому, что *творитъ* хорошее.

Въ этомъ смыслѣ хорошему дѣйствію можно противопоставить „худое“, безотрадное, *достойное сожалѣнія* съ нравственной точки зрѣнія. Дѣйствіе худо, если оно, вмѣсто осуществленія въ мірѣ добра, уничтожаетъ его, и вмѣсто содѣйствія нравственнымъ цѣлямъ вредитъ имъ.

Но мы проводимъ ясное различіе между *худымъ* дѣйствіемъ и *злымъ, неблагороднымъ, постыднымъ, дурнымъ*; между дѣйствіями, заслуживающими съ точки зрѣнія нравственности: одно—сожалѣнія, а другое—порицанія. Подобнымъ же образомъ должны мы различать дѣяніе „хорошее“, то-есть дѣйствіе, дающее благіе результаты, отъ дѣяній, или дѣйствій „*по самому существу своему*“ добрыхъ, *благородныхъ*, нравственно *одобрительныхъ* и *похвальныхъ*.

Наше разсужденіе вскрываетъ двойственный смыслъ понятія „нравственно-цѣнное“. Дѣйствіе можетъ быть нравственно-цѣннымъ въ томъ смыслѣ, что оно ^{не} только не плохо, не вредно въ отношеніи нравственности, не заслуживаетъ сожалѣнія съ нравственной точки зрѣнія, а напротивъ, хорошо, то-есть, творитъ добро, а потому является *отраднымъ*. Съ другой стороны, оно можетъ быть нравственно-цѣннымъ въ томъ смыслѣ, что оно не плохо, не постыдно, не достойно порицанія, а напротивъ, хорошо, то-есть, хорошо *само по себѣ*, *благородно, похвально*.

Указанная въ данномъ случаѣ противоположность ме-

жду „нравственно-цѣннымъ“ или „хорошимъ“, то-есть, „производящимъ хорошее“, съ одной стороны, а съ другой— „нравственно-цѣннымъ“ или „хорошимъ“, то-есть, „самимъ по себѣ хорошимъ“—имѣетъ чрезвычайное, даже рѣшающее значеніе, съ точки зрѣнія этики; такое же этическое значеніе имѣетъ и противоположность между „дурнымъ“ и „плохимъ“, другими словами—между „вреднымъ“ и „постыднымъ“ въ нравственномъ отношеніи, противоположность, соотвѣтствующая вышеприведенной. Плоха была бы система морали, которая вздумала бы игнорировать этотъ двойственный смыслъ понятія „нравственно-цѣнное“.

Мы, съ своей стороны, примемъ его во вниманіе. Я сказалъ уже раньше, что мы должны знать, въ какомъ смыслѣ мы употребляемъ слово „нравственно-цѣнное“, если спрашиваемъ о нравственной цѣнности дѣйствій. Теперь я могу сказать, въ какомъ смыслѣ мы пользуемся здѣсь этимъ словомъ. Точнѣе нашъ вопросъ гласитъ: *что дѣлаетъ дѣйствіе хорошимъ, то-есть, добрымъ самимъ по себѣ, похвальнымъ, благороднымъ; или, съ другой стороны, что дѣлаетъ его плохимъ, неблагороднымъ, заслуживающимъ порицанія съ нравственной точки зрѣнія.* Въ данномъ случаѣ мы беремъ слово „нравственно-цѣнное“ въ такомъ именно смыслѣ. На ряду съ этимъ мы прекрасно видимъ и другой смыслъ этого выраженія.

Напротивъ, *утилитаризмъ* совершенно игнорируетъ этотъ двойственный смыслъ разсматриваемаго понятія. Правда, и утилитаристъ спрашиваетъ, что дѣлаетъ дѣйствіе хорошимъ; но онъ видитъ при этомъ только одинъ смыслъ слова, совсѣмъ упуская изъ виду другой. „Хорошее“ для него заранѣе означаетъ: *творящее добро.*

Дѣйствіе, творящее добро, является для утилитариста уже тѣмъ самымъ, безъ дальнѣйшихъ разсужденій, цѣннымъ съ нравственной точки зрѣнія. Какъ разъ такого рода пониманіе, подобное отсутствіе различенія совершенно разныхъ вопросовъ и дѣлаетъ человѣка „утилитаристомъ“.

Точнѣе говоря, утилитаристъ утверждаетъ, что нравственная цѣнность дѣйствія измѣряется его *пользою*. Утилитаризмъ, по смыслу слова, есть теорія *морали*, основанная на точкѣ зрѣнія *полезности* объекта нравственной оцѣнки. Съ этой точки зрѣнія цѣнность человѣческихъ дѣйствій по отношенію къ ихъ полезности непременно равнозначуща ихъ нравственной цѣнности.

Разумѣется, необходимо прибавить, что въ своемъ воззрѣніи утилитаризмъ отнюдь не является послѣдовательнымъ. Послѣдовательность вообще не свойственна утилитаристической теоріи. Навѣрное, никогда не встрѣчалось теоріи морали, въ которой царствовала бы столь большая путаница мыслей. Безъ сомнѣнія, этимъ прежде всего объясняется успѣхъ утилитаризма: каждый, въ концѣ концовъ, могъ заимствовать изъ этой теоріи то, что ему нравилось.

Прежде всего утилитаризмъ смѣшиваетъ себя, такъ сказать, принципиально съ эвдемонизмомъ, или теоріей морали, построенной на принципѣ счастья: „мораль полезности или мораль счастья“, такъ прямо и говоритъ одинъ изъ вождей этого направленія, Джонъ Стюартъ Милль.

Но мораль полезности не то же, что мораль счастья. Польза не равнозначуща счастью. Счастье есть удовольствіе; доставить меня то, что мнѣ доставляетъ удовольствіе. Напротивъ, *полезно* то, что *служитъ* къ удовольствію или счастью, *вызываетъ* его къ *жизни* или содѣйствуетъ ему, а также содѣйствуетъ и сохраненію удовольствія или счастья.

Что-нибудь можетъ создавать счастье, отнюдь не будучи полезнымъ. Съ другой стороны, полезное можетъ само по себѣ вовсе не быть предметомъ удовольствія. Такимъ образомъ художественныя, музыкальныя или драматическія представленія даютъ счастье или могутъ его давать слушателю или зрителю; однако они не приносятъ ему пользы, да отъ нихъ этого и не требуется. И обратно, какая-нибудь хирургическая операція, являющаяся сама по себѣ прямой

противоположностью того, что даетъ счастье, можетъ быть очень полезна.

Между тѣмъ утилитаризмъ не различаетъ ни того, ни другого. При этомъ онъ опирается на рядъ двусмысленныхъ понятій, и прежде всего—на особенно часто употребляющееся понятіе „*приносящихъ счастье*“ или, выражаясь сокращенно, „*счастливыхъ слѣдствій*“ (*Glücksfolgen*). Утилитаризмъ охотно характеризуетъ свою точку зрѣнія утверженіемъ, что нравственная цѣнность дѣяній опредѣляется ихъ приносящими счастье дѣйствіями или слѣдствіями. Двусмысленность этого положенія очевидна. Это можетъ значить: нравственная цѣнность дѣйствій основывается на счастливыхъ слѣдствіяхъ, то-есть, на *слѣдствіяхъ, приносящихъ счастье*, или же: она основывается на *вытекающемъ изъ этихъ дѣйствій* счастьѣ. Музыка, напримѣръ, влечетъ счастливыя слѣдствія въ первомъ значеніи этого слова, когда она облегчаетъ людямъ маршировать, когда, слѣдовательно, она дѣлаетъ маршировку пріятнѣе или веселѣе. Музыка влечетъ счастливыя слѣдствія во второмъ значеніи слова, когда она сама по себѣ доставляетъ удовольствіе и счастье. Въ первомъ случаѣ она производитъ *то, что создаетъ счастье или услаждаетъ*, во второмъ она сама непосредственно создаетъ *счастье*: поэтому, въ первомъ случаѣ „цѣнность“ музыки понимается съ утилитаристической точки зрѣнія, во второмъ—съ эвдемонистической. Но въ обоихъ случаяхъ можно сказать, что музыка влечетъ „счастливыя слѣдствія“.

Къ счастью однако, намъ нѣтъ нужды слишкомъ настаивать на раздѣленіи утилитаризма и эвдемонизма. Я намѣренъ выступить какъ противъ того, такъ и противъ другого. Но для этого нѣтъ необходимости разсматривать ихъ порознь. Для меня достаточно опровергнуть эвдемонизмъ; тогда утилитаризмъ будетъ опровергнутъ вмѣстѣ съ нимъ.

Удовольствіе, которое я получилъ отъ *пользы*, приносимой дѣйствіями, представляетъ особый случай удовольствія, получаемого мною *вообще* отъ дѣйствій. Поэтому, если

невѣрно, что цѣнность дѣйствій измѣряется вытекающимъ изъ нихъ удовольствіемъ, то также невѣрно, что она измѣряется ихъ пользою.

Мы встрѣчаемъ еще одну неясность у утилитаристовъ и у эвдемонистовъ. Дѣйствія полезны, когда они приносятъ пользу, или они приносятъ счастье, когда... приносятъ счастье, при чемъ, совершенно безразлично, является ли польза или счастье *предметомъ намѣренія* дѣйствующаго лица. Утилитаристъ, измѣряющій цѣнность дѣйствія на основаніи его пользы, или эвдемонистъ, измѣряющій его цѣнность по его счастливому результату вовсе не должны, слѣдовательно, спрашивать о намѣреніи.

Но мы видимъ повсюду, что такой строгій утилитаризмъ и эвдемонизмъ переходитъ въ утилитаризмъ или эвдемонизмъ, называющій дѣйствія нравственными потому, что послѣднія *преслѣдуютъ* пользу (утилитаризмъ) или счастье (эвдемонизмъ). Или, говоря короче, мы видимъ, что съ утилитаризмомъ и съ соотвѣтствующимъ ему эвдемонизмомъ, стоящими на точкѣ зрѣнія *результата*, сливаются утилитаризмъ и эвдемонизмъ, стоящіе на точкѣ зрѣнія *намѣренія*. Мы же, конечно, должны будемъ различать эти двѣ точки зрѣнія.

Наконецъ, утилитаристъ и эвдемонистъ *сами* различаютъ двѣ другія возможные точки зрѣнія, а именно, 1) *индивидуальный* утилитаризмъ и эвдемонизмъ и 2) утилитаризмъ и эвдемонизмъ *соціальный*. Первые два, какъ указываютъ ихъ названія, измѣряютъ нравственную цѣнность дѣйствія пользою или счастьемъ, приносимыми *дѣйствующему индивиду*; а два послѣдніе—пользою или счастьемъ, вытекающими изъ дѣйствія для *человѣческаго общества*.

Разсмотримъ сперва вкратцѣ индивидуальный эвдемонизмъ—и вмѣстѣ съ тѣмъ индивидуальный утилитаризмъ. Прежде всего спрашивается: какъ объяснить существованіе этой теоріи?

Повидимому, слѣдующимъ образомъ. Я уже формулировалъ однажды несомнѣнно твердо установленный психологическій фактъ, выставивъ такое положеніе: всякій разъ, когда намъ чего-нибудь хочется, хотѣніемъ неизбѣжно объемлется и то, что собственный предметъ хотѣнія, или его конечная цѣль представляется намъ, какъ нѣчто относительно услаждающее, удовлетворяющее, приносящее счастье. Или въ нѣсколько иныхъ словахъ: всякій разъ, какъ мы чего-нибудь хотимъ, чувство относительнаго удовольствія соединяется съ мыслями объ осуществленіи предмета хотѣнія, съ мысленнымъ предвосхищеніемъ цѣли.

Въ настоящемъ случаѣ разсмотримъ этотъ фактъ еще болѣе точнымъ образомъ. Я уже раньше дѣлалъ удареніе на словѣ „относительно“. Мысль объ осуществленіи предмета хотѣнія услаждаетъ насъ болѣе, чѣмъ мысль о неосуществленіи его, или мысль объ осуществленіи *вмѣсто него* какого-нибудь другого предмета представленія, предполагаемаго равнымъ образомъ возможнымъ. Это послѣднее мы можемъ выразить еще болѣе опредѣленнымъ образомъ: всякій разъ, какъ при хотѣніи мы „производимъ выборъ“ между различными возможностями, которыя мы себѣ представляемъ, всякій разъ, какъ мы „высказываемъ рѣшеніе“ въ пользу одной изъ нихъ, „отдаемъ ей предпочтеніе“ передъ другими,—для насъ мысль объ осуществленіи избранной или предпочтенной возможности необходимымъ образомъ является въ моментъ выбора болѣе услаждающей и болѣе утѣшительной по сравненію съ мыслью объ осуществленіи другихъ отвергнутыхъ возможностей.

Въ то же время имѣеть силу и обратное: если мысль объ осуществленіи нѣкоторой цѣли является для меня въ настоящую минуту болѣе радостной, чѣмъ мысль объ осуществленіи какой-нибудь другой, могущей осуществиться вмѣсто первой, то я по необходимости *хочу* первую *предпочтительно* предъ послѣдней. Или короче: мое *хотѣніе* отдаетъ предпочтеніе тому же, къ чему склоняется и мое *чувство*.

Этому нечего удивляться. Наше чувствованіе и наше хотѣніе вѣдь и являются не чѣмъ инымъ, какъ двумя сторонами одной и той же реальной сущности, а не самостоятельными, существующими рядомъ другъ съ другомъ, психологическими фактами. Въ этомъ отношеніи психологія повседневной жизни въ томъ видѣ, какъ ее запечатлѣла наша рѣчь, нисколько не колеблется. „Мнѣ нравится“ дѣлать что-нибудь или „мнѣ не нравится“, а также я „*хочу*“ и соотвѣтственно этому „не хочу“ дѣлать что-либо, эти различныя выраженія обозначаютъ приблизительно одно и то же. Подобнымъ же образомъ и „предпочитать“ значить въ одно и то же время, что какая-нибудь вещь *удовлетворяетъ* меня въ большой степени, чѣмъ другая, а также, что я *хочу* ее *больше* какой-нибудь другой. „Предпочтеніе“ есть „болѣе сильное“ хотѣніе, то-есть, хотѣніе, сопровождаемое большимъ удовольствіемъ.

Остается сдѣлать еще одно добавленіе. Хотѣніе можетъ быть понимаемо въ болѣе узкомъ и въ болѣе широкомъ смыслѣ. Въ послѣднемъ оно охватываетъ также и „*желаніе*“; въ болѣе же узкомъ смыслѣ слово „хотѣніе“ *противопоставляется* простому „желанію“. Желать я могу и невозможнаго; хотѣть же въ болѣе узкомъ смыслѣ слова я въ состояніи только *возможное* или *представляемое, какъ возможное*.

Отсюда вытекаетъ слѣдующее. Выше мы высказали положеніе, что при волевомъ актѣ мы всегда оказываемъ предпочтеніе тому, осуществленіе чего намъ кажется пріятнѣе; если мы будемъ понимать хотѣніе въ только что очерченномъ, болѣе узкомъ смыслѣ, то должны это предложеніе дополнить слѣдующимъ ограниченіемъ: поскольку соперничающія цѣли кажутся *одинаково достижимыми*. Если, какъ мы сказали, хотѣніе въ болѣе узкомъ смыслѣ слова обуславливается возможностью достигнуть цѣли, которая представляется нашему уму, если, слѣдовательно, отсутствіе такой возможности разрушаетъ „хотѣніе“, то очень легко можетъ случиться, что мы захотимъ осуществленія менѣе

приятной для насъ цѣли. Для этого достаточно, чтобы то, мысленное осуществленіе чего доставляетъ намъ удовлетвореніе въ болѣе высокой мѣрѣ, оказалось труднѣе осуществимымъ или въ меньшей степени вѣроятнымъ. Въ такомъ случаѣ мы окажемъ предпочтеніе въ нашемъ волевомъ актѣ тому, что является возможнымъ или достижимымъ съ большей вѣроятностью. Обладать журавлемъ въ небѣ для насъ „приятнѣе“, чѣмъ синицей въ рукахъ; но первое — невѣроятно, а потому мы „хотимъ“ имѣть лучше синицу.

Мы должны, поэтому, сказать: изъ двухъ цѣлей, *кажущихся мнѣ равно возможными*, я по необходимости отдаю предпочтеніе въ моемъ волевомъ актѣ той, осуществленіе которой мнѣ представляется въ настоящую минуту болѣе удовлетворяющимъ.

Напротивъ, слѣдующее добавленіе является уже излишнимъ: допустимъ, восхожденіе на высокую гору, съ которой открывается далекій видъ, представляется мнѣ весьма удовлетворяющимъ. Тѣмъ не менѣе я не хочу подниматься на гору вслѣдствіе соединеннаго съ этимъ *труда*. На это я замѣчу, что въ этихъ разсужденіяхъ я разумью подѣ осуществленіемъ цѣли такое осуществленіе, которымъ объемлются всѣ побочныя обстоятельства, а потому и тотъ трудъ, который требуется для этого затратить.

Этотъ фактъ, упоминавшійся уже ранѣе и здѣсь лишь нѣсколько точнѣе указанный, можно было бы обозначить, какъ психологическій фактъ эвдемонизма. Это названіе было бы совершенно законнымъ: каждое наше сознательное хотѣніе въ смыслѣ, охарактеризованномъ выше, опредѣляется въ самомъ дѣлѣ *эвдемонистически*.

Мы однако уже видѣли, что этотъ фактъ никоимъ образомъ не содержитъ въ себѣ *моральнаго принципа*. Нѣтъ никакого смысла требовать, чтобы онъ существовалъ или не существовалъ,—такъ какъ онъ неизбѣженъ.

Тѣмъ не менѣе, можно было бы думать, что на этомъ

фактъ возможно было бы обосновать нѣкоторый эвдемонистическій, и въ частности индивидуально-эвдемонистическій, моральный принципъ. Самое общее требованіе послѣдняго гласило бы: ты всегда долженъ хотѣть—не того, что тебѣ теперь именно кажется приносящимъ наибольшее счастье, принимая во вниманіе твое настоящее состояніе, а, напротивъ, того, что въ дѣйствительности тебѣ *доставляетъ* или *доставляло бы* счастье.

Отсюда можно было бы немедленно заключить слѣдующее: если цѣль человѣка—быть возможно болѣе счастливымъ, то въ такомъ случаѣ поскольку человѣкъ счастливъ, постольку онъ является тѣмъ, чѣмъ онъ долженъ быть. Или короче: самый счастливый человѣкъ есть въ то же время и самый лучшій.

Однако, какое мы имѣемъ право утверждать это? Пусть, напримѣръ передъ нами будетъ человѣкъ не то, чтобы злой, а, наоборотъ относящійся къ такъ называемымъ „хорошимъ“—тѣмъ, кто „не замутишь воды“. Я допускаю, что онъ по привычкѣ исполняетъ свою обязанность. Тѣ, чьей благосклонностью онъ долженъ дорожить, относятся къ нему наилучшимъ образомъ прежде всего потому, что онъ не думаетъ и не дѣлаетъ ничего, что не касалось бы „его вѣдомства“. Онъ бѣденъ въ моральномъ отношеніи, но онъ не сознаетъ этого. Вокругъ него много матеріальной и нравственной нужды; но онъ обладаетъ способностью закрывать на нее глаза. Такимъ образомъ онъ вполне доволенъ собою и свѣтомъ, каковъ онъ есть. Допустимъ, что и судьба къ нему благосклонна: онъ пользуется здоровьемъ, никакое несчастье не грозитъ его обычнымъ жизненнымъ радостямъ, онъ доживаетъ до глубокой старости. Такого человѣка будутъ считать счастливымъ, но никто не станетъ ему приписывать нравственной высоты.

Поставимъ рядомъ съ нимъ другого. Послѣдній ставитъ передъ собою высокія нравственныя цѣли. Чѣмъ выше онъ,

тѣмъ легче ихъ разстроить. И чѣмъ съ большей страстностью онъ стремится къ ихъ достиженію, тѣмъ горше для него разочарованіе. Онъ видитъ существующую на свѣтѣ матеріальную и нравственную нужду и не можетъ не проникнуться ею до глубины души. Не въ меньшей степени сознаетъ онъ недостатки своего собственнаго *существа*. Пусть также его преслѣдуютъ несчастныя внѣшнія обстоятельства. Пусть онъ лишается самаго дорогого. Пусть, наконецъ, онъ погибаетъ подъ ударами судьбы.—Одни назовутъ его дуракомъ; другіе же скажутъ, что въ немъ погибъ благородный человѣкъ.

Можетъ быть, мы не найдемъ сразу такихъ противоположностей въ окружающей насъ средѣ. Въ такомъ случаѣ вспомнимъ объ извѣстныхъ трагическихъ образахъ поэтического творчества. Самыя лучшія движенія ихъ воли ведутъ къ ужаснымъ внутреннимъ и внѣшнимъ конфликтамъ. Быть можетъ, они покидаютъ жизнь съ воплями и жалобами. Вспомнимъ, напримѣръ, Антигону.—Эти образы не принадлежатъ міру дѣйствительности; но они ему соотвѣтствуютъ.

Какъ же примирить съ этимъ положеніе: самые лучшіе люди суть въ то же время самые счастливые? Конечно, такъ *должно* было бы быть. Но утверждать, что это такъ и *есть*, значитъ обнаруживать безмысленный, даже жестокий, безсердечный оптимизмъ.

Я говорилъ здѣсь прежде всего объ индивидуальномъ эвдемонизмѣ, основанномъ на принципѣ „результата“ („*устѣха*“). Быть можетъ, этотъ эвдемонизмъ и проповѣдуетъ такой оптимизмъ. Впрочемъ, эвдемонистъ скажетъ, что его понимаютъ не такъ: онъ допускаетъ, что человѣкъ благородный труднѣе получаетъ удовлетвореніе и въ состояніи чувствовать себя менѣе счастливымъ, чѣмъ неблагородный. Но для эвдемониста „нравственнымъ“ является не фактическое *обладаніе* счастьемъ, а *стремленіе* къ возможной высотѣ его. Эвдемонизмъ основывается на принципѣ „*намырненія*“.

Въ самомъ дѣлѣ, эвдемонизмъ не можетъ въ концѣ кон-

цовъ понимать дѣло иначе. Въ конечномъ счетѣ онъ долженъ стремиться къ тому, чтобы стать только эвдемонизмомъ намѣренія. Моральный принципъ предъявляетъ требованія; но нельзя требовать отъ человѣка, чтобы онъ былъ счастливъ. Единственное, что отъ него можно требовать—это, чтобы онъ *стремился* къ счастью. Единственное правило, которое можетъ установить индивидуальный эвдемонизмъ, слѣдовательно, таково: строй свое поведеніе такъ, чтобы получить изъ него для себя возможно высшее счастье, *поскольку это зависитъ отъ тебя*.

Но это не подвигаетъ насъ существеннымъ образомъ впередъ. Предположимъ, тотъ благородный человѣкъ, о которомъ я сказалъ, что его благородныя стремленія готовятъ ему горестныя разочарованія, въ концѣ концовъ рѣшается пожертвовать своими высокими цѣлями. Онъ старается закрыть глаза на существующую въ мірѣ матеріальную и нравственную нужду и притупить свою чувствительность къ ней. Онъ ищетъ и находитъ средства обмануть себя насчетъ своихъ собственныхъ недостатковъ или заглушить въ себѣ голосъ самообвиненія. Короче, онъ такъ строитъ свое хотѣніе и поведеніе, что душевная боль, являвшаяся прежде въ результатъ его нравственнаго хотѣнія, по возможности, смягчается. Тогда онъ употребляетъ все усилія, чтобы сдѣлаться такимъ же довольнымъ и счастливымъ, какимъ, по нашему предположенію, является человѣкъ неблагородный, съ которымъ я его сравнилъ. Съ точки зрѣнія эвдемонизма онъ поступаетъ въ этомъ случаѣ *умно*, но онъ спускается со своей нравственной высоты.

Въ данномъ случаѣ я могъ бы привести еще многое другое въ доказательство моего положенія, и при этомъ пустить въ ходъ и болѣе тяжелую артиллерію. Я могъ бы напомнить, на примѣръ, о вѣчной улыбкѣ идіота, или о той стадіи прогрессивнаго духовнаго обѣдненія и помраченія, когда больной, по всей видимости, пользуется продолжительной и невозмутимой душевной ясностью. Конечно, мы не въ

состояніи заглянуть внутрь души этихъ несчастныхъ. Слѣдовательно, мы не можемъ *также* говорить съ увѣренностью о состояніи ихъ чувствъ. Во всякомъ случаѣ мыслимо, что при сравненіи всей суммы удовольствій и всей суммы страданій, переживаемыхъ человѣкомъ, находящимся въ подобномъ душевномъ состояніи, мы найдемъ, что у такого человѣка удовольствія въ большей мѣрѣ перевѣшиваютъ страданія, чѣмъ это обыкновенно бываетъ у душевно-здоровыхъ людей, въ томъ числѣ и у лицъ, высоко стоящихъ въ нравственномъ отношеніи.

Допустимъ, что это не только мыслимо, но и въ дѣйствительности такъ, и что вмѣстѣ съ тѣмъ отъ насъ зависитъ приблизиться посредствомъ извѣстныхъ усилій къ такого рода состоянію духа, то-есть, что мы имѣемъ возможность купить тою же или подобной цѣной такое же или подобное счастье и довольство. Были ли бы эти усилія нравственны? Нравственно ли было бы даже только питать *желаніе*, чтобы на нашу долю выпало такое счастье?

Но эвдемонистъ снова скажетъ, что дѣло надо понимать иначе. Естественно, говоритъ онъ, что для меня, какъ для всякаго другого, не всѣ виды удовольствія и счастья—*равноцѣнны*; напротивъ, существуютъ удовольствія болѣе цѣнныя и менѣе цѣнныя; нравственнымъ же является—стремиться не къ удовольствію вообще, а къ нравственно *высокому* удовольствію. Удовольствіе идіота — низшаго порядка. Слѣдовательно, стремленіе къ нему не является требованіемъ нравственности.

Но что же это значить? Вѣдь весь смыслъ эвдемонизма какъ разъ и состоитъ въ томъ, что удовольствіе или счастье является для него *конечнымъ мѣриломъ цѣнности*! Цѣнность какой-нибудь вещи означаетъ для эвдемониста лишь тотъ фактъ, что послѣдняя приноситъ счастье; болѣе высокая цѣнность вещи для названной теоріи морали значить, что она приноситъ большее счастье. Теперь мы узнаемъ внезапно, что само счастье, въ свою очередь, можетъ быть болѣе цѣнно

или менѣе цѣнно. вмѣсто положенія: дѣйствія цѣнны въ той мѣрѣ, въ какой они приносятъ счастье, мы встрѣчаемъ другое положеніе: дѣйствія цѣнны въ той мѣрѣ, въ какой они приносятъ *цѣнное* счастье.

Намъ, пожалуй, остается немного возразить противъ послѣдняго положенія. Однако мы спросимъ, чѣмъ же тогда *измѣряется* цѣнность удовольствія? Какой масштабъ существуетъ для этого? Очевидно, что этотъ масштабъ для цѣнности удовольствія является въ то же время конечнымъ мѣриломъ для цѣнности дѣйствія.

Счастье само по себѣ *перестало* уже служить такимъ мѣриломъ, уступивъ мѣсто новому. Другими словами, эвдемонизмъ отказался самъ отъ себя, самъ себя упразднилъ.

Объ этомъ я здѣсь не буду распространяться подробнѣе. У насъ явится для этого случай при разборѣ соціального эвдемонизма.

Индивидуальный эвдемонизмъ не можетъ считаться въ настоящее время господствующимъ направленіемъ. Напротивъ, соціальный эвдемонизмъ или соціальный утилитаризмъ занимаетъ господствующее положеніе, и прежде всего— въ Англии, откуда онъ перешелъ и къ намъ, внося съ собой опустошеніе и путаницу.

Этотъ утилитаризмъ или эвдемонизмъ я принимаю сперва тоже въ строгомъ смыслѣ слова, то-есть, какъ утилитаризмъ (эвдемонизмъ) результата. Какъ таковой, онъ учитъ слѣдующему: дѣйствія получаютъ нравственную цѣнность въ той мѣрѣ, въ какой они приносятъ пользу или счастье человѣческому обществу. Въ дѣйствительности соціальный утилитаризмъ сперва выступаетъ въ такой формѣ. „Быть нравственно цѣннымъ, — говоритъ онъ, — значить влечь за собой счастливыя соціальныя слѣдствія“.

Утилитаристъ не только говоритъ о подобныхъ слѣдствіяхъ вообще, но и различаетъ также ихъ классы или

порядки. Онъ различаетъ подобнымъ же образомъ классы или порядки несчастныхъ слѣдствій.

Какъ первыя дѣлають дѣйствія нравственно-цѣнными, такъ послѣднія ихъ дѣлають нравственно-негодными.

Возьму изъ литературы примѣръ дѣйствія послѣдняго рода. Разбойникъ ограбляетъ купца. Ущербъ, претерпѣваемый купцомъ, является въ данномъ случаѣ несчастнымъ слѣдствіемъ перваго порядка; вредъ, истекающій отсюда для его родныхъ, — несчастное слѣдствіе второго порядка; къ этому относится еще несчастное послѣдствіе третьяго порядка: разбойникъ своимъ дѣяніемъ уменьшаетъ общественную безопасность.

При этомъ бросается въ глаза пессимистическое пониманіе послѣдствій дѣйствія. Чувствуется искушеніе замѣнить его болѣе оптимистическимъ или замѣнить черныя стекла въ очкахъ — розовыми.

Купецъ находился въ опасности задохнуться отъ благополучнаго и сладкаго житія. Сильное кровоупусканіе встряхиваетъ его. Онъ снова долженъ работать и въ работѣ чувствуетъ себя счастливѣе; то же относится и къ его домашнимъ. Это — благія послѣдствія перваго и второго порядковъ. Сюда же можно отнести и послѣдствіе третьяго порядка: полиція въ странѣ, гдѣ случилось ограбленіе купца, была плоха; случай, производящій сенсацию, даетъ поводъ — реорганизовать ее. Общественная безопасность возрастаетъ.

Указанныя въ первомъ вариантѣ несчастныя слѣдствія сдѣлали дѣйствіе разбойника для утилитариста нравственно-негоднымъ. Счастливыя же слѣдствія должны въ такомъ случаѣ отмѣтить то же дѣйствіе для того же утилитариста, какъ нравственно-похвальное. Другими словами, одно и то же дѣйствіе является безнравственнымъ или нравственнымъ, смотря по прихоти счастья или случая. Отсюда ясно, каковъ долженъ быть высшій нравственный законъ для соціальнаго утилитариста въ строгомъ смыслѣ слова. А именно, точно такой же, какъ высшій нравственный законъ для инди

видуальнаго утилитариста, принимая это слово также въ его строгомъ значеніи слова: будь счастливъ, да благопріятствуютъ тебѣ обстоятельства и случай! Но, какъ мы уже видѣли, подобныхъ вещей нельзя требовать.

Конечно, утилитаристъ, или какой-нибудь изъ сторонниковъ этой теоріи, назоветъ такое толкованіе недоразумѣніемъ, непониманіемъ его мнѣнія; пусть даже дѣйствіе разбойника сопровождается отмѣченными счастливыми слѣдствіями, это все-таки—не его заслуга. Счастливыя слѣдствія не входили въ его намѣренія, а потому, съ нравственной точки зрѣнія, его дѣйствіе остается негоднымъ.

Такимъ образомъ, соціальный утилитаристъ превратился въ защитника утилитаризма, основаннаго на принципѣ „намѣренія“. Послѣднее же означаетъ только, что утилитаризмъ въ собственномъ смыслѣ самъ упразднилъ себя. Въдѣ намѣреніе вызвать къ жизни счастливое слѣдствіе все-таки не является такимъ слѣдствіемъ. Кто называетъ какое-либо дѣйствіе достойнымъ одобренія на основаніи *намѣренія*, руководившаго тѣмъ, кто совершилъ это дѣйствіе, тотъ цѣнитъ его уже не за пользу, вытекающую изъ него, а за нравственную основу, присущую личности даннаго дѣятеля. Дѣйствіе является лишь симптомомъ, указывающимъ на существованіе этой основы и вытекающимъ изъ нея. Такимъ образомъ, данное дѣйствіе имѣетъ уже не *цѣнность полезности*, а *симптоматическую цѣнность*.

Или, можетъ быть, утилитаристу хочется и эту цѣнность, основанную на принципѣ *намѣренія*, понимать опять-таки утилитаристически? Дѣйствительно, дѣло, повидимому, обстоитъ такимъ образомъ. И утилитаристъ *долженъ*, въ концѣ концовъ, держаться подобнаго образа мыслей, если только онъ хочетъ оставаться утилитаристомъ.

Естественно, — говоритъ утилитаристъ, — намѣреніе, лежащее въ основаніи дѣйствія, имѣетъ существенное значеніе для нравственной оцѣнки послѣдняго. Пожадуй, онъ даже увѣряетъ, что „нравственный строй личности“ является по-

всюду *подлиннымъ* предметомъ опредѣленія нравственной цѣнности. Только въ такомъ случаѣ онъ снова сводитъ нравственную цѣнность такого строя личности къ цѣнности вытекающихъ изъ него счастливыхъ слѣдствій.

Оставимъ на минуту безъ разсмотрѣнія вопросъ о законности такого *сведенія* цѣнности нравственного склада личности къ цѣнности вытекающихъ изъ него слѣдствій. Я только что сказалъ, что утилитаристъ, можетъ быть, назоветъ нравственный строй личности предметомъ нравственной оцѣнки въ собственномъ смыслѣ, не имѣя, очевидно, на это никакого права. При этомъ онъ опять-таки жертвуетъ въ сущности своей точкой зрѣнія полезности, такъ какъ въ дѣйствительности счастливыя слѣдствія *непосредственно* соединяются только съ *дѣйствіями* и никогда не стоятъ въ прямой связи съ нравственнымъ строемъ личности. Слѣдовательно, если счастливыя слѣдствія лежатъ въ основаніи нравственной цѣнности, то послѣдняя относится непосредственнымъ и „собственнымъ“ образомъ къ дѣйствіямъ, и *лишь затѣмъ* — къ нравственному строю личности.

Впрочемъ, по теоріи нравственной цѣнности, основанной на принципѣ счастливыхъ слѣдствій, лишь *известный* нравственный строй личности могъ бы быть нравственно цѣннымъ. Благородный складъ личности, которому не суждено перейти въ дѣйствіе, не былъ бы нравственно цѣннымъ, слѣдовательно, не былъ бы благороднымъ. Однако для нашего нравственного сознанія онъ остается благороднымъ.

Вообразимъ себѣ, на примѣръ, разслабленнаго, который ничего не можетъ сдѣлать для человѣчества. Между тѣмъ состояніе разслабленности не препятствуетъ ему имѣть самый благородный нравственный строй личности. Или предположимъ, что кто-нибудь заключенъ на необитаемый островъ и лишенъ возможности когда-либо вернуться въ людское общество; онъ долженъ отрѣшиться отъ всякой мысли о работѣ на пользу послѣдняго. Однако онъ внутренне сопро-

тивляется судьбѣ, остается сильнымъ, сохраняетъ свою нравственную личность. Подобный человекъ можетъ быть героемъ въ нравственномъ отношеніи, носителемъ высшаго нравственного величія.

Или подумаемъ о приговоренномъ къ смерти и доживающемъ послѣдніе часы. Пусть въ немъ зашевелится серьезное и нравственное раскаяніе. Пусть въ немъ пробудится нравственное сознание. Пусть будетъ навѣрно извѣстно, что отнынѣ онъ явилъ бы себя другимъ человекомъ, но для этого ему не представится больше случая.

Между тѣмъ, у утилитариста уже готовъ отвѣтъ и на это: *въ общемъ* благородный нравственный строй личности все-таки сопровождается счастливыми социальными слѣдствіями и согласно этому подвергается нравственной оцѣнкѣ; эту оцѣнку мы переносимъ впослѣдствіи и на такие случаи, гдѣ подобныя слѣдствія отсутствуютъ.

По этой теоріи производимая съ нравственной точки зрѣнія оцѣнка нравственного строя личности, не сопровождающагося счастливыми слѣдствіями, является чѣмъ-то въ родѣ самообмана. Намъ она не кажется таковой; но я не придаю этому значенія, — пусть она будетъ самообманомъ, спрашивается только: возможенъ ли подобный самообманъ?

По мнѣнію Джона Стюарта Милля, онъ возможенъ. Мы видимъ, — говоритъ онъ, — что скупецъ придаетъ большое значеніе своимъ деньгамъ, хотя послѣднія не приносятъ ему никакой пользы; происходитъ это потому, что *въ общемъ* или *въ прочихъ случаяхъ* деньги обыкновенно приносятъ пользу. Подобнымъ же образомъ мы считаемъ цѣннымъ хорошей нравственный строй личности, хотя бы даже въ видѣ исключенія онъ не могъ быть полезнымъ.

Но это сравненіе хромаетъ, хромаетъ больше, чѣмъ то позволительно для сравненій. Скупому извѣстно, что онъ *можетъ* превратить свои деньги въ полезные и пріятныя вещи, какъ только онъ того *захочетъ*. Каждая монета позво-

ляетъ ему сдѣлать это каждую минуту. При видѣ своихъ денегъ онъ испытываетъ такое сознаніе *возможности и могущества*.

Въ томъ-то и состоитъ его счастье. Онъ не расходуетъ денегъ, чтобы не умалять этого *сознанія могущества*: оно доставляетъ ему счастье.

Однако въ нашемъ случаѣ рѣчь идетъ не объ этомъ, а какъ разъ о совершенно противоположномъ. Хорошій нравственный строй разслабленнаго, заключеннаго на необитаемый островъ, кающагося преступника—не можетъ быть во всякую данную минуту превращень въ счастливыя слѣдствія для человѣчества. И намъ *известно*, что дѣло обстоитъ такимъ образомъ. Намъ *хотѣлось бы*, чтобы этотъ нравственный строй, эти добрыя намѣренія приносили человѣчеству пользу, но наше желаніе безсильно.

Представимъ себѣ положеніе дѣла въ болѣе общемъ видѣ. Разбираемая теорія говоритъ, что, если съ извѣтнаго рода объектами нашего сознанія соединяются во многихъ случаяхъ цѣнныя слѣдствія, то, въ концѣ концовъ, наше сознаніе цѣнности начинаетъ казаться связаннымъ съ самими этими объектами, какъ таковыми. Посредственная ассоціація становится непосредственной.

Но такая психологія — невозможна. Подобнаго дѣйствія ассоціаціи не существуетъ. Наоборотъ, процессъ, о которомъ здѣсь идетъ рѣчь, совсѣмъ не имѣетъ ничего общаго съ „ассоціаціей“. Онъ былъ бы совершеннымъ психологическимъ чудомъ. Можетъ, конечно, случиться, что объектъ, съ которымъ связано нѣчто цѣнное, сохраняетъ для меня цѣнность, даже если я и не отдаю себѣ *сознательнаго отчета* о настоящемъ основаніи моего чувства цѣнности. Но въ разбираемомъ нами случаѣ требуется, чтобы я сохранялъ сознаніе цѣнности, между тѣмъ какъ *я знаю*, что основанія для чувства цѣнности *нѣтъ* и быть не *можетъ*.

Если мы хотимъ знать, что *въ подобномъ случаѣ происходитъ въ действительности*, то намъ слѣдуетъ измѣнить сравненіе

Джона Стюарта Милля соответственнымъ образомъ. Кредитные билеты обыкновенно обмѣниваются на звонкую монету или на матеріальныя цѣнности. Поэтому они являются для меня цѣнными. Допустимъ же, что среди принадлежащихъ мнѣ кредитныхъ билетовъ нѣкоторые лишены этого цѣннаго свойства вслѣдствіе неблагоприятныхъ обстоятельствъ, напримеръ, по причинѣ банкротства госудрства, выпустившаго эти билеты. Буду ли я тогда казаться себѣ богатымъ или богаче отъ обладанія такими кредитными билетами? Буду ли я ими такъ же дорожить, какъ и другими? Вѣроятно, случится какъ разъ противоположное. На основаніи опыта я полагаю, что и эти кредитные билеты имѣютъ цѣнность, основанную на полезности. Я вижу, что мои ожиданія обмануты; это заставитъ меня, пожалуй, съ бѣшенствомъ бросить въ огонь негодные лоскуты бумаги.

Подобнымъ же образомъ выразилось бы мое внутреннее отношеніе къ благородному нравственному строю личности, если бы утилитаристъ былъ правъ, то-есть, если бы нравственный строй личности самъ по себѣ былъ такъ же лишенъ всякой цѣнности, какъ тѣ бумажные лоскутки, о которыхъ говорилось здѣсь только-что, или какъ, по мнѣнію утилитариста, все является лишеннымъ цѣнности, поскольку оно не *приноситъ* человѣческому обществу никакой пользы.

Наконецъ, еще одно замѣчаніе. Если благородный нравственный строй личности является цѣннымъ лишь въ силу своихъ счастливыхъ слѣдствій, тогда все, что имѣетъ одинаковыя счастливыя слѣдствія, является и одиakoво цѣннымъ. Пусть гдѣ-нибудь существуетъ обширное и плодородное пахатное поле. Вообразимъ себѣ его какимъ угодно тучнымъ и богатымъ. Эта пашня дѣлаетъ возможной богатую культуру и приноситъ многимъ людямъ очень счастливыя соціальныя слѣдствія. Она рождаетъ больше счастливыхъ соціальныхъ слѣдствій и притомъ слѣдствій болѣе высокаго порядка, чѣмъ самый благородный нравственный строй личности самаго благороднаго человѣка. Конечно, это пахот-

ное поле имѣть цѣнность. Но будетъ ли то нравственная цѣнность? Является ли у насъ въ отношеніи ея чувство, сходное съ чувствомъ нравственной цѣнности? Заслуживаетъ ли пашня нравственной похвалы?

Отсюда видно, какъ цѣнность, основанная на принципѣ полезности, относится къ нравственной цѣнности, а именно, къ „нравственной цѣнности“, о которой мы здѣсь говоримъ. И та, и другая въ корнѣ различны. Нравственная цѣнность въ нашемъ смыслѣ не имѣетъ ничего общаго съ цѣнностью, основанной на принципѣ полезности. Это совершенно особый родъ цѣнности.

Плодородная земля не имѣетъ нравственной цѣнности, то есть, не заслуживаетъ нравственной похвалы, потому что, *хотя* она и создаетъ счастливыя соціальныя слѣдствія, но лишена нравственнаго строя. Напротивъ, согласно сказанному раньше, нравственный строй личности представляетъ нравственную цѣнность, даже въ томъ случаѣ, если онъ не сопровождается счастливыми соціальными слѣдствіями. Слѣдовательно, нравственный строй личности, *какъ таковой*, является нравственной цѣностью. Нравственный строй личности самъ по себѣ, независимо отъ его слѣдствій, является вообще *подлиннымъ* предметомъ нравственной оцѣнки; онъ же является *подлиннымъ* предметомъ осужденія съ нравственной точки зрѣнія.

Теперь спрашивается, что же собственно такое этотъ „нравственный строй личности?“ Раньше мы употребляли это слово на ряду со словомъ „намѣреніе“. Однозначуци ли эти оба слова? Заслуживаетъ ли какое-нибудь дѣйствіе нравственной похвалы, если только его намѣреніе — хорошо, то есть, если я посредствомъ этого дѣйствія *хочу* что-нибудь хорошее, или *преслѣдую* что-нибудь хорошее? Можетъ ли цѣнность намѣренія, то-есть, конечной цѣли дѣйствія, служить мѣриломъ для нравственной цѣнности этого послѣдняго?

Это означало бы, что цѣль освящаетъ или оправдываетъ средства. Но такъ ли это?

Это правило ставили въ упрекъ преимущественно іезуитамъ. Я оставляю открытымъ вопросъ, въ какой мѣрѣ правильно этотъ упрекъ былъ направляемъ по адресу іезуитовъ. Вѣрно только, что мы видимъ, какъ люди въ томъ или другомъ случаѣ поступаютъ согласно этому правилу, что и въ общественной жизни устанавливаются и проявляются принципы, заключающіе его молчаливое признаіе. Принесеніе въ жертву убѣжденій, умалчиваніе истины, трусливая покорность, всякаго рода холопскій духъ, въ заключеніе еще кичливое выставленіе на показъ такого холопства, — все это требуется, такъ какъ иначе нельзя достичь цѣли, считающейся цѣнной въ нравственномъ отношеніи. Пусть однако такая цѣль, разсматриваемая сама по себѣ—будетъ въ высшей степени цѣнна съ нравственной точки зрѣнія. Однако никогда не заслужитъ нравственной похвалы такое поведеніе, которое разрушаетъ нравственно самое цѣнное, свободную и самосознательную нравственную личность.

Такимъ образомъ, цѣль не можетъ оправдывать средства. Цѣнность намѣренія не можетъ быть цѣнностью дѣйствія. Это невозможно уже потому, что, въ концѣ концовъ, уничтожилась бы всякая противоположность между добромъ и зломъ. Однако послѣдняя фактически существуетъ для насъ.

Въ какой мѣрѣ значеніе этого правила устранило бы упомянутую противоположность, вытекаетъ уже изъ указаннаго раньше: *никакой* человѣческой мотивъ или никакая человѣческая цѣль, какъ таковыя, не являются злыми. Напротивъ, каждый мотивъ, каждая цѣль—сами по себѣ — хороши. Слѣдовательно, если бы цѣнность цѣли обуславливала цѣнность дѣйствія, человѣческія дѣйствія были бы всегда хороши, какую бы цѣль они ни преслѣдовали.

Вмѣстѣ съ этимъ становится яснымъ, что нравственный строй личности, дѣлающій дѣйствія цѣнными съ нравственной точки зрѣнія, не можетъ быть однозначущъ съ намѣреніемъ. Я сказалъ уже въ предыдущей лекціи, что предме-

томъ требованія, предъявляемаго къ намъ этикой, является нѣкоторое опредѣленное расположеніе мотивовъ или цѣлей, и именно, всѣхъ *возможныхъ* мотивовъ или цѣлей. Въ такомъ расположеніи, мыслимомъ, какъ нѣкоторое твердо обоснованное состояніе, и заключается хорошій нравственный строй личности. Иначе говоря, послѣдній состоитъ во всесторонне развитой личности. Нравственная цѣнность совпадаетъ съ цѣнностью личности, которую личность не *приобрѣтаетъ* путемъ чего-либо, создаваемаго ею, а напротивъ,—которую она сама *въ себѣ содержитъ* или *носитъ*, какъ данная личность.

Это даетъ отвѣтъ на поставленный нами сначала вопросъ о томъ, что сообщаетъ дѣйствіямъ нравственную цѣнность. Но этимъ мы еще не покончили нашихъ счетовъ съ социальнымъ утилитаризмомъ и социальнымъ эвдемонизмомъ.

Положимъ, что социальный утилитаризмъ или социальный эвдемонизмъ признаютъ, что нравственный строй личности является настоящимъ предметомъ похвалы или порицанія съ нравственной точки зрѣнія, но и тотъ, и другой останутся при мнѣніи, что *цѣлью* нравственнаго хотѣнія должно считаться *счастье* человѣчества, т. е. они опредѣляютъ, слѣдовательно, *нравственный* строй личности, какъ такой, который имѣетъ въ виду счастье. Тогда мы сталкиваемся снова съ противорѣчіемъ.

Счастье, удовольствіе, возможно большее удовольствіе человѣчества въ дѣйствительности можетъ такъ же мало быть конечной цѣлью съ точки зрѣнія нравственности, какъ и возможно большее счастье отдѣльной дѣйствующей личности. Нравственное сознаніе протестуетъ и противъ такого рода эвдемонизма, основаннаго на принципѣ нравственнаго строя личности.

Прежде всего, я могъ бы въ настоящемъ случаѣ повторить съ небольшими измѣненіями то, что мною уже раньше

было сказано противъ индивидуальнаго утилитаризма или эвдемонизма, основаннаго на принципѣ намѣренія. Но я предпочитаю измѣнить примѣры.

Намъ неизвѣстно, каковъ итогъ, если сумму удовольствій, получаемыхъ животными, отнять отъ суммы получаемыхъ ими огорченій. Но, можетъ быть, существуютъ такіе звѣри, у которыхъ среднее состояніе чувствъ лежитъ ближе къ удовольствію, чѣмъ у людей. Во всякомъ случаѣ, мы не въ состояніи доказать противоположнаго.

Предположимъ же, что дѣло дѣйствительно обстоитъ такимъ образомъ, и мы могли бы вообще приблизить чело-вѣчество къ духовной и нравственной „высотѣ“ этихъ животныхъ и этимъ измѣнить его эмоціональный балансъ въ положительную сторону, то-есть увеличить его счастье. Но и тогда нравственный долгъ не требовалъ бы отъ насъ подобнаго образа дѣйствій.

Или подойдемъ къ дѣйствительности нѣсколько ближе. Пусть я нахожу среди какого-нибудь народа классъ людей, угнетенныхъ въ духовномъ и моральномъ отношеніи, узкихъ, тупыхъ. Работа ихъ рукъ удовлетворяетъ ихъ потребности. Они совершенно не сознаютъ, а потому и не чувствуютъ, чего имъ не хватаетъ, чтобы быть людьми въ собственномъ смыслѣ слова и чтобы жить по чело-вѣчески. Они являются въ своемъ родѣ полуживотными—счастливыми и довольными. Въ то же время ихъ существованіе имѣетъ благодѣтельные послѣдствія и для другихъ людей: ихъ трудъ дѣлаетъ для послѣднихъ возможнымъ болѣе легкое и обыкновенное наслажденіе жизнью.—При этомъ я вовсе не касаюсь вопроса, въ какихъ размѣрахъ могъ существовать подобный классъ людей въ какомъ-либо мѣстѣ и въ какое-либо время, не касаюсь и того, насколько онъ распространенъ также и у насъ, хотя бы лишь частично и въ ограниченныхъ размѣрахъ, въ одномъ мѣстѣ въ большей, въ другомъ—въ меньшей степени.

Пусть существуетъ возможность — разшевелить такихъ

людей, показать имъ, что и для нихъ имѣется болѣе высокая ступень человѣческаго существованія; довести до ихъ сознанія, что находятся еще и другія возможности — проявляться людьми и чувствовать себя таковыми, что въ качествѣ людей они въ правѣ и даже обязаны — стремиться къ осуществленію этихъ возможностей, и что, въ концѣ концовъ, общечеловѣческое назначеніе — быть вполне людьми и пользоваться такимъ полнымъ человѣческимъ бытіемъ.

Допустимъ же, что такъ и есть въ дѣйствительности. Тогда безспорнымъ долгомъ каждаго было бы объявить войну этой удовлетворенности и, по мѣрѣ силъ и возможности, способствовать пробужденію этихъ людей. Мы должны были бы это сдѣлать даже и въ томъ случаѣ, если бы была опасность, что эти пробужденные, сдѣлавшись теперь недовольными, заявятъ въ сердцахъ о своемъ намѣреніи быть людьми и занять мѣсто среди людей. Мы не должны были бы также воздержаться отъ этого вслѣдствіе возможности, что потомъ „другіе люди“, которые существовали трудомъ пробужденныхъ, потерпятъ нѣкоторый ущербъ въ легкости и высотѣ своихъ жизненныхъ наслажденій. Въ концѣ концовъ, насъ не должна была бы страшить самая мысль о томъ, что отнынѣ управленіе и „господство“ сдѣлаются для нѣкоторыхъ людей менѣе легкой вещью. Конечно, господствовать надъ рабами легче, чѣмъ управлять самосознательными людьми. А легче всего господствовать надъ мертвецами, которые ничѣмъ больше не могутъ быть недовольны! Однако, въдѣ „господство“, скажемъ лучше, управленіе, — не затѣмъ, наконецъ, существуетъ, чтобы облегчать существованіе правителямъ, и не для того, чтобы послѣдніе имѣли возможность грѣться на солнцѣ въ своемъ мнимомъ богоподобіи; напротивъ, оно является тяжелою и отвѣтственной обязанностью, требующею величайшаго самоотверженія. Эта обязанность заключаетъ въ себѣ исполненіе задачи — способствовать людямъ въ достиженіи возможно болѣе полного и свободнаго человѣческаго бытія;

послѣдняя задача не только заключается въ обязанности управленія, но и составляетъ ея собственную и основную конечную цѣль.

Однако оставимъ это. Утилитаризмъ и эвдемонизмъ говорятъ только о счастіи и удовольствіи. *Соціальный* утилитаризмъ повелѣваетъ намъ—умножать мѣру удовольствія *человѣчества*. Это удовольствіе должно обладать цѣнностью въ нашихъ глазахъ. Но удовольствіе другихъ людей просто лишь, какъ таковое, не *имѣетъ* для насъ цѣнности и не можетъ ея имѣть.

Этимъ уже указанъ пунктъ, который имѣетъ собственно рѣшающее значеніе. Намъ извѣстенъ разсматриваемый здѣсь фактъ. Мы видѣли во второй изъ нашихъ лекцій, что чужое удовольствіе можетъ быть предметомъ положительнаго участія съ нашей стороны; или можетъ имѣть цѣнность въ нашихъ глазахъ, лишь постольку, поскольку мы въ состояніи симпатизировать въ чужой личности тому, что производитъ удовольствіе, основанію послѣдняго въ чужой, личности, нравственному строю личности, обнаруживающемуся въ удовольствіи, т. е. поскольку такой нравственный строй личности имѣетъ для насъ цѣнность.

Удовольствіе, какъ мы пояснили выше, всегда является выраженіемъ того, что въ какой-либо точкѣ своего существа личность получаетъ свободное проявленіе. Намъ, однако, естественно хочется, чтобы проявлялось то, что достойно проявленія,—не плохое, не недостатокъ, не отрицательное, а напротивъ, положительное и имѣющее положительную цѣнность въ личности.

Такимъ образомъ, цѣнность удовольствія необходимо предполагаетъ цѣнность личности. Послѣдняя является единственной *безусловной* цѣнностью; это—простой и голый фактъ *психологіи*. Цѣнность *удовольствія* имѣетъ обусловленную, зависящую и второстепенную цѣнность.

И эту-то второстепенную цѣнность соціальный утилитаризмъ возводитъ посредствомъ своей теоріи счастливыхъ

слѣдствій въ первую степенъ. Онъ требуетъ такимъ путемъ, чтобы мы чувствовали то, чего не можемъ чувствовать. Согласно этой моральной теоріи, наше нравственное сознание должно предъявлять къ намъ требованіе, которое рѣшительно и по необходимости отрицается всякимъ человѣческимъ сознаниемъ. Этимъ социальный утилитаризмъ окончательно самъ себя осуждаетъ.

Но мы ошибаемся: онъ еще не осужденъ. Въ этомъ отношеніи мы несправедливы къ утилитаризму, — опять онъ не такъ разумѣетъ дѣло. Но—если утилитаризмъ повсюду разумѣетъ не то, что говорить, что же въ такомъ случаѣ означаетъ, въ концѣ концовъ, вся утилитаристская болтовня?

Но и то, что я имѣю въ виду въ данномъ случаѣ, уже упоминалось при разсмотрѣніи индивидуальнаго эвдемонизма или индивидуальнаго утилитаризма. Я дѣлалъ предположеніе, что представитель этой послѣдней точки зрѣнія не разсматриваетъ всѣ виды удовольствія, какъ другъ другу равноцѣнные, а напротивъ, отличаетъ болѣе цѣнное удовольствіе отъ менѣе цѣннаго.

Такого рода различеніе мы на самомъ дѣлѣ встрѣчаемъ въ социальномъ утилитаризмѣ. Разумѣется, снѣшить онъ прибавитъ высоко цѣнное удовольствіе и является тѣмъ, что мы должны развивать и поощрять въ человѣчествѣ.

А это означаетъ лишь, что социальный утилитаризмъ и социальный эвдемонизмъ, равно какъ и индивидуалистическія теоріи того же наименованія, содержатъ въ себѣ ошибку и внутреннее противорѣчіе.

Мы должны ихъ замѣнить совершенно другой точкой зрѣнія. И эта точка зрѣнія *противоположна* всякой формѣ утилитаризма и эвдемонизма.

Когда одно удовольствіе обладаетъ „большею цѣнностью“, чѣмъ другое? Чѣмъ измѣряется цѣнность удовольствія? Гдѣ найдемъ мы для этой цѣнности масштабъ? На эти вопросы является возможнымъ только одинъ отвѣтъ. Удовольствіе является для насъ болѣе или менѣе цѣнной,

или же соотвѣтственно этому—лишённой всякой цѣнности, смотря по цѣнности или негодности того, что въ немъ обнаруживается, то-есть, смотря по цѣнности или негодности личности, которая выражается въ этомъ удовольствіи, и посколькѣ первая находитъ свое выраженіе въ послѣдней. Или, какъ мы уже сказали, цѣнность всякаго рода удовольствій обусловливается цѣнностью личности.

Вмѣстѣ съ тѣмъ мы пришли въ результатъ настоящей лекціи къ двумъ выводамъ. Во-первыхъ, мы уже видѣли, что хорошій нравственный строй личности, или говоря болѣе общимъ образомъ,—добро или цѣнное въ личности является необходимымъ *основаніемъ* нравственнаго хотѣнія. Теперь мы видимъ, что это цѣнное въ личности одновременно является также настоящимъ *предметомъ* такого хотѣнія. Нравственное хотѣніе стремится къ тому, чтобы *добро* или нравственная личность могла бы проявляться въ полнотѣ счастливой жизни. Но чтобы это „добро“ получило возможность такъ проявляться, оно прежде всего должно быть на лицо.

И чѣмъ болѣе такое добро или такая личная цѣнность находится въ наличности, тѣмъ болѣе для него существуетъ возможность проявляться. Поэтому подобная наличность добра должна также прежде всего являться цѣлью нравственнаго хотѣнія съ нашей стороны.

Въ концѣ концовъ, сказанное является само собою понятнымъ, если только намъ извѣстно, что цѣнность личности является единственной безусловной цѣнностью. Если это такъ, то нравственная личность или хорошій нравственный строй личности необходимо *должны* являться не только основаніемъ, но и настоящимъ *содержаніемъ* нравственнаго хотѣнія, которое въ послѣднемъ основаніи можетъ быть направлено только на безусловныя цѣнности.

Въ заключеніе добавимъ еще, что ощущать цѣнность значить—испытывать счастье.

Чувство цѣнности—чувство удовольствія. Равнымъ образомъ, цѣнное во мнѣ и въ другихъ личностяхъ доставляетъ мнѣ *счастье*.

Это воззрѣніе характеризуетъ и нашу точку зрѣнія, какъ эвдемонистическую въ извѣстномъ смыслѣ, а именно—индивидуалистически-эвдемонистическую. Но этотъ эвдемонизмъ—этический, то-есть, этически обусловленный индивидуалистическій эвдемонизмъ. Мы знаемъ требованіе индивидуалистическаго эвдемонизма: веди себя такъ, чтобы по возможности быть счастливымъ. Въместо этого надлежитъ сказать: веди себя такъ, чтобы по возможности быть счастливымъ, какъ *нравственная личность*. Пусть твоя нравственная *цѣнность* и вмѣстѣ съ тѣмъ нравственная *цѣнность* другихъ людей будутъ твоимъ высшимъ счастьемъ и послѣдней основой всего твоего благополучія.

Въ такомъ случаѣ мы можемъ также исправить соотвѣтственнымъ образомъ требованіе соціальнаго эвдемонизма. Оно гласило: поступай такъ, чтобы по возможности оказывать содѣйствіе счастью человѣчества. Въместо того, мы скажемъ: содѣйствуй и въ самомъ себѣ, и въ другихъ людяхъ, добру или цѣнности личности, какъ основѣ всякаго рода счастья, имѣющаго нравственную цѣнность, тогда ты по необходимости будешь искать также счастья человѣчества, именно, также счастье имѣетъ подобное основаніе.

Люди, такъ можемъ мы резюмировать заключеніе, предназначены не къ тому, чтобы быть счастливыми или осчастливливать другихъ людей, а напротивъ, къ тому, чтобы быть хорошими и дѣлать хорошими и другихъ; а также къ тому, чтобы пользоваться счастьемъ, *поскольку они являются хорошими*.

Четвертая лекція.

Повиновеніе и нравственная свобода.

(Автономія и гетерономія).

Нравственное есть то, что должно быть. Отъ насъ требуется осуществленіе нравственнаго. Исполненіе этого требованія мы называемъ „повиновеніемъ“.

Какъ требованіямъ вообще, такъ и нравственнымъ требованіямъ, мы можемъ повиноваться различнымъ образомъ. Наше повиновеніе можетъ проистекать изъ того или другого нравственнаго строя личности. Въ предыдущей лекціи мы видѣли, что нравственная цѣнность нашихъ поступковъ опредѣляется не тѣмъ, что мы дѣлаемъ, а тѣмъ, изъ какого нравственнаго строя личности вытекаютъ наши поступки. Мы можемъ сказать уже теперь: дѣло не въ томъ, чтобы мы повиновались, а въ томъ, чтобы мы были способны подчиняться *нравственнымъ* требованіямъ. Последнее наталкиваетъ насъ на вопросъ: какое повиновеніе нравственно? Отвѣчая на него, мы въ то же время опредѣляемъ ближе сущность нравственнаго строя личности.

Вопросъ о *законодателѣ* въ области нравственнаго есть только иная сторона того же вопроса. Конечно, при этомъ предполагается опредѣленный смыслъ послѣдняго вопроса. Ставя его, мы не хотимъ знать, въ чемъ беретъ начало нравственный законъ. Напротивъ, болѣе точнымъ образомъ

вопросъ гласить, гдѣ и какъ мы должны встрѣтиться непосредственно съ нравственными требованіями, гдѣ должны мы найти послѣднія ихъ основанія, если исполняя эти требованія мы совершаемъ нравственное дѣйствіе, и если по этому наше послушаніе должно быть нравственнымъ.

Законодателемъ въ области нравственности могъ бы явиться отдѣльный человѣкъ, общество, государство, Богъ, наконецъ, я самъ. Всѣ перечисленные отвѣты давались на вопросъ о законодателѣ въ этой области. Смотри по тому, какъ разрѣшался этотъ вопросъ, тотъ или другой видъ послушанія явнымъ или скрытымъ образомъ признавался нравственнымъ.

Мы, однако, хотимъ въ данномъ случаѣ подвергнуть непосредственному разсмотрѣнію вопросъ о нравственномъ *послушаніи*. Пусть кто-нибудь говоритъ мнѣ: твой долгъ состоитъ въ томъ или другомъ. Этимъ я прежде всего узнаю, чего этотъ человѣкъ *хочетъ*. Къ такого рода чужому хотѣнію я могу относиться различно. Можетъ быть, я просто лишь принимаю его во вниманіе. Чужое желаніе является для меня интереснымъ или же безразличнымъ фактомъ. Но рядомъ съ нимъ и независимо отъ него существуетъ фактъ моего собственнаго желанія.

Объ этомъ мы не говоримъ въ настоящемъ случаѣ. Если допустить, что нравственныя требованія предстаютъ передъ нами лишь какъ простые факты, тогда они не имѣли бы для насъ никакого значенія. Между тѣмъ нравственныя требованія *полны* значенія въ нашихъ глазахъ. По отношенію къ нимъ у насъ является чувство безусловнаго обязательства. Что-то насъ побуждаетъ или вынуждаетъ къ исполненію ихъ. Нашъ вопросъ и относится къ тому, что могло бы явиться или что является такой побудительной или принудительной силой; другими словами, рѣчь идетъ объ *основаніяхъ* нравственнаго послушанія.

Основаній къ повиновенію вообще мы въ сущности можемъ найти четыре. Первымъ возможнымъ основаніемъ

является—полное отсутствіе основанія. Первый возможный родъ повиновенія есть повиновеніе, лишенное всякаго основанія, слѣпое или автоматическое. Оказывая абсолютно слѣпое повиновеніе приказанію, я исполняю его исключительно потому, что оно существуетъ, и что мнѣ извѣстно о немъ. Слова „ты долженъ“ дѣйствуютъ на меня съ нѣкотораго рода механической необходимостью.

Подобное слѣпое послушаніе — возможно. Оно имѣетъ мѣсто у загипнотизованнаго. Я привожу кого-нибудь въ состояніе искусственнаго сна, называемое гипнозомъ, и говорю ему: ты долженъ сдѣлать то или другое, на примѣръ — поднять руку. Загипнотизованный повинуется. Мои слова пробуждаютъ въ немъ представленіе цѣли, которая должна быть осуществлена, и это представленіе въ слѣдствіе собственной силы переходитъ непосредственно въ дѣйствіе.

Если допустить, что подобное повелѣніе относилось бы ко *мнѣ*, тогда поставленная цѣль стала бы въ извѣстное отношеніе къ моей личности и ея мотивамъ. Въ такомъ случаѣ явился бы вопросъ, какъ отнеслись бы эти мотивы къ повелѣнію. Соотвѣтственно этому, я исполнилъ бы послѣднее или нѣтъ.

Не такъ обстоитъ дѣло съ загипнотизованнымъ. У него личность съ ея мотивами усыплена, парализована, лишена способности къ дѣйствію. Загипнотизованный впечатлителенъ только къ тому представленію цѣли, которое въ немъ разбудилъ гипнотизаторъ. Такимъ образомъ послѣднее управляетъ имъ единодержавно. Поэтому оно можетъ получить непосредственное осуществленіе.

Наряду со слѣпымъ послушаніемъ у загипнотизованнаго существуетъ слѣпая вѣра. На примѣръ, я даю такому человѣку отвѣдать жидкости, лишенной вкуса и запаха, и говорю ему, что это—превосходное вино. И у него на вѣру появляются при этомъ вкусовыя ощущенія, соотвѣтствующія вкусу жидкости. Это послѣднее тоже обусловливается единовластіемъ представленія, пробужденнаго въ за-

гипнотизованномъ. Въ настоящемъ случаѣ это единовластіе представленія опять-таки обусловливается тѣмъ обстоятельствомъ, что личность является усыпленной во всѣхъ остальныхъ отношеніяхъ,

Мы встрѣчаемся и въ другихъ случаяхъ съ видомъ слѣпного послушанія и слѣпой вѣры, хотя послѣдніе и не совпадаютъ съ тѣмъ совершенно слѣпымъ и чисто автоматическимъ послушаніемъ, о которомъ мы только что говорили. Прежде всего это бываетъ у ребенка. Такой видъ означаетъ самую примитивную стадію дѣтскаго послушанія. У ребенка личность не усыплена, но самъ онъ еще не является личностью въ той же степени, какъ взрослый. Или что то же самое,—содержаніе его личности еще не такъ богато. Въ ребенкѣ гораздо меньше сильныхъ мотивовъ и самыя мотивы дѣйствуютъ слабѣе. Слѣдовательно, представленіе цѣли, вызванное въ немъ повелѣніемъ, можетъ въ меньшей мѣрѣ пробуждать подобные мотивы. Ребенокъ имѣетъ относительно „слѣпую волю“. Поскольку онъ является таковымъ, постольку и у него представленіе цѣли, пробужденное посредствомъ приказанія, можетъ производить нѣкотораго рода автоматическое дѣйствіе.

Подобное автоматическое дѣйствіе представленій, пробуждаемыхъ въ насъ другими людьми, наконецъ, не вполне чуждо и намъ. Я сижу, напримѣръ, погруженный въ свои мысли, какъ вдругъ кто-нибудь говоритъ: встань! Тогда я чувствую во всякомъ случаѣ побужденіе—встать; я чувствую дѣйствіе навязаннаго мнѣ представленія вставанія. Но, можетъ случиться также, что требованіе это на мгновеніе такъ поразитъ и смутитъ меня, что я *дѣйствительно* встану. Тогда, конечно, я скажу, что сдѣлалъ это „невольнo“ или повиновался требованію „механически“.

Этимъ я даю понять, что я собственно не хотѣлъ вставать, а что случилось это помимо моего хотѣнія, то-есть, безъ дѣйствія собственныхъ моихъ мотивовъ, безъ собственнаго „интереса“ ко вставанію.

Какъ разъ къ этому роду относятся все случаи такъ называемой слѣпой подражательности, которой подвержены по преимуществу дѣти, но также и взрослые. Я имѣю въ виду главнымъ образомъ позывъ — подражать движеніямъ, въ особенности выразительнымъ: жестахъ, гримасамъ, которые мы видимъ. Въ данномъ случаѣ представленіе воспринятыхъ движеній тоже на насъ дѣйствуетъ съ извѣстной принудительной силой.

Или вспомнимъ о той силѣ, съ которою представленіе чего-нибудь отвратительнаго, какого-нибудь необыкновеннаго, сенсаціоннаго, опаснаго и ужаснаго дѣйствія можетъ вліять главнымъ образомъ на слабыя души; вспомнимъ объ эпидеміяхъ самоубійствъ и тому подобномъ. Представленія сенсаціоннаго, опаснаго, ужаснаго навязываются съ совершенно особенной силой. Если личность не имѣетъ собственнаго духовнаго содержанія, достаточно сильныхъ мотивовъ, которые могли бы оказывать сопротивленіе такимъ представленіямъ, тогда послѣднія берутъ перевѣсъ, пріобрѣтаютъ, наконецъ, извѣстное исключительное господство и становятся дѣйствіями.

Какъ же обстоитъ дѣло съ нравственной оцѣнкой такого гипнотическаго повиновенія, съ одной стороны, и слѣпого дѣтскаго — съ другой?

Очевидно, что и то, и другое не подлежитъ нравственной оцѣнкѣ, хотя оба по различнымъ основаніямъ. Загипнотизованному нельзя вмѣнить его слѣпое повиновеніе; нельзя поставить его на счетъ личности, другими словами, нельзя хвалить или порицать личность, потому что въ настоящемъ случаѣ послѣдняя совершенно не получаетъ выраженія, или, какъ я сказала, она усыплена. Не загипнотизованный, собственно говоря, совершаетъ дѣйствіе, а тотъ, кто отдаетъ приказаніе, его же и исполняетъ *посредствомъ* загипнотизованнаго.

Съ другой стороны, слѣпое повиновеніе *ребенка*, конечно, обуславливается свойствами его личности, а именно тѣмъ,

что послѣдняя еще бѣдна содержаніемъ. Однако, мы не *требуемъ* отъ него другого рода личности и не можемъ ее требовать. Мы можемъ лишь надѣяться, что ребенокъ *станетъ* другою, то-есть, болѣе богатою личностью, или что его личность *приобрѣтетъ* болѣе богатое содержаніе.

Между тѣмъ, относительный недостатокъ собственныхъ мотивовъ или собственной духовной дѣятельности, необходимо приущей ребенку, можетъ оставаться въ большей или меньшей степени и въ подрастающемъ или взросломъ человѣкѣ. Люди могутъ и безъ „гипноза“, въ специфическомъ смыслѣ слова, усыплять другихъ духовно и морально, притуплять ихъ личность, расслаблять ее, калѣчить и въ заключеніе убивать. Отсюда также вытекаетъ возможность слѣпота и соотвѣтственно слѣпой вѣры.

По отношенію къ такому рода слѣпотѣ моральная оцѣнка измѣняется. Духовная и моральная отсталость, духовная и моральная спячка, о которыхъ мы говоримъ въ данномъ случаѣ, а соотвѣтственно этому также слѣпое послушаніе и вѣра, основывающаяся на такомъ послушаніи,—негодны, съ точки зрѣнія нравственности. Мы требуемъ отъ взрослого человека, находящагося въ состояніи бодрствованія, въ извѣстной степени богатой и полной жизненной силы личности; мы требуемъ живого движенія послѣдней; мы требуемъ духовной самодѣятельности. Недостатокъ послѣдней не только плохъ, но является зломъ въ *собственномъ смыслѣ*.

Мы уже видѣли, что зло состоитъ не въ наличности какихъ-нибудь особенныхъ движеній или мотивовъ, а напротивъ—въ отсутствіи послѣднихъ и соотвѣтственно этому въ недостаткѣ ихъ силы. Всякое зло есть отрицаніе, слабость, порча, относительная смерть. Такого рода порча, расслабленіе, умерщвленіе личности и есть, слѣдовательно, то, въ чемъ состоитъ сущность зла.

Есть много вещей, которыя могутъ дѣйствовать въ данномъ направленіи: „плохой воздухъ“ въ физическомъ и духовномъ смыслѣ слова; атмосфера, въ которой люди не

въ состояніи физически и духовно дышать глубоко, свободно и здоровымъ образомъ, плохая пища для тѣла и духа, препятствующая всестороннему развитію жизненныхъ силъ въ человѣкѣ или портящая лучшіе жизненные соки; всякаго рода изнѣженность, сентиментальность, расплывчатость мысли, пареніе, невоздержанность, томленіе въ состояніи духовнаго наркоза, во всевозможной нездоровой романтикѣ, мистикѣ и символистикѣ.

Я не намѣренъ на этомъ останавливаться. Упомяну главнымъ образомъ лишь объ одномъ особенномъ и очень ощутительномъ факторѣ; упомяну о немъ не потому, чтобы онъ являлся единственнымъ въ своемъ родѣ, а только для того, чтобы имѣть опредѣленный примѣръ. Фактъ, о которомъ я говорю, очень баналенъ. Можно считать вполне установленнымъ, что злоупотребленіе алкоголемъ производитъ дѣйствіе, усыпляющее, ослабляющее человѣческую самодѣятельность; оно можетъ быть дѣйствуетъ медленно, но зато тѣмъ вѣрнѣе. При этомъ надо принять во вниманіе, что злоупотребленіе алкоголемъ начинается впервые не тогда, когда чувства отказываются служить. Мы видимъ, что много людей погибаетъ и физически отъ этого зла; другіе не доходятъ до этого, но сила напряженія ихъ духа и воли умалются, падаютъ въ своей духовной и нравственной цѣнности.

Здѣсь, прежде всего, нужно спросить: есть,-ли, собственно говоря, у общества, и прежде всего у организованнаго въ государство общества нравственныя задачи, или у него ихъ нѣтъ? При утвердительномъ отвѣтѣ, мы можемъ спросить, не имѣетъ ли въ данномъ случаѣ общество передъ собою именно подобной задачи? Или, можетъ быть, какъ нѣкоторые, повидимому, полагаютъ, существуетъ святое и ненарушимое право человѣка — понижать такимъ образомъ свою духовную и нравственную личность? Или же, какъ думаютъ другіе, подобныя вещи слѣдуетъ спокойно допускать, такъ какъ они не вредятъ внѣшней прочности об-

щества! Последнее можетъ быть вѣрно. Пожалуй, даже виѣшняя прочность обществъ получаетъ пользу отъ алкоголизма, между прочимъ постольку, поскольку люди подъ его вліяніемъ становятся податливѣе и послушнѣе, слѣдовательно, болѣе приспособленными къ слѣпому повиновенію и къ слѣпой вѣрѣ, а потому,—болѣе удобными къ употребленію въ качествѣ безвольныхъ колесъ машины. Но намъ уже извѣстно, что такого рода точка зрѣнія, основанная на принципѣ полезности, является не нравственной, а напротивъ,—безнравственной.

Въ означенномъ случаѣ неправота такого взгляда заключается въ слишкомъ уже безграничной терпимости. Существуютъ, однако, также всякаго рода средства духовнаго и нравственнаго усыпленія, къ которымъ общество не относится съ простой терпимостью. Допустимъ, что кто-нибудь, употребляя такія средства, стремиться *намѣренно* къ подобному усыпленію, слѣдовательно,—духовному и нравственному суженію, расслабленію и умерщвленію людей. Въ такомъ случаѣ для подобнаго образа дѣйствій существовало бы *одно* лишь названіе: онъ былъ бы дьявольскій. Ибо какъ же слѣдуетъ назвать намѣренное уничтоженіе того, въ чемъ состоитъ всякаго рода нравственная цѣнность, намѣренное порожденіе зла.

Но никто не хочетъ и не можетъ хотѣть такого разрушенія личности въ интересахъ послѣдней; я подразумѣваю тутъ, что это разрушеніе является собственной и сознательной конечной цѣлью хотѣнія. Конечно, однако, эгоизмъ, человѣческое корыстолюбіе и властолюбіе могутъ пользоваться подобными средствами для достиженія своихъ цѣлей. Нравственное же ослѣпленіе и безразсудство могутъ для достиженія дѣйствительно мнимо высокихъ цѣлей прибѣгать къ дѣйствіямъ или содѣйствовать мѣрамъ необходимо, ведущимъ къ разрушенію личности или благопріятствующимъ этому разрушенію.

Напримѣръ, дѣтей въ раннемъ возрастѣ заставляютъ

заучивать наизусть вещи, которыхъ они еще не въ состоянїи понять. Когда они предлагаютъ свои вопросы, имъ не отвѣчаютъ, а заставляютъ ихъ молчать. вмѣсто того, чтобы разрѣшать возникающія сомнѣнїя, послѣднїя подвергаются воспрещенїю. Такимъ путемъ приходятъ, въ концѣ концовъ, къ тому, что подрастающій человѣкъ бессмысленно усваиваетъ именно то, что ему было приказано, а достигнувъ зрѣлаго возраста, бессмысленно удерживаетъ это въ памяти. То, что такимъ образомъ усвоено и удержано, можетъ быть истинно и важно, а можетъ также и не быть ни тѣмъ, ни другимъ. Во всякомъ случаѣ духовная самодѣятельность отъ этого парализуется. Всякое вынужденное отреченїе отъ пониманїя, отъ отвѣта на какой-либо вопросъ, отъ разрѣшенїя какого-нибудь сомнѣнїя рождаетъ предрасположенїе къ свободному отреченїю отъ познаванїя впослѣдствїи и содѣйствуетъ усыпленїю познавательной потребности.

А это—тяжелый нравственный вредъ. Вопросы и любознательность дѣтей, какъ бы ни являлись докучными,—вещь нравственно цѣнная, даже превосходная. Не обладанїе знанїемъ, достигающееся безъ собственной духовной работы, а разспрашиванїе, исканїе, изслѣдованїе, живое стремленїе къ истинѣ, „чувство истины“—имѣетъ подлинную цѣнность въ нравственномъ отношенїи при всякомъ познаванїи. Лессингъ, представляя себѣ, что ему предоставленъ выборъ—взять изъ рукъ Всемогущаго полную истину или стремленїе къ ней, выбираетъ послѣднее. Этимъ онъ отмѣтилъ, съ нравственной точки зрѣнїя, собственно цѣнное въ познанїи. Этой-то нравственной цѣнности и лишаютъ человѣка обманнымъ образомъ, воспитывая въ немъ бессмысленное духовное усвоиванїе.

Разумѣется, при всякомъ обученїи необходимо пассивное усвоенїе матеріала. Но здравое воспитательное искусство должно заботиться о тѣмъ, чтобы подобное усвоенїе, все-таки не совершалось *чисто* пассивнымъ образомъ, чтобы при этомъ имѣло мѣсто стремленїе къ усвоенїю, ис-

каніе, самостоятельное схватываніе. Такое воспитательное искусство обратить затѣмъ вниманіе на то, чтобы все усвоенное, по возможности, сейчасъ же самостоятельно приѣнялось и подвергалось исползованію.

Если такого отношенія къ задачамъ человѣческаго воспитанія нѣтъ, то это является для воспитываемаго, пожалуй, потерей на всю жизнь. Сколько разъ проходимъ мы мимо чудесъ природы, мимо искуснѣйшихъ произведеній человѣческихъ рукъ, даже такихъ, какія мы видимъ ежедневно, мимо загадокъ самой жизни, не задаваясь о нихъ вопросомъ. Можно опасаться, что первое основаніе этому явленію положило воспитательное искусство, приучавшее къ такому бессмысленному усвоенію.

Или, можетъ быть, въ этомъ случаѣ какъ разъ и хотятъ достигнуть путемъ воспитанія подобнаго результата! Нѣтъ ли въ такого рода усилени и нѣкоторой системы. Не хотятъ ли вырвать съ корнемъ или искалѣчить собственное мышленіе личности ради какихъ-либо нравственныхъ цѣлей? Иногда кажется, что дѣло обстоитъ именно такимъ образомъ. Но нѣтъ нравственности, которая требовала бы недостатка чувства истины, отреченія отъ вопросовъ, отказа отъ сомнѣній; вмѣсто честнаго усилія — разрѣшить послѣднія.

Сдѣлаемъ еще шагъ далѣе. Въ извѣстнаго рода высшемъ обученіи особенно славится такъ называемое формальное и гуманистическое образованіе. И это вполне справедливо, если понимать эти слова правильнымъ образомъ. Какъ же слѣдуетъ ихъ понимать? Что такое формальное образованіе? Очевидно, такое, которое преслѣдуетъ не возможно большое накопленіе знаній, а напротивъ, всестороннее развитіе духовныхъ силъ и содѣйствіе ихъ жизненному проявленію. А что такое гуманистическое образованіе? Такое, очевидно, которое образовываетъ *человѣка*, которое прежде всего будитъ и развиваетъ въ немъ способности, преимущественно вырабатывающія изъ него *человѣка*.

Нѣкоторые полагаютъ, что формальному образованію

незамѣнимымъ образомъ способствуетъ обученіе языкамъ. Каковъ болѣе точный смыслъ такого мнѣнія? Таковъ-ли, напримѣръ, что, изучая рѣчь, мы должны научиться мышленію? Это значило бы извращать истинную сущность дѣла. Мыслить, значитъ прежде всего наблюдать, живо схватывать факты, вѣрно удерживать ихъ черты. Это значитъ да-дѣе—сравнивать, выбирать существенное, отыскивать связь и закономерность явленій. Это значитъ, наконецъ, вѣрно заключать отъ одного къ другому. А „говорить“ значитъ ясно познанное и обдуманное облекать въ соотвѣтствующія слова. Гдѣ нѣтъ ясной мысли, тамъ рѣчь становится сло-воизверженіемъ, игрой словами, болтовней. А болтовня является самымъ совершеннымъ средствомъ усыпить мышленіе, а съ нимъ вмѣстѣ—всякаго рода ясную и вѣрную оцѣнку вещей.

Какую роль у многихъ изъ насъ играетъ фраза, заученное слово, пустая болтовня! Какъ опьяняютъ онѣ! Сколько высоко-хваленаго идеализма, который является ни чѣмъ инымъ, какъ энтузіазмомъ по поводу прекрасныхъ словъ, энтузіазмомъ, который разсѣивается, если только поставить себѣ серіозно вопросъ, что же собственно означаютъ слова, какіе осязательные факты скрываются за ними и въ чемъ состоятъ ихъ мнимо высокая и прежде всего нравственная цѣнность! Съ другой стороны, сколько слѣпыхъ, безапелляціонныхъ осужденій въ сущности—ни что иное, какъ отвращеніе къ извѣстнымъ дурно звучащимъ словамъ, истинное значеніе которыхъ никогда не подвергалось анализу! Никто, однако, не можетъ усомниться въ томъ, что культъ словеснаго образованія способенъ положить прочное основаніе подобнаго рода духовной слѣпотѣ; то же самое можно сказать и объ обученіи, которое полагаетъ главное значеніе въ языкъ и его формахъ и указываетъ обучающемуся въ наиболѣе впечатлительномъ возрастѣ прежде всего на языкъ и только на языкъ.

Языкъ, конечно, обнаруживаетъ мысли, но также точно

онъ скрываетъ ихъ отсутствіе. И какъ бы тамъ ни было, во всякомъ случаѣ не языкъ, какъ таковой, можетъ представлять значеніе для чисто формальнаго образованія. Напротивъ, предметомъ гуманистическаго воспитанія является собственно мышленіе, но не то мышленіе, которое равнодушно къ своей собственной цѣли—познанію истины, а такое, которое ведетъ какъ разъ къ послѣднему, другими словами, мышленіе, вѣрно схватывающее факты, подвергающее ихъ духовной переработкѣ и дѣлающее въ то же время возможной вѣрную оцѣнку этихъ фактовъ, съ эстетической и этической точекъ зрѣнія. Всесторонне образовывать способность къ такому мышленію значитъ давать формальное и гуманистическое образованіе.

Какъ жаждетъ мальчикъ—въ первые годы своего *мнимо* гуманистическаго образованія—познанія фактовъ, могущихъ его радовать, фактовъ окружающаго міра и исторіи. Здѣсь природа указываетъ вѣрный путь. Въмѣсто того, чтобы слѣдовать этому пути, юношескій духъ мучаютъ лингвистическими формами.

На это возражаютъ: пусть будетъ такъ, а все-таки познаніе строенія рѣчи является естественнымъ путемъ къ познаванію строенія мышленія. Это вѣрно. Но выдвигать такое познаніе на первый планъ, не значитъ ли совершенно игнорировать человѣческую природу. Взоръ человѣка сперва естественнымъ образомъ направленъ на вещи и на объективныя событія; сюда долженъ онъ сперва обращать свою познавательную способность. Человѣкъ долженъ научиться *смотреть*, прежде чѣмъ быть въ состояніи расчленять свою внутреннюю жизнь. Мы должны взять за точку исхода то, что является для него понятнымъ, что его интересуеть прежде всего.

Къ тому же выставленное выше положеніе о пользѣ познанія строенія рѣчи для познанія строя мышленія—вѣрно, все-таки, лишь съ ограниченіемъ. Въ концѣ концовъ, послѣднее познается по первому не многимъ иначе, чѣмъ

тѣло и движенія въ одѣтомъ человѣческомъ тѣлѣ познаются по формамъ и складкамъ одежды. Никто не будетъ надѣяться получить такимъ путемъ вѣрныя анатомическія или физиологическія свѣдѣнія. Поэтому, и не слѣдуетъ поддаваться заблужденію, что на основаніи языка возможно когда-нибудь получить дѣйствительное пониманіе факторовъ и процессовъ человѣческаго мышленія. То, что можно познать, такимъ образомъ, есть виѣшне-шаблонное раздѣленіе и расчлененіе формъ мышленія, нѣкоторый родъ предварительно оріентировки. Остальное же есть дѣло серьезнаго психологическаго изслѣдованія.

Указанная предварительная оріентировка не лишена, тѣмъ не менѣе, цѣнности. Она должна явиться частью формальнаго образованія. Но, очевидно, мы достигаемъ послѣдняго всего лучше посредствомъ изученія того языка, который мы употребляемъ съ дѣтства: въ немъ отношеніе между рѣчью и мышленіемъ могло сдѣлаться для насъ наивозможно тѣснымъ. Другими словами, для формальнаго образованія необходимо изученіе *родного языка*.

Въ противность этому, усиливаютъ изученіе иностранныхъ языковъ и прежде всего извѣстныхъ мертвыхъ языковъ. Безъ сомнѣнія, это ужъ не въ такой мѣрѣ безосновательно, такъ какъ только что сказанное имѣетъ и свою оборотную сторону. Собственная рѣчь является для насъ сама собой понятной. А на послѣднее мы не обращаемъ вниманія, мы не такъ легко усматриваемъ его своеобразіе и особенное значеніе. Его мы впервые начинаемъ сознавать, какъ слѣдуетъ, когда открываемъ, что есть нѣчто другое, кромѣ того, что намъ давно знакомо.

Такую услугу намъ оказываетъ иностранный языкъ.

Противоположность между нимъ и нашимъ языкомъ освѣщаетъ намъ сущность нашей рѣчи и обращаетъ наше вниманіе на то, какимъ образомъ въ ней отливается наша мысль.

Но при этомъ вѣдь, все-таки чужой языкъ оказывается лишь средствомъ. Настоящее намѣреніе должно направляться

на родной языкъ и на тотъ способъ, посредствомъ котораго въ *последнемъ* отражается мышленіе. Средство не должно являться цѣлью. Оно имѣетъ право на существованіе исключительно, поскольку оно требуется для цѣли, и поскольку цѣль имъ *вѣрно достигается*. Въ настоящемъ же случаѣ средство въ самомъ дѣлѣ сдѣлано цѣлью. Учатъ не *при помощи* чужого понимать естественно прироченное къ родному языку мышленіе, поскольку въ томъ является потребность и польза, учать—чужому языку, какъ таковому.

Поскольку чужой языкъ—мертвъ, прибавляется еще одно новое дурное обстоятельство. Владѣть имъ, собственно говоря, не въ состояніи ни учитель, ни ученикъ: мертвый языкъ не можетъ воскреснуть. Не хватаетъ руководящаго всегда чувства рѣчи, а вмѣстѣ съ нимъ—возможности свободно облекать собственныя мысли въ формы мертваго языка. Последний недостатокъ чувствуется въ тѣмъ большей степени, чѣмъ дальше въ то же время мертвый языкъ отстаетъ отъ нашего *мышленія*, отъ нашихъ *формъ мысли* и *содержанія последней*. Въ той мѣрѣ, въ какой это имѣетъ мѣсто, мы остаемся, по необходимости, связанными въ большей или меньшей степени формами и мыслями, встрѣчающимися въ случайно оставшихся памятникахъ словесности; учащійся же раздѣляетъ наше положеніе въ гораздо высшей мѣрѣ. Варіируя, онъ подражаетъ этимъ памятникамъ. Но насколько вѣрно, что владѣніе чужимъ языкомъ даетъ своеобразную свободу, настолько же вѣрно, что такое подражаніе мыслямъ и формамъ мертваго языка должно создавать своего рода духовное рабство.

Изъ мертвыхъ языковъ, предпочтеніе опять таки отдается одному—латинскому. Въ свое время онъ былъ языкомъ науки. На немъ намъ были переданы важные образовательные элементы. Но этотъ фактъ самъ по себѣ безразличенъ для „формальнаго“ образованія. Изслѣдовать науку прошлаго времени и историческую традицію въ ихъ источникахъ, является задачею особыхъ научныхъ дисциплинъ. Между

тѣмъ, формальное образованіе должно дѣлать человѣка пригоднымъ ко всякаго рода духовной дѣятельности; оно не должно становиться слугою одного изъ нихъ.

И въ нашемъ языкѣ, а потому и въ нашемъ мышленіи еще сохранились многочисленныя слѣды прежняго положенія латинскаго языка. Однако, только познакомившись на практикѣ съ ролью, которую играютъ эти иностранныя слова и обороты нашей современной живой рѣчи, мы поймемъ, какой смыслъ они приобрѣли и до сихъ поръ сохраняютъ въ этой живой рѣчи. Безъ этого этимологическая мудрость могла бы насъ также часто вводить въ заблужденіе. А возможно ли считать этимологическое пониманіе столь важнымъ? Въ такомъ случаѣ, пусть занимаются мертвымъ языкомъ какъ разъ въ такой мѣрѣ, какъ это требуется и, повидимому, оправдывается упомянутой выше цѣлью, имѣющей, конечно, подчиненное значеніе. Въ концѣ концовъ самымъ главнымъ остаются литературы древнихъ языковъ. Но спрашивается, зачѣмъ собственно существовала бы *наука* этихъ языковъ, если бы ей не удавалось путемъ переводовъ и разъясненій передавать современному читателю сокровища античной литературы на его родной рѣчи и гораздо ближе для его пониманія и чувства, чѣмъ то доступно его собственному несовершенному ученическому пониманію? Ибо въ данномъ случаѣ важно, сколько выносить изъ чтенія въ подлинникъ ученикъ, а не ученый.

Къ предыдущему надо еще прибавить, что съ указанной точки зрѣнія значеніе имѣютъ сокровища греческой литературы, а не латинской. Но если такъ, то послѣдовательнѣе было бы основательнымъ образомъ заниматься только греческимъ языкомъ, латинскимъ — лишь настолько, насколько это является неизбѣжнымъ для всѣхъ, получающихъ научное образованіе, изъ практическихъ основаній.

Кромѣ того, слѣдовало бы принять во вниманіе, какую цѣнность въ образовательномъ отношеніи представляютъ наряду съ античными также сокровища новѣйшихъ литературъ

и прежде всего литература родного языка. Соответственно этому слѣдовало бы сообразить, какое мѣсто онѣ должны были бы занять въ преподаваніи рядомъ съ греческой.

Можетъ быть, результатомъ такого обдумыванія явилось бы, что „идеалы“ классической древности, особенно греческаго міра для учащагося, обладаютъ преимущественно передъ всѣми другими этической цѣнностью. Противъ такого мнѣнія я не хочу ничего возражать. Но независимо отъ того, что пониманіе этихъ идеаловъ не связано съ занятіемъ языками, идеалы не имѣютъ же назначенія казаться мальчику или юношѣ только идеалами прошлаго міра, развивая въ немъ, пожалуй, даже склонность къ мечтательности по ихъ поводу. Напротивъ, они должны быть для него *жизненными* идеалами, жизненными въ томъ смыслѣ, чтобы оказаться дѣйственными въ жизни, въ которую подростокъ впослѣдствіи долженъ вступить; такимъ образомъ, эти идеалы должны находиться въ связи съ настоящей дѣйствительностью, въ которую подростокъ попадаетъ, и съ задачами, которыя онъ въ ней долженъ выполнить.

Это возможно, однако, лишь въ томъ случаѣ, когда эти идеалы въ душѣ обучающагося немедленно и прочно соединяются въ одну цѣлую культуру ума, которая воспитываетъ для указанныхъ задачъ и, слѣдовательно, прежде всего дѣлаетъ способнымъ вѣрно воспринимать *настоящую* дѣйствительность, какова она есть, подвергать еѣ ясному обдумыванію и оцѣнкѣ: эта культура ума, эта образовательная система должна открывать глаза и чувства, дѣлать ихъ свѣжими и живыми, а также готовить духъ къ пониманію всего окружающаго матеріальнаго и духовнаго міра. Если этого нѣтъ, если идеалы остаются въ глазахъ ученика принадлежать лишь міру прошлаго, въ такомъ случаѣ они отчуждаютъ его отъ міра дѣйствительности, становятся снами мечтателя и разсѣиваются отъ соприкосновенія съ совершенно иначе устроенной дѣйствительностью.

Какимъ же образомъ обстоитъ обыкновенно дѣло съ

идеалами классической древности, идеалами великодушія, душевной крѣпости, самопожертвованія въ пользу того, что однажды признано правильнымъ, у нашихъ „гуманистически образованныхъ“ людей. Кто попробуетъ отвѣтить на этотъ вопросъ, руководствуясь опытомъ, тотъ долженъ будетъ признаться, что въ нашей мнимо „формальной“ и „гуманистической“ системѣ образованія что-то гнило.

Я такъ долго остановился на этомъ вопросѣ потому, что въ настоящее время онъ особенно стоитъ на очереди. Впрочемъ, для того, о чемъ мы собственно ведемъ рѣчь, — для средствъ духовнаго и моральнаго усиленія — существуютъ, конечно, еще болѣе убѣдительные примѣры.

Вспомнимъ, на примѣръ, о какихъ угодно системахъ обычаевъ, внѣшнихъ дѣйствій, церемоній, привычныхъ актовъ, совершаемыхъ туго, безмысленно, безъ сознанія какой-либо нравственной цѣли, безъ побужденій со стороны нравственнаго строя личности. Если люди вѣрятъ въ то, что такими движеніями они совершили что-нибудь или удовлетворили въ какомъ-нибудь направленіи своему долгу обязанности, то этимъ усыпляется не только вообще личность, но и непосредственно — *совѣсть*: нравственный строй личности уступаетъ мѣсто голому дѣйствованію, „внѣшнему дѣлу“.

Пусть при этомъ „внѣшнее дѣло“ будетъ само по себѣ хорошо. Если же кто-нибудь думаетъ, что онъ *самъ* становится хорошимъ благодаря этому *дѣлу*, то онъ умерщвляетъ нравственное сознаніе, которое требуется хорошимъ нравственнымъ строемъ. Такимъ образомъ, доброе дѣло является въ дѣйствительности плохимъ. Кто его требуетъ и хвалитъ, какъ простое внѣшнее дѣйствіе, тотъ творитъ нравственный вредъ.

Можетъ быть, сюда относятся и другія средства усиленія, если смотрѣть на нихъ съ внѣшней стороны; средства, создающія искусственное настроеніе, какъ-то: внѣшнее

великолѣпіе, опьяняющее чувство, блескъ свѣчей, сумерочный полумракъ, запасъ виміама, возбуждающая и сладко убаюкивающая музыка. Образы, разгорающіе и воспламеняющіе фантазію, производятъ впечатлѣніе на чувства и вырисовываются передъ духовнымъ взоромъ. Наконецъ, дѣйствіе завершается систематически организованными духовными или религіозными упражненіями.

Отсюда можетъ, въ концѣ концовъ, возникнуть состояніе, совершенно похожее на гипнозъ, и имѣющее сходное же, только болѣе продолжительное и гораздо болѣе интенсивное дѣйствіе. Человѣкъ отдается безъ сопротивленія извѣстнымъ впечатлѣніямъ; онъ становится слѣпымъ орудіемъ въ рукахъ другихъ, способнымъ къ слѣпому повиновенію и слѣпой вѣрѣ. Если усыпляющее дѣйствіе усиливается, человѣкъ дѣлается фанатикомъ и ясновидцемъ. Искусственно созданное и, въ концѣ концовъ, въ полномъ смыслѣ слова болѣзненное состояніе духа рисуетъ его чувствамъ всевозможныя картины; онъ начинаетъ получать откровенія. Ясновидѣнія сообщаются другимъ, откровенія дѣйствуютъ заразительно; происходятъ чудесныя исцѣленія, творятся удивительныя вещи.

Въ данномъ случаѣ то, что пробуждается такими средствами въ человѣкѣ и возводится въ высшую силу, можетъ быть „хорошо“, то-есть, направлено на добро и вызывать добро. Но и тогда это само по себѣ лишено цѣнности съ нравственной точки зрѣнія, такъ какъ не вытекаетъ отъ нравственнаго строя человѣка. А съ другой стороны, оно является всегда нравственно негоднымъ по своимъ нравственнымъ *основаніямъ* и нравственнымъ же *послѣдствіямъ*. Личность, ея ясное хотѣніе, ея свободное размышленіе и рѣшимость, ея испытующее чувство истины умерщвляется такимъ путемъ. Подобное убійство человѣческой личности, въ концѣ-концовъ, не только печально, но *ужасно* и достойно величайшаго *отвращенія* въ нравственномъ смыслѣ, даже въ томъ случаѣ (что, конечно, вѣдь можетъ случиться),

когда послѣднимъ видимымъ результатомъ его не являются ужасныя дѣянiя безумнаго фанатизма.

Я здѣсь имѣю въ виду прежде всего заблужденiя происходящiя или могущiя произойти въ религiозной или мнимо религiозной области. Но мы находимъ аналогичное и въ другой области: „дисциплина“ является теперь словомъ, которое снова приходится особенно часто слышать въ вопросахъ какъ общественной, такъ и частной жизни. Дисциплина, разумѣется, *прекрасное* слово, и если его правильно понимать, — превосходное *дѣло*. Есть нѣчто прекрасное въ ясномъ сознании нравственныхъ цѣлей и въ вѣрномъ, безошибочномъ понимании правильныхъ средствъ, — въ дисциплинѣ *нравственнаго характера*.

Но существуетъ также дисциплина совершенно иного рода, состоящая въ механизацин человѣческаго хотѣнiя, въ его автоматизмѣ. Такая механизацин также, конечно, можетъ быть цѣнной. Если она относится къ осуществленiю внѣшняго дѣйствiя, способа, средства, предназначеннаго для достиженiя какой-нибудь цѣли, — въ такомъ случаѣ она хороша. Ею сберегается духовная сила. Послѣдняя можетъ послужить на пользу болѣе высокихъ и, въ концѣ концовъ, наивысшихъ цѣлей.

Но дѣло обстоитъ иначе, если процессу механизацин должно подвергнуться хотѣнiе, направленное на *цѣли, важныя въ нравственномъ отношенiи*, если въ такомъ случаѣ стремятся создать внѣшнюю механическую дисциплину, если въ подобныхъ вещахъ требуется отъ людей слѣпое и безусловное повиновенiе другимъ людямъ. Это означаетъ не что иное, какъ совершать нравственное убiйство и самоубiйство.

Люди могутъ заблуждаться въ нравственномъ отношенiи. Они могутъ приказывать мнѣ то, что противорѣчитъ моей чести и совѣсти. Давая обязательство слѣпое и безусловнаго повиновенiя, я связываюсь обязательствомъ — при случаѣ поступать противъ чести и совѣсти. А послѣднее — без-

честно и безсовѣстно, равно какъ и требованіе подобнаго повиновенія. Пусть цѣль, ради которой отдается такое приказаніе, — дѣйствительно высокая или выдается за такую. Но, повторяю, нѣтъ цѣли, которой можно бы было жертвовать высшей цѣлью, единственной безусловной цѣнностью—свободной, нравственной личностью. Равнымъ образомъ, величіе, могущество и слава государства должны были бы погибнуть, если бы онѣ, дѣйствительно, не могли прочно основаться ни на чемъ другомъ, кромѣ подобной дисциплины. Здѣсь находится точка, на которой нравственное заблужденіе—и въ наше время снова — подвергается опасности перейти въ полное нравственное ослѣпленіе.

Въ такомъ же ослѣпленіи находятся люди, когда полагаютъ, что отдающій приказаніе можетъ взять на себя *отвѣтственность* за дѣйствія, совершенныя другимъ человекомъ въ состояніи слѣпотаго повиновенія и *сложитъ* ее съ послѣдняго. Конечно, отвѣтственность того, кто повелѣваетъ, выше. Но и отвѣтственность того, кто оказываетъ повиновеніе, поскольку онъ не подчиняется физическому принужденію, этимъ не устраняется. Нравственная отвѣтственность не является кладью, которую можно бы было снять съ плечъ одного и взвалить на плечи другому. Кто якобы „переноситъ“ отвѣтственность за свое сознательное дѣйствіе на другихъ, уже совершаетъ проступокъ: онъ жертвуетъ своею совѣстью. А тотъ, кто требуетъ отъ повинующагося ему человека передачи его отвѣтственности, виновень уже вдвойнѣ.

Все сказанное здѣсь не отрицаетъ, во всякомъ случаѣ, необходимости слѣпотаго повиновенія. Слепой и *долженъ* слѣпо *руководиться* тѣмъ, что требуется для его собственнаго и чужого благополучія.

Однако, въ настоящемъ случаѣ рѣчь идетъ не объ этомъ, а о требованіи ослѣпленія, о вызываніи и поддержаніи того ослѣпленія, которое является *условіемъ* всякаго слѣпотаго повиновенія, равно какъ всякой слѣпой вѣры. Всякое воспи-

таніе и управленіе должны стремиться къ тому, чтобы уничтожать подобную слѣпоту и дѣлать людей *зрячими*. Даже если человѣкъ духовно и морально слѣпой подчиняется слѣпо руководству, то цѣлью этого руководства должно быть достиженіе человѣкомъ зрѣнія, которое должно быть зрѣніемъ его *собственныхъ* глазъ, такъ какъ видѣть возможно лишь собственными глазами. Говоря безъ употребленія образовъ: цѣлью должно быть собственное нравственное сужденіе и свободное волевое рѣшеніе, вытекающее изъ собственнаго нравственнаго строя личности.

Допустимъ, кто-нибудь хотѣлъ бы возвести слѣпое повиновеніе въ общій моральный принципъ, тогда наряду съ тѣмъ, что дѣлаетъ требованіе подобнаго повиновенія нравственно негоднымъ самимъ по себѣ, возникло бы странное новое противорѣчіе. Когда человѣкъ оказываетъ слѣпое повиновеніе, то предполагается существованіе того, кто требуетъ именно подобнаго рода повиновенія. А этотъ послѣдній, быть-можетъ, также оказываетъ въ свою очередь слѣпое повиновеніе другому лицу. Продолжается ли такое соотношеніе дальше до безконечности? Послѣднее предположеніе невозможно: гдѣ-нибудь да долженъ находится зрячій.

Такимъ образомъ, намъ пришлось бы различать людей двухъ родовъ и вмѣстѣ съ тѣмъ установить двоякаго рода нравственность. Одинъ классъ людей состоялъ бы изъ повелителей, законодателей, владыкъ. Другой—изъ людей, оказывающихъ повиновеніе. Послѣдніе повиновались бы слѣпо; первые же, напротивъ, поступали бы совершенно такъ, какъ имъ того хотѣлось бы, повиновались бы, слѣдовательно, своему капризу; или же они дѣйствовали бы на основаніи особеннаго внутренняго просвѣтленія, исходящаго отъ природы или Бога. Во всякомъ случаѣ они повиновались бы *не слѣпо*. Для нихъ имѣлъ бы рѣшающее значеніе ихъ произволь, или подобное дѣйствующее въ нихъ просвѣтленіе и полученное такимъ путемъ *собственное* сознаніе добра и зла, а не чья-то воля, вліяющая на нихъ извнѣ. Они носили бы

въ самихъ себѣ мѣрило, по которому они совершали бы свои оцѣнки и принимали бы свои рѣшенія. Они дѣйствовали бы *свободно* въ смыслѣ произвола или *свободно* въ смыслѣ нравственности. Между тѣмъ, и то, и другое стоитъ въ отношеніи непримиримой противоположности къ слѣпому послушанію. Такимъ образомъ, слѣпое повиновеніе оказалось бы для тѣхъ, кто проявляетъ его,—нравственнымъ, а для тѣхъ, кто требуетъ его,—полной противоположностью. Это, однако невозможно: или слѣпое повиновеніе нравственно; тогда рѣшеніе на основаніи закона, заключеннаго въ самомъ дѣйствующемъ лицѣ, являлось бы безнравственнымъ или имѣть силу противное. Невозможно, чтобы *какая-нибудь* форма повиновенія и въ то же время ея полная противоположность были обѣ нравственны въ одно и тоже время. Моральный принципъ не можетъ требовать одновременно противоположнаго и взаимоисключающаго. Для него это является невозможнымъ, если не устранить вообще противоположенія нравственнаго и безнравственнаго. Вотъ что, слѣдовательно, производитъ принципъ безусловнаго повиновенія; въ дѣйствительности, это—принципъ нравственнаго *анархизма*. Тому же учить и исторія: деспотизмъ всегда равнозначенъ разрушенію нравственнаго сознанія.

Между тѣмъ, моральный принципъ слѣпонаго повиновенія невозможенъ также въ силу еще болѣе простаго основанія. Вообще невозможно приказать слѣпо повиноваться. Оно возможно лишь, поскольку дано его условіе, то-есть, поскольку есть люди слѣпые въ духовномъ и волевомъ отношеніи. Такимъ, однако, не можетъ быть никакой человѣкъ, въ полномъ разсудкѣ, исключая загнипнотизованнаго, погруженнаго въ состояніе глубочайшаго гипноза; во всѣхъ людяхъ на лицо собственныя потребности, побужденія, оцѣночныя рѣшенія, склонности, короче—собственные мотивы. Поскольку же это такъ, приказаніе не можетъ дѣйстви-

вать автоматически, а напротив, его содержаніе становится въ необходимое отношеніе къ этимъ собственнымъ мотивамъ. А въ такомъ случаѣ всякій разъ возникаетъ вопросъ о томъ, какъ этого рода мотивы относятся къ содержанію приказанія. Согласно этому опредѣляется принятіе или отверженіе идущаго извнѣ требованія, въ частности же требованія нравственнаго.

При этомъ существуютъ, прежде всего, двѣ возможности: во-первыхъ, или содержаніе приказанія, то-есть мое нравственное требованіе, *само* находитъ во мнѣ откликъ; оно соотвѣтствуетъ моей собственной потребности, собственному побужденію, нѣкоторому внутреннему принужденію, лежащему въ моей природѣ или вытекающему изъ нея. Я хочу выполнить приказаніе ради цѣнности, которую его содержаніе имѣетъ для меня согласно моей природѣ. Въ этомъ случаѣ я, дѣйствительно, являюсь своимъ собственнымъ законодателемъ; я „повинуюсь“ *самъ себя*, то-есть этому внутреннему принужденію къ добру. Другими словами, я не *повинуюсь*, а дѣйствую *свободно*. Приказаніе — просто лишь поводъ для проявленія моей *свободы*.

Или же, однако, съ приказаніемъ *соединено* что-нибудь *отличное* отъ нравственнаго содержанія послѣдняго, соотвѣтствующее заключенному во мнѣ побужденію или потребности. Я хочу исполнить приказаніе не потому, чтобы его содержаніе имѣло для меня цѣнность, а потому, что, такимъ образомъ, я удовлетворю побужденіе или потребность, чуждую нравственному содержанію приказанія. Я хочу нравственнаго не ради него самаго, а оттого, что его осуществленіе служитъ условіемъ или средствомъ для осуществленія какой-нибудь посторонней цѣли. Въ настоящемъ случаѣ я также повинуюсь извѣстнымъ образомъ самому себѣ, поскольку, именно, я оказываю повиновеніе и опредѣляюсь этимъ собственнымъ принужденіемъ, чуждымъ содержанію приказанія; я тоже являюсь извѣстнымъ образомъ своимъ собственнымъ законодателемъ, но только не съ

нравственной точки зрѣнія, такъ какъ во мнѣ нѣтъ внутренняго стремленія къ *нравственному* содержанію *приказанія*, какъ таковому. Нравственное приказаніе не принадлежитъ мнѣ; напротивъ, оно мнѣ является чуждымъ и дѣйствуетъ на меня въ качествѣ таковаго.

Прибѣгаемъ къ традиціоннымъ выраженіямъ. Въ той мѣрѣ, въ какой мое волевое рѣшеніе происходитъ отъ собственнаго стремленія къ нравственному, а приказаніе является лишь поводомъ—разбудить это стремленіе, мое волевое рѣшеніе — нравственно *автономно*. Принципъ моего хотѣнія и дѣйствованія есть принципъ нравственной *автономіи*. Это — принципъ самоопредѣляемости нравственнаго хотѣнія или принципъ собственнаго нравственнаго законодательства.

Напротивъ, въ той мѣрѣ, въ какой нравственное приказаніе стоитъ предо мною, какъ совершенно мнѣ чуждое, или по своему содержанію не является въ то же время приказаніемъ моей собственной природы или закономъ моей собственной воли, я хочу, или дѣйствую *гетерономно*. Принципъ моего хотѣнія или дѣйствованія есть принципъ нравственной *гетерономіи*. Это означаетъ то, что приказаніе дѣйствуетъ на меня, какъ нѣчто, чуждое и являющееся со стороны. Въ первомъ случаѣ нравственное требованіе является моей собственной, мною самимъ намѣченной цѣлью; тогда какъ во-второмъ—это цѣль, *поставленная* предо мною другими, цѣль которая во мнѣ самомъ или для меня является простымъ *средствомъ*.

Поставленной въ настоящемъ случаѣ альтернативы можно было бы избѣгнуть и сказать слѣдующее: извѣстныя повелѣнія имѣютъ надо мною безусловную власть. Для меня существуютъ неприкосновенные этическіе догматы. Я оказываю имъ слѣпое повиновеніе, такъ какъ послѣднее, какъ таковое, кажется мнѣ цѣннымъ съ точки зрѣнія нравственности.

Во всемъ этомъ заключался бы своеобразный самообманъ.

Пусть дѣло обстоитъ такъ, какъ здѣсь говорится. Въ такомъ случаѣ, все-таки, позволительно предложить такого рода вопросъ: какимъ образомъ опредѣленные приказанія *могутъ* для кого-нибудь имѣть безусловное значеніе? Какимъ это образомъ чье-либо слѣпое повиновеніе *можетъ* казаться цѣннымъ въ нравственномъ отношеніи? Сообразимъ же хорошенько: приказанія, о которыхъ идетъ рѣчь въ настоящемъ случаѣ, — не какія-нибудь, а вполне опредѣленные; слѣпое повиновеніе имъ также представляетъ собой не какое угодно повиновеніе, а относящееся къ опредѣленнымъ приказаніямъ. Если же для меня имѣютъ безусловное значеніе не какія угодно, а *опредѣленные* приказанія, то спрашивается, что же такое особенное или выдающееся заключается въ этихъ приказаніяхъ, въ силу чего именно они, а не какія-нибудь другія приказанія, имѣютъ для меня такое значеніе? Что своеобразнаго въ нихъ, что заставляетъ меня чувствовать обязательство къ „слѣпому“ послушанію по отношенію именно къ нимъ, а не къ какимъ-либо другимъ приказаніямъ?

На это опять-таки возможны только два отвѣта: или *содержаніе* этихъ опредѣленныхъ приказаній выдѣляетъ ихъ для меня изъ среды другихъ, или же эта роль принадлежитъ чему-нибудь, что само *чуждо* этому содержанію, а лишь механически *соединено* съ приказаніями или ихъ содержаніемъ; или во мнѣ существуетъ стремленіе къ такому опредѣленному содержанію, какъ таковому, я такъ организована, что мысль о немъ вызываетъ во мнѣ побужденіе къ его осуществленію; или же нѣчто, какимъ-нибудь образомъ *связанное* съ приказаніемъ, встрѣчаетъ во мнѣ такое стремленіе или побужденіе. Такимъ образомъ, мы приходимъ снова къ полученному нами выше результату.

Предположимъ же такой случай, когда эта послѣдняя возможность имѣетъ мѣсто; слѣдовательно, пусть меня по-

буждаетъ къ повиновенію нѣчто чуждое приказанію, но соединенное съ нимъ механически, и я согласно этому хочу нравственнаго, требующагося для меня ради какихъ-нибудь иныхъ цѣлей. Въ такомъ случаѣ, прежде всего можно предположить, что цѣли, о которыхъ идетъ рѣчь — *эгоистичны*. Этимъ намѣчается вторая возможная ступень повиновенія. Она является въ особенности второю ступенью *дѣтскаго* повиновенія.

Я исполняю, напримѣръ, нравственное приказаніе, потому что меня манитъ награда или мнѣ угрожаетъ въ перспективѣ наказаніе. Въ такомъ случаѣ предметомъ моего *хотѣнія*, въ собственномъ смыслѣ, является награда или избѣжаніе наказанія. Моя цѣль — приобрѣтеніе нѣкотораго блага. Нравственное дѣйствіе является только случайнымъ средствомъ осуществленія этого блага.

Я говорилъ уже выше, что вообще нельзя требовать слѣпнаго повиновенія. Напротивъ же, такое эгоистическое повиновеніе можно требовать ото всѣхъ, такъ какъ эгоистическіе интересы присущи всѣмъ. Такимъ образомъ, мнимо слѣпое повиновеніе оказывается при ближайшемъ разсмотрѣннн обусловленнымъ эгоистическими мотивами. Требованіе гласитъ: повинуйся безусловно; но это требованіе сопровождается невысказаннымъ добавленіемъ: въ противномъ случаѣ ты лишишься того или другого желательнаго блага, или тебѣ угрожаетъ то или другое наказаніе. Съ исполненіемъ требованія связываютъ награду въ настоящемъ или будущемъ свѣтѣ: вѣчное блаженство на небѣ или земныя выгоды, милости, честь, славу, могущество. Повиновеніе оказывается, такимъ образомъ, ради послѣдняго, поэтому, — *не* слѣпо, хотя бы, даже ясное сознаніе эгоистическаго мотива и отсутствовало. „Слѣпое“ повиновеніе, оказываемое лицу, имѣющему власть, опредѣляется главнымъ образомъ, ожиданіемъ его благосклонности, а также власти и почестей, вытекающихъ изъ этой благосклонности.

Деспотизмъ, требующій „слѣпое“ повиновенія, поро-

ждасть эгоизмъ, а, въ концѣ-концовъ, самую трусливую и продажную изъ формъ послѣдняго. Я назвалъ эгоистическое повиновеніе *не слѣпымъ*. Поскольку оно видитъ собственную выгоду и, можетъ быть, даже вычисляетъ ее, оно является зрячимъ, а не слѣпымъ. Съ другой же стороны, однако, оно слѣпо. И слѣпо именно въ смыслѣ нравственномъ, какъ нравственно слѣпо всякое дѣйствіе, руководимое однимъ только эгоистическимъ мотивомъ. Такое повиновеніе умно, но ограничено въ нравственномъ отношеніи, это вытекаетъ изъ самой природы эгоизма. Наличие и дѣйствіе эгоистическихъ интересовъ въ человѣкѣ, стремленіе къ собственному благополучію и сопротивленіе личному несчастію, а слѣдовательно, и стремленіе къ наградѣ, и отвращеніе къ наказанію, — сами по себѣ хороши. Но плоха эта *слѣпота*. Плохо то, что нравственное содержаніе приказанія не составляетъ само по себѣ предметъ стремленія; что нравственное, вмѣсто того, чтобы быть цѣлью, низводится до средства достиженія эгоистическихъ цѣлей.

Если допустить исключительное существованіе или господство въ человѣкѣ эгоистическихъ мотивовъ, тогда къ этимъ мотивамъ *должны* присоединяться нравственныя приказанія. Необходимо тогда требованіе, которое обѣщало бы награду и угрожало бы наказаніемъ. Такъ въ особенности дѣти должны быть направляемы къ добру наградами и наказаніями. Но возникающее, такимъ образомъ, эгоистическое послушаніе не должно быть цѣлью, а лишь дорогою къ цѣли. Оно должно быть средствомъ нравственнаго воспитанія, то есть, должно *вести* къ выполненію нравственнаго ради него *самого*. Мы уже видѣли, какимъ образомъ это возможно. Нравственное дѣйствіе, на первыхъ порахъ вытекающее изъ эгоистическихъ мотивовъ, познается при своемъ осуществленіи, какъ имѣющее собственную цѣнность. Въ то время, какъ ребенка заставляютъ дѣлать добро, онъ по собственному опыту знакомится съ послѣднимъ, и самъ находитъ въ немъ радость. Если эта цѣль не дости-

гается, то награда и наказаніе способствуютъ единственно лишь внѣшней дрессировкѣ, которая съ нравственной точки зрѣнія лишена цѣнности.

Возведеніе же подобнаго эгоистическаго повиновенія въ принципъ является въ нравственномъ отношеніи не только лишеннымъ цѣнности, но даже прямо-таки негоднымъ. Поступая такимъ образомъ, мы возводимъ въ принципъ ту *нравственную слѣпоту*, о которой говорилось выше. Этимъ упраздняютъ различіе между добромъ и зломъ и ставятъ на мѣсто этого различія другое—между личной выгодой и невыгодой. Разрушается нравственный строй личности, нравственная личность убивается. Тотъ, кто дѣлаетъ добро только по соображеніямъ выгоды и невыгоды, а потому, и по соображеніямъ награды и наказанія,—былъ бы точно также готовъ дѣлать *зло*, если бы съ совершеніемъ *зла* связывалась награда, а съ несовершеніемъ его—наказаніе.

Тѣмъ не менѣе, существовали разныя моральныя системы, которыя рассчитывали построить нравственность на основѣ эгоистическаго повиновенія. Это повиновеніе относилось къ той или другой повелѣвающей силѣ, къ тому или другому всемогущему законодателю. Такими законодателями являлись государство, или общественное мнѣніе, или Богъ. Государство охраняетъ того, кто покоренъ его законамъ, и наказываетъ ослушника. Общественное мнѣніе бережетъ того и заботится о томъ, кто ему подчиняется, и отталкиваетъ сопротивляющагося ему. Церковь общается тому, кто живетъ согласно ея законамъ, сводящимся къ признанію божественнаго авторитета, вѣчную награду въ другомъ мірѣ, а тому, кто къ ней относится непочтительно,—вѣчное же наказаніе за гробомъ.

Но какъ бы ни назывался законодатель, основаніе „нравственнаго“ дѣйствія, говоря точнѣе—основаніе внѣшняго выполненія нравственныхъ приказаній, согласно этимъ моральнымъ системамъ, всегда состоитъ въ соображеніи о собственной выгодѣ или невыгодѣ. Добродѣтель, поэтому,

является эгоистическимъ благоразуміемъ, а нравственное дѣйствіе—актомъ благоразумія, иными словами, хорошей *аферой*.

Такой характеръ носить также и выполнение дѣйствительныхъ или мнимыхъ *Божественныхъ* заповѣдей. Конечно, въ данномъ случаѣ предполагается лишь особаго рода благоразуміе. Вѣдь отказъ отъ какого-либо болѣе близкаго блага ради достиженія блага болѣе значительнаго, но и болѣе отдаленнаго, есть именно подобнаго рода благоразуміе. Конечно, этотъ отказъ въ свою очередь облегчается размѣрами прибыли: вѣдь ожидается ни болѣе ни менѣе, какъ совершенная и вѣчная награда за несовершенныя и земныя дѣянія. Здѣсь мы встрѣчаемъ лишь въ усиленномъ видѣ благоразуміе того, кто въ теченіе нѣкотораго времени отказывается отъ наслажденій, чтобы впоследствии получить ихъ въ большемъ количествѣ въ *этой* жизни.

Мы слышимъ и теперь всевозможныхъ призванныхъ и непризванныхъ моралистовъ, проповѣдывающихъ подобную эгоистическую мораль разчета. Того, кто строго повиновется *государственнымъ законамъ*, называютъ *честнымъ*. Но, можетъ быть, такой „честный“ человекъ заслуживаетъ высшаго порицанія, съ точки зрѣнія нравственности, именно за свое повиновеніе. Вѣдь государственные законы созданы людьми, а послѣдніе могутъ заблуждаться. Если допустить, что въ какомъ-нибудь частномъ случаѣ государственные законы заблуждаются въ дѣйствительности или только согласно моему хорошо взвѣшенному нравственному *убѣжденію*, тогда я обязанъ отказывать имъ въ повиновеніи. Даже если окажется, что заблужденіе было съ моей стороны, то все-таки въ такомъ случаѣ надо принять въ соображеніе, что тотъ, кто имѣетъ нравственныя цѣли, хотя бы онъ иза блуждался относительно способа ихъ осуществленія, или хотя бы при этомъ онъ самъ упустилъ бы изъ виду еще высшія нравственныя цѣли, стоитъ все же выше въ нравственномъ отношеніи, чѣмъ тотъ, кто подчиняется при-

казанію изъ эгоистическихъ основаній. Тотъ, кто оказываетъ такое повиновеніе, уже получилъ свою награду, какъ бы содержаніе повиновенія ни было нравственно. Въ первомъ случаѣ человѣкъ, хотя и заблуждается, все-таки поступаетъ по *чистой* совѣсти, тогда какъ во второмъ онъ дѣйствуетъ совершенно не по совѣсти и безо всякаго нравственнаго сознанія. Первое дѣйствіе стоитъ лишь на меньшей нравственной высотѣ, тогда какъ послѣднее совершенно лишено цѣнности и негодно съ нравственной точки зрѣнія.

Утверждаютъ также, что повиновеніе требованіямъ „общества“ или подчиненіе „общей волѣ“ является нравственнымъ. Я задамъ прежде всего вопросъ: что при этомъ разумѣютъ подъ обществомъ или общей волей? Понимаютъ ли подъ этимъ обществомъ все человѣческое общество въ совокупности, а подъ такой общей волей—совокупное понятіе того, что хочетъ и думаетъ человѣчески общество? Должно ли въ такомъ случаѣ общество рѣшать вопросъ о томъ, что считать намъ нравственнымъ? Отсюда мы пришли бы къ страннымъ и крайне измѣнчивымъ результатамъ.

Въ концѣ концовъ, стоя на практической точкѣ зрѣнія, понимать подъ такого рода обществомъ можно только то, которое намъ извѣстно. Прежде всего въ такомъ случаѣ подъ этимъ мы разумѣли бы ту общественную *сферу*, къ которой сами *принадлежимъ*. А тогда моральный принципъ, полагающій въ основаніе общественныя требованія, превращается въ принципъ, полагающій въ основу требованія *моего* общества или *моего* сословія. Получается *сословная мораль*.

Почему повинуюемся мы требованіямъ нашего сословія? Отчего подчиняемся мы, напримѣръ, установленному имъ понятію о чести? Возможныя основанія для такого повиновенія были уже ранѣе разсмотрѣны въ связи съ другими вопросами. Согласно вышеизложенному, съ психологической точки зрѣнія непременно должно исключить одно основаніе. Невозможно, чтобы чувства цѣнности, находящіяся въ дру-

гомъ, повторялись во мнѣ только потому, что мнѣ о нихъ извѣстно. Оцѣнки другихъ людей, нравственные оцѣнки поступковъ лишены „заразительной“ силы, онѣ не могутъ быть непосредственно перенесены на меня путемъ простаго сообщенія, сколько бы разъ послѣднее ни повторялось. Такое мнѣніе, кое-гдѣ находящее себѣ представителей, заключаетъ въ себѣ психологическую невозможность.

Но зато, какъ мы видѣли, является вполне возможнымъ другой, *косвенный* способъ перенесенія. Видя, что люди моего положенія разсматриваютъ и оцѣниваютъ поступки все съ однихъ и тѣхъ же опредѣленныхъ точекъ зрѣнія, я научаюсь и самъ *разсматривать* ихъ съ этихъ же и только съ этихъ точекъ зрѣнія. Такому же способу разсмотрѣнія и соответствуетъ моя оцѣнка. Если онъ односторонень, то это значитъ, что я сузился въ духовномъ отношеніи и что свобода моего сужденія относительно сущности дѣла, *подлежащаго* этической оцѣнкѣ, подверглась ограниченію.

Почтенно-ли подобное отношеніе?—А это еще самое почтенное основаніе для подчиненія собственнаго нравственнаго сужденія чужому. Рядомъ съ нимъ находятся еще очень многія другія основанія, менѣе почтенныя. Послѣднія намъ тоже уже извѣстны. Говорятъ, наиримѣръ, что я долженъ жить въ согласіи съ людьми моего положенія. Это значитъ, пожалуй, что мое матеріальное существованіе или мое матеріальное благополучіе обуславливается принадлежностью къ данному опредѣленному сословію и подчиненіемъ его понятію о чести и о нравственности. Или это значитъ: я не могу жить безъ почтенія и уваженія, которое оказывается мнѣ людьми моего положенія или которое оказывается другими людьми моему сословію, но мнѣ грозитъ опасность лишиться этого почтенія и уваженія, если я стану въ оппозицію по отношенію къ понятіямъ о нравственности и чести, присущимъ людямъ моего положенія.

Но это, однако, уже *совсѣмъ* не почтенно. Пусть матеріальныя блага, о которыхъ идетъ здѣсь рѣчь, представля-

ють важность; почтеніе же и уваженіе, оказываемыя мнѣ другими людьми, безъ сомнѣнія, являются цѣнными благами. Но могу ли я ради почтенія и уваженія отказаться отъ того, чтобы *самому* оцѣнивать дѣйствіе, признаваемое почтеннымъ людьми моего положенія? Какъ *долженъ* я его оцѣнивать, разсматривая его совершенно свободно и всесторонне? Какъ такое дѣйствіе мирится съ моимъ *самоуваженіемъ*, моимъ *собственнымъ* чувствомъ чести? Въ случаѣ же, если оно съ нимъ не можетъ мириться, а я все же слѣдую требованію людей моего положенія, то не жертвую ли я въ такомъ случаѣ своею собственною честью? Не слѣдуетъ ли мнѣ скорѣе гордо противопоставить чужому требованію требованіе своего самоуваженія? Не будетъ ли слабостью и трусостью съ моей стороны уклониться отъ исполненія требованій моей чести потому, что другіе люди *хотятъ* этого?

Моя честь можетъ быть только—*моею честью*, то-есть моею честностью или добросовѣстностью. Другіе люди, хотя и могутъ подтверждать ее во мнѣ, но не въ состояніи дать мнѣ ее. Равнымъ образомъ, на меня не можетъ быть переносима честь моего сословія. Ни то почтеніе, которымъ я пользуюсь со стороны лицъ моего сословія, ни то, которое оказывается моему сословію, не могутъ доставить мнѣ чести, если во мнѣ ея *нѣтъ*. Этимъ не отрицается существованіе особенной сословной чести. У каждаго сословія есть свои собственные нравственные задачи, которыя оно можетъ выполнять съ большей или меньшей честностью или добросовѣстностью. Въ этомъ и состоитъ его честь. И каждый членъ сословія принимаетъ участіе въ этой чести въ той мѣрѣ, въ какой онъ участвуетъ въ подобныхъ задачахъ и ихъ добросовѣстнымъ выполненіи.

Однако, при этомъ масштабъ для опредѣленія высоты задачъ и цѣнности ихъ выполненія бываетъ всегда нравственного порядка. Слѣдовательно, онъ всюду одинъ и тотъ же. Для дѣйствительной чести не существуетъ различ-

ныхъ масштабовъ. Всякое измѣреніе чести другимъ масштабомъ, а потому и всякое измѣреніе *исключительнымъ* масштабомъ, и всякая на этомъ основанная *исключительная* претензія на честь — безнравственны, и слѣдовательно — безчестны.

Почему, наконецъ, мы повинемся *божественной* заповѣди? На это отвѣчаютъ: потому что она — божественная. Но что же это означаетъ? Что въ божественной сущности побуждаетъ насъ исполнять ея заповѣди?

Въ настоящемъ случаѣ являются двѣ возможности. Богъ — *Всемогущее Существо*, которое держитъ насъ въ своей рукѣ и въ состояніи насъ награждать и карать, возвышать и уничтожать. Если мы *поэтому* повинемся его заповѣдямъ, то наше повиновеніе — эгоистично.

Объ этомъ шла рѣчь выше.

Или же мы повинемся Богу, такъ какъ Онъ — *Святой*.

Тогда спрашивается, какимъ образомъ мы *познаемъ* святость Бога? Очевидно, для подобнаго признанія намъ необходимо внутренній масштабъ, посредствомъ котораго мы могли бы измѣрять его святость; или намъ нуженъ пробный камень, по которому мы отличали бы святое отъ несвятого. Такимъ масштабомъ и пробнымъ камнемъ можетъ быть лишь живое нравственное сознаніе, находящееся въ насъ. Для насъ или для нашего сознанія можетъ являться святымъ лишь то, что соотвѣтствуетъ абсолютнымъ образомъ находящимся *въ насъ* нравственнымъ требованіямъ.

Можетъ быть скажутъ: церковь гарантируетъ намъ святость Бога, или же — въ *понятіи* Бога заключена Его святость, а потому она является сама собою понятной. Въ такомъ случаѣ спрашивается, какимъ образомъ этого рода святость можетъ побуждать меня къ повиновенію? Какимъ образомъ оно вообще можетъ производить на меня впечатлѣніе, находить во мнѣ откликъ? Это снова приводитъ насъ къ прежнему результату: во мнѣ самомъ должно существовать стремленіе къ святому, или говоря общѣе — ко благу. И это

то стремленіе побуждаетъ меня повиноваться Богу, какъ Святому Существу. Такимъ образомъ, оказывая Ему повиновение, я повинуюсь, въ концѣ концовъ, *самоу себѣ*. Я являюсь опять-таки моимъ собственнымъ нравственнымъ законодателемъ. Равнымъ образомъ, и повиновение Богу или эгоистично и вмѣстѣ съ тѣмъ безнравственно, или же нравственно, но тогда это, собственно говоря, — не повиновение, а свое собственное законодательство: оно не гетерономно, но — автономно.

Рядомъ съ двумя до сихъ поръ разсмотрѣнными видами повиновенія стоитъ, далѣе, третій видъ. Дѣти могутъ оказывать повиновение своимъ родителямъ или воспитателямъ, а взрослые — тѣмъ, кто обращается къ нимъ съ какимъ-нибудь повелѣніемъ или требованіемъ, такъ какъ отказъ въ повиновеніи могъ бы оскорбить, огорчить и разсердить лицо, отдающее приказаніе.

Въ данномъ случаѣ спрашивается: откуда возникаетъ желаніе избѣгнуть такого огорченія другихъ людей? Можетъ быть, это основано на томъ, что люди, отдающіе мнѣ приказаніе, принесли мнѣ благо, и я надѣюсь въ будущемъ также получать его отъ нихъ. Въ такомъ случаѣ мое повиновение снова является эгоистичнымъ.

Между тѣмъ, мое повиновение можетъ имѣть и другое основаніе, имѣющее болѣе глубокіе нравственные корни. Я не хочу оскорблять личность, отдающую мнѣ приказаніе, потому, что она мнѣ кажется достойной любви и уваженія по своему существу, независимо отъ того, что она сдѣлала хорошаго для меня. Подобныя любовь и уваженіе сами по себѣ имѣютъ цѣнность, съ этической точки зрѣнія. Испытывая ихъ, я выхожу за предѣлы узкаго и ограниченнаго эгоизма. Я становлюсь *зрячимъ* въ сравненіи не только съ абсолютной, но также и съ эгоистической слѣпотой.

Тѣмъ не менѣе я могу быть ослѣпленъ и тогда, когда

я дѣйствую въ силу такой *любви и уваженія*. Если допустить, что мнѣ хочется обрадовать *во что бы то ни стало* личность, являющуюся предметомъ моей любви и уваженія, или что я ни за что на свѣтѣ не хочу ее огорчить,—тогда я буду оказывать ей повиновеніе, даже въ томъ случаѣ, если эта личность потребовала бы отъ меня чего-нибудь плохого. Согласно этому моральный принципъ дѣйствія по побужденіямъ любви и уваженія былъ бы лишень всякаго нравственнаго характера и упразднялъ бы противоположеніе добра и зла, подобно принципу слѣпого или эгоистическаго повиновенія. Подобное повиновеніе можетъ быть нравственнымъ лишь въ томъ случаѣ, если я люблю и уважаю личность за ея *нравственныя качества*, и если послѣдняя представляется мнѣ достойной нравственной любви и уваженія не вообще въ какое-нибудь время и въ какомъ-либо мѣстѣ, а специально въ томъ, что она *отъ меня требуетъ въ настоящую минуту*. А это предполагаетъ, что во мнѣ уже существуетъ сознаніе нравственнаго. Личность представляется мнѣ достойной въ нравственномъ отношеніи любви и уваженія именно въ томъ, что она требуетъ; это значитъ лишь, что предметъ ея требованія—нравствененъ не только самъ по себѣ, но и для меня; во мнѣ есть голосъ, познающій и признающій это нравственнымъ. Но въ такомъ случаѣ я повинуюсь въ послѣднемъ основаніи уже не личности, а этому голосу или моему собственному нравственному сознанію. Слѣдовательно, и въ давномъ случаѣ мы приходимъ къ такому результату: повиновеніе не является нравственнымъ, или же, если оно нравственно, оно не есть настоящее повиновеніе, а представляетъ собой самопроизвольное законодательство. Такимъ образомъ, и то *нравственное* повиновеніе *автономно*, то есть является согласіе съ существующимъ во мнѣ самомъ закономъ.

Итакъ, въ концѣ концовъ, всякаго рода нравственность равнозначуща со свободой въ смыслѣ свободнаго согласія

съ собственнымъ внутреннимъ закономъ. Если понимать повиновеніе, какъ мы это часто уже дѣлали ранѣе, въ болѣе узкомъ смыслѣ, то-есть какъ самоопредѣленіе чужой волею, то *нѣтъ* нравственнаго повиновенія. Повиновеніе всегда является *безнравственнымъ* не само по себѣ, а въ силу своего происхожденія какъ разъ въ той мѣрѣ, въ какой оно порождается духовной несвободой, узостью, слѣпотою. Однимъ словомъ, повиновеніе безнравственно, — не какъ самое дѣйствіе, а въ качествѣ нравственнаго строя личности, въ качествѣ несвободнаго или рабскаго *духа*. Повиновеніе въ смыслѣ дѣйствія можетъ являться необходимымъ и цѣннымъ въ нравственномъ отношеніи, именно, какъ средство для достиженія извѣстной цѣли, и главнымъ образомъ, какъ средство воспитанія. Между тѣмъ, его конечной цѣлью должна быть всюду нравственная свобода. Наконецъ, всякаго рода *моральный принципъ*, опирающійся на повиновеніе, является *по существу* безнравственнымъ.

Во всѣхъ людяхъ существуетъ страстное стремленіе къ свободѣ. Нѣкоторые считаютъ себя свободными, а являются только автоматами или рабами, лишенными своей собственной воли и подчиненными чужой, связанными въ духовной и нравственной узости, удерживаемыми въ узахъ награды и наказанія, милостей и немилостей судьбы и людей, почтенія и признанія, привычки и традицій, общественныхъ или сословныхъ предразсудковъ; или же у нихъ отнята свобода ихъ личности въ силу склонности къ другимъ личностямъ, склонности, не чуждой благородства, но слѣпой. Всему этому этика противопоставляетъ требованіе нравственной свободы, свободнаго самоопредѣленія въ нравственномъ отношеніи.

Кто обрѣтаетъ такую нравственную свободу, обрѣтаетъ самого *себя*. Онъ обрѣтаетъ также Бога, такъ какъ Богъ ни въ чемъ такъ совершенно не открывается, какъ въ нравственно свободной личности.

ЛЕКЦІЯ ПЯТАЯ.

Нравственно правильное.

(Обязательность и склонность).

Мы подходимъ къ основному вопросу: что же собственно называется „нравственнымъ“? Каковы признаки „нравственнаго“?

Въ послѣдней лекціи я провелъ различіе между послушаніемъ, какъ дѣйствіемъ, и послушаніемъ, какъ нравственнымъ строемъ личности. Смыслъ и основаніе такого различія намъ уже давно извѣстны. Дѣйствіе, какъ мы видѣли, можетъ быть „хорошо“, то-есть, можетъ *творить* добро, не будучи влѣдствіе этого „хорошимъ“ само по себѣ, другими словами, не заслуживая *похвалы съ нравственной точки зрѣнія*, въ качествѣ даннаго дѣйствія или даннаго *способа проявленія моей личности*. Я прибавилъ по этому поводу, что сказуемое „хорошо“ или „цѣнно въ нравственномъ отношеніи“ является двусмысленнымъ въ приложеніи къ какому-нибудь дѣйствію; одинъ разъ оно означаетъ цѣнность того, что производится дѣйствіемъ, другой — цѣнность дѣйствія, какъ такового, то-есть, какъ формы проявленія отдѣльной личности. Относительно этой послѣдней „цѣнности дѣйствія“ мы видѣли затѣмъ, что она опредѣляется цѣнностью нравственнаго строя личности.

Это можно выразить еще иначе. Слово „дѣйствіе“, подобно многимъ другимъ словамъ съ окончаніемъ на „іе“, имѣетъ двойной смыслъ. Во-первыхъ, только-что указанный: я разумѣю подъ нимъ мое „дѣйствованіе“. Во-вторыхъ, это слово означаетъ то, что *мы дѣлаемъ*. Принимая это во вниманіе, мы можемъ сказать: дѣйствіе можетъ хорошимъ, то-есть я могу поступать хорошо или дѣлать добро, не будучи хорошимъ въ томъ смыслѣ, чтобы мое дѣйствованіе *само по себѣ* могло быть охарактеризовано этимъ словомъ. Последнее же всегда имѣетъ мѣсто, если въ основаніи моего дѣйствованія нѣтъ соотвѣтственнаго хорошаго нравственнаго строя личности. Дѣйствіе, хорошее въ первомъ смыслѣ, мы можемъ обозначать, какъ *нравственно-корректное* или „*нравственно-правильное*“. Я поступаю правильно въ нравственномъ смыслѣ, если дѣлаю именно то, что слѣдуетъ дѣлать, безразлично, изъ какого нравственнаго строя моей личности это вытекаетъ. Напротивъ, мы должны по прежнему означать „*нравственно-похвальнымъ*“ только дѣйствіе, хорошее во второмъ смыслѣ, то-есть протекающее изъ хорошаго нравственнаго строя личности.

Если мы удержимъ это необходимое различеніе, то придемъ къ слѣдующему выводу: вопросъ о томъ, что составляетъ сущность „блага“ или „нравственнаго“, или о томъ, что мы собственно понимаемъ подъ этими двумя словами, имѣетъ два смысла. Въ то же время становится ясно, какіе эти оба смысла. Мы желаемъ знать, во-первыхъ, что же означаетъ выраженіе: дѣйствіе—*нравственно-правильно*; во-вторыхъ, что разумѣется подъ *нравственно-похвальнымъ* дѣйствіемъ, или что слѣдуетъ понимать подъ нравственнымъ строемъ личности, похвальнымъ съ точки зрѣнія нравственности. Однако, намъ нѣтъ нужды раздѣлять нарочито и рѣзко оба эти вопроса. Если я поступаю правильно въ нравственномъ отношеніи, то-есть, если я дѣлаю добро, то, можетъ быть, я дѣйствую въ этомъ случаѣ на основаніи малоцѣннаго нравственнаго строя личности. Но тогда я

все-таки, совершаю тоже самое, что совершилъ бы *по необходимости* человекъ, дѣйствующій въ силу своего совершеннаго нравственнаго строя личности. Нравственно-цѣнный строй личности именно и является основаніемъ, изъ котораго возникаетъ дѣйствіе, правильное съ точки зрѣнія нравственности,—при этомъ такое дѣйствіе будетъ не случайнымъ и единичнымъ, какъ у того, кто вообще лишенъ такого нравственнаго строя, а постояннымъ и необходимымъ. Этотъ нравственный строй личности всегда съ необходимостью вызываетъ дѣйствіе, правильное съ нравственной точки зрѣнія, если только ничто не *препятствуетъ* его свободному проявленію.

Поэтому оба вопроса о смыслѣ „*нравственно-правильнаго дѣйствія*“ и о сущности „*нравственно-похвальнаго*“ строя личности мы соединяемъ, когда мы прямо ставимъ только первый вопросъ, то-есть вопросъ о *нравственно-правильномъ дѣйствіи*, но даемъ ему одновременно такой смыслъ: *какія условія должны заключаться въ личности, чтобы она съ необходимостью производила правильныя въ нравственномъ отношеніи дѣйствія.*

Предложимъ же себѣ въ самомъ дѣлѣ теперь этотъ вопросъ. Мы хотимъ, слѣдовательно, знать, что значитъ „дѣйствовать правильно въ нравственномъ отношеніи“; мы хотимъ характеризовать это дѣйствіе указаніемъ условій, представляемыхъ личностью, условій, изъ которыхъ такое дѣйствіе вытекаетъ естественнымъ и необходимымъ образомъ.

Что же значитъ, „дѣйствовать правильно съ нравственной точки зрѣнія“? Безъ сомнѣнія, дѣйствіе является правильнымъ въ нравственномъ отношеніи, когда оно таково, какимъ должно быть. Вмѣсто этого, я могу также сказать: дѣйствіе, поскольку здѣсь идетъ рѣчь не о внѣшней сторонѣ его, а о лежащемъ въ основаніи его волевомъ рѣшеніи, правильно въ нравственномъ смыслѣ, если обладаетъ объективной обязательностью. При этомъ выраженіе „объек-

тивная обязательность“ имѣть тотъ же самый смыслъ, что когда-то мы придали простому слову „обязательность“. Эту обязательность мы противопоставляли тому значенію, которое что-нибудь можетъ имѣть для опредѣленнаго лица и для опредѣленнаго времени. Мы говорили, что нравственно не то, что можетъ имѣть значеніе здѣсь или тамъ въ глазахъ людей, а то, что имѣть значеніе, независимо отъ отдѣльныхъ лицъ и смѣны времени. Это мы называли обязательнымъ въ собственномъ смыслѣ этого слова. И именно это мы означаемъ, дѣлая нѣсколько болѣе сильное удареніе на словахъ, въ настоящемъ случаѣ посредствомъ слова „объективно-обязательное“.

Не только волевыя рѣшенія, но и другія также могутъ обладать объективной обязательностью или быть лишены ея; таковы, напримѣръ, рѣшенія, касающіяся области фактовъ, то-есть сужденія о фактахъ или разсудочныя сужденія, хотя бы сужденія о вещахъ, относящихся къ области физики. Въ настоящемъ случаѣ выраженіе „объективно-обязательно“ равнозначуще слову „правильно“. Такъ же, какъ рѣшеніе воли, сужденіе разсудка является „объективно-обязательнымъ“, „правильнымъ“, если оно таково, какимъ оно должно быть (*Him soll*).

Но кромѣ того, для объективно-обязательныхъ разсудочныхъ сужденій у насъ существуетъ краткое и хорошо намъ знакомое названіе; мы называемъ ихъ „истинными“. Объективно-обязательное, или правильное сужденіе о фактахъ, другими словами сужденіе, которое таково, какимъ оно должно быть, есть *истинное* сужденіе.

Слѣдовательно, „истинное“ соотвѣтствуетъ вполне „нравственно-правильному“. Говоря точнѣе, чѣмъ является истина въ области разсудочнаго познанія, тѣмъ же является нравственно—правильное въ области хотѣнія, а также въ области оцѣночной дѣятельности такъ, какъ хотѣніе основывается на послѣдней. Поэтому, мы можемъ получить надлежащій отвѣтъ на нашъ вопросъ, что называется, „нрав-

ственно-правильнымъ“, если мы спросимъ сперва, каково значеніе выраженія, что разсудочное сужденіе—истинно.

Каковъ критерій или признакъ того, что разсудочное сужденіе истинно, напримѣръ, что сужденіе истинно относительно вещей, принадлежащихъ къ области физики? На это возможенъ одинъ лишь отвѣтъ: справедливо сужденіе, вполне согласующееся съ опытомъ. При этомъ, естественно, имѣются въ виду такіе опыты, которые имѣютъ значеніе для даннаго случая. Истинное сужденіе мы означаемъ также новымъ терминомъ—*основательное* (das stichhaltige). Подъ послѣднимъ мы разумѣемъ то, что устояиваетъ противъ критики или удерживается, каковы бы ни были опытные данныя, относящіяся къ настоящему сужденію, т. е. мы разумѣемъ *окончательно* установленныя или, говоря кратко, *окончательныя* сужденія. Въ этой окончательности состоитъ такимъ образомъ истинность или „объективная обязательность“; истинное или объективно обязательное сужденіе есть такое сужденіе, которое не допускаетъ опасности или возможности того, чтобы какой-либо фактъ опыта могъ вынудить меня къ отмѣнѣ этого сужденія.

Такой же смыслъ должна имѣть и объективная правильность рѣшенія воли. Мое рѣшеніе воли будетъ нравственно правильнымъ, если оно—при сопоставленіи со всеми имѣющимися до него отношеніе опытами или подлежащими опыту фактами—окажется состоятельнымъ или, что тоже, если на свѣтъ не окажется больше ни одного такого факта, который, ставъ мнѣ извѣстнымъ, могъ бы меня вынудить отмѣнить, упразднить, осудить мое рѣшеніе воли.

Факты или данныя опыта, имѣющія значеніе для моего волевого рѣшенія, являются возможными мотивами этого послѣдняго или — что то же самое—факты или опытные данныя *могутъ* лишь постольку имѣть значеніе для этого рѣшенія, поскольку они заключаютъ въ себѣ возможную цѣль моего хотѣнія, состоитъ ли послѣдняя въ *достиженіи* или *избѣжаніи* какого-нибудь объекта представленія. Я мо-

гу, поэтому, сказать: волевое рѣшеніе является правильнымъ въ нравственномъ отношеніи, когда оно не можетъ быть взято назадъ ни при какомъ мотивѣ, заключающемся въ какомъ-либо фактѣ, и ни при какой цѣли, которую какой-нибудь фактъ выдвигалъ бы предо мною.

Я говорю тутъ лишь о томъ, что непосредственно ясно для cadaго. Чтобы это показать, мнѣ достаточно лишь вставить другія выраженія. Допустимъ, что я отрицаю или осуждаю на основаніи какого-нибудь факта волевое рѣшеніе, которое я принялъ, или которое я готовъ въ настоящую минуту принять. Въ такомъ случаѣ я выражаю это отрицаніе или осужденіе въ слѣдующихъ словахъ: въ первомъ случаѣ—я не „долженъ былъ“ такъ поступать; во-второмъ—я не „долженъ“ поступить такимъ образомъ. Слѣдовательно, поставленное нами выше положеніе сводится, въ концѣ-концовъ, къ слѣдующему распространенному взгляду: мое волевое рѣшеніе является правильнымъ съ нравственной точки зрѣнія, если въ отношеніи его не представляется возможности когда-либо прійти къ сознанію, что мнѣ не слѣдуетъ или не слѣдовало принимать такое рѣшеніе. Или же, если мы, предвосхищая дальнѣйшее изложеніе предмета, обозначимъ эти выраженія: „мнѣ не слѣдуетъ“ и „мнѣ не слѣдовало“, какъ возраженіе и укоръ „совѣсти“, тогда мы можемъ сказать, что волевое рѣшеніе—правильно въ нравственномъ отношеніи, если совѣсть въ концѣ-концовъ, то-есть если даже совершенно просвѣтленная, не можетъ ничего противъ него возразить. Этимъ, очевидно, обозначено именно то, что всякій понимаетъ подъ волевымъ рѣшеніемъ, правильнымъ въ нравственномъ смыслѣ.

Нравственно-правильнымъ, по мнѣнію cadaго, является совершенно „добросовѣстное“ волевое рѣшеніе. Однако, совершенно добросовѣстнымъ является волевое рѣшеніе въ томъ случаѣ, если его не можетъ осудить даже совершенно просвѣтленная совѣсть. Между тѣмъ совѣсть является безъ

сомнѣнія совершенно просвѣтленной, когда она узнаетъ и примѣняетъ къ себѣ все, что имѣетъ какое-либо значеніе для воли или хотѣнія. Положимъ моя совѣсть не подымаетъ обвиненія и не дѣлаетъ возраженія также и противъ злого хотѣнія, какъ это случается въ дѣйствительности. Въ такомъ случаѣ моя совѣсть *не* просвѣтлена; другими словами, у моей совѣсти, или у *меня* теперь нѣтъ въ сознаніи всѣхъ фактовъ, имѣющихъ значеніе для моего хотѣнія; я не принимаю во вниманіе всѣхъ возможныхъ цѣлей, имѣющихъ значеніе для моего хотѣнія. Поскольку это имѣетъ мѣсто, не удивительно, если осужденіе зла или сознаніе того, что „мнѣ не слѣдовало“ поступать извѣстнымъ образомъ, не появляется во мнѣ.

Сказаннымъ опредѣляется въ то же время, въ чемъ состоитъ первое *условіе* вполне правильнаго съ точки зрѣнія нравственности волевого рѣшенія, принимаемаго мною. Оно совершенно однородно съ первымъ условіемъ истиннаго сужденія и заключается въ полнотѣ опыта. Всѣ возможныя цѣли, такъ или иначе относящіяся къ моему волевому рѣшенію, должны быть во мнѣ на лицо. Для этого не требуется, чтобы онѣ всякій разъ представлялись моему *сознанію*, если только онѣ имѣются во мнѣ и оказываютъ дѣйствіе, то-есть принимаютъ участіе въ постановленіи волевого рѣшенія. Если предположить случай, что хотя бы только одна изъ возможныхъ цѣлей или одинъ только фактъ, могущій дѣйствовать въ качествѣ мотива при постановленіи моего волевого рѣшенія, являлся мнѣ чуждымъ, то, можетъ быть, именно эта цѣль или этотъ фактъ направили бы это рѣшеніе иначе; слѣдовательно, если бы мнѣ такое обстоятельство было извѣстно въ настоящее время, я увидѣлъ бы себя вынужденнымъ — осудить рѣшеніе моей воли.

Однако, это можно опредѣлить еще точнѣе. Если я долженъ прійти къ нѣкоторому безусловно правильному *сужденію въ области физики*, то въ такомъ случаѣ имѣющія для

него значеніе данныя опыта не только содѣйствуютъ *какимъ-нибудь образомъ* выработкѣ въ полной мѣрѣ сужденія, но и должны при этомъ *получить значеніе*. Никакое обстоятельство, могущее имѣть значеніе при сужденіи, не должно быть упущено изъ виду. Всѣ факты должны проявить свою полную *доказательность*. Такимъ образомъ, если я хочу быть увѣреннымъ въ правильности моего волевого рѣшенія, всѣ факты, имѣющіе для него значеніе, должны достигнуть во мнѣ своего полного дѣйствія. Они должны проявить всю свою способность опредѣлять мою волю, другими словами, должны проявить во всей полнотѣ свою способность быть мотивами. Если предположить, что при волевомъ рѣшеніи всѣ принимаемые во вниманіе факты оказываютъ на меня вліяніе, но одинъ изъ фактовъ дѣйствуетъ на меня не съ тою силой, съ какою онъ могъ бы дѣйствовать, въ такомъ случаѣ мнѣ снова грозитъ опасность—быть вынужденнымъ впоследствии внести поправку, слѣдовательно, осудить мое первоначальное волевое рѣшеніе, когда упомянутый фактъ произведетъ на меня свое полное дѣйствіе.

Въ то же время въ этомъ заключается и нѣчто другое. Стремясь къ составленію сужденія о нѣкоторомъ физическомъ фактѣ, я думаю *сперва объ одномъ* изъ нихъ, имѣющемъ значеніе для такого сужденія, затѣмъ, перевожу свой взоръ на другой. Одинъ фактъ даетъ мнѣ поводъ составить одно сужденіе, другой—отклоняетъ мое сужденіе въ противоположномъ направленіи. Такимъ образомъ, я колеблюсь и не получаю объективно-обязательнаго сужденія.

Слѣдовательно, если я долженъ прійти къ такому сужденію, то недостаточно, чтобы всѣ факты, имѣющіе для него значеніе, дѣйствовали во мнѣ и проявлялись во всей полнотѣ, необходимо также, чтобы они дѣйствовали бы во мнѣ *всѣ сразу*. Я долженъ внутреннимъ образомъ сопоставлять и противопоставлять ихъ. Мнѣ слѣдуетъ взвѣшивать „основанія за“ и „основанія противъ“ и взаимоуравновѣшивать ихъ дѣйствія.

Точно также недостаточно для объективно-обязательного или нравственно-правильного волевого рѣшенія, чтобы во мнѣ дѣйствовали возможные мотивы и развивали всю свою силу мотивации, но въ данномъ случаѣ такъ же требуется, чтобы я сопоставлялъ, взвѣшивалъ соотвѣтственно мотивы и цѣли и взаимно уравнивалъ ихъ дѣйствія.

Въ этомъ и состоитъ нравственное *размышленіе*. Будучи вполне аналогично логическому или разсудочному размышленію, оно указываетъ на то, что я не только вполне представляю себѣ факты, могущіе опредѣлить мое хотѣніе, но также и то, что я внутренне соотношу ихъ другъ съ другомъ отмѣченнымъ выше образомъ. Во „*взвѣшиваніи*“ заключается требованіе, чтобы каждый изъ фактовъ проявилъ свое полное дѣйствіе.

Каковъ, однако, смыслъ утвержденія, что факты проявляютъ во мнѣ свое полное дѣйствіе? Или лучше спросимъ, какимъ образомъ можетъ случиться, что факты, которые опредѣляютъ или должны опредѣлить разсудочное сужденіе или волевое рѣшеніе, не достигаютъ своего полного дѣйствія.

Условія, дѣлающія это возможнымъ, разнообразны, но ихъ можно представить въ одномъ только выраженіи. Пусть мнѣ требуется получить обязательное сужденіе о какомъ-нибудь физическомъ фактѣ. Но мои чувства тупы, или мой духъ — узокъ, или же мое мышленіе страдаетъ косностью. Это служитъ причиною того, что факты воспріятія представляются мнѣ *неполно*, или что я получаю отъ нихъ только смутный образъ, или же мое мышленіе не обнимаетъ фактовъ съ полной живостью. Поскольку такой случай имѣетъ мѣсто, мое сужденіе опредѣляется не фактами, не дѣйствіемъ, которое факты, какъ таковыя, могли бы производить на мое сужденіе; оно, напротивъ, опредѣляется моей индивидуальной организаціей или наклонностями; короче, оно *обусловли-*

вается не „объективно“, а „субъективно“. При этомъ выраженіе „обусловливается объективно“ значить ни что иное, какъ—обусловливается или опредѣляется объектами моего воспріятія и мышленія, имѣющими значеніе для моего сужденія, фактами, которые представляютъ нѣчто, отличное отъ меня, мнѣ „противостоящее“; выраженіе же „обусловливается субъективно“ означаетъ ни что другое, какъ—обусловливается моей организаціей, моимъ состояніемъ и расположеніемъ въ каждый данный моментъ. Поскольку такія *субъективныя условія* оказываютъ вліяніе на мое сужденіе, послѣднее лишено значенія *объективной обязательности*.

Существуютъ еще дальнѣйшія субъективныя условія сужденія. Одинъ фактъ я *самъ* переживаю, о другомъ мнѣ лишь *сообщаютъ*. Я допускаю, что, хотя послѣдній мнѣ только сообщается, но онъ, все-таки, столь же достовѣренъ, какъ и первый, переживаемый мною *самимъ*. Несмотря на это, не удивительно, если пережитый мною *самимъ* фактъ производитъ на меня болѣе сильное впечатлѣніе: въ качествѣ такого онъ мнѣ ближе; не пережитый мною *самимъ* фактъ отстываетъ на задній планъ. Если пережитый мною фактъ оказываетъ болѣе сильное вліяніе на составленіе мною сужденія, въ такомъ случаѣ это сужденіе будетъ снова субъективно обусловлено. Именно вслѣдствіе этого оно не можетъ претендовать на объективную обязательность. Я лишь въ такомъ случаѣ сужу объективно-обязательнымъ образомъ, если факты имѣютъ для меня равную логическую силу, переживаются ли они мною *самимъ* или нѣтъ.

Пойдемъ дальше. Какой-нибудь фактъ производитъ большее впечатлѣніе на меня или потому, что онъ находится *ближе* къ моимъ чувствамъ *въ пространственномъ отношеніи*, или также потому, что объектъ, стоящій ко мнѣ ближе въ пространственномъ отношеніи, непосредственно мнѣ о немъ напоминаетъ. Или я его пережилъ *какъ разъ теперь* или узналъ о немъ только-что. Или же, наконецъ, я въ большей мѣрѣ *привыкъ* обращать вниманіе на факты извѣтнаго рода.

чѣмъ на другіе и потому первые легче опредѣляютъ мое сужденіе. Но факты остаются, тѣмъ не менѣе, фактами, какъ бы ни были они мнѣ далеки въ отношеніи пространства, времени и привычки. Если характерною особенностью объективно-обязательныхъ сужденій, какъ таковыхъ, является ихъ обусловленность фактами, то этого рода сужденія должны быть независимы отъ подобныхъ различій въ отношеніи фактовъ ко мнѣ.

Совершенно такія же субъективныя условія могутъ имѣть опредѣляющее значеніе и для нашихъ волевыхъ сужденій. Факты могутъ не имѣть вліяніе на наше хотѣніе потому, что мы тупы, или узки, или инертны въ духовномъ отношеніи. Вслѣдствіе такой субъективной организаціи мы бываемъ не „склонны“ отдаваться мотивирующей силѣ фактовъ. Или же мотивы и цѣли одностороннимъ образомъ выдѣляются передъ нашимъ духовнымъ взоромъ и господствуютъ надъ нами, между тѣмъ какъ другіе отступаютъ назадъ и лишаютъ насъ своихъ услугъ; это происходитъ потому, что первые факты стоятъ къ намъ *ближе* въ отношеніи *личномъ* или *пространственномъ*, или *временномъ*, тогда какъ послѣдніе *удалены* отъ насъ въ томъ же отношеніи. Какъ всякому извѣстно, мы легче поддаемся мотивирующей силѣ того, что является для насъ непосредственной приманкой, чѣмъ равно великой мотивирующей силѣ того, что находится отъ насъ дальше въ пространствѣ. Точно такимъ же образомъ непосредственно намъ близкое *во времени* обнаруживаетъ свое дѣйствіе на нашу волю съ большей силой впечатлѣнія, чѣмъ то, что относится къ болѣе далекому будущему. Могущество *привычки* имѣетъ такое же значеніе для хотѣнія, какъ и для логическаго мышленія.

Особенно же большое значеніе имѣетъ различіе *личной близости* или *дальности*. Если я самъ переживаю или долженъ переживать нѣчто, то это производитъ на меня болѣе сильное впечатлѣніе, чѣмъ фактъ переживанія того же самаго

другими людьми. Собственные радости и печали производят на меня болѣе сильное дѣйствіе, чѣмъ чужія. Существуетъ опасность, что благодаря мотивирующему дѣйствію *первыхъ* будетъ умалено или даже совсѣмъ потеряется мотивирующее дѣйствіе послѣднихъ. Однако, переживаемое другими есть фактъ точно въ такой же степени, какъ и переживаемое мною; если оба эти переживанія имѣютъ одинаковое содержаніе, то они являются совершенно *одинаковыми* фактами. Каждый изъ нихъ является по себѣ одинаково важнымъ и значительнымъ фактомъ. Разница лишь въ томъ, что переживаемое другими не имѣетъ для меня такой наглядности, какъ переживаемое мною самимъ; это совершенно подобно тому, какъ физическія явленія, сообщенныя намъ или вычитанныя нами не такъ запечатлѣваются въ нашемъ умѣ и не имѣютъ для насъ такой наглядности, какъ физическія явленія, при совершеніи которыхъ мы присутствовали.

Поскольку, слѣдовательно, подобныя субъективныя условія вліяютъ на мое хотѣніе, послѣднее не можетъ претендовать на объективную обязательность, подобно субъективно обусловленному сужденію о фактѣ. Чтобы вполне понять это, намъ достаточно лишь обратить вниманіе на своеобразность этихъ субъективныхъ условій. Имъ свойственна, по существу дѣла, измѣнчивость. Они измѣняются или варьируютъ отъ одной отдѣльной личности къ другой и могутъ измѣняться внутри одной и той же личности. Привычки оцѣнки, хотѣнія и дѣйствованія могутъ быть уничтожаемы; то, что теперь мнѣ близко по времени и въ пространствѣ, другой разъ кажется удаленнымъ въ томъ или другомъ отношеніи. То, что въ данную минуту затрогиваетъ меня лично, является въ позднѣйшій моментъ времени отрѣшеннымъ отъ моихъ теперешнихъ интересовъ, чуждымъ мнѣ, объективированнымъ и т. д.

Напротивъ, вѣрно познанный объективный фактъ,—а о такомъ и идетъ въ данномъ случаѣ рѣчь всегда, остается

для меня однимъ и тѣмъ же фактомъ. Если, напримѣръ, вчера кого-нибудь постигла горестъ, и я знаю объ этомъ, то этотъ фактъ всегда остается для меня однимъ и тѣмъ же фактомъ. Самъ я могу быть тѣмъ или другимъ, я могу находиться въ томъ или другомъ расположеніи духа, въ томъ или иномъ настроеніи, въ томъ или другомъ состояніи, но тотъ фактъ, что вчера человѣка постигло данное горе, отъ этого не измѣняется.

Отсюда съ необходимостью вытекаетъ такое слѣдствіе: если волевое рѣшеніе зависитъ отъ субъективныхъ условій, оно, подобно сужденію, не можетъ никоимъ образомъ быть нерушимымъ, существующимъ разъ навсегда, неизмѣнно прочнымъ, короче говоря, — объективно-обязательнымъ. Волевое рѣшеніе можетъ обладать перечисленными свойствами, можетъ, слѣдовательно, быть объективно-обязательнымъ лишь въ томъ случаѣ, если оно опредѣляется исключительно вѣрно познанными фактами, то-есть вполне объективнымъ образомъ. Волевое рѣшеніе *должно* обладать такими свойствами, слѣдовательно, должно быть объективно-обязательнымъ и вмѣстѣ съ тѣмъ правильнымъ съ нравственной точки зрѣнія, если *все* имѣющіе для него значеніе факты познаны вѣрно и при постановленіи волевого рѣшенія развили всю свою мотивирующую силу цѣликомъ.

Предположимъ, что за собственной радостью или собственнымъ горемъ я проглядѣлъ или недостаточно оцѣнилъ радость или горе другого человѣка и соотвѣтственно этому составилъ мое волевое рѣшеніе. Но затѣмъ собственная радость или собственное горе удаляются въ прошлое; онѣ становятся чужды мой настоящей личности и получаютъ объективное освѣщеніе. Или же мнѣ удалось представить себѣ горе и радость другого человѣка такъ же наглядно, какъ наглядны были для меня прежде лишь собственная радость и собственное горе. Я ихъ схватываю во всей дѣйствительности, отдаюсь всему тому дѣйствию, которое онѣ могутъ произвести. Въ такомъ случаѣ можетъ случиться,

что я долженъ осудить прежнее волевое рѣшеніе, и благодаря этому послѣднее оказывается лишеннымъ объективной обязательности. Напротивъ того, мое волевое рѣшеніе всегда оказывалось бы объективно-обязательнымъ и мнѣ было бы не нужно его отмѣнять, еслибы съ самаго начала собственная и чужая радость, а также собственная и чужая печаль, достигли въ немъ своей полной дѣйствительности и потому равномерно опредѣлили бы его.

Факты, имѣющіе значеніе для моего хотѣнія, могутъ стоять ко мнѣ *лично* ближе или дальше и инымъ образомъ, чѣмъ указано выше. Пусть, на примѣръ, дѣло идетъ о радостяхъ и печаляхъ лицъ, мнѣ близкихъ, моихъ домочадцевъ, моихъ друзей, а съ другой стороны—о радостяхъ и печаляхъ лицъ, мнѣ далекихъ. Снова является естественнымъ, что первая радости и печали легче и интенсивнѣе на меня дѣйствуютъ, чѣмъ послѣднія.

На этомъ основаніи можетъ случиться, что я буду руководствоваться въ моихъ дѣйствіяхъ исключительно интересомъ къ радостямъ и печалямъ моихъ близкихъ въ какомъ-нибудь частномъ случаѣ—на примѣръ, интересомъ къ счастью друга. Я поступаю по чувству дружбы. Я дѣлаю то или другое въ угоду другу, такъ какъ онъ—мой другъ.

Въ данномъ случаѣ дружба, какъ таковая, представляетъ *цѣнность* въ нравственномъ отношеніи. Мои поступки, вытекающіе изъ дружбы, — хороши, когда они не являются *слѣдствіемъ* съ нравственной точки зрѣнія, то-есть когда они стремятся не къ тому, чтобы обрадовать *друга во что бы то ни стало*, а къ тому, чтобы дать ему участіе въ *такомъ* счастьѣ; или когда они стремятся вызвать и поощрить въ другѣ *такое* чувство радости, которое возникаетъ изъ оправдываемаго нравственностью корня и потому является признакомъ того, что нѣчто положительное, здоровое, дозволительное съ человѣческой точки зрѣ-

нiя можетъ быть, даже достойное любви и уваженiя получаетъ свободу дѣйствовать и проявляться въ его личности. Въ то же время, однако, мнѣ извѣстно, что въ человѣческихъ личностяхъ вообще существуютъ всякаго рода положительныя, здоровыя и съ человѣческой точки зрѣнiя дозволительныя явленiя, достойныя любви и уваженiя; и можетъ быть, эти явленiя—совершенно однородны съ предыдущими. Но только что упомянутыя личности находятся отъ меня дальше. То, что въ нихъ происходитъ, производитъ на меня менѣе непосредственное дѣйствиe, а можетъ быть, и не производитъ и совсѣмъ никакого. Однако, это обстоятельство не мѣшаетъ тому здоровому, дозволительному, достойному любви и уваженiя, что проявляется въ этихъ дальше отъ меня находящихся личностяхъ, быть не менѣе реальнымъ. Оно также само по себѣ притягиваетъ на свободное и радостное проявленiе. И я могу понять это притязанiе. Я могу достигнуть того, чтобы внутренне признать его. Въ такомъ случаѣ я осуждаю волевое рѣшенiе, оставившее безъ вниманiя упомянутое стремленiе. Я осуждаю мой исключительный культъ дружбы. Въ настоящемъ случаѣ мое волевое рѣшенiе оказывается недѣйствительнымъ въ объективномъ отношенiи, потому что оно было обусловлено субъективно, то-есть путемъ случайнаго личнаго отношенiя.

Между тѣмъ это не отрицаетъ факта, что другъ или, говоря болѣе обще, человѣкъ, стоящiй лично ко мнѣ ближе, или являющiйся вообще или въ отдѣльномъ частномъ случаѣ въ отношенiи меня самымъ близкимъ, или, наконецъ, просто—мой ближнiй, имѣетъ преимущественныя права на мое вниманiе. Впослѣдствiи я специально остановлюсь на этомъ фактѣ. Но уже и въ данномъ случаѣ я не могу не упомянуть о немъ.

Предположимъ, что вопросъ заключается—и будетъ обыкновенно заключаться—въ томъ, долженъ ли мой человѣческiй интересъ *служить* въ каждомъ опредѣленномъ случаѣ болѣе близкому или же болѣе дальнему мнѣ человѣку; дру-

гими словами, я долженъ выбирать—*проявить* ли мнѣ мое благожелательство на *дѣль* по отношенію къ тому или другому человѣку. Въ такомъ случаѣ мой ближній является мнѣ естественнымъ образомъ самымъ близкимъ; это случается не потому, чтобы благожелательство, проявляемое мною въ отношеніи ближняго, имѣло высшую цѣнность, съ нравственной точки зрѣнія, а потому, что это благожелательство, разъ оно вообще существуетъ, необходимымъ образомъ *проявляется* прежде всего тамъ, гдѣ на него ко мнѣ предъявляется запросъ самымъ непосредственнымъ образомъ; или говоря отрицательно, потому что мое благожелательство должно было бы быть очень слабымъ, если бы оно *не проявлялось* тамъ, гдѣ существуетъ личная близость, *усиливающая* побужденіе къ ея проявленію.

Это, однако, не уничтожаетъ правильности того взгляда, по которому объективно-обязательное волевое рѣшеніе не должно являться субъективно обусловленнымъ. Хотя я и лишень возможности *проявлять* мое благожелательство по отношенію ко всѣмъ въ одинаковой мѣрѣ, но, все-таки, оно относится одинаково ко всѣмъ, въ комъ находятся въ равной мѣрѣ объективныя условія ея проявленія, говоря короче, „достоинство“ въ нравственномъ смыслѣ этого слова; такъ дѣло обстоитъ тогда, когда мое хотѣніе оказывается нравственнымъ. Въ этомъ случаѣ я хочу всего лучшаго моему другу—*не* потому, что онъ мнѣ *другъ*. Въ противномъ случаѣ я *не* хотѣлъ бы всего лучшаго тому, кто *не* является моимъ другомъ. Между тѣмъ я всѣмъ хочу всего лучшаго. Но, можетъ быть, я могу *проявить* это благожелательство въ отношеніи лишь кого-нибудь одного. Въ моихъ дѣйствіяхъ я долженъ ограничиваться *осуществленіемъ* по отношенію къ кому-нибудь одному моихъ нравственныхъ желаній, относящихся ко всѣмъ. И то обстоятельство, что всего ближе мнѣ оказывается какой-нибудь опредѣленный человѣкъ, является не нравственною *обязанностью* въ собственномъ смыслѣ слова, а лишь простою *психологическою необходимостью*. И чело-

вѣкъ, оказывая добро своему близкому, я обнаруживаю мою волю—оказывать подобное добро вѣмъ находящимся въ подобныхъ же обстоятельствахъ. Въ качествѣ чловѣка нравственнаго я *оказалъ бы* добро всему міру, если бы способность чловѣческаго дѣйствования не была бы такъ ограничена, какова она къ несчастью въ дѣйствительности.

Чтобы выразить сказанное съ полной точностью, формулируемъ его слѣдующимъ образомъ: всякое нравственно правильное хотѣніе по необходимости независимо отъ субъективныхъ условій—независимо не только относительно пункта своего *ближайшаго примѣненія* или вообще какого бы то ни было пункта примѣненія (если существуетъ принудительный выборъ между тѣмъ или инымъ) — нѣтъ, независимо само въ себѣ, какъ данное *хотѣніе* или данное внутреннее *стремленіе* къ предмету хотѣнія.

Этотъ взглядъ я могу въ заключеніе облечь еще въ другое выраженіе. Я долженъ сейчасъ же сказать, что собираюсь это сдѣлать, принимая во вниманіе одно опредѣленіе *Канта*. Мнѣ хотѣлось бы отмѣтить ту истину, которая заключается въ этомъ Кантовомъ опредѣленіи. При этомъ я признаю, что самъ Кантъ сдѣлалъ все, что отъ него зависѣло, чтобы представить свою вѣрную мысль въ ложномъ свѣтѣ.

Какъ я уже говорилъ, тупость, узость и косность духа обусловливаютъ нѣкоторую „наклонность“ или „*склонность*“ къ опредѣленной формѣ внутренняго поведенія. Равнымъ образомъ, привычка воспитываетъ „склонность“ къ тому или другому. Мы „склонны“ въ такой же мѣрѣ направлять болѣе или менѣе исключительнымъ образомъ нашъ интересъ на то, что стоитъ намъ ближе въ пространственномъ, временномъ или, наконецъ, личномъ отношеніи. Когда я исполняю желанія друга, чтобы доставить ему удовольствіе именно, какъ другу, не потому, что эти желанія правомѣрны съ нравственной точки зрѣнія, я дѣйствую изъ побужденій

случайной индивидуальной склонности; въ противномъ случаѣ мнѣ необходимымъ образомъ слѣдовало бы точно также исполнить подобныя же желанія другихъ людей, если бы я имѣлъ для этого возможность. Такимъ образомъ, мы можемъ вообще обозначать субъективныя условія хотѣнія, какъ индивидуальныя *склонности* или *наклонности* къ хотѣнію.

Поступая указаннымъ образомъ, мы должны сказать съ Кантомъ: дѣйствовать по склонности не нравственно. Это значить, что наши дѣйствія не нравственны, и могутъ даже сдѣлаться безнравственными какъ разъ въ той мѣрѣ, въ какой такого рода склонность или индивидуальная наклонность опредѣляетъ въ нашихъ дѣйствіяхъ выборъ между различными возможностями одного и того же рода; это можетъ случиться также и тогда, когда подобная индивидуальная наклонность составляетъ основаніе, опредѣляющее само наше хотѣніе, его содержаніе и *направленіе*, или содержаніе и направленіе нашего внутренняго отношенія къ предметамъ хотѣнія. Поскольку Кантъ въ своемъ опредѣленіи, гласящемъ, что всякаго рода дѣйствіе по склонности лишено, съ нравственной точки зрѣнія, цѣнности, имѣетъ въ виду только что сказанное,—онъ правъ.

Но Кантъ при развитіи своихъ собственныхъ мыслей перестаетъ правильно понимать свою собственную мысль. Онъ пришелъ, въ концѣ концовъ, къ убѣжденію, будто бы не имѣютъ никакой нравственной цѣнности дѣянія того чловѣка, который, имѣя „склонность“ къ какому-нибудь дѣянію, какъ бы оно ни было нравственно по своему внутреннему содержанію, поступаетъ сообразно своей „склонности“. Въ дѣйствительности существуетъ, понятно, какъ разъ противоположное. Всякій нравственный строй личности представляетъ собою склонность или наклонность къ добру. Высшая ступень нравственнаго строя личности равнозначуща высшей склонности, страстному стремленію, совершенно покрывающей насъ охотѣ и любви къ добру.

Между тѣмъ, объ этомъ не было и рѣчи въ развитіи на-

шихъ мыслей. Когда мы сказали, что нравственное дѣйствіе должно быть независимо отъ склонности, то мы имѣли въ виду не склонность къ добру, а скорѣе случайныя субъективныя расположенія или наклонности, которыя *препятствуютъ* склонности къ добру получить въ насъ чистое, совершенное и всестороннее осуществленіе; или говоря болѣе общимъ образомъ, мы имѣли въ виду случайныя субъективныя расположенія или наклонности, которыя мѣшаютъ возможнымъ человѣческимъ цѣлямъ опредѣлять наше хотѣніе такимъ образомъ, какъ это имъ свойственно по ихъ природѣ, или какъ онѣ могли бы это сдѣлать согласно ихъ объективнымъ свойствамъ.

Это послѣднее мы можемъ выразить еще и инымъ образомъ. Мы приходимъ къ этому, вводя новое понятіе, а именно, понятіе *цѣнности*.

Что значить: вещь имѣть цѣнность? Очевидно не то, что я случайнымъ образомъ въ настоящее время считаю эту вещь цѣнной или оцѣниваю ее опредѣленнымъ образомъ. Картина можетъ имѣть высокую цѣнность, хотя въ настоящую минуту послѣдняя и не возбуждаетъ во мнѣ соответственнаго чувства цѣнности, такъ какъ я еще объ этомъ не думалъ, или такъ какъ я еще не вполне усвоилъ себѣ пониманіе картины. Напротивъ, приписывая вещи цѣнность, мы хотимъ обозначить, что въ ней заключена *возможность* породить опредѣленное чувство или чувство удовольствія, радости, удовлетворенія; другими словами, подобное чувство цѣнности въ дѣйствительности и *необходимымъ* образомъ порождается *вещью въ томъ*, кто совершенно отчетливо представляетъ ее себѣ во всей полнотѣ ея содержанія и испытываетъ ея вліяніе, не встрѣчая препятствій со стороны мѣшающихъ и отклоняющихъ въ сторону субъективныхъ склонностей, слѣдовательно, кто испытываетъ ея дѣйствіе чисто и совершенно.

Мы различаемъ въ настоящемъ случаѣ цѣнность вещи отъ нашей случайной оцѣнки. Напротивъ, можно сказать,

что, покамѣсть я не испыталъ цѣнности какого-нибудь объекта, онъ въ дѣйствительности *не* имѣеть для меня цѣнности. Цѣнность какой-нибудь вещи въ моихъ глазахъ измѣняется по моему собственному чувству цѣнности.—Это справедливо. Но я въ данномъ случаѣ веду рѣчь не о той цѣнности, какую что-либо имѣеть *для меня* или *для кого-нибудь другого вообще*, а о той, которою оно обладаетъ *само по себѣ* или „носить въ себѣ“, короче, я говорю не о субъективной, а объ *объективной цѣнности*. Субъективная цѣнность безъ сомнѣнія измѣняется моей оцѣнкой, скорѣе даже первая *заключается* въ послѣдней. Между тѣмъ, объективная цѣнность или цѣнность, содержащаяся въ самой вещи, измѣняется по чувству цѣнности, которое является у меня при видѣ вещи; или другими словами, она измѣняется чувствомъ цѣнности, которое порождаетъ во мнѣ вещь по *своей природѣ*, если я допускаю ее произвести на меня *полное дѣйствіе*. Объективная цѣнность вещи представляетъ собою всю *возможность*, заключающуюся въ вещи, — породить чувство цѣнности.

Поэтому, вмѣсто слѣдующаго положенія—поведеніе, правильное въ нравственномъ отношеніи, опредѣляется полнымъ дѣйствіемъ всѣхъ имѣющихъ для него значеніе или всѣхъ возможныхъ мотивовъ и цѣлей, имѣющихъ отношеніе къ нему, мы можемъ поставить другое—нравственное поведеніе опредѣляется цѣнностью, то-есть *объективной цѣнностью* всѣхъ цѣлей, могущихъ имѣть значеніе при поведеніи. Въ такомъ случаѣ этика спрашиваетъ не о томъ, нравится ли мнѣ та или другая возможная цѣль или содержаніе моего хотѣнія, потому что я таковъ, какимъ я теперь являюсь, а напротивъ, о томъ, какую *объективную цѣнность* имѣеть эта возможная цѣль или содержаніе моего хотѣнія, то-есть какимъ образомъ *долженъ* я ее оцѣнивать, разсматривая ее самое по себѣ, не принимая въ расчетъ ея отношенія ко мнѣ и тѣхъ случайныхъ способовъ, при помощи которыхъ

она приспособляется къ различнымъ моимъ субъективнымъ состояніямъ?

Въ концѣ концовъ, рассмотримъ интересующій насъ здѣсь вопросъ еще съ другой стороны. Я уже говорилъ, что съ нравственной точки зрѣнія является правильнымъ такое хотѣніе, которое угрожаетъ намъ не опасностью—быть вынужденнымъ сказать: я не „долженъ бы“ или я не „долженъ бы былъ“ что-либо дѣлать. Въ нравственномъ отношеніи правильнымъ является такое поведеніе, по отношенію къ которому подобной опасности не существуетъ, если взвѣсить хорошенько всѣ обстоятельства. Пояснимъ это еще болѣе точнымъ образомъ. Въ чемъ состоитъ актъ сознанія того, что я не долженъ бы или не былъ бы долженъ поступить какимъ-нибудь образомъ? Въ чемъ вообще состоитъ сознаніе *долженствованія*?

Пусть въ настоящее время меня манитъ нѣкоторое наслажденіе. Въ то же время я могъ бы оказать помощь какому-нибудь несчастному. Только въ такомъ случаѣ я долженъ былъ бы отказаться отъ моего наслажденія. Теперь можетъ случиться, что я въ одно и то же время сознаю: во-первыхъ, что мнѣ хотѣлось бы уступить наслажденію, и во-вторыхъ, что я долженъ бы оказать помощь. Какимъ образомъ возможенъ этотъ удивительный фактъ? Сознывая первое, я, очевидно, даю перевѣсъ во мнѣ мысли о наслажденіи, сознавая послѣднее,—мысли объ оказаніи помощи. Какъ это можетъ случиться? Какимъ образомъ въ одномъ и томъ же лицѣ въ одно и то же время могутъ находиться такіе противоположные и другъ друга непосредственно исключаютеліе внутренніе способы отношенія?

Странность этого факта съ давнихъ поръ бросалась въ глаза тѣмъ, кто обращалъ на него вниманіе, и ее пробовали различнымъ образомъ объяснить. Напримѣръ, называютъ это сознаніе долга голосомъ *совѣсти*, какъ я уже при случаѣ

и самъ дѣлать, и прибавляютъ, что эта совѣсть состоитъ изъ чего-то совершенно своеобразнаго, *самостоятельно* противостоящаго естественному хотѣнію человѣка. Но такимъ образомъ, мы даемъ понятію лишь названіе, а не опредѣленіе. Что въ самомъ дѣлѣ такое—эта „совѣсть“ или это своеобразное и самостоятельное начало въ человѣкѣ?

Сознаніе долга называютъ также голосомъ *Бога* въ человѣкѣ. Для религіозной точки зрѣнія это, конечно, гѣдится, такъ какъ она разсматриваетъ необходимымъ образомъ все доброе въ человѣкѣ, какъ произведенное Богомъ. Но въ этомъ случаѣ вопросъ,—въ чемъ состоитъ такое сознаніе, не получаетъ отвѣта.

Иные на мѣсто Бога ставятъ „общество“, и думаютъ, что даютъ этимъ болѣе естественное объясненіе. Сознаніе долга—говорятъ они—представляетъ собою сознаніе требованій, предъявляемыхъ намъ обществомъ. Въ дѣйствительности же тутъ на мѣсто полнаго значенія мысли подставляютъ безмысленно-поверхностное объясненіе. Всякому извѣстно, что я могу имѣть сознаніе о всевозможныхъ требованіяхъ, предъявляемыхъ мнѣ другими людьми, ничуть не испытывая соотвѣтственнаго чувства обязательства. Слѣдовательно, ссылка на подобныя требованія другихъ людей не объясняетъ происхожденія этого чувства.

Иные же погружаются въ эволюціонно-историческія фантазіи, воображая послѣднія въ высшей степени научными. Именно по ихъ словамъ, въ моемъ сознаніи долго слышится голосъ не окружающаго меня общества, а голосъ моихъ *предковъ*. Опыты прошлыхъ поколѣній, на примѣръ, о полезности извѣстныхъ дѣйствій, вліяютъ на меня путемъ наследственной передачи. Отсюда—темное и таинственное въ такомъ сознаніи.—Но это сознаніе темно лишь для того, кто не даетъ себѣ труда освѣтить его.

Или, наконецъ, просто удовлетворяются провозглашеніемъ сознанія долга послѣднимъ, ни на что далѣе не сводимымъ фактомъ. Эта дорога—самая удобная, но отнюдь еще не са-

мая правильная. Въ дѣйствительности же это сознание совершенно доступно анализу.

Прежде всего, сознание долга никоимъ образомъ не ограничивается фактически областью нравственнаго. Если по лѣности или по недостаточной оцѣнкѣ дальности пути я не попадаю къ поѣзду желѣзной дороги, то потому у меня является сознание, что я „долженъ бы“ былъ идти быстрее или пуститься въ путь раньше. Это значитъ, что моя лѣность или незнание, эти субъективные факторы, допустили меня идти слишкомъ медленно или отправиться въ дорогу черезчуръ поздно. Напротивъ, объективные факты, которые я въ этомъ случаѣ долженъ принять въ соображеніе для моихъ дѣйствій и для соответственнаго хотѣнія,—дѣйствительная дальность пути и дѣйствительная продолжительность времени, нужнаго для прохожденія этого пути, вызвали бы болѣе быструю ходьбу и болѣе раннее выступленіе въ путь; они должны были бы дать моему хотѣнію *такое* содержаніе. Такимъ образомъ, сознание того, что я долженъ бы былъ сдѣлать, является въ настоящемъ случаѣ сознаниемъ того, что я необходимымъ образомъ захотѣлъ бы, если бы мое хотѣніе было опредѣлено объективными фактами.

Это даетъ рѣшеніе загадки. Сознание того, что мнѣ хотѣлось бы уступить моему наслажденію, есть сознание хотѣнія: я чувствую стремленіе или побужденіе къ наслажденію. Точно такимъ же образомъ сознание того, что я „долженъ бы“ оказать помощь, есть сознание другого хотѣнія: я чувствую стремленіе или побужденіе къ оказанію помощи. Но въ обоихъ случаяхъ это хотѣніе разнаго рода. Въ особенности же это хотѣніе принадлежитъ мнѣ въ обоихъ случаяхъ въ разной степени. Мнѣ хотѣлось бы наслажденія, такъ какъ это *мое* наслажденіе. Слѣдовательно, это хотѣніе обусловливается субъективно. Напротивъ же, хотѣніе, направленное на оказаніе помощи, обусловливается не субъективно, а объективно. Оно возникаетъ во мнѣ, когда я по-

свящаю себя оказанію помощи, или цѣли, которая можетъ имѣть мѣсто для удовлетворенія этой нужды, и мысленно отодвигаю назадъ субъективное условіе моего хотѣнія или оставляю его безъ вниманія.

Отсюда въ то же время яествуется, въ чемъ состоитъ *правильность* такихъ объясненій, какъ, напр., долгъ происходитъ изъ своеобразной способности, изъ совѣсти или является голосомъ божества, общества или нашихъ предковъ. Въ особенности же послѣднія положенія содержать въ себѣ ясное признаніе того, что долгъ является по природѣ объективнымъ въ отношеніи „желанія“ и обусловливается чѣмъ-то отъ насъ независимымъ, остающимся неизмѣннымъ среди смѣны нашихъ состояній.

Только это существующее совершенно независимо отъ насъ должно быть опредѣлено иначе, то-есть болѣе общимъ образомъ. Оно должно быть понимаемо, какъ *міръ объективныхъ фактовъ вообще*, существующій независимымъ отъ насъ образомъ и дѣйствующій на насъ, какъ на хотящія существа; его слѣдуетъ понимать, какъ способность опредѣлять насъ въ актахъ нашего хотѣнія, способность, присущую всѣмъ возможнымъ цѣлямъ или объектамъ нашего хотѣнія въ силу ихъ объективныхъ свойствъ, или, короче говоря, какъ *объективную цѣльность* возможныхъ цѣлей человѣческаго хотѣнія *вообще*.

Еще одна цѣнная мысль выражается въ обозначеніи совѣсти, какъ *особенной и самостоятельной способности*. Въ самомъ дѣлѣ, возникновеніе въ насъ сознанія долга предполагаетъ особенную и своеобразную способность человѣческаго духа. *Отвлекаясь* или *абстрагируя* отъ субъективныхъ условій хотѣнія, мы получаемъ сознаніе долженствованія. При этомъ предполагается, что мы *можемъ* „абстрагировать“ отъ этихъ условій.

Что такое это „абстрагированіе“? — Выражаясь кратко, это—психическая отмѣна (Ausserwirkungsetzen) чего-либо. Я сравниваю два цвѣта, напимѣръ, зеленый и красный.

исключительно лишь въ отношеніи ихъ яркости, сличая ихъ, я обращаю вниманіе только на ихъ яркость, отвлекаясь или „абстрагируя“ отъ другихъ свойствъ тѣхъ же цвѣтовъ. Это означаетъ лишь слѣдующее: въ актѣ сравненія я руководствуюсь исключительно лишь яркостью цвѣтовъ, а то обстоятельство, что цвѣта являются вмѣстѣ съ тѣмъ зеленымъ или краснымъ, я при этомъ отмѣняю, упраздняю, не позволяю имъ оказывать на меня вліянія.

При этомъ замѣчательна самая возможность для меня производить такое абстрагированіе, хотя яркость обоихъ цвѣтовъ не является для моего сознанія или моего воспріятія чѣмъ-нибудь отдѣльнымъ отъ ихъ зеленого или красного. Я, напримѣръ, не вижу зеленого и красного, а рядомъ съ нимъ отдѣльнаго качества яркости, а вижу лишь просто болѣе или менѣе яркіе зеленый и красный цвѣта. Въ моемъ сознаніи яркость не стоитъ самостоятельно возлѣ зелени и красноты. Несмотря на это, она *дѣйствуетъ* въ данномъ случаѣ самостоятельно. Какъ нѣчто существующее само по себѣ, оно опредѣляетъ актъ сравненія. Вмѣсто того, я могу также сказать: она является чѣмъ-то существующимъ само по себѣ съ точки зрѣнія этого психическаго *дѣйствія*.

Подобное же обстоятельство имѣетъ мѣсто и въ нашемъ случаѣ. Мое наслажденіе принадлежит и будетъ принадлежать *мнѣ*. Послѣдній фактъ такъ же точно связанъ съ наслажденіемъ, какъ цвѣту принадлежит не только эта опредѣленная яркость, а кромѣ того и свойство быть зеленымъ или краснымъ. Но это опять-таки не мѣшаетъ тому, чтобы я отвлекался отъ этого свойства или, выбирая либо отвергая данный цвѣтъ, лишалъ его всякаго значенія для меня. Теперь наслажденіе представляется мнѣ болѣе, не какъ мое, а какъ вообще человѣческое наслажденіе. Оно является въ „объективномъ освѣщеніи“, то-есть въ такомъ, въ которомъ субъективный моментъ, другими словами, обстоятельство что наслажденіе принадлежит *мнѣ*, болѣе не играетъ роли и лишено вліянія. Вмѣстѣ съ этимъ я представляю въ объ-

ективнымъ освѣщеніи также и *оказаніе помощи*. Оно является для меня, или принимается во вниманіе при моемъ предпочтеніи или отверженіи уже не, какъ данное оказываніе помощи, мѣшающее моему наслажденію, а какъ такое, какое человѣкъ можетъ вообще проявлять въ случаѣ, если онъ жертвуетъ своимъ наслажденіемъ.

На основаніи вышесказаннаго я могу сдѣлать слѣдующее измѣненіе. вмѣсто фразы—я разматриваю съ объективной точки зрѣнія наслажденіе и оказаніе помощи, слѣдовательно, всѣ факты, имѣющіе значеніе для моего хотѣнія, или весь контрастъ мотивовъ цѣлей,—вмѣсто этой фразы, я могу сказать—я смотрю на эти факты съ *обще-человѣческой* точки зрѣнія, я разматриваю и допускаю ихъ вліять на меня *sub specie humanitatis*—съ точки зрѣнія не моей личности, а человечества. Когда я поступаю такимъ образомъ, то вопросъ идетъ уже не о томъ, чего я хочу въ качествѣ даннаго опредѣленнаго человѣка; нѣтъ, онъ принимаетъ такую форму: данъ человѣкъ, подобный мнѣ, то-есть прежде всего равный мнѣ по способности оказать помощь, затѣмъ этому человѣку предстоитъ сдѣлать такой же самый выборъ, какой предстоитъ сдѣлать мнѣ въ настоящій моментъ; спрашивается, какъ, по моему мнѣнію, ему слѣдуетъ поступить? Какимъ образомъ рѣшаю я, что мнѣ цѣнить выше, чему, слѣдовательно, отдать предпочтеніе—наслажденію или оказанію помощи? Допустимъ, что мой отвѣтъ на это будетъ таковъ: я рѣшаю въ пользу послѣдняго, цѣню выше оказаніе помощи, отдаю ему предпочтеніе; въ такомъ случаѣ у меня является вмѣстѣ съ тѣмъ сознаніе, что я *долженъ* оказать помощь. Такимъ образомъ, мысль „я долженъ“ выражаетъ нѣкоторое хотѣніе при предположеніи разсмотрѣнія или освѣщенія съ объективной или общечеловѣческой точки зрѣнія.

Изъ этого, однако, не слѣдуетъ, чтобы эта мысль ~~не~~ являлась непременно *крайственно правильнымъ* волевымъ рѣшеніемъ. Она подвержена заблужденіямъ. Впослѣдствіи факты могутъ меня заставить замѣнить мысль „я долженъ“ рѣши-

тельнымъ—„миѣ не слѣдовало бы“. Можетъ быть въ разсмотрѣнномъ нами случаѣ я открою, что потребность въ полученіи помощи того, кто въ ней, по моему мнѣнію, нуждался, была лишь мнимая; или я усмотрю, что этотъ человѣкъ могъ бы самъ себѣ помочь съ небольшимъ количествомъ энергіи. Въ такомъ случаѣ можетъ случиться, что впоследствии я буду считать моимъ долгомъ скорѣе осуществленіе *наслажденія*, чѣмъ оказаніе помощи.

Выраженіе „я долженъ бы“ является правильнымъ въ нравственномъ отношеніи исключительно лишь тогда, когда оно окончательно, слѣдовательно, уже болѣе нерушимо; а въ томъ, что оно принимаетъ такой характеръ, я могу быть увѣреннымъ лишь тогда, когда я произвелъ, такъ сказать, опросъ всѣхъ фактовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію въ данномъ случаѣ и испыталъ ихъ полное вліяніе.

Вмѣстѣ съ тѣмъ мы снова приходимъ къ результату уже раньше нами полученному. Правильнымъ съ нравственной точки зрѣнія является такое хотѣніе, въ отношеніи котораго у меня можетъ проявиться окончательное или болѣе неустранимое сознаніе долженствованія; если же послѣднее равнозначуще сознанію хотѣнія, вытекающаго изъ объективнаго разсмотрѣнія возможныхъ мотивовъ или цѣлей хотѣнія, то правильнымъ съ нравственной точки зрѣнія будетъ такое хотѣніе, которое объективно обусловлено строгимъ и всестороннимъ образомъ, другими словами, нравственно правильнымъ является хотѣніе, обусловленное *объективной цѣнностью* всѣхъ возможныхъ цѣлей, имѣющихъ при этомъ значеніе. Согласно сказанному выше, объективное разсмотрѣніе цѣлей является разсмотрѣніемъ цѣлей съ точки зрѣнія ихъ чистой и вполне объективной цѣнности, не затемненной никакими субъективными факторами.

Хотѣніе, обусловленное субъективнымъ образомъ, мы называли также вмѣстѣ съ Кантомъ хотѣніемъ по *склонности*, причемъ, конечно, слово „склонность“ имѣло свой особенный смыслъ. Въ противоположность этому мы можемъ

обозначить хотѣніе, обусловленное чисто объективнымъ образомъ, опять-таки вмѣстѣ съ Кантомъ, какъ хотѣніе по *обязанности*. Сознаніе „обязанности“ является не чѣмъ инымъ, какъ сознаніемъ долга, *нравственное* сознаніе обязанности представляетъ собою ни что иное, какъ вышеупомянутое окончательное сознаніе долга, слѣдовательно, сознаніе хотѣнія, строго и всесторонне обусловленнаго объективнымъ образомъ.

Поскольку „*разумъ*“ является повеюду ни чѣмъ инымъ, какъ способностью самоопредѣляться объективно, то-есть, посредствомъ познанныхъ *фактовъ*, хотѣніе, сообразное съ обязанностью, можетъ быть также названо разумнымъ. Оно является окончательно или абсолютно разумнымъ, поскольку оно строго и всесторонне опредѣляется объективнымъ образомъ. Но разумъ, посредствомъ котораго дѣйствуетъ сознаніе долга, является, конечно, не теоретическимъ, а „практическимъ“. Поэтому, нравственныя требованія представляютъ собою требованія пракческаго разума. Это означаетъ слѣдующее: нравственныя требованія вытекаютъ для насъ изъ чисто объективнаго разсмотрѣнія и оцѣнки возможныхъ цѣлей нашего хотѣнія.

Если же сознаніе обязанности или долга окончательно или неоспоримо, то оно по природѣ не гипотетично, а категорично. Оно является категорическимъ требованіемъ, или какъ говоритъ Кантъ, категорическимъ императивомъ. Всякаго рода нравственный долгъ или требованіе „практическаго разума“ необходимо является подобнымъ категорическимъ императивомъ. Тому, что требуется нравственностью, всегда принадлежитъ *безусловное* бытіе.

Сознаніе долга или категорическій императивъ нравственнаго долженствованія сопровождается чувствомъ принужденія, поскольку субъективныя условія хотѣнія, индивидуальныя склонности или наклонности, оказываютъ ему сильное сопротивленіе, поскольку, слѣдовательно, противъ „сознанія долга“ враждебно выступаетъ сильное и неот-

вязное „хотѣніе“. Это принужденіе исчезаетъ, „сознаніе долга“ становится свободнымъ, а хотѣніе того, что я долженъ, дѣлается радостнымъ, поскольку объективное разсмотрѣніе возможныхъ предметовъ хотѣнія, или возможныхъ цѣлей, пріобрѣтаетъ внутреннее господство надо мною, слѣдовательно, по мѣрѣ того, какъ такія цѣли получаютъ отнынѣ возможность дѣйствовать во мнѣ согласно ихъ объективной цѣнности. Принужденіе совсѣмъ исчезаетъ, когда подобное объективное разсмотрѣніе сдѣлалось совершенно сообразнымъ съ моей природою, или когда оно стало моимъ „характеромъ“.

Въ этомъ и состоитъ совершенный *нравственный строй личности*, онъ — ккакъ я уже говорилъ, опредѣляется тѣмъ, что хотѣніе, правильное съ нравственной точки зрѣнія, вытекаетъ изъ него *естественнымъ* или *необходимымъ* образомъ. Сообразно съ этимъ нравственный строй личности, обладающей полной этической цѣнностью, означаетъ, что во мнѣ имѣются всевозможные человѣческіе мотивы или цѣли и проявляютъ цѣликомъ [всю силу мотиваціи, какая только можетъ быть имъ свойственна по ихъ природѣ; подобный строй личности означаетъ также, что такого рода человѣческіе мотивы или цѣли не нагромождены во мнѣ кое-какъ другъ возлѣ друга, а находятся, напротивъ, въ хорошо упорядоченной связи; а также, что въ этой связи каждому мотиву или каждой цѣли можетъ быть указано свое опредѣленное мѣсто. Короче говоря, нравственный строй личности, совершенный въ этическомъ отношеніи, является самымъ живымъ проявленіемъ и полнымъ естественнымъ равновѣсіемъ всѣхъ возможныхъ человѣческихъ цѣлей, равновѣсіемъ въ томъ смыслѣ, что всякій мотивъ, которому принадлежитъ высшая объективная цѣнность, самъ собою, или съ самоочевидностью подчиняетъ себѣ всякій другой мотивъ съ низшей объективной цѣнностью.

Мы можемъ различить здѣсь три момента, на которые мы уже при случаѣ намекали. Во мнѣ содержатся всѣ возмож-

ныя человѣческія цѣли; это значить, что мнѣ не чуждо ничто, имѣющее значеніе для человѣческой оцѣночной дѣятельности и для человѣческаго хотѣнія. Соответственно этому нравственный строй личности, совершенный съ этической точки зрѣнія, въ послѣднемъ основаніи заключаетъ въ себѣ ни болѣе, ни менѣе какъ то, что всѣ вещи и люди находятъ себѣ во мнѣ полное отраженіе и понимаются мною во всемъ своемъ значеніи. Для обладанія нравственнаго строя, совершеннаго въ этическомъ отношеніи, я долженъ бы былъ все знать и имѣть возможность всеѣмъ наслаждаться, быть впечатлительнымъ и чувствительнымъ ко всякаго рода радости или горести, могущихъ постигнуть человѣка. Я долженъ былъ бы быть способнымъ переживать все рѣшительно, что переживаютъ люди. Я долженъ былъ бы, главнымъ образомъ, обладать полнымъ самопознаніемъ, а также ясно постигать цѣнность или негодность всякаго моего самопроявленія. Подобнымъ же образомъ я долженъ былъ бы представлять себѣ всякую чужую личность со всеѣмъ, что ее дѣлаетъ достойнымъ или недостойнымъ. Однимъ словомъ, мнѣ слѣдовало бы быть микрокосмомъ, вѣрнымъ зеркаломъ міра и человѣчества или міромъ и человѣчествомъ въ миниатюрѣ. Моя личность должна была бы имѣть не только богатое, но *абсолютно богатое содержаніе.*

Второй моментъ нравственнаго строя, совершеннаго въ этическомъ отношеніи, требуетъ, чтобы каждое такое содержаніе моей личности обладало величайшей живостью и силой дѣйствія. Нравственный строй личности, совершенный въ этическомъ отношеніи, предполагаетъ величайшую жизненность и силу абсолютно богатой личности.

Наконецъ, третій моментъ таковъ: если вся совокупность содержанія личности приведена въ тотъ твердый порядокъ или въ то безусловное состояніе равновѣсія, при которомъ обладающее низшей объективной цѣнностью само собою подчиняется, а обладающее высшей само собою подчиняетъ и господствуетъ, въ такомъ случаѣ личность является одно-

временно гармоничной въ себѣ, въ состояніи общаго согласія съ собою, внутренне свободной.

Личность съ совершеннымъ нравственнымъ строемъ или личность идеальная въ нравственномъ смыслѣ, является, слѣдовательно, совершенно *богатой*, все охватывающей и все заключающей, совершенно *сильной* и живой, совершенно съ собою согласной или внутренне свободной.

Объ этомъ шла уже рѣчь въ другомъ мѣстѣ. Въ то же время я присовокуплялъ тамъ, что подобный нравственно цѣнный строй личности обнаруживается также, поскольку онъ имѣетъ мѣсто въ соответствующемъ *чувствѣ*, чувствѣ внутренняго богатства или внутренней широты, чувствѣ живости или силы, чувствѣ гармоніи или согласія съ самимъ собою, въ чувствѣ внутренней свободы. Совокупное чувство, получающееся въ результатѣ этихъ моментовъ чувства, является чувствомъ духовнаго и нравственнаго здоровья, полнымъ нравственнымъ самочувствіемъ. Это чувство является въ то же время полнымъ чувствомъ міра и человѣчества.

Разумѣется, никому не дано въ удѣлъ такого *совершеннаго* нравственнаго строя личности, а потому и подобнаго совершеннаго самочувствія. Носитель такого совершеннаго нравственнаго строя личности являлся бы уже не просто человѣкомъ (въ смыслѣ отдѣльной личности), а человѣкомъ *вообще* (въ смыслѣ рода) (*der Mensch*). Мы же представляемъ собою только отдѣльныхъ людей, то-есть части человѣка „вообще“. Мы — люди и имѣемъ человѣческое достоинство, поскольку мы причастны нравственно цѣнному строю личности.

Послѣднее слѣдуетъ понимать совершенно серьезнымъ образомъ. Мы не должны думать, чтобы нравственно цѣнный строй личности являлся чѣмъ-то, что *въ соединеніи* съ другимъ составляетъ цѣнность личности, такъ что, несмотря на удаленіе нравственно цѣннаго строя личности, можно все-таки оставаться человѣкомъ и сохранять свое человѣ-

ческое достоинство. Но, съ другой стороны, мы точно также не должны думать, чтобы въ челоуѣкѣ находилось нѣчто, что придавало быему внутреннюю цѣнность и въ то же время не относилось бы къ нравственно цѣнному строю личности. Нравственный строй личности есть такой характеръ челоуѣка, который придаетъ ему нравственную цѣнность. А нравственная цѣнность является ни чѣмъ инымъ, какъ цѣнностью личности или внутренней челоуѣческой цѣнностью. Въ самомъ дѣлѣ, не существуетъ иной возможности опредѣлить нравственную цѣнность и отграничить ее отъ другихъ цѣнностей, какъ та, при которой мы полагаемъ равнозначущими нравственную цѣнность и цѣнность личности. Всѣ намъ извѣстныя цѣнности являются или цѣнностями *для* людей, или цѣнностями, *присущими* людямъ. Послѣднія и являются подлинными нравственными цѣнностями.

Такимъ образомъ, нѣтъ ничего цѣннаго въ челоуѣческой личности, что не относилось бы къ нравственно цѣнному строю личности. Между тѣмъ, въ челоуѣкѣ цѣнно все, что является положительнымъ, все, что заключаетъ въ себѣ какую-нибудь силу, подвижность, жизненность его личности, а также и всякаго рода живость интеллекта, сила и широта чувствъ. Поэтому послѣднее тоже относится къ нравственно цѣнному строю личности. Конечно, хорошій нравственный строй личности можетъ принадлежать также челоуѣку бѣдному въ духовномъ отношеніи. Однако, подобный нравственный строй личности имѣеть въ послѣднемъ, все-таки, иное содержаніе, чѣмъ въ челоуѣкѣ, богатомъ въ духовномъ отношеніи. Такимъ образомъ, онъ не является въ полномъ смыслѣ слова хорошимъ нравственнымъ строемъ, таковой можетъ быть всеобъемлющимъ только въ томъ, кто духовнымъ образомъ охватываетъ все. Полною личностью, а потому и вполнѣ *нравственною* личностью могъ быть лишь тотъ, кто заключалъ бы въ себѣ также все возможное челоуѣческое знаніе и чувствованіе, и въ комъ послѣднее

обладало бы величайшей силой, отчетливостью и полиѣйшимъ согласіемъ съ самимъ собою. Однако, каждый отдѣльный человѣкъ можетъ всегда имѣть только лишь часть всего этого.

Въ нравственно цѣнномъ строѣ личности мы можемъ различать нѣсколько сторонъ и называть ихъ отдѣльными добродѣтелями. Въ этомъ случаѣ „добродѣтель“ является, понятно, не тѣмъ, что при случаѣ называютъ этимъ именемъ; это не значитъ: не дѣлать ничего дурного, никому не вредить, не нарушать своими дѣйствіями покоя отдѣльной личности или общества. *Подобная* добродѣтель, можетъ быть, является ни чѣмъ инымъ, какъ духовной и нравственной смертью, ея восхваленіе — эгоизмомъ или необдуманностью. Сколько добродѣтельной болтовни, но сколько, однако же, и нравственного негодованія возникаетъ изъ обоихъ этихъ источниковъ! Какъ часто это означаетъ лишь то, что извѣстный образъ поведенія человѣка безпрепятственно предоставляетъ намъ спокойно пользоваться нашими жизненными наслажденіями, удобствами, безопасностью, можетъ быть, нашимъ привилегированнымъ положеніемъ, господствомъ надъ другими людьми, или же, напротивъ, мѣшаетъ намъ пользоваться всеѣмъ этимъ! Съ другой стороны, какъ часто разумѣемъ мы въ данномъ случаѣ только то, что нѣкоторое поведеніе соотвѣтствуетъ или противорѣчитъ какому-нибудь вкоренившемуся предразсудку, или же предмету, имѣющему значеніе въ глазахъ толпы! А если даже это и не имѣетъ мѣста, то, все-таки, въ нашемъ нравственномъ сужденіи мы часто обращаемъ вниманіе, исключительно на виѣшнюю сторону дѣйствія и оказываемся черезчуръ лѣнны для того, чтобы разсмотрѣть то хорошее, здоровое, достойное въ личности, что лежитъ въ основаніи дѣйствія и требуетъ нашего признанія.

Нѣтъ, добродѣтель является силой, внутренней жизненной мощью. Добродѣтельнымъ можно быть лишь благодаря положительнымъ, а не отрицательнымъ свойствамъ. Пре-

ступникъ можетъ являться добродѣтельнѣе дюжинъ такъ называемыхъ „добродѣтельныхъ людей“.

Въ такомъ случаѣ нравственно цѣнному строю личности свойственно также по природѣ проявляться, гдѣ возможно. Если подобный строй личности полонъ силъ, — онъ проявляется въ хотѣннн, а также и въ дѣйствнн, поскольку внѣшння условнн благоприятствуютъ этому. Въ этой мѣрѣ оказывается справедливымъ изреченн: по плодамъ ихъ узнаете ихъ.

Но важнѣе обратное: плоды могутъ, въ силу разныхъ причинъ, погибнуть, а дерево въ стволѣ и корняхъ можетъ оставаться здоровымъ; въ немъ могутъ дѣйствовать жизненныя силы и здоровые соки.

А къ этому-то, въ концѣ концовъ, и направляется всегда нравственная оцѣнка.

Шестая лекція.

Вышія нормы нравственности и совѣсть.

Въ настоящей лекціи мы непосредственно продолжимъ ходъ мыслей предыдущей.

Если дѣло обстоитъ такъ, какъ мы видѣли, то какія самыя общія нравственныя нормы или правила вытекаютъ отсюда?

Мы видѣли, что объективно обязательное волевое рѣшеніе является правильнымъ въ нравственномъ отношеніи. Всякій вообще объективно обязательный образъ нашего поведения, то-есть такой, который не нуждается въ устраненіи или осужденіи съ нашей стороны послѣ яснаго познанія и строгой совершенно объективной оцѣнки всѣхъ его условій, подвергнутыхъ чисто объективному освѣщенію, — является правильнымъ, то-есть такимъ, какимъ онъ долженъ быть.

Согласно этому высшее нравственное правило должно гласить: принимай такое волевое рѣшеніе; всегда внутренне держи себя такъ, чтобы ты могъ оставаться вѣрнымъ себѣ въ этомъ отношеніи.

Требованіе, чтобы я всегда *имѣлъ возможность* оставаться вѣрнымъ самому себѣ относительно своего внутренняго поведения, означаетъ не одно и то же, что слѣдующее требо-

ваніе: *оставайся* всегда вѣренъ самъ себѣ въ своемъ внутреннемъ поведеніи. Послѣдняго рода требованіе было бы не нравственно, а безнравственно.

Разумѣется, если-бы мы были совершенными людьми, мы должны были бы оставаться безусловно внутренне вѣрными самимъ себѣ. Но мы—люди несовершенные, близорукіе, заблуждающіеся. Мы должны оставаться безусловно вѣрны лишь тому, что хорошо и истинно. А поэтому мы должны также быть вѣрны и самимъ себѣ, поскольку мы сами хороши и поскольку обладаемъ истиной; другими словами, поскольку мы являемся нравственными и познающими личностями. Но намъ никогда не слѣдуетъ быть вѣрными тому, что является въ насъ безнравственнымъ и ошибочнымъ; иначе говоря, намъ никогда не слѣдуетъ быть вѣрными самимъ себѣ, поскольку мы поражены нравственными недостатками или поскольку мы подвержены злу и заблужденію.

Я долженъ оставаться вѣрнымъ моему убѣжденію, если оно оказывается истиннымъ. Равнымъ образомъ, я долженъ держаться предпринятаго мною плана дѣйствія, если онъ нравствененъ. Если то, что я обѣщаль, относительно чего договаривался, въ чемъ клялся, хорошо, тогда я долженъ держать обѣщаніе, соблюдать договоръ, оставаться вѣрнымъ клятвѣ. Напротивъ, я нравственно обязанъ *измѣнить* мое убѣжденіе, *отречься* отъ моего хотѣнія, *нарушить* мое обѣщаніе, договоръ или клятву, если все это *безнравственно* по содержанію, или если я его содержаніе признаю безнравственнымъ.

Это, однако, не устраняетъ нисколько того, что въ каждомъ случаѣ подобной измѣны я заслуживаю порицанія и, можетъ быть, даже тяжкаго нравственнаго порицанія. Но я заслуживаю послѣднее не за измѣну, а исключительно за то, что благодаря своему поведенію долженъ былъ измѣнить себѣ. Если бы я остался вѣренъ себѣ, вѣренъ своему убѣжденію, своему замыслу, своему обѣщанію, въ такомъ слу-

чаѣ я *присоединилъ бы* къ совершенной мною ошибкѣ или несправедливости еще *большую* несправедливость.

Благодаря чему же невѣрность въ отношеніи самихъ себя, повидимому, причиняетъ намъ такую внутреннюю боль? Подобный вопросъ имѣетъ одинаково важное значеніе какъ съ психологической, такъ и съ этической точки зрѣнія. При этомъ, однако, слѣдуетъ различать два момента. Одинъ изъ нихъ ясно обнаруживается въ измѣнѣ самому себѣ, осуществляющейся наиболѣе простымъ образомъ въ формѣ отказа отъ произнесеннаго мною ранѣе сужденія. Другой моментъ обнаруживается въ формѣ лжи. И тотъ, и другой моменты соединяются въ несдержанномъ обѣщаніи.

Возьму простой случай подобной *интеллектуальной* невѣрности самому себѣ. Я думалъ, что кто-либо является опредѣленною личностью, на примѣръ, носителемъ хорошо извѣстнаго какъ мнѣ, такъ и другимъ имени. Теперь я узнаю, что ошибался. Сознаніе даже этой лишенной значенія ошибки является для меня безотраднымъ. Составленное мною однажды сужденіе оказываетъ на меня дальнѣйшее дѣйствіе. Я чувствую нѣкоторое принужденіе продолжать вѣрить тому, чему я повѣрилъ однажды.

Отказываясь въ настоящую минуту отъ моего сужденія, или противопоставляя тому, чему я однажды повѣрилъ, нѣчто другое несовмѣстимое съ нимъ, я впадаю въ противорѣчіе съ подобнымъ принужденіемъ, или — поскольку это принужденіе заключается во *мнѣ*, иначе говоря, есть принужденіе для меня *проявляться* опредѣленнымъ образомъ — я впадаю въ противорѣчіе съ самимъ собою, другими словами съ той формой, въ которой мнѣ естественно проявляться. Я впадаю въ самоотрицаніе, дѣйствуя извѣстнымъ образомъ противъ собственной природы. А такое противорѣчіе, такое самоотрицаніе, такую „противоестественность“ я ощущаю, какъ нѣчто тягостное, обидное, вредящее моему себячувствію.

Такое противорѣчіе и находящееся въ соотвѣтствіи съ

нимъ чувство противорѣчія усиливается и углубляется, когда дѣло идетъ объ убѣжденіи, имѣющемъ болѣе глубокую основу въ моей личности; будь то убѣжденіе, пріобрѣтенное мною благодаря собственному опыту и собственной дѣятельности мысли, можетъ быть, пріобрѣтенное съ трудомъ, на примѣръ, религіозное или политическое или нравственное убѣжденіе, усвоенное мною черезъ посредство воспитанія или окружающей среды и получившее затѣмъ возможность сплестись со всевозможными моими жизненными интересами. Отрицаніе такого рода убѣжденія является въ гораздо большей степени отрицаніемъ моей личности. Необходимость такого отрицанія заключаетъ въ себѣ умаленіе моего самочувствія, уничтоженіе, являющееся тѣмъ болѣе чувствительнымъ, чѣмъ глубже и всестороннѣе укоренилось во мнѣ убѣжденіе.

Съ другой стороны, это чувство уничтоженія по необходимости бываетъ тѣмъ сильнѣе, чѣмъ болѣе внутренніе процессы или состоянія, однажды происходившіе во мнѣ *продолжаютъ существовать* во мнѣ и *оказывать свое вліяніе* на меня; такое чувство уничтоженія оказывается по необходимости тѣмъ интенсивнѣе, чѣмъ болѣе я принадлежу къ людямъ, которымъ свойственно удерживать однажды пріобрѣтенное и ассимилированное личностью, короче говоря—чѣмъ болѣе *мнѣ свойственно по природѣ оставаться вѣрнымъ самому себѣ*.

Сказанное въ настоящемъ случаѣ мы можемъ обобщить. Наше собственное прошлое никогда не является для насъ просто прошедшимъ, а напротивъ, все, однажды бывшее въ насъ, продолжаетъ оказывать на насъ вліяніе. По своей тенденціи оно въ то же время является для насъ настоящимъ. Оно простираетъ свое дѣйствіе и на настоящее время. Всякое проявленіе насъ самихъ, всякій образъ нашего поведенія, имѣвшій разъ мѣсто, становится тенденціей или предрасположеніемъ—и впредь проявляться или держать себя точно также. Въ насъ существуетъ законъ косности или инерціи,

тенденція къ продолженію всякаго рода внутренняго состоянія, къ удержанію всякаго образа проявленія нашей личности, имѣвшаго однажды мѣсто, естественное „чувство благоговѣнія“ передъ нашимъ собственнымъ прошлымъ, консерватизмъ нашего внутренняго существа, короче говоря, общій законъ „вѣрности себѣ самому“.

Но этотъ законъ имѣетъ силу въ особенности относительно актовъ хотѣнія, волевыхъ рѣшеній и практическихъ или нравственныхъ правилъ (максимъ). Нашей природѣ претитъ отказываться отъ какого-нибудь рѣшенія; для отреченія отъ какого-нибудь пракческаго или, главнымъ образомъ, нравственнаго правила намъ надо совершить побѣду надъ самими собою. И побѣда эта должна быть всякій разъ тѣмъ полнѣе, чѣмъ болѣе вся наша личность принимаетъ участіе при принятіи какого-либо рѣшенія или признанія какого-либо правила, чѣмъ болѣе разнообразны мотивы, дѣйствовавшіе при этомъ.

Въ то же время, однако, обнаруживается значительное различіе относительно степени, въ которой всѣ подобные образы внутренняго поведенія сохраняются отдѣльными личностями. Мы видимъ, что одни по своей природѣ склонны къ упорному консерватизму, между тѣмъ какъ другіе легче отказываются отъ своего прошлаго. Мы видимъ, что одни „остаются вѣрными себѣ“ въ большей степени, другіе—въ меньшей.

Подобное различіе не лишено значенія для нашей оцѣнки личности. Въ стойкости опредѣленнаго способа внутренняго поведенія, имѣвшаго однажды мѣсто, въ стремленіи личности—сохранить всякій образъ своего внутренняго проявленія заключается сила личности и ея жизненныхъ обнаруженій. Въ этомъ открывается внутрениая жизненная сила. А такого рода крѣпость или сила имѣетъ и самоцѣнность, и сообщаетъ ее личности. Эта сила цѣнна для каждаго. Нѣкоторые люди быстро усваиваютъ однажды пріобрѣтенныя убѣжденія, въ особенности же такіа, которыя болѣе глубоко

врѣзываются въ совокупное содержаніе личности и ея интересовъ, чтобы потомъ столь же быстро отъ нихъ отказаться; имъ ничего не стоитъ снова принимать важныя рѣшенія безъ принудительныхъ основаній; они съ легкимъ сердцемъ отвергаютъ въ настоящую минуту то, что они любили незадолго передъ тѣмъ; они только-что были охвачены ненавистью и гнѣвомъ, а теперь опять оказываются примиренными черезчуръ легкимъ образомъ; такимъ-то людямъ недостаетъ, по общему мнѣнію, чего-то существеннаго, и мы имъ отказываемъ въ „характерѣ“ въ собственномъ смыслѣ этого слова. Даже тамъ, гдѣ образъ внутренняго поведенія, убѣжденіе, правило являются ошибочными, стойкость воздержанія его, разсматриваемая сама по себѣ, намъ кажется, все-таки, цѣнной. Если актъ самоотрицанія необходимъ, въ такомъ случаѣ онъ, все-таки, долженъ, по нашему мнѣнію, совершаться не безъ труда.

Если намъ стоитъ труда отказаться отъ убѣжденія, отъ рѣшенія, отъ какого-нибудь правила, смотря по большей или меньшей склонности оставаться вѣрными самимъ себѣ, въ такомъ случаѣ намъ стоитъ еще большаго труда *признаться* въ такого рода отреченіи или такомъ отрицаніи самихъ себя. Какъ часто иной, отказавшись внутренне отъ какого-нибудь научнаго убѣжденія, тѣмъ не менѣе, не соглашается признаться въ этомъ. Или же бываетъ, что я уже дошелъ до признанія неправоты собственнаго поведенія, однако, передъ другими я, все-таки, всѣми силами стараюсь оправдать его.

Конечно, и это совершенно понятно, всякаго рода знаніе о томъ, что происходитъ въ другихъ, является, какъ мы уже видѣли раньше, собственнымъ переживаніемъ или сочувственнымъ опытомъ. Всякаго рода сужденіе другого лица, доходящее до нашего свѣдѣнія, означаетъ для насъ принужденіе совершить именно это сужденіе. Мы подчиняемся этому принужденію, мы слѣпо вѣримъ, если въ насъ ничто не шевелится противъ него. Такъ, дѣти вѣрятъ слѣпо.

Но даже если я и не подчиняюсь принужденію воспроизвести въ себѣ чужое сужденіе, а, наоборотъ, противопоставляю такому принужденію опредѣленнымъ образомъ мое собственное противоположное сужденіе, то, все-таки, я чувствую принудительную силу чужого сужденія. Я замѣчаю эту силу въ чувствѣ противорѣчія или конфликта между чужимъ и моимъ собственнымъ сужденіемъ. Чужое сужденіе не могло бы разбудить во мнѣ такое чувство, если бы оно во мнѣ не соперничало съ собственнымъ сужденіемъ, если бы въ немъ не было тенденціи—занять *мѣсто* моего собственнаго сужденія, если бы оно, слѣдовательно, по *тенденціи* не являлось моимъ собственнымъ сужденіемъ.

Въ этомъ заключается нѣкоторое соотвѣтствіе выше сказанному: я сказалъ уже, что наше собственное *прошлое* не проходитъ для насъ безслѣдно, а напротивъ, *вдѣается въ настоящее* или образуетъ дѣйственный факторъ въ нашей настоящей личности. Это положеніе мы дополнимъ слѣдующимъ: внутреннее поведеніе *чужой* личности, сдѣлавшееся намъ *известнымъ*, является нашимъ *собственнымъ*. Содержаніе чужой личности, дошедшее до моего свѣдѣнія, является непосредственно дѣйственнымъ факторомъ въ моей собственной личности. Существуетъ единство отдельныхъ личностей, знающихъ другъ о другѣ, аналогичное единству одной и той же личности въ различныя времена. Можно видѣть, что я устанавливаю такимъ образомъ еще разъ уже однажды упомянутый общій фактъ „симпатіи“.

Этотъ общій фактъ начинаетъ также дѣйствовать, когда я узнаю о чужомъ сужденіи, выраженномъ *обо мнѣ*. Если я признался въ томъ, что измѣнилъ какое-нибудь убѣжденіе или отказался отъ какого-нибудь рѣшенія или отъ какой-нибудь совершенной несправедливости, тогда я тѣмъ самымъ заставилъ другого *пережить совместно* со мною это происшедшее во мнѣ отрицаніе. А зная это, я вновь переживаю въ себѣ такое пережитое другимъ совместно со мною отрицаніе меня самого. Я переживаю его вдвойнѣ. Я вижу

себя не только непосредственно, но кромѣ того, и отраженнымъ въ нѣкоемъ зеркалѣ. Къ моему первоначальному самоотрицанію этимъ актомъ „рефлексивной симпатіи“ присоединяется еще второе самоотрицаніе, которое усиливаетъ первое.

Подобное вторичное самоотрицаніе, такое отраженіе меня въ другомъ, этотъ актъ рефлексивной симпатіи имѣеть, однако, особенную силу: самоотрицаніе сдѣлалось въ немъ объективнымъ фактомъ, не зависящимъ отъ меня. Относительно самого себя я могу заблуждаться. Я могу извинять себя, могу заранѣе внушить себѣ, что отрицаніе меня самого не является таковымъ. Наоборотъ, фактъ отрицанія меня самого, который я *вызвалъ къ жизни въ другомъ человѣкѣ*, тотъ фактъ, что другой считаетъ меня измѣнившимъ своему убѣжденію или своему волевому рѣшенію, стоящимъ въ противорѣчій со своимъ собственнымъ прошлымъ, я долженъ, разъ этотъ фактъ существуетъ, признать за существующій. Подобно каждому объективному факту, этотъ фактъ нельзя уничтожить по произволу.

Или говоря иначе, я могу подавить собственный упрекъ противъ себя, съ упрекомъ же, подымающимся противъ меня въ сознаніи другихъ людей, я не могу такъ же справиться. Онъ существуетъ, и какъ бы часто я о немъ ни думалъ, я испытываю принужденіе переживать его такимъ, каковъ онъ есть.

Разумѣется, однако, рѣшеніе объективировать такимъ образомъ мое самоотрицаніе и сдѣлать его независимымъ отъ моей воли фактомъ достается мнѣ съ трудомъ. И это должно быть для меня тѣмъ труднѣе, чѣмъ сильнѣе во мнѣ стремленіе оставаться вѣрнымъ самому себѣ, или удерживать то, что во мнѣ однажды имѣло мѣсто. Съ другой стороны, это должно быть для меня тѣмъ болѣе тяжело, чѣмъ болѣе находить во мнѣ отзвукъ согласно моей природѣ, внутреннее поведеніе людей, которымъ я высказываю мое признаніе, чѣмъ сильнѣе, слѣдовательно, во мнѣ моментъ

симпатіи, вообще или по отношенію къ даннымъ, опредѣленнымъ лицамъ.

Я говорилъ уже выше, что въ такого рода вѣрности самому себѣ, во внутреннемъ консерватизмѣ, во внутренней стойкости переживаній состоитъ крѣпость моего существа. Последняя обнаруживается не въ меньшей степени въ живомъ и сильномъ сочувственномъ переживаніи того, что происходитъ въ другихъ. Такимъ образомъ въ энергіи „*рефлексивной симпатіи*“, посредствомъ которой я переживаю отрицаніе меня самого, совершаемое другими, заключается внутренняя сила моего существа, проявляется „характеръ“.

Перваго рода крѣпость обнаруживается одновременно съ крѣпостью втораго рода въ силѣ моего противодѣйствія такому отрицанію меня со стороны другихъ людей, — слѣдовательно, въ силѣ противодѣйствія признанію, что я ошибся, что я измѣнилъ убѣжденію, что я отрекся отъ нѣкотораго рѣшенія и осуждаю какое нибудь собственное дѣйствіе или собственное правило. Крѣпость того и другаго рода, разсматриваемая сама по себѣ, является цѣнной съ нравственной точки зрѣнія. Такимъ образомъ нѣчто само по себѣ цѣнное въ нравственномъ отношеніи лежитъ въ основаніи какъ противодѣйствія отказу отъ однажды имѣвшаго мѣсто внутренняго образа поведенія, такъ и въ основаніи противодѣйствія признанію въ такого рода отказѣ.

Но и та, и другая твердость можетъ перейти въ слабость. Вѣрнѣе, онѣ уже *есть* слабость всякій разъ, когда я, въ силу ихъ, въ моемъ поведеніи опредѣляюсь одностороннимъ образомъ, то есть, когда я остаюсь недоступенъ болѣе правильному интеллектуальному или нравственному пониманію или отказываюсь отъ признанія своей ошибки, изъ желанія оставаться вѣрнымъ самому себѣ и изъ боязни чужихъ упрековъ.

Сила моего нравственнаго существа какъ разъ и выражается въ томъ, что я открываю *болѣе* правильному пониманію *полный просторъ*, полную возможность дѣйствовать во

мнѣ. Такого рода сила — *высшаго* порядка именно потому, что въ ней сказывается побѣда *болѣе правильнаго или болѣе полнаго пониманія*; она представляетъ собою силу *правдивости* въ отношеніи къ самому себѣ и къ другимъ людямъ.

Такой силы нѣтъ у того, кто не можетъ рѣшиться отказать отъ однажды принятаго рѣшенія или осудить совершенный имъ поступокъ. Ея нѣтъ также и у того, кто упорно держится нравственныхъ, религіозныхъ, социальныхъ, политическихъ воззрѣній, какихъ либо принциповъ и привычекъ мышленія или хотѣнія, которые были ему однажды усвоены воспитаніемъ, окружающей средой, сословіемъ, церковью, національностью; кто въ слѣдствіе этого утрачиваетъ свободу духовнаго взора относительно фактовъ и взглядовъ другихъ людей, свободу яснаго пониманія и правильнаго обсужденія тѣхъ и другихъ, т. е. ту свободу сужденія, благодаря которой онъ могъ бы научиться лучшему или, по крайней мѣрѣ, могъ бы поколебаться въ своей увѣренности; кто теряетъ въ слѣдствіе такого рода консерватизма способность свободно усваивать и перерабатывать въ себѣ то цѣнное, что лежитъ за предѣлами его воззрѣній, принциповъ, привычекъ.

Вѣрность въ отношеніи къ самимъ себѣ, такого рода „чувство благоговѣнія“, такую „твердость“ и „надежность“ „характера“ мы будемъ продолжать считать имѣющими сами по себѣ цѣнность. Въстѣ съ тѣмъ мы должны однако жалѣть и осуждать вышеотмѣченную узость, духовную и моральную косность, тупость, ограниченность. Кто *хочетъ* сохранить во что бы то ни стало однажды пріобрѣтенныя воззрѣнія и привычки мышленія и дѣйствія только изъ-за подобной „вѣрности самому себѣ“, тотъ намѣренно остается въ духовной и моральной узости. Онъ сознательно себя обманываетъ и умерщвляетъ въ себѣ *чувство истины*. Подобнаго рода вѣрность становится предательствомъ въ отношеніи собственной личности. Оставаясь вѣрнымъ своей бѣдной и узкой личности, можно обмануться и лишиться себя лично-

сти въ собственномъ смыслѣ слова, т. е. болѣе богатой, болѣе свободной и болѣе нравственной личности. Наконецъ, тѣ, кто старается сохранить въ другихъ такого рода „вѣрность“ или довести ее до степени религіознаго и политическаго фанатизма, находятся въ опасности совершить преступленіе противъ человѣчества, хотя бы они имѣли при этомъ въ виду достигнуть мнимо-высокихъ цѣлей. Если при такого рода „вѣрности“ чувствуешь въ себѣ гордость и величіе, то вѣдь не слѣдуетъ забывать, что и дѣти чувствуютъ себя большими въ своемъ упрямствѣ, и что равнымъ образомъ дуракъ и преступникъ могутъ мнить себя великими, желая оставаться тѣмъ, что они есть.

Можетъ быть, отдѣльная личность, сохраняющая такого рода вѣрность самой себѣ, говоритъ о „правѣ индивидуальности“. Ей лучше было бы говорить о правѣ глупости, ограниченности, духовной и моральной слабости. А такого права не существуетъ. Иной считаетъ себя „сверхчеловѣкомъ“, тогда какъ ему было бы гораздо основательнѣе чувствовать себя очень маленькимъ, слабымъ и заблуждающимся человѣкомъ. Такой человѣкъ, можетъ быть, лишь отсталъ отъ стада „стадныхъ людей“, заблудился и вмѣстѣ съ тѣмъ утратилъ внутреннее равновѣсіе, которое онъ могъ бы сохранять въ стадѣ, и потому, возводя свое несчастіе въ добродѣтель, онъ наполняетъ внутреннюю пустоту самолюбованіемъ. Говоря это, я не имѣю въ виду того несчастнаго человѣка *), который ввелъ въ обращеніе эти слова.

Конечно, существуетъ право индивидуальности. Всякая индивидуальность имѣетъ право, соответствующее той положительной человѣческой сущности, носителемъ которой она является. Всякаго рода сила и величіе въ человѣкѣ являются цѣнными и имѣютъ право на существованіе въ

*) Авторъ намекаетъ здѣсь на недавно умершаго Фридриха Нитцше. *Прим. перев.*

совокупности личности въ собственномъ смыслѣ слова. Но это означаетъ въ то же время, что всякое право индивидуальности относительно, и что абсолютное право принадлежитъ только личности *въ собственномъ смыслѣ слова*, т. е. вполне нравственной, абсолютно полной по содержанію. Что же касается „сверхчеловѣка“, то врядь ли что нибудь болѣе твердо установлено, чѣмъ тотъ фактъ, что мы всѣ можемъ радоваться, если намъ удастся быть хоть въ нѣкоторой мѣрѣ людьми. Высочайшее, что мы, люди, въ состояніи мыслить, это—человѣкъ въ собственномъ смыслѣ этого слова, человекъ, какъ таковой (*der Mensch*). Такой высоты еще не достигъ ни одинъ человекъ.

Предположимъ теперь, что я обладаю въ отношеніи себя свободой, которая позволяетъ мнѣ замѣнить мою ограниченную личность болѣе богатой и нравственной; хотя такой обмѣнъ происходитъ не безъ борьбы, зато съ тѣмъ болѣею ясностью и увѣренностью. Въ такомъ случаѣ дѣйствіе „рефлективной симпатіи“ превращается въ свою противоположность. Я уже болѣе не хочу, чтобы другіе люди заблуждались относительно такого обмѣна. Напротивъ, я хочу и *казаться* тѣмъ, что я собой представляю, т. е. такимъ именно человекѣмъ, который усвоилъ себѣ лучшее пониманіе и потому *отрицаетъ* самъ себя, свое воззрѣніе, свое рѣшеніе, свое правило. Для меня является невыносимой та измѣна въ отношеніи самого себя, которая состоитъ во *лжи*.

Ложь также является *измѣной въ отношеніи самого себя*, отказомъ отъ своей собственной сущности. И я ощущаю ее, какъ такую измѣну. Основаніемъ этому служить то, что было сказано уже раньше. Сознаніе, что другой человекъ думаетъ то, что, какъ мнѣ извѣстно, или какъ я полагаю, противоположно дѣйствительности, является во мнѣ принужденіемъ къ соответственному собственному вѣрованію. Такого рода принужденіе противорѣчитъ моему знанію и чувствуется мною, какъ внутренний разладъ.

Между тѣмъ при лжи къ этому присоединяется еще и слѣдующее: если я когонибудь обманываю, то я пробуждаю въ немъ не только убѣжденіе, противоположное моему собственному вѣрованію или моему дѣйствительному или мнимому знанію, но я рождаю въ немъ увѣренность, будто *я и самъ раздѣляю это убѣжденіе*. Въ его глазахъ я вѣрю въ то, что я однако въ дѣйствительности отрицаю. Въ то время какъ я переживаю въ себѣ его сознаніе, во мнѣ является новое принужденіе — относиться съ довѣріемъ къ содержанию моей лжи, — слѣдовательно, новое противорѣчіе и новое чувство противорѣчія съ моимъ дѣйствительнымъ убѣжденіемъ или знаніемъ.

Къ этому присоединяется, наконецъ, еще и третій моментъ. Самой ложью я *произвожу* такого рода противорѣчіе или внутренній разладъ. Нѣкоторый дѣйствующій во мнѣ мотивъ, а именно мотивъ лжи, слѣдовательно, моя собственная личность, насколько она дѣйствуетъ въ подобномъ мотивѣ, — противопоставляетъ свое отрицаніе моему знанію или вѣрованію, или моей же собственной личности, поскольку она проявляется въ томъ и другомъ; я самъ себя противоплагаю самому себѣ, я употребляю усилія противъ самого себя, самъ разрушаю согласіе съ собою. Такимъ образомъ въ *основѣ* моей личности возникаетъ противорѣчіе, противорѣчіе, которое меня ограничиваетъ и стѣсняетъ, уничтожаетъ мою внутреннюю свободу, приноситъ вредъ мнѣ самому и моему самосознанію, подвергаетъ меня внутреннему униженію передъ самимъ собою.

Между тѣмъ очевидно, что подобное дѣйствіе должно быть тѣмъ сильнѣе, чѣмъ сильнѣе моя личность реагируетъ на такого рода отрицаніе, чѣмъ болѣе, слѣдовательно, я богатъ внутреннимъ здоровьемъ и жизненными силами, и чѣмъ болѣе я хочу поэтому *въ дѣйствительности* быть самимъ собой, т. е. чѣмъ болѣе я хочу проявляться и чувствовать себя свободнымъ и согласнымъ съ самимъ собою во всякой формѣ моего проявленія, вельдствіе чего чувство противорѣчія съ самимъ собою должно быть тѣмъ интен-

сивнѣ и невыносимѣ, и я поэтому долженъ тѣмъ болѣе внутренне протестовать противъ лжи. Съ другой стороны, ложь должна для меня быть тѣмъ болѣе тягостной, чѣмъ болѣе я переживаю совмѣстно, какъ нѣчто имѣющее для меня значеніе, внутреннія событія, происходящія въ другихъ людяхъ и, главнымъ образомъ, въ томъ, кого я обманываю или собираюсь обмануть. Наконецъ, въ отдѣльномъ случаѣ ложь должна тѣмъ сильнѣе меня отталкивать, чѣмъ болѣе то убѣжденіе или знаніе, которое я отрицаю, говоря ложь, пустило корни въ моей собственной личности, или чѣмъ большее значеніе представляетъ для меня его содержаніе.

Негодность лжи и заключается именно въ этомъ значеніи ея, какъ симптома моей сущности, какъ признака слабости, недостатка самоуваженія и въ то же время недостатка уваженія къ другимъ людямъ, наконецъ, также, какъ признака поверхностности или бессмыслія, легкомысленнаго отношенія къ предмету собственнаго убѣжденія или знанія, къ цѣнности, которую могутъ представлять для личности убѣжденія въ силу ихъ содержанія.

Отсюда явствуется въ то же время несправедливость попытокъ воспретить свободное исповѣдываніе убѣжденій. При этомъ я предполагаю, что послѣднія представляютъ собой дѣйствительныя, честныя убѣжденія. Чѣмъ болѣе они являются таковыми, и чѣмъ они одновременно глубже, принципиальнѣе, чѣмъ болѣе они властвуютъ надо всеѣмъ мышленіемъ человѣка, тѣмъ сильнѣе сказывается въ нравственно-здоровомъ человѣкѣ стремленіе сообщать другимъ свои убѣжденія и вселять въ нихъ эти убѣжденія. И тѣмъ болѣе стѣсненія, налагаемыя на это стремленіе, приводятъ къ нравственному поврежденію, которое можно сравнить съ тѣлеснымъ поврежденіемъ, причиняемымъ насильственнымъ задержаніемъ свободнаго дыханія.

Тутъ вопросъ, въ самомъ дѣлѣ, идетъ о нерушимомъ „правѣ индивидуальности“. Пусть мое убѣжденіе ошибочно.

Въ такомъ случаѣ другимъ людямъ принадлежитъ право—противопоставить ему свое болѣе правильное убѣжденіе. Можетъ быть, мое убѣжденіе имѣетъ вредныя послѣдствія; пожалуй, оно даже способно угрожать основамъ общественнаго, государственнаго и церковнаго строя (я разумѣю то, что во всемъ этомъ есть *нравственнаго*). Въ такомъ случаѣ мое убѣжденіе надо вырвать съ корнемъ. Но для этого существуетъ лишь одно средство: пусть мнѣ покажутъ мое заблужденіе; пусть докажутъ мнѣ высшее право противоположнаго убѣжденія, и, если возможно,—на дѣлѣ. Пусть высшее право этого послѣдняго убѣжденія будетъ доказано всеми способами.

Никогда однако не можетъ существовать права—принуждать человѣка ко лжи. А ложь является также и тогда, когда я, молча, допускаю, чтобы мои убѣжденія считали иными, чѣмъ они есть въ дѣйствительности, или когда я подавляю стремленіе признать и сообщить то, что я считаю истиннымъ, и чѣмъ я проникнуть, ради сохраненія дорогого мнѣ покоя и какихъ либо выгодъ, или считаясь съ какими нибудь повелѣніями власти; ложь является также тогда когда изъ нравственной трусости я приношу въ жертву лучшее, что у меня есть, — возможность уважать самого себя.

Къ этому присоединяется еще слѣдующее: тотъ, кто требуетъ отъ другихъ отсутствія правдивости, не можетъ и самъ быть правдивымъ. Кто требуетъ отъ другихъ людей подавленія ихъ собственныхъ убѣжденій, тотъ обманываетъ себя или другихъ, когда онъ заявляетъ, что его собственная проповѣдь есть только продуктъ его внутренняго стремленія, что онъ провозглашаетъ что либо справедливымъ и хорошимъ единственно потому, что онъ это признаетъ таковымъ,—ибо этимъ самымъ онъ неизбежно признаетъ и за другими право, даже обязанность—проповѣдывать въ свою очередь то, что они считаютъ справедливымъ и хорошимъ. Если онъ этого не дѣ-

даетъ, ожидая, что я подавлю мое убѣжденіе, уступая силѣ, слѣдовательно, изъ эгоистическихъ мотивовъ,—въ такомъ случаѣ онъ этимъ признаетъ право вообще жертвовать убѣжденіями въ пользу эгоистическихъ мотивовъ. Тогда я имѣю право допустить, что и у него играютъ роль эгоистическіе мотивы,—напримѣръ, корыстолюбіе, тщеславіе, властолюбіе. Мы можемъ утверждать съ совершенною опредѣленностью слѣдующее: невозможно, чтобы кто либо запрещалъ другимъ обнаруживать свое убѣжденіе относительно того, что они считаютъ истиннымъ и справедливымъ, и въ то же время въ согласіи съ истиной увѣрялъ, будто онъ называетъ истинными, справедливыми различныя вещи потому, что онѣ являются таковыми въ его глазахъ.

И даже еще болѣе: путь къ истинѣ ведетъ черезъ заблужденіе. Истинное познаніе дѣйствительности—то, которое *преодошло* ложное убѣжденіе. Истина должна устоять въ противоборствѣ убѣжденій. Тотъ, кто воспрещаетъ подобное противоборство, *не хочетъ*, слѣдовательно, подлиннаго познанія истины. Еслибы онъ его хотѣлъ, въ такомъ случаѣ всякаго рода обнаруженіе убѣжденія было бы ему тѣмъ болѣе желательнымъ, чѣмъ болѣе открыто оно совершалось бы.

И, наконецъ, даже самое ошибочное убѣжденіе можетъ содержать въ себѣ долю истины. Если въ какую нибудь эпоху нѣкоторыя идеи, требованія убѣжденія, относительно того, что должно быть, овладѣваютъ многими умами, то въ нихъ всегда заключается нѣчто законное, *дающее* имъ подобнаго рода власть. Тогда существуетъ обязанность серьезно и тщательно выискать этотъ законный элементъ, признать его право и оказать ему содѣйствіе. Кто вмѣсто того грозитъ силой, кто насильно хочетъ запрудить теченіе вмѣсто того, чтобы направить его въ правильное и, можетъ быть, благотворное русло, тотъ поступаетъ въ одно и то же время несправедливо и глупо. Существуетъ опасность, что вода въ рѣкѣ подымется, съ силою прорветъ, въ концѣ

концовъ, плотины и разольется по берегамъ, производя опустошенія. Въ такомъ случаѣ отвѣтственность за это падеть прежде всего на того, кто по ребячески дерзаль бороться насиліемъ съ идеями.

Должно ли изъ сказаннаго слѣдовать такого рода общее запрещеніе: не лги? Мнѣ кажется, что на этотъ вопросъ надо отвѣчать утвердительно не потому, чтобы кто нибудь этого хотѣлъ, а потому, что человѣческой природѣ свойственно ощущать и осуждать ложь, какъ униженіе человѣческой личности, какъ нѣкоторое внутреннее поврежденіе.

Но, съ другой стороны, надо всетаки принять во вниманіе, что не всякая ложь заслуживаетъ такого названія въ одномъ и томъ же смыслѣ. Я говорилъ въ предыдущемъ относительно лжи, какъ таковой, совершенно независимо отъ того вреда и того зла въ мірѣ, которые она можетъ повлечь за собою. Такое зло можетъ быть однако связано съ ложью. Въ этомъ случаѣ созданіе его подлежитъ еще особому осужденію съ нравственной точки зрѣнія.

Съ другой стороны, однако, съ долгомъ правдивости могутъ придти въ столкновеніе и другого рода обязанности. Я могу посредствомъ свидѣтельствованія истины породить заблужденія. Я, напримѣръ, знаю или долженъ опасаться, что мои слова будутъ поняты другими не такъ, какъ я ихъ самъ понимаю, изъ нихъ будутъ выведены ложныя слѣдствія по отношенію къ моей волѣ, они представятся въ ложномъ свѣтѣ, противорѣчащемъ моему убѣжденію или сознанію относительно истинной сути дѣла. Въ такомъ случаѣ мнѣ грозитъ опасность оказаться *неправдивымъ* именно въ силу моей правдивости.

Или же моимъ исповѣданіемъ истины я облегчаю или совершаю тяжелую несправедливость. Пусть, напримѣръ, какой нибудь смертный совершилъ ошибочный шагъ и раскаялся въ немъ. Ошибочный шагъ этотъ — такого рода, что общество, узнавъ о немъ, получило бы удобный случай затравить въ своемъ моральномъ негодованіи до смерти его

виновника. Мнѣ извѣстно объ этомъ проступкѣ, и меня о немъ спрашиваютъ. Еслибы я ограничился простымъ молчаніемъ, послѣднее истолковали бы въ смыслѣ утвержденія. Кто рѣшился бы осудить меня, съ нравственной точки зрѣнія, въ такомъ случаѣ, еслибы я сталъ *отрицать* существованіе этого проступка въ полномъ сознаніи того, что я дѣлаю!

Ложь удручала бы меня и въ этомъ случаѣ. Я и теперь также осуждалъ бы и въ нравственномъ отношеніи долженъ бы былъ осуждать ложь, *какъ таковую*, вслѣдствіе внутренняго поврежденія, которое я себѣ причиняю такимъ путемъ. Но, несмотря на это, я имѣлъ бы сознаніе, что поступилъ, какъ слѣдуетъ. Вѣдь когда дѣло идетъ о лжи, подлиннымъ предметомъ оцѣнки съ точки зрѣнія нравственности является не дѣйствіе, а весь нравственный строй, изъ котораго вытекаетъ эта оцѣнка.

Вернемся къ вопросу о вѣрности самому себѣ, какъ вопросу о вѣрности своему собственному *прошлomu поведенію*. Такого рода вѣрность обнаруживается также въ выполненіи *обѣщаній*. Выраженное или молчаливое обѣщаніе вызываетъ извѣстное убѣжденіе или вѣру. Тотъ, кому я даю обѣщаніе, ожидаетъ, что я его сдержу. Онъ довѣряетъ мнѣ. Въ его глазахъ я являюсь человѣкомъ, имѣющимъ твердое намѣреніе дѣйствовать сообразно обѣщанію. Я переживаю это въ себѣ. Въ этомъ-то заключается для меня внутреннее принужденіе — оставаться вѣрнымъ моему хотѣнію, принужденіе, усиливается объективнымъ фактомъ довѣрія къ моему хотѣнію. Такое усиленіе прочности тѣмъ сильнѣе, чѣмъ живѣе я переживаю въ себѣ указанное довѣріе. Такимъ образомъ неисполненіе обѣщанія является особенною невѣрностью въ отношеніи самого себя, отрицаніемъ своей личности, и я ее сознаю въ качествѣ таковой. Я ее чувствую, какъ умаленіе самого себя,

какъ нѣкоторое внутреннее ограниченіе, нѣкоторое внутреннее поврежденіе или приниженіе.

Но опять-таки это не устраниетъ обязательства *совершить* такую невѣрность въ отношеніи самого себя, если, такимъ образомъ, я остаюсь *вѣрнымъ болѣе высокому* нравственному сознанію. Вѣрность относительно обѣщанія есть сила. Мы понимаемъ, почему уважаютъ того, кто держитъ свое обѣщаніе *при всѣхъ обстоятельствахъ*. Но подобная вѣрность можетъ изъ силы превращаться въ слабость, слабость нравственного сознанія, слабость моей *нравственной личности*. Конечно, я долженъ, по возможности, уничтожить неправомѣрность, заключающуюся въ нарушеніи довѣрія. Я и дѣлаю это, открыто беря назадъ свое обѣщаніе, слѣдовательно, устраниая вѣру въ мое хотѣніе. Но даже если я этого *не могу*, тѣмъ не менѣе я долженъ дѣлать то, что призналъ справедливымъ. Въ такомъ случаѣ осужденіе относится не къ нарушенію обѣщанія, а, напротивъ, къ данному безъ достаточнаго размышленія или предусмотрительности обѣщанію.

Это сохраняетъ силу, каково бы ни было обѣщаніе. „Честное слово“ является формой обѣщанія, въ отношеніи которой условно оказывается особенное довѣріе. Поскольку это имѣетъ мѣсто, самый актъ обѣщанія является болѣе отвѣтственнымъ, т. е. данное легкомысленнымъ образомъ обѣщаніе на честное слово представляетъ собою болѣшую несправедливость; а самое обѣщаніе, поскольку оно не имѣетъ предметомъ несправедливость, является болѣе обязывающимъ— не вообще, а при прочихъ равныхъ условіяхъ. Оно имѣетъ больше обязывающей силы исключительно потому, что влѣдетвіе нарушенія обѣщанія нарушается еще больше— *едовѣріе*. Узы, дающія обѣщанію принудительную силу, являются въ данномъ случаѣ, какъ повсюду, узами, связывающими меня съ другими людьми *внутреннимъ* образомъ: онѣ создаютъ единство знающихъ другъ о другѣ индивидовъ, обусловливаютъ во мнѣ симпатическое или сочув-

ственное переживание того, что происходит въ другихъ, въ особенности же переживание мною ихъ убѣжденія, что я чего-то хочу. Къ этому можетъ присоединяться въ отдѣльныхъ случаяхъ тотъ *вредъ*, который я причиняю путемъ неисполненія какого либо обѣщанія. Этотъ вредъ однако не имѣетъ ничего общаго съ порицаніемъ, высказываемымъ по поводу нарушенія обѣщанія *самого по себѣ*. Подобно вреду, причиняемому ложью, онъ подлежитъ *особому* осужденію съ нравственной точки зрѣнія.

Даже наиболѣе обязывающее честное слово должно быть нарушено, если я усматриваю, что обѣщаль нѣчто несправедливое. Оно должно точно также быть нарушено, если того требуютъ высшія обязательства.

Исключительное святое соблюденіе честнаго слова представляетъ собою не что иное, какъ своего рода моральную гримасу, за которой можетъ скрываться самая полная безчестность. Всякаго рода обязательство, которое лежитъ на мнѣ или берется на себя мною, и которому другіе люди оказываютъ довѣріе, является обязательствомъ, связывающимъ честь, хотя бы я не давалъ формальнаго обѣщанія посредствомъ честнаго слова и вообще на словахъ. Большею частью естественныя обязательства таковы, что они внушаютъ сами собой довѣріе каждому неиспорченному нравственному сознанію и не требуютъ формальнаго обѣщанія; въ примѣненіи къ нимъ форма честнаго слова была бы бессмысленной. Кто держитъ свое честное слово, а такого рода обязательство оставляетъ не выполненнымъ, кто, на примѣръ, уплачиваетъ свой „долгъ чести“, а при этомъ несправедливо удерживаетъ то, что у него заработалъ честнымъ образомъ человѣкъ, состоявшій у него на службѣ, — тотъ можетъ оставаться честнымъ человѣкомъ въ глазахъ извѣстнаго класса людей, но на самомъ дѣлѣ онъ является безчестнымъ. И всѣ, кто культивируетъ такого рода понятіе о чести, лишены ея.

То же можно сказать въ концѣ концовъ и относительно

клятвеннаго обязательства. Форма присяги, какъ таковая, не дѣлаетъ клятвы священнѣе остального рода обязательствъ. Только *люди* могутъ ставить свое нравственное сужденіе, строгость своего требованія, наконецъ награду и наказаніе въ зависимость отъ *формулы*. Думать такимъ образомъ о Богѣ—значить посягать на божественное величіе, превращать Бога въ слабаго человѣка. Для Бога имѣетъ значеніе лишь внутренней, душевный строй человѣка. Религіозное сознаніе должно, поэтому непремѣнно *осуждать* форму присяги.

Между тѣмъ люди придали клятвѣ особенный характеръ святости. Они оказываютъ ей особое довѣріе. Такимъ образомъ нарушеніе клятвы является въ высшей мѣрѣ нарушеніемъ довѣрія. Такое нарушеніе довѣрія является въ то же время нарушеніемъ правопорядка, поскольку общество или государство пользуется формою присяги или довѣріемъ, связаннымъ съ этою формою, какъ средствомъ для поддержанія правопорядка. Но это опять-таки не мѣшаетъ тому, что клятвенное обязательство, какъ всякое другое, должно быть нарушено тѣмъ, кто признаетъ его содержаніе несправедливымъ. Въ такомъ случаѣ превратнымъ, съ точки зрѣнія нравственности, является не нарушеніе клятвы, а тотъ фактъ, что она была дана.

Такимъ образомъ нравственное требованіе гласитъ: при всѣхъ своихъ сужденіяхъ, во всѣхъ своихъ убѣжденіяхъ, при всѣхъ дѣйствіяхъ, правилахъ, при принятіи обязательствъ, при дачѣ обѣщаній спрашивай себя всегда, можешь ли ты навсегда остаться при своемъ сужденіи или убѣжденіи, можешь ли ты постоянно одобрять свои дѣйствія и правила, можешь ли ты считать свои обязательства окончательно нравственными, а обѣщанія окончательно справедливыми.

Все это однако заключается въ правилѣ: держи себя такъ, чтобы имѣть возможность оставаться вѣрнымъ самому себѣ.

Къ этому высшему нравственному правилу присоединяется въ данномъ случаѣ еще и другое. Субъективныя условія хотѣнія, какъ я говорилъ въ послѣдней лекціи, — измѣнчивы; познанные же факты остаются для меня, напротивъ, всегда одними и тѣми же. Если же это такъ, то вездѣ, гдѣ они встрѣчаются и начинаютъ дѣйствовать, они должны опредѣлять волю одинаковымъ образомъ. Хотѣніе, определенное познанными фактами, и только одними ими, слѣдовательно, не созданное субъективными условіями, можетъ быть устранено только въ томъ случаѣ, если къ даннымъ фактамъ присоединятся другіе, измѣняющіе дѣйствіе первыхъ. Между тѣмъ волевое рѣшеніе, имѣющее объективное значеніе, и правильное въ нравственномъ отношеніи, есть то, которое опредѣляется *окончательнымъ образомъ*, т. е. посредствомъ *всѣхъ* фактовъ, *какимъ либо способомъ* подвергающихся при этомъ разсмотрѣнію. Поэтому волевое рѣшеніе, имѣющее объективное значеніе, или правильное съ нравственной точки зрѣнія, необходимо таково, что должно совершаться одинаковымъ образомъ, гдѣ бы ни находились факты, на которыхъ оно основывается.

Отсюда получается другой пробный камень нравственнаго хотѣнія, еще одно правило, по которому можно узнать, нравственно ли какое нибудь хотѣніе: волевое рѣшеніе должно быть таково, чтобы при предположеніи опредѣляющихъ его фактовъ или при предположеніи одинаковыхъ „объективныхъ“, т. е. именно въ этихъ познанныхъ фактахъ состоящихъ „основаній“, оно *могло бы* быть и необходимо было бы тѣмъ же самымъ. Правило гласитъ слѣдующее: располагай свое хотѣніе такимъ образомъ, чтобы всякій разъ, какъ встрѣчаются одинаковыя объективныя основанія твоего хотѣнія, ты могъ бы хотѣть и хотѣлъ бы внутренне-необходимымъ образомъ всегда одного и того же.

Этому правилу непосредственно соответствуетъ другое, имѣющее значеніе для всякаго рода разсудочныхъ сужденій. Мои разсудочныя сужденія также имѣютъ зна-

ченіе лишь постольку, поскольку они основываются на познанных фактахъ. Последніе являются „основаніями“ разсудочнаго сужденія. Но вмѣстѣ съ „основаніемъ“ дается всякій разъ слѣдствіе. Значитъ, основанія, по которымъ я составляю разсудочное сужденіе, должны во всевозможныхъ случаяхъ *выдержать испытаніе* въ качествѣ основаній; я долженъ быть во всякое время въ состояніи по даннымъ одинаковымъ основаніямъ составлять одно и то же сужденіе. Если я этого не могу, то я также не имѣлъ права выводить мое первое сужденіе изъ основаній, о которыхъ идетъ рѣчь. Я говорю, на примѣръ, что нѣкоторая химическая реакція должна съ необходимостью послѣдовать исключительно на основаніи того, что имѣло мѣсто нѣкоторое опредѣленное смѣшеніе веществъ. Я имѣю на это право только въ томъ случаѣ, если установлено, что опредѣленное смѣшеніе веществъ является повсюду дѣйствительнымъ и достаточнымъ основаніемъ для такого рода реакціи, если, слѣдовательно, я могу установить правило, по которому при такомъ смѣшеніи веществъ *всегда* наступаетъ подобная реакція. Дѣйствительныя или имѣющія объективное значеніе основанія всегда бываютъ *всеобщими*.

Такимъ образомъ дѣйствительныя или имѣющія объективное значеніе основанія моего *хотѣнія* являются всегда общими. Обозначимъ мое обоснованіе какого нибудь волевого рѣшенія кратко, какъ „правило“ послѣдняго. Въ такомъ случаѣ я могу сказать: правило нравственнаго рѣшенія воли всегда является необходимымъ образомъ общимъ, т. е. я могу его во всякое время обобщить, не противорѣча самъ себѣ. Я могу возвести это правило въ общій законъ.

Такимъ образомъ мы пришли къ кантовскому формулированію высшаго нравственнаго закона: веди себя такъ, чтобы ты могъ хотѣть возведенія въ общій законъ правила твоего хотѣнія. Этотъ высшій нравственный законъ Канта не только заключаетъ въ себѣ истину, но и является самымъ важнымъ

открытіемъ, сдѣланнымъ Кантомъ. Въ то же время однако этотъ законъ представляетъ собой не что иное, какъ необходимое слѣдствіе того, что мы узнали о сущности волевого рѣшенія, имѣющаго объективное значеніе.

Выразимъ этотъ высшій нравственный законъ еще болѣе специальнымъ образомъ. Всѣ волевыя рѣшенія могутъ быть обозначены, какъ требованія. Я хочу что либо имѣть; вмѣсто того я могу сказать: я требую чего нибудь *для* себя. Я хочу, чтобы кто нибудь проявлялся какимъ либо образомъ; вмѣсто этого я могу сказать: я требую *отъ* чело-вѣка того-то.

Отсюда получается *двойная* болѣе специальная формулировка приведеннаго правила. Первая формула гласитъ: *требуй для* каждаго чело-вѣка, а потому и для себя самого, исключительно лишь того, чего ты равнымъ образомъ можешь требовать, и дѣйствительно требуешь, для всякаго другого чело-вѣка, если даны объективныя основанія для этого твоего требованія. Вторая формула такова: *требуй отъ* чело-вѣка исключительно того, чего ты можешь требовать, а въ данномъ случаѣ и въ самомъ дѣлѣ фактически требуешь, отъ всякаго другого чело-вѣка, а потому, слѣдовательно, также и отъ себя, предполагая, что даны равнымъ образомъ объективныя основанія для твоего требованія.

Ясно, какое правило *предполагается* обоими приведенными правилами. Я не могу сознавать, въ состояніи ли я хотѣть чего нибудь на основаніяхъ, опредѣляющихъ мое хотѣніе въ *общей* формѣ, если я сперва не позналъ ясно этихъ основаній моего хотѣнія. Такимъ образомъ оба правила имѣютъ предпосылкой слѣдующее правило: *про-вѣрай* основанія твоего хотѣнія. Знай, почему ты требуешь чего либо для себя или отъ другихъ. Къ этому присоединяется въ такомъ случаѣ еще слѣдующее правило: *испытывай*, можешь ли ты на такихъ основаніяхъ выставять общія требованія, или что то же самое: являются ли твои основанія дѣйствительными

удовлетворяющими, выдерживающими критику,—короче говоря, основаніями, имѣющими объективное значеніе.

Напримѣръ, пусть я требую себѣ владѣнія извѣстной величины. Я требую, чтобы извѣстныя блага признавались моими, и чтобы мнѣ было предоставлено распоряжаться ими. Тогда спрашивается: какія у меня имѣются основанія для подобнаго требованія? Изъ какого факта вывожу я такое право?

Можетъ быть, я дамъ такой отвѣтъ: я—человѣкъ и, въ качествѣ такового, имѣю потребность свободнымъ образомъ развиваться, наслаждаться, пользоваться жизнью. Но вѣдь мнѣ извѣстно, что и другіе люди—такіе же люди, какъ и я, и что и у нихъ существуетъ та же потребность. Какъ разъ въ той мѣрѣ, въ какой они ее имѣютъ, я долженъ и за ними признать равное право на пользованіе благами. Я долженъ *хотѣть*, чтобы они его *имѣли*. А такъ какъ земныя блага ограничены, то я долженъ хотѣть, чтобы ихъ досталось на мою долю ровно столько, сколько мнѣ можетъ ихъ достаться, въ предположеніи, что и всякому другому, обладающему въ той же степени такого рода потребностью, достанется одинаковая со мною доля. Если я выражаю претензію на большее, то такая претензія лишена основанія, съ нравственной точки зрѣнія. Я похищаю у другихъ то, что имъ принадлежитъ по праву.

Или же мой отвѣтъ на поставленный вопросъ таковъ: я унаслѣдовалъ владѣніе. Въ такомъ случаѣ спрашивается: имѣетъ ли такое основаніе объективное значеніе, или выдерживаетъ ли оно критику? Могу ли я его обобщить? Могу ли я это сдѣлать, если я не справляюсь съ моими склонностями, не поддаюсь привычкамъ своей мысли, а принимаю во вниманіе исключительно факты и предоставляю имъ дѣйствовать на меня?

Въ такомъ случаѣ я вижу, пожалуй, слѣдующее: ктонибудь получилъ въ наслѣдство большое имущество, губящее его въ нравственномъ отношеніи. Его дарованія ослабѣваютъ; онъ ихъ растрчиваетъ въ наслажденіяхъ. Ктонибудь дру-

гой могъ бы дѣлать добро при помощи этого имѣнія, или даже только при помощи части послѣдняго; а его владѣлецъ совершаетъ посредствомъ него лишь дурное.

Подобная вещь вѣдь можетъ случиться; велѣдствіе этого обстоятельства мое сужденіе необходимымъ образомъ измѣняется. Теперь я уже болѣе не могу выставить общее положеніе: каждый долженъ обладать тѣмъ, что ему оставили его родители, онъ долженъ имѣть возможность этимъ имуществомъ свободно распоряжаться; такого рода строй имѣетъ высокую цѣнность съ нравственной точки зрѣнія. Я могу, конечно, *выставить* подобное предложеніе; я даже могу его упрямо защищать, но я не могу честнымъ образомъ думать то, что утверждаю такимъ образомъ. Напротивъ, я долженъ желать, чтобы каждый владѣлъ въ той мѣрѣ, въ какой онъ является достойнымъ владѣнія, т. е. въ той мѣрѣ, въ какой владѣніе служить ему не только вообще, а какъ нравственной личности, — и въ той мѣрѣ, въ какой владѣніе является въ его рукахъ средствомъ дѣлать добро.

Въ заключеніе я, можетъ быть, возвращаюсь къ слѣдующему заявленію: мое владѣніе даннымъ имуществомъ вытекаетъ съ необходимостью изъ существующаго порядка владѣнія и собственности. А этотъ порядокъ необходимъ для нравственнаго существованія общественнаго устройства.

Относительно послѣдняго утвержденія мы не будемъ здѣсь спорить. Другими словами, мы не будемъ спорить о томъ, существуютъ ли выдерживающія критику основанія, изъ которыхъ слѣдовало бы, что въ самомъ дѣлѣ *нравственная* жизнь общественнаго строя является возможной лишь на почвѣ такого существующаго порядка отношеній владѣнія и собственности, порядка самого по себѣ несомнѣнно безнравственнаго; мы не будемъ разсуждать о томъ, не имѣется ли въ виду подъ такимъ величественно звучащимъ выраженіемъ „нравственный строй общества“ нѣчто, можетъ быть, совсѣмъ иное, а именно сохраненіе безнравственной свободы нѣкоторыхъ людей заявлять притязанія на извѣстнаго

рода наслажденія высшаго и низшаго порядка только для себя и за счетъ другихъ людей.

Но допустимъ, что такое утвержденіе правильно. Въ такомъ случаѣ всетаки *для меня* отсюда еще никоимъ образомъ не слѣдуетъ нравственнаго права на мое владѣніе. Въдѣ существующій общественный порядокъ ничуть не мѣшаетъ мнѣ удѣлить часть моего имущества тѣмъ, кто или совѣмъ ничего не имѣетъ, или имѣетъ меньше меня, и кто является съ нравственной точки зрѣнія точно также достойнымъ обладать имуществомъ, какъ и я,—и не изъ „благотворительности“, а потому, что такъ слѣдуетъ.

Но когда же я *имѣю* нравственное право на мое имущество? Отвѣтъ на это уже былъ данъ: исключительно въ томъ случаѣ, если я оказываюсь *съ нравственнымъ смысломъ* достойнымъ его. Этимъ самымъ я говорю лишь нѣчто совершенно понятное само по себѣ, какъ еслибы я сказала, на примѣръ, что въ четырехугольникѣ—четыре угла. Одно и то же означаютъ выраженія: „я являюсь достойнымъ съ нравственной точки зрѣнія владѣть имуществомъ“ и „я имѣю нравственное право на такое владѣніе“. Между тѣмъ я оказываюсь достойнымъ въ нравственномъ отношеніи владѣть имуществомъ при вышеуказанныхъ условіяхъ. Земныя блага принадлежать, по свидѣтельству нравственнаго сознанія или, говоря языкомъ религіи, по священной волѣ Божества, — не тѣмъ, кому ихъ предоставилъ случай, и не тѣмъ, кого защищаетъ человѣческая власть во владѣніи этими благами. Ни случай, ни человѣческая власть не представляютъ собою нравственнаго или божественнаго міропорядка. Земныя блага принадлежать людямъ, населяющимъ землю. Они должны служить имъ средствомъ—свободно проявляться въ качествѣ нравственныхъ личностей и творить добро. Такимъ образомъ они могутъ принадлежать отдѣльнымъ личностямъ по нравственному и божественному праву только въ той мѣрѣ, въ какой въ нихъ можетъ проявляться нѣчто нравственное, и, съ другой стороны, въ той мѣрѣ, въ какой

блага могутъ служить въ ихъ рукахъ къ тому, чтобы дѣлать добро.

Врядъ ли можетъ существовать другая болѣе очевидная истина, чѣмъ эта. Собственность не есть, какъ думали нѣкоторые, кража.—напротивъ, нравственное право собственности существуетъ, но въ качествѣ нравственнаго права оно должно имѣть только нравственное основаніе, а не какое нибудь иное. Нарушеніе же такого *нравственнаго* права есть не преступленіе, а грѣхъ. Грѣхъ же тяжелѣе преступленія. Не существуетъ нравственнаго права безъ нравственной обязанности, а именно обязанности—оказываться достойнымъ этого права. Такимъ образомъ и не существуетъ нравственнаго права собственности безъ подобнаго достоинства.

Въ данномъ случаѣ рѣчь шла о требованіяхъ, которыя я ставлю *для себя*. Такого рода требованіямъ противопоставляются такія, которыя я предъявляю *къ другимъ*. Напримѣръ, я требую отъ другого человѣка, чтобы онъ служилъ мнѣ,—въ частности, чтобы онъ оказывалъ мнѣ матеріальныя услуги, чтобы онъ жертвовалъ своими силами въ пользу моихъ матеріальныхъ интересовъ. Какимъ образомъ прихожу я къ этому? Почему бы мнѣ самому не служить другому? Развѣ онъ не такой же человѣкъ, какъ и я?

На это я возражу, что другой человѣкъ служить мнѣ однако не даромъ, а за вознагражденіе. Онъ работаетъ, чтобы имѣть возможность жить. Но почему бы мнѣ или обществу не давать ему того, что ему нужно для существованія, *не* требуя взамѣнь его труда?

Я, пожалуй, отвѣчу, что на это онъ не можетъ претендовать, пока онъ способенъ къ труду. Я напоминаю о прекрасной пословицѣ: кто не хочетъ работать, тотъ не долженъ ѣсть. Если же однако это правило прилагается къ другому человѣку, оно должно быть примѣнимо и ко мнѣ. Если я требую отъ другого, чтобы онъ пользовался силами, которыя *у него* имѣются, и лишь *послѣ* того предъявлялъ претен-

зію на средства къ жизни, соотвѣтствующія его трудамъ, тогда я долженъ требовать того же самаго и отъ себя.

Это не значить, чтобы я долженъ былъ требовать отъ себя *той же* работы, которую я требую отъ другого. Выше я предположилъ, что другой человѣкъ совершаетъ *материальную* работу. Я долженъ имѣть основаніе и для такого требованія. Между тѣмъ подобное основаніе можетъ заключаться единственно въ томъ, что другой человѣкъ *направляется* именно на *этотъ* родъ работы согласно своимъ способностямъ и сообразно обстоятельствамъ, измѣненіе которыхъ не зависитъ ни отъ него, ни отъ меня; а также въ томъ, что онъ въ состояніи пріобрѣсти право на средства къ существованію только путемъ такого рода работы. Въ такомъ случаѣ для меня является отсюда требованіе, чтобы я, со своей стороны, совершалъ ту работу, которая соотвѣтствуетъ *моимъ* силамъ и способностямъ, и которая налагается на меня обстоятельствами, и чтобы я только при этомъ условіи заявлялъ притязанія на средства къ существованію. Я имѣю право ставить *первое* требованіе, лишь поскольку я предъявляю *последнее* и намѣренъ его исполнить. Я имѣю право требовать, чтобы другой человѣкъ *честно* пользовался своими силами въ поставленныхъ ему границахъ, точно въ такой же степени, въ какой я готовъ дѣлать то же самое внутри поставленныхъ мнѣ границъ. Это означаетъ въ то же время, что я обязанъ сдѣлать *больше*, и мой трудъ долженъ быть *высшаго* качества, въ той мѣрѣ, въ какой мои силы больше и высшаго рода, а обстоятельства дозволяютъ мнѣ большую свободу въ ихъ проявленіи.

Наконецъ, я предполагалъ выше, что другой человѣкъ оказываетъ мнѣ матеріальныя услуги. Этимъ самымъ онъ освобождаетъ меня отъ необходимости самому ихъ производить.

Нравственн-осправедливое основаніе для *такого* рода требованія существуетъ только въ той мѣрѣ, въ какой другой человѣкъ *именно тѣмъ самымъ* даетъ мнѣ *возможность* проявлять

мою личность въ формахъ *болѣе высокнхъ* съ нравственной точки зрѣнія. Оказываемыя имъ мнѣ услуги не могутъ имѣть *конечною цѣлью* мои матеріальные интересы. Всякаго рода работа имѣетъ послѣднею цѣлью—осуществленіе добра. Косвеннымъ образомъ этой же цѣли должна служить также работа самаго низкаго разряда. Если же такая работа дѣлается *для меня*, въ этомъ случаѣ она *черезъ меня* должна служить означенной цѣли. Требуя совершенія для меня работы, я *обязываюсь*, слѣдовательно, въ свою очередь *заботиться* объ осуществленіи нравственной конечной цѣли такой работы. Я даю работающему *право требовать* этого отъ меня; я даю ему нравственное, слѣдовательно, *безусловное* право предъявлять это требованіе. Въ этомъ состоитъ *нравственный рабочий договоръ*. Всякаго рода работа, которую я требую или на которую соглашаюсь, *не* сознавая подобнаго нравственного обязательства, является рабскимъ трудомъ. Я совершаю насиліе надъ людьми, низвожу ихъ къ вещи, къ слѣпому орудію.

Въ такомъ нравственномъ обязательствѣ лежитъ главнымъ образомъ также слѣдующее: „благодаря“ является нравственная личность,—поэтому нравственной конечной цѣлью является осуществленіе нравственной личности. Между тѣмъ я не могу имѣть этой конечной цѣли, если у меня ея нѣтъ также по отношенію къ тому, кто мнѣ служить. Такимъ образомъ я долженъ уважать послѣдняго, какъ человѣка, не только теоретически, но и практически; я долженъ его уважать, какъ такого человѣка, который долженъ, подобно мнѣ, прежде всего осуществить добро *въ самомъ себѣ*, въ качествѣ личности, призванной, подобно мнѣ, къ нравственной свободѣ.

Никто, какъ мы можемъ вкратцѣ резюмировать эти мысли, не имѣетъ нравственного права быть *господиномъ*, не являясь въ то же время и въ той же мѣрѣ также и *службой*, именно службой безусловныхъ нравственныхъ цѣлей, а также нравственной цѣли въ лицѣ человѣка, оказывающаго услугу.

Всякій же слуга долженъ одновременно быть господиномъ, то есть личностью, сознающею совокупность нравственныхъ цѣлей и свою собственную нравственную жизненную цѣль. Всякое иное господство, равно какъ и всякое другое служеніе—безнравственны.

Въ концѣ концовъ, рядомъ съ обоими до сихъ поръ установленными правилами, имѣющими общее значеніе для нравственной жизни, существуетъ еще и третье. Есть еще третій пробный камень нравственнаго поведенія. Вести себя правильно въ нравственномъ отношеніи, повторяю, означаетъ опредѣляться посредствомъ познанныхъ фактовъ, а не субъективныхъ условій хотѣнія. Факты остаются *одними и тѣми же* для каждаго человѣка. Если нравственное поведеніе не зависитъ отъ субъективныхъ условій, то оно не зависитъ также и отъ того, что проводитъ различіе между людьми. Оно имѣетъ *общеобязательное значеніе*. Оно обладаетъ такими свойствами, вслѣдствіе которыхъ *всякій* человѣкъ долженъ признать его справедливымъ, въ томъ случаѣ, если онъ въ своемъ сужденіи руководствуется только познанными фактами и вмѣстѣ съ тѣмъ *полнымъ* познаніемъ *всѣхъ* фактовъ, могущихъ какимъ нибудь образомъ имѣть значеніе для человѣческаго хотѣнія. Такимъ образомъ имѣетъ мѣсто слѣдующее правило: *пусть твое поведеніе имѣетъ общеобязательное значеніе, то есть значеніе, сохраняющее силу для нравственнаго сознанія всѣхъ людей.*

Такимъ путемъ мы нашли три самыя общія правила. Во первыхъ, веди себя такимъ образомъ, чтобы имѣть возможность въ своемъ поведеніи оставаться самому себѣ вѣрнымъ; во вторыхъ, веди себя такимъ образомъ, чтобы имѣть возможность хотѣть возведенія правила твоего хотѣнія на степень всеобщаго закона; и, наконецъ, въ третьихъ, только что установленное правило. Мы можемъ въ концѣ концовъ соединить эти правила въ одно, расширяя смыслъ слова

„общеобязательный“; тогда получаемъ: веди себя по способу, имѣющему общеобязательное значеніе. Всякое хотѣніе, которое я долженъ въ послѣдствіи отмѣнить или осудить, а также то, чего я не могу обобщить, лишено общеобязательной силы. Такое хотѣніе *не окончательно*, а потому и вообще лишено дѣйствительной обязательности. Оно не имѣетъ силы *для всѣхъ возможныхъ случаевъ*.

Такимъ образомъ поведеніе, являющееся правильнымъ съ нравственной точки зрѣнія, ставится въ полную аналогію съ правильнымъ разсудочнымъ сужденіемъ или съ познаніемъ того, что существуетъ и происходитъ на свѣтъ. Подобное разсудочное познаніе (если только оно дѣйствительно заслуживаетъ названія „познаніе“) не можетъ быть отмѣнено никакими фактами. Затѣмъ оно должно быть такимъ, чтобы „правило“ его, то есть отношеніе между основаніемъ и слѣдствіемъ, могло быть обобщено. Наконецъ это познаніе необходимо должно быть обязательнымъ *для всѣхъ*.

Всѣ установленныя нами правила — *формальны*. Они не говорятъ: желай того или другого; а только: желай опредѣленнымъ образомъ, — напримѣръ, такъ, чтобы имѣть возможность сохранять вѣрность самому себѣ.

Мы не должны однако этому удивляться. Отъ самыхъ общихъ нравственныхъ повелѣній и *не требуется*, чтобы они давали *содержаніе* хотѣнію, такъ какъ послѣднее имѣетъ его уже и безъ нихъ. Люди хотятъ естественнымъ образомъ того или другого. Они имѣютъ тѣ или другія цѣли. Такое разнообразное естественное хотѣніе *не устраняется*, а только *становится упорядоченнымъ въ нравственномъ хотѣніи*. Нравственность, какъ достаточно разъяснялось выше, состоитъ не въ томъ, что извѣстныя цѣли съ корнемъ вырываются изъ человѣка, а на ихъ мѣсто ему прививаются нѣкоторыя новыя. И то, и другое невозможно. Напротивъ, всѣ цѣли, всякаго рода положительное хотѣніе въ человѣкѣ представляетъ собою матеріаль нравственности. Нравственность есть опредѣленный *порядокъ* естественныхъ цѣлей

или возможныхъ волевыхъ актовъ. Она состоитъ въ нѣкоторомъ *отношеніи* между ними, отношеніи, имѣющемъ общезначительное значеніе.

Къ этому, конечно, надо прибавить, что совершенная нравственность предполагаетъ во мнѣ существованіе всевозможныхъ человѣческихъ цѣлей. Нравственный законъ не говоритъ: пусть твое хотѣніе направляется не на то, чего ты хочешь и долженъ хотѣть согласно твоей природѣ, а на то, чего ты не хочешь согласно твоей природѣ и чего не можешь хотѣть. Но онъ не означаетъ также: желай именно того, чего тебѣ случайно хочется. Напротивъ, нравственный законъ гласитъ: желай всего, чего ты можешь хотѣть; имѣй всѣ возможныя человѣческія цѣли. Затѣмъ онъ прибавляетъ: приводи эти цѣли *въ порядокъ*, выдерживающій критику и имѣющій значеніе для всѣхъ случаевъ и для всѣхъ людей.

Въ данномъ случаѣ снова является очевидной аналогія съ разсудочнымъ познаніемъ. Законы послѣдняго также не даютъ содержанія познанію. Они не говорятъ: вѣрь тому или другому. Они не указываютъ намъ новыхъ фактовъ, которые мы должны были бы признать. Напротивъ, они уже предполагаютъ послѣдніе. Они требуютъ только, чтобы данныя, а въ концѣ концовъ *всевозможные* факты ставились въ законѣрную связь или въ отношенія основанія и слѣдствія, имѣющія всеобщее значеніе.

Сказанное здѣсь освобождаетъ вмѣстѣ съ тѣмъ Канта отъ порицанія за то, что онъ опредѣляетъ высшій нравственный законъ только формальнымъ образомъ.

Обыкновенно Канта дѣлается еще другой упрекъ. Кантъ говоритъ также, что поступать нравственно значитъ поступать исключительно *изъ уваженія къ нравственному закону*. Это было бы удивительно, еслибы нравственный законъ былъ не чѣмъ инымъ, какъ предложеніемъ, соединеніемъ буквъ, слоговъ и словъ. Но онъ представляетъ собою выраженіе нашей нравственной природы и является сущностью нравственной личности. Такимъ образомъ уваженіе къ нрав-

ственному закону представляет собою уваженіе къ нравственной личности, къ собственной, а вмѣстѣ съ тѣмъ къ нравственной личности вообще. Требованіе, чтобы наше хотѣніе опредѣлялось только этимъ уваженіемъ и ничѣмъ инымъ, представляет собой требованіе, чтобы нравственная личность повсюду стояла предъ нашимъ взоромъ и руководила нами въ качествѣ безусловной цѣнности. Поэтому также совершенно законно Кантъ въ концѣ концовъ даетъ очень опредѣленное содержаніе высшему закону, когда у него за вышеприведенной формулой слѣдуетъ другая: поступай такимъ образомъ, чтобы человѣкъ въ тебѣ и другихъ никогда не былъ простымъ средствомъ, а, напротивъ, во всякое время вмѣстѣ съ тѣмъ служилъ и цѣлью. Въ этомъ нѣтъ непослѣдовательности, а, напротивъ,—необходимая послѣдовательность.

Что собою представляет *совѣсть* на основаніи всего того, что было сказано въ этой и предыдущей лекціяхъ? Я сейчасъ же выражу вопросъ болѣе точно слѣдующимъ образомъ: есть ли совѣсть нѣчто первоначальное или производное? Есть ли въ отдѣльной личности или въ разныхъ личностяхъ что либо само съ собою согласное, или же во мнѣ находится что либо одно, а въ различныхъ людяхъ все другое и другое?

На эти оба вопроса давались разные отвѣты. И неудивительно, такъ какъ подъ совѣстью понимали то одно, то другое. Въ самомъ дѣлѣ, подъ этимъ словомъ можно разумѣть три вещи,—аналогично тому, какъ и слово *разсудокъ* можно принимать въ тройкомъ значеніи.

Кто нибудь „не имѣетъ никакого понятія о вещи“. Если говорятъ такимъ образомъ, тогда „разсудокъ“ представляет собой *пониманіе*, дѣйствительный процессъ пониманія, знаніе, познаваніе. Въ другихъ случаяхъ подъ словомъ „разсудокъ“ разумѣется *способность* познаванія,—не само позна-

ваніе, а его потенціальность, его *возможность*. Наконецъ, слово „разсудокъ“ можно принимать въ безусловномъ значеніи и разумѣть подъ нимъ готовое или *законченное познаніе*.

Точно также подъ „совѣстью“ можно разумѣть *актуальную* совѣсть, или фактически существующее сознание нравственнаго права и неправоты. Эта „совѣсть“ не первоначальна: она пріобрѣтается съ помощью опыта. Она измѣнчива во мнѣ самомъ и различна въ разныхъ отдѣльныхъ личностяхъ. Совершенно также, какъ разсудочное познаніе, пониманіе того, что существуетъ и происходитъ на свѣтѣ, не бываетъ первоначально свойственнымъ человеку, а, напротивъ, создается опытомъ и повсюду оказывается различнымъ. Не существуетъ прирожденнаго моральнаго сознанія, точно также какъ и прирожденныхъ разсудочныхъ познаній, — на примѣръ, прирожденныхъ познаній изъ области физики. Не существуетъ ни моральнаго, ни нравственнаго чувства, которыми природа снабдила бы насъ на жизненный путь. Ничего подобнаго *не можетъ* существовать, такъ какъ нѣтъ прирожденнаго сознанія предметовъ, къ которымъ могло бы относиться это сознаніе или чувство.

Но на ряду съ этимъ стоитъ „совѣсть“ въ смыслѣ *способности* имѣть сознаніе относительно того, что справедливо, и что нѣтъ. Такого рода совѣсть есть не что иное, какъ возможность познавать факты и опредѣляться ими. Это — способность представлять себѣ факты согласно ихъ полной сущности и замѣчать ихъ объективную цѣнность; а также при этомъ — способность отвлекаться отъ субъективныхъ условій нашего хотѣнія, препятствующихъ дѣйствію такого рода цѣнностей; способность соизмѣрять другъ съ другомъ и уравнивать чистыя объективныя цѣнности; короче говоря, такая совѣсть есть способность вести нравственныя разсужденія. Наконецъ, она представляетъ собою законмѣрность духа, которая принуждаетъ насъ осуждать принятое волевое рѣшеніе, если встрѣчаются факты, обуславливающіе противоположное рѣшеніе воли; а

также—закономѣрность нашего духа, принуждающаго насъ устанавливать при одинаковыхъ условіяхъ въ общей формѣ требованія, поставленныя нами на опредѣленныхъ основаніяхъ, или же брать назадъ эти требованія, какъ незаконныя. Въ этомъ смыслѣ совѣсть свойственна намъ первоначально. Она заключается въ человѣческой природѣ и во всѣхъ людяхъ однородна.

Наконецъ, на ряду съ перваго рода актуальною совѣстью и потенціальною совѣстью второго рода находится *абсолютная* совѣсть, или совѣсть въ собственномъ смыслѣ этого слова, т. е. въ значеніи абсолютнаго нравственнаго пониманія, непоколебимаго больше никакими фактами. Подобная абсолютная совѣсть не дается просто, первоначально,—напротивъ, ея нигдѣ кельзя найти въ совершенномъ и чистомъ видѣ. Въ то же время она—одна и та же, поскольку она существуетъ, совершенно точно также какъ истинное разсудочное познаніе, или, короче, истина бываетъ для всѣхъ одной и той же.

Совѣсть во второмъ значеніи слова можетъ также означать нравственное предрасположеніе. Такимъ образомъ нравственное предрасположеніе существуетъ во всѣхъ людяхъ въ однородной формѣ, хотя и не съ одинаковой силой. Совѣсть въ первомъ значеніи слова представляетъ собою сознаніе относительно того, что должно быть, сознаніе, явившееся въ насъ на основаніи упомянутаго нравственнаго предрасположенія; оно составляетъ несовершенное *осуществленіе* такого предрасположенія. Наконецъ, совѣсть въ третьемъ значеніи слова есть полное осуществленіе такого предрасположенія. Эта совѣсть *есть* *человѣкъ*. Она имѣетъ своимъ содержаніемъ не то, что мы иногда считаемъ долженствующимъ быть, а то, что *должно существовать съ объективной точки зрѣнія*.

А что значитъ: то что должно существовать съ объективной точки зрѣнія? Не что иное, какъ слѣдующее: мы *хотимъ* чего либо и хотимъ *необходимымъ образомъ*, если упомя-

нутое нравственное предрасположеніе получаетъ совершенное осуществленіе, или если мы являемся людьми въ полномъ смыслѣ слова. Полная добросовѣстность есть полная человѣчность.

Седьмая лекція

Система цѣлей

Какъ мы видѣли, духовный строй человѣка имѣеть нравственный характеръ, когда въ немъ всевозможныя человѣческія цѣли дѣйствуютъ согласно ихъ полной и чистой объективной цѣнности. Если цѣли дѣйствуютъ такимъ образомъ, то это значитъ, что онѣ дѣйствуютъ такъ, какъ *могутъ* дѣйствовать согласно *своей природѣ*; или же: онѣ дѣйствуютъ такъ, какъ должны *по необходимости* дѣйствовать при совершенномъ и вполне ясномъ пониманіи ихъ природы, а также при томъ предположеніи, что я цѣликомъ отдался впечатлѣніямъ отъ нихъ, оставляя безъ вниманія субъективныя условія.

Если во мнѣ дѣйствуютъ всевозможныя человѣческія цѣли сообразно ихъ объективной цѣнности, то дѣйствіе цѣлей, обладающихъ высшею объективною цѣнностью, выражается во мнѣ въ болѣе высокой степени. Это значитъ лишь, что во мнѣ дѣйствуютъ въ болѣе высокой степени тѣ цѣли, которыя и *должны* дѣйствовать сильнѣе при только что указанномъ предположеніи, а въ меньшей степени—тѣ цѣли, которымъ въ такомъ предположеніи *необходимо* принадлежитъ меньшее дѣйствіе. Такимъ образомъ, если мнѣ предстоить выборъ—осуществлять цѣли высшей или низшей объективной цѣнности, то, поскольку я являюсь носите-

лемь нравственнаго духовнаго склада личности, цѣли перваго рода во мнѣ перевѣшиваютъ. Такимъ образомъ вообще въ нравственномъ духовномъ складѣ высшія цѣли господствуютъ надъ низшими,—иначе говоря, послѣднія подчинены первымъ. Нравственный духовный складъ есть система отношеній господства и подчиненія всевозможныхъ цѣлей, въ которой каждая цѣль имѣетъ свое твердо опредѣленное положеніе. Даже если оставить безъ вниманія высшую или низшую *цѣнность* цѣлей, то и тогда однѣ цѣли могутъ *превосходить* другія въ нравственной личности. Этимъ самымъ нравственная система цѣлей опредѣляется еще и въ другомъ направленіи.

Такъ какъ въ нравственномъ духовномъ складѣ цѣли являются живыми *силами* и содѣйствуютъ совокупной цѣли всякаго нравственнаго поведенія — осуществленію добра, то мы можемъ эту систему назвать *организмомъ* цѣлей. Каждая нравственная личность представляетъ собою подобный организмъ *въ той мѣрѣ, въ какой* она является нравственной.

Мы можемъ различить въ этомъ *порядкѣ господства и подчиненія* цѣлей прежде всего двѣ возможности. Цѣли могутъ относиться другъ къ другу, какъ *безусловныя* и *условныя*, или какъ абсолютныя и относительныя. Къ числу абсолютныхъ относятся тѣ цѣли, которыя имѣютъ цѣнность сами по себѣ, которыя поэтому требуются въ чистомъ видѣ и ради себя самихъ. Условныя или относительныя цѣли суть такія, которыя имѣютъ цѣнность, поэтому требуются съ нравственной точки зрѣнія, только въ предположеніи, что осуществлена абсолютная цѣль,—слѣдовательно, фактически дано нѣчто *само по себѣ* цѣнное.

Но мы уже знаемъ, что представляютъ собою абсолютныя цѣли перваго рода и относительныя цѣли втораго рода. Критика морали, основанной на принципѣ полезности, и морали, основанной на принципѣ счастья, показала намъ, что

счастье людей, ихъ довольство, ихъ удовлетворенность, ихъ радости имѣють для насъ значеніе только въ той мѣрѣ, въ какой въ этомъ обнаруживается цѣнная черта личности. Слѣдовательно, человѣческое счастье является обусловленною цѣлью. Только собственное достоинство и чужое, собственная цѣнность личности и чужая представляютъ собою безусловную или абсолютную цѣль, съ нравственной точки зрѣнія.

Цѣнность личности составляетъ единственную безусловную цѣнность. Последняя представляетъ нравственную цѣнность въ собственномъ смыслѣ. Всѣ другія цѣнности обуславливаются ею, — слѣдовательно, заключены въ ней. Всякаго рода счастье, довольство, удовлетвореніе состоятъ или обнаруживаются въ свободномъ проявленіи личности. И всякая цѣнность счастья измѣряется цѣнностью личности, *которая* проявляется въ немъ.

Объ этомъ часто шла рѣчь. Я еще долженъ однако подчеркнуть въ настоящемъ случаѣ выразительнымъ образомъ, что, говоря объ этомъ, я не являюсь представителемъ какой нибудь „точки зрѣнія“, а высказываю лишь нѣкоторый фактъ. Въ этикѣ, какъ и вообще въ наукѣ, не существуетъ различныхъ возможныхъ одновременно *точекъ зрѣнія*. Всѣ этическіе вопросы принадлежатъ къ числу вопросовъ о фактахъ. Единственно безусловная цѣнность нравственной личности есть фактъ, именно фактъ нашего сознанія, фактъ психологическій. Вмѣстѣ съ тѣмъ это — основной фактъ этики. Пониманіе значенія такого факта является квинтэссенціей всякаго рода этического пониманія.

Безусловному значенію личности соотвѣтствуетъ особое названіе. Кантъ употребляетъ для этого терминъ „достоинство“. Богатство и почеть, доставшіяся мнѣ въ удѣль, могущество, принадлежащее мнѣ, знаніе, которымъ я пользуюсь, — все это имѣетъ цѣнность или можетъ ее имѣть; но все это лишено достоинства, которое можетъ принадлежать только одной личности.

Достоинство въ высшемъ смыслѣ есть возвышенность. Высшая форма возвышенности есть величіе. Возвышенное можетъ заключаться только въ нравственной личности, а величіе, какъ бы люди ни играли этимъ словомъ,—только въ Божествѣ.

Правда, мы называемъ возвышенными всевозможныя вещи: какое нибудь зданіе, какой нибудь горный хребеть, море. Между тѣмъ тотъ же самый Кантъ, котораго я только что цитировалъ, уже указалъ на то, въ чемъ состоитъ подобнаго рода возвышенность; въ дѣйствительности она есть свойство, принадлежащее лично *намъ*. Мы переносимъ себя въ возвышенное, но переносимъ не нашу эмпирическую личность, то есть насъ не въ томъ видѣ, какъ мы существуемъ фактически, а въ томъ, въ какомъ мы могли бы существовать. Мы влагаемъ въ эти вещи „я“, составляющее предметъ нашихъ страстныхъ желаній, „я“ болѣе сильное, болѣе богатое или болѣе широкое, и притомъ внутренне согласное и ошачливленное такимъ внутреннимъ согласіемъ съ собою. Возвышенное зданіе, могучій горный хребеть, величественность безграничнаго моря—все это заставляеть насъ въ такого рода формѣ усиливать, расширять, приводить во внутреннее согласіе съ самимъ собою наше дѣйствительное „я“. Такое-то „я“ мы влагаемъ въ возвышенный объектъ и сообразно съ этимъ находимъ его въ этомъ объектѣ. Только вслѣдствіе этого онъ становится для насъ возвышеннымъ.

Я сказалъ, что такое „я“ есть объектъ нашего страстнаго стремленія. Отсюда становится понятнымъ, какимъ образомъ возвышенный объектъ можетъ возбуждать въ насъ стремленіе, окрашенное тоскою. Испытываемое нами тоскливое стремленіе есть исканіе собственнаго величія, собственной широты и собственной свободы. Можетъ быть, найдуть, что это лишь прекрасныя слова, въ лучшемъ случаѣ—остроумная мысль. Однако это было бы ошибочно.

Въ настоящемъ случаѣ дѣло идетъ также о психологическомъ фактѣ.

Существуетъ еще болѣе простой способъ выразить въ словахъ абсолютно-цѣнное, какъ таковое. Мы уже раньше называли *благомъ* то цѣнное, что выпадаетъ на нашу долю. Каждому такому благу, всеѣмъ „благамъ“ противопоставляется *добро*. Нравственная личность есть добро, и притомъ единственное добро. Приведу еще разъ слова Канта. Это самыя прекрасныя и самыя вѣрныя слова, встрѣчающіяся у него: „за исключеніемъ доброй воли, нигдѣ на свѣтѣ нѣтъ ничего, а также и внѣ его нельзя вообразить себѣ ничего, что можно было бы считать хорошимъ безъ всякаго ограниченія“. Эта „добрая воля“ есть нравственная личность, сильный, внутренне богатый и свободный человѣкъ.

Въ этихъ словахъ Канта заключается открытіе. Конечно, Канту не было нужды дѣлать его первому. Ученіе о безусловной цѣнности личности принадлежитъ христіанству, хотя оно и часто отрицалось „христіанами“.

Предположимъ, что когда нибудь была бы написана всемірная исторія съ этической точки зрѣнія,—слѣдовательно, съ единственной точки зрѣнія, имѣющей абсолютную цѣнность. Такая всемірная исторія имѣла бы иной видъ, чѣмъ тотъ, который свойственъ обыкновенно многимъ теперешнимъ всемірнымъ исторіямъ. Высшими точками исторіи какого нибудь народа были бы не эпохи внѣшняго блеска, а тѣ эпохи, когда представители этого народа искали и находили свое человѣческое достоинство въ большей степени, чѣмъ въ другія времена; эпохами же упадка явились бы тѣ, въ которыя достоинство людей приносилось въ жертву блеску, добро—благополучію, нравственная крѣпость—могуществу, нравственное самосознаніе—славѣ.

Какимъ свѣтомъ озарила бы подобная исторіографія наше время? Я говорилъ уже, что мораль, основанная на принципѣ полезности и принципѣ счастья, дѣйствуетъ, въ самомъ дѣлѣ, и у насъ, производя путаницу и опусто-

шеніе какъ въ теоретическомъ, такъ и въ практическомъ отношеніи.

Существуютъ всякаго рода возвышенныя слова, увлекающія за собою людей, и чѣмъ въ большей степени они обладаютъ такой увлекательной силой, тѣмъ болѣе обязательной является забота о томъ, чтобы съ ними соединились ясныя понятія. Гдѣ нѣтъ такого соединенія, тамъ существуетъ опасность, что эти возвышенныя слова служатъ средствами къ усыпленію людей или петлями для моральнаго удушенія ихъ. Во имя „религій“ совершались вещи, наводящія крайній ужасъ; во имя мнимой чести производилось нѣчто безчестное; и подъ именемъ національнаго образа мыслей или патріотизма нерѣдко совершается измѣна отечеству.

Что такое отечество, народъ, нація? Въ послѣднемъ анализѣ,—не что иное, какъ собраніе людей, отдѣльныхъ личностей, образующихъ отечество, народъ, націю. Сюда относятся всѣ безъ исключенія люди, принадлежащіе данной націи. Если отнять отъ націи людей, то остаются извѣстныя блага, учрежденія, организаціи, имѣющія цѣнность не сами по себѣ, а ради людей, или остается пустое слово. А въ чемъ заключается *величіе* націи, за которое борется и, можетъ быть, отдастъ свою жизнь патріотически или національно настроенный человѣкъ? Внешнее могущество, богатство, слава относятся къ національнымъ *благамъ*; но они не составляютъ *націи*,—слѣдовательно, ихъ величина также не можетъ составлять національнаго величія. Национальное величіе есть величіе *самой* націи, то есть заключается въ величій составляющихъ ее людей, ихъ достоинствахъ, ихъ нравственной силѣ и ихъ свободномъ, сознательномъ проявленіи. Национальное величіе есть стремленіе каждаго къ самоуваженію, мужество, чувство гордости, внушаемое обладаніемъ собственнымъ убѣжденіемъ, ничѣмъ непоколебимая правдивость, а также—свободное выраженіе негодованія на мелкое и жалкое. „Nichtswürdig

ist die Nation, die nicht ihr Alles setzt an ihre Ehre“ (ничтожна та нація, которая не полагаетъ всего за свою честь). Эта „честь“ есть достояніе націи, то есть нѣчто такое, что *имѣютъ* члены націи; наоборотъ, то, что *выпадаетъ на долю* націи—напр., пожинаяемая ею слава—не составляетъ ея чести. Народъ *не имѣетъ права* радоваться доставшимся на его долю благамъ и даже долженъ стыдиться ихъ, если въ основѣ ихъ нѣтъ этой чести. Всѣ подобныя блага не приносятъ счастья и *унижаютъ*, если обладаніе ими заступаетъ *мгсто* величія людей, или если велѣдствіе стремленія къ сохраненію и умноженію этихъ благъ уменьшается и гибнетъ человѣческое достоинство.

Что же обыкновенно называютъ патриотизмомъ въ наше время? Я говорю: обыкновенно, такъ какъ, конечно, есть люди, понимающіе настоящій патриотизмъ. Между тѣмъ иные подтасовываютъ это понятіе. Очень многіе должны были бы сказать, положи руку на сердце: въ моихъ глазахъ патриотически настроенный человѣкъ тотъ, кто не затрагиваетъ моихъ личныхъ притязаній или притязаній моего сословія, кто льститъ моей суетности, кто поощряетъ мое властолюбіе и, въ концѣ концовъ, предоставляетъ матеріальнымъ благамъ течь ко мнѣ въ карманы.

Патриотически настроеннымъ человѣкомъ называютъ также того, кто ликоветъ и выражаетъ негодованіе вмѣстѣ съ неразумною толпою, ослѣпленною внѣшнимъ блескомъ, и съ нею же кричитъ: „осанна“ или „распи“; наоборотъ, непатриотичнымъ называютъ того, кто свято чтитъ свои убѣжденія, или того, кто плохое называетъ плохимъ, хотя бы оно освящалось традиціей и охранялось властью. Сколько пресмыкательства и низкопоклонства, сколько отступничества отъ собственнаго убѣжденія, сколько неправды, недостойности и рабскаго духа кичливо носить названіе патриотизма и національнаго образа мыслей!

Если же все это и не составляетъ предмета гордости, то всетаки къ этимъ явленіямъ относятся съ терпимостью,

вслѣдствіе слабости. Многіе не находятъ ничего возразить противъ бессмысленныхъ фразъ, выражающихъ поклоненіе силѣ, воздающихъ носителямъ силы божескія почести и, въ концѣ концовъ, приписывающихъ имъ по смерти особенный родъ блаженства. Мы не краснемъ, когда случайный носитель высочайшей государственной власти ставится безъ прикрасъ на ряду съ Богомъ, и когда ему льстятъ, какъ Богу. Мы не клеймимъ подобнаго *богохульства*.

Куда мы идемъ? Когда откроются наши глаза? Можетъ быть, тогда, когда будетъ уже слишкомъ поздно. Всемирная исторія есть всемірный судъ. Императорскій Римъ распался, когда римляне стали рабскимъ народомъ, когда Римъ сталъ поклоняться внѣшнему блеску, когда, наконецъ, люди заняли мѣсто Бога. Варвары, сохранявшіе еще нравственную силу, раздавили Римъ.

Абсолютная нравственная цѣль состоитъ въ томъ, чтобы люди были людьми, чтобы каждая отдѣльная личность воплощала человѣческую сущность. Но и кромѣ этой существуютъ „вышнія“ и „низшія“ цѣли. Согласно природѣ, вышей является цѣль болѣшая по объему. Это имѣетъ различное значеніе. Прежде всего такое: предположимъ, что мнѣ представляется выборъ способствовать благополучію многихъ или равнымъ образомъ благополучію нѣкоторыхъ,—выборъ дѣлать определенное добро въ болѣе широкомъ или въ болѣе узкомъ кругу; въ такомъ случаѣ, естественно, широкому кругу надо отдать предпочтеніе передъ узкимъ. Если я въ самомъ дѣлѣ забочусь о благѣ, которое могу осуществить, то возможность осуществлять это благо въ болѣе широкихъ размѣрахъ должна опредѣлять мою волю въ болѣе высокой степени. Я долженъ ставить благо тѣснаго круга выше моего собственнаго,—благо моего народа выше блага меньшаго круга,—наконецъ, благо всего человѣчества выше блага моего народа.

Въ настоящемъ случаѣ я имѣю въ виду однако не просто *внѣшній* объемъ цѣлей. И въ иныхъ отношеніяхъ однѣ цѣли могутъ быть шире другихъ. Прежде всего слишкомъ общензвѣстно, что то благо, которое въ состояніи удовлетворять съ большею интенсивностью или съ большею продолжительностью, представляетъ собою болѣе высокое благо. При этомъ я дѣлаю предположеніе, что оно является дѣйствительно благомъ, то есть способствуетъ въ человѣкѣ чему либо положительному.

Кромѣ того, цѣли, которыя мы въ состояніи осуществить, могутъ быть шире, потому что онѣ могутъ глубже захватывать личность, получающую отъ нихъ пользу, или потому, что онѣ имѣютъ возможность охватывать всю личность въ высшей мѣрѣ. Удовлетвореніе, которое мы въ состояніи доставлять какой нибудь личности, можетъ одинъ разъ являться въ большей или меньшей мѣрѣ удовлетвореніемъ всей личности или одной изъ ея потребностей, лежащихъ въ глубинѣ, а другой разъ можетъ касаться только поверхности или одной лишь точки на поверхности личности. Въ однихъ случаяхъ сама личность можетъ получать обогащеніе или подкрѣпленіе въ большей или меньшей степени *въ цѣломъ* или въ интимнѣйшихъ чертахъ ея характера, въ самомъ глубокомъ основаніи ея духовнаго строя; между тѣмъ другой разъ обогащеніе или подкрѣпленіе выпадаетъ на долю только одному элементу ея существа, почти лишенному значенія для совокупности личности. Само собою разумѣется, что если для насъ важны человѣческія потребности и человѣческая цѣнность, то это должно имѣть тѣмъ больше значенія, чѣмъ болѣе при этомъ дѣло идетъ обо всемъ человѣкѣ и объ его глубочайшемъ основаніи.

Конечно, мы не должны также забывать при этомъ о томъ, что мы видѣли уже раньше: никакое наслажденіе, никакая радость человѣка, отвѣчающая естественной потребности, никакая возможность или стремленіе, отвѣчающее положительному моменту во всемъ полномъ и здоровомъ

человѣкъ, не есть зло само по себѣ. Всякое побужденіе, всякая способность имѣють право на существованіе на своемъ мѣстѣ. Никто не долженъ дерзать подавлять искусственнымъ образомъ что либо, относящееся къ человѣку, взятому въ его цѣломъ; никто не долженъ осмѣливаться изувѣчивать или какимъ либо образомъ ограничивать божье созданье. Ни одно чувство въ человѣкѣ не подлежитъ уничтоженію; каждое изъ чувствъ входитъ въ составъ совершеннаго, а слѣдовательно — и нравственнаго человѣка. Всякое подобное разрушеніе или ограниченіе есть зло. Вѣдь мы видѣли, что собственная сущность зла и заключается повсюду въ ограниченіи или отрицаніи.

Вмѣстѣ съ этимъ мы утверждаемъ однако, что всякое наслажденіе или всякое *удовлетвореніе* стремленія можетъ быть злымъ и бываетъ злымъ постольку, поскольку такое удовлетвореніе предполагаетъ какимъ либо образомъ ограниченіе или полное отрицаніе личности, или содержитъ то или другое, какъ свое слѣдствіе. Въ особенности же, какъ бы побужденіе само по себѣ ни было хорошо, его удовлетвореніе является необходимымъ образомъ дурнымъ, если послѣднее представляетъ собою *симптомъ* того, что высшее побужденіе лишено силы дать перевѣсъ своему высшему праву. Удовлетвореніе какого нибудь побужденія составляетъ зло не въ меньшей мѣрѣ, чѣмъ въ предыдущемъ случаѣ, если такого рода удовлетвореніе *приноситъ вредъ* высшему началу въ человѣкѣ, будь то въ собственной личности или въ чужой.

Такимъ образомъ при удовлетвореніи какого нибудь побужденія или какой либо потребности ставится повсюду вопросъ, что *означаетъ* такое побужденіе по отношенію къ *совокупному содержанію личности*. Вмѣсто того мы можемъ сказать короче: насколько побужденіе *свойственно человѣку*, то есть способствуетъ достиженію полнаго человѣческаго существованія? Здѣсь заключается въ то же самое время вопросъ: въ какой мѣрѣ при удовлетвореніи какого нибудь

желанія *другіе* люди могутъ быть или оставаться цѣльными людьми?

Извѣстнаго рода побужденія и наслажденія мы обозначаемъ спеціально словомъ *чувственный*. Это тѣ, которыя даются непосредственно съ ощущеніями нашихъ чувствъ, — напримѣръ, чувства вкуса, чувства запаха, — съ ощущеніями нашего собственнаго тѣла и т. д. Уже среди послѣднихъ существуютъ легко замѣтныя различія въ цѣнности. Когда свѣжій воздухъ и пользование моими тѣлесными силами даетъ мнѣ *общее ощущеніе* тѣлесной свѣжести, тѣлесной силы, здоровья, или же когда я получаю мимолетное наслажденіе отъ вкусовыхъ ощущеній, эти цѣнности не равны другъ другу. При этомъ еще я оставляю безъ вниманія тѣсную зависимость, въ которой находятся духовная сила и духовная свѣжесть отъ тѣлесной силы и свѣжести.

Чувство вкуса тоже имѣетъ, конечно, свое право на существованіе, но оно составляетъ лишь одну точку или участокъ *на поверхности* личности. Личность, жизненною цѣлью которой было бы удовлетвореніе чувства вкуса, съжилась бы до размѣровъ такой точки. Замѣчательно, что въ этомъ пунктѣ уже въ обыденной жизни всеми ясно признается подчиненное значеніе чувственной жизни. Такого рода признаніе является всякій разъ, когда культурный человѣкъ принимаетъ мѣры *противъ* наготы вкусового наслажденія, по крайней мѣрѣ для видимости. Онъ его маскируетъ или прикрываетъ и даетъ ему высшую санкцію. Физическое наслажденіе окружается правилами приличія, извѣстнаго рода церемоніальною торжественностью. Совмѣстная трапеза семьи, можетъ быть, совершается спеціально при *религіозныхъ* обрядахъ. Праздничная трапеза связываетъ съ ѣдой эстетическія и духовныя наслажденія, — пожалуй, опредѣленный идеальный интересъ.

Понятно, въ извѣстныхъ случаяхъ столь обычное для

насъ соединеніе ѣды и питья съ высшими интересами можетъ подвергаться разсмотрѣнію и съ иной точки зрѣнія. Во многихъ случаяхъ угрожаетъ опасность, что въ этой связи того и другого важность физическаго наслажденія покажется чрезмѣрно преувеличенной, а съ другой стороны, высшій интересъ—поврежденнымъ или униженнымъ.

Такимъ образомъ, разумѣется, правы тѣ, кто находятъ, что странно и недостойно человѣка, стоящаго высоко въ духовномъ отношеніи, чтобы дружеское общеніе, въ которомъ душевные и духовные интересы должны получать удовлетвореніе, совсѣмъ не могло происходить безъ ѣды и питья. Можно находить, что такимъ образомъ мы выдаемъ нашей общительности свидѣтельство о высокой степени бѣдности.

Праздничное одушевленіе „обѣдовъ по подпискѣ“ должно, конечно, само по себѣ быть нѣсколько убогимъ, если оно возникаетъ впервые лишь на основѣ—у нѣкоторыхъ даже, пожалуй, въ ожиданіи—вкусныхъ блюдъ, опьяняющихъ напитковъ, или, по крайней мѣрѣ, получаетъ свое полное развитіе на такого рода основаніи. Можно было бы думать, что одушевленію по серьезному поводу должно бы внутренне противорѣчить его *слияніе* воедино съ „приподнятымъ“ настроеніемъ, вытекающимъ изъ ѣды и питья. Конечно, нѣтъ нужды писать нарочно сатиру на иной энтузіазмъ, на примѣръ, политической, пробуждающійся при обильной ѣдѣ и питьѣ, какъ это часто приходится видѣть въ настоящее время. Самообманъ или обманъ другихъ часто оказывается довольно прозрачнымъ.

Въ этихъ случаяхъ идеальный моментъ кажется дѣйствительною или хотъ, по крайней мѣрѣ, мнимою цѣлью вещи. Въ данномъ случаѣ, однако я собственно не буду говорить объ этомъ. Теперь я имѣю въ виду случаи, въ которыхъ настоящимъ намѣреніемъ является удовлетвореніе необходимыхъ человѣческихъ потребностей. Я говорю о формахъ и

церемоніяхъ, прикрывающихъ удовлетвореніе ихъ. Такое прикрытие имѣеть, безъ сомнѣнія, этическое значеніе.

Когда мы съ помощью формъ приличія или торжественности препятствуемъ проявленію *распущенности* при удовлетворенія физической потребности; когда мы задерживаемъ разнузданную свободу такого удовлетворенія; когда мы воспрещаемъ выраженіе чисто физическаго удовольствія, проявляющееся матеріально — въ чавканьи и прихлебываніи, — мы даемъ знать, что не признаемъ за физическою потребностью права выступать на первый планъ и совершенно поглощать мысли. Мы хотимъ, чтобы человѣкъ, принимающій участіе въ ѣдѣ и питьѣ, не представлялъ намъ картины личности, которая поглощается въ этихъ актахъ, или которая хоть на одно мгновенье существуетъ только въ послѣднихъ; мы желаемъ, напротивъ, чтобы человѣкъ стоялъ выше ѣды и питья и представлялъ собою нѣчто большее и высшее. Мы хотимъ видѣть образъ цѣльной личности, въ которой физическая потребность, хотя и существуетъ и имѣеть право на существованіе, но въ то же время выражаетъ претензію занимать только свое *мѣсто*, и только въ томъ случаѣ, когда она входитъ въ общую связь съ *человѣческимъ существованіемъ въ высшемъ* смыслѣ слова.

Такимъ образомъ, хотя этикетъ при ѣдѣ и не является, конечно, необходимымъ образомъ признакомъ того, что мы дѣйствительно подчиняемъ въ себѣ чувственную сторону человѣка духовной, равно какъ и обычаи, сопровождающіе специально актъ питья, но тѣмъ не менѣе они означаютъ, что мы считаемъ *должнымъ* такое положеніе вещей. Даже если тѣ или другіе такъ называемые образованные люди, или даже получившіе „гуманистическое“ образованіе, за отсутствіемъ у нихъ иного содержанія жизни, въ цвѣтѣ юныхъ силъ ставятъ, повидимому, своего рода цѣлью жизни выпивку, то всетаки и въ этомъ случаѣ соединенные съ выпивкой обычаи возникаютъ, очевидно, изъ потребности прикрыть нагую чувственность такого поведенія и выста-

вить послѣднее, взятое въ совокупности, въ болѣе высокомъ и болѣе одухотворенномъ свѣтѣ, какъ бы эти обычай сами по себѣ ни были лишены духовнаго значенія.

Дополненіемъ къ „прикрытію“ физической потребности и ея удовлетворенія, о которомъ говорилось въ настоящемъ случаѣ, служить другого рода прикрытіе, а именно то, котораго мы требуемъ специально во имя *стыдливости*. То, что прикрывается „стыдливо“, также не представляетъ само по себѣ ничего постыднаго, и, напротивъ, имѣетъ свое право на существованіе въ общей совокупности личности. „Naturalia non sunt turpia“; человѣку нѣтъ нужды стыдиться того, что для него естественно. Въ нашихъ глазахъ человѣкъ тоже ничего не проигрываетъ, если намъ *известно*, что ему это естественное также присуще, какъ и всякому другому.

Но это естественное или животнo-чувственное должно тѣмъ не менѣе, лишь *принадлежать* человѣку, т. е. составлять лишь одинъ моментъ его личности, которая въ остальныхъ отношеніяхъ принадлежитъ высшему, болѣе духовному и болѣе нравственному роду; и этотъ естественный или животнo-чувственный моментъ человѣческой личности долженъ находиться въ подчиненіи относительно остальной высшей, болѣе духовной и болѣе нравственной ея части; онъ не долженъ выступать на первый планъ и *опредѣлять* для насъ образъ человѣка. Тамъ, гдѣ это происходитъ, мы утрачиваемъ тотъ образъ личности, который мы хотимъ имѣть. Тамъ, гдѣ чувственный образъ представляется непосредственному воспріятію, и гдѣ онъ привлекаетъ къ себѣ взоръ, личность намъ кажется униженной. И сама она непосредственно воспринимаетъ этотъ чувственно-животный моментъ, какъ униженіе или оскорбленіе: она испытываетъ „чувство стыда“.

Въ этомъ однако заключается еще одна проблема. По-

чему, собственно, непосредственное воспріятіе такого чувственно-животнаго элемента означаетъ его выступленіе на первый планъ? На это можно отвѣтить слѣдующимъ образомъ: потому, что высшее въ духовномъ и нравственномъ отношеніи по своей природѣ не становится въ такой же мѣрѣ предметомъ непосредственнаго воспріятія въ человѣкѣ. Это болѣе высокое духовное и нравственное содержаніе человѣка составляетъ главнымъ образомъ лишь предметъ знанія, существуетъ лишь *въ мысляхъ*.

Хотя внѣшнее въ человѣкѣ также является зеркаломъ, непосредственно отражающимъ его *психическую* или *духовную* сторону, всетаки такимъ зеркаломъ является не вся внѣшняя сторона человѣка, а только лишь часть ея, да и эта часть—не столь конкретнымъ и непосредственно понятнымъ образомъ. Эта высшая сторона человѣка отпечатлѣвается преимущественно на его лицѣ, и главнымъ образомъ—глазами и ртомъ. Кромѣ того, эта сторона кладетъ свой отпечатокъ на руки. Справедливо называютъ *глаза* по преимуществу—зеркаломъ души.

Но эти части тѣла въ пространственномъ отношеніи уступаютъ совокупности остальныхъ его частей. Поэтому въ обнаженномъ общемъ образѣ человѣка чувственно-животная сторона пространственно преобладаетъ. Но это сглаживается, когда лицо и руки остаются не прикрытыми, а остальная часть тѣла облекается въ покровы такъ, что лишь нѣкоторыя общія черты его непосредственно доступны воспріятію.

Но этимъ еще не все сказано. Есть ли стыдливость первоначальная добродѣтель или *привитая* обстоятельствами? Или же поставимъ сейчасъ вопросъ болѣе специальнымъ образомъ: человѣкъ одѣвается, прикрываетъ, прячетъ обыкновенно нѣкоторыя части своего тѣла и нѣкоторыя отправленія послѣдняго; спрашивается: происходитъ ли это *изъ* первоначальнаго чувства стыдливости, или же, наоборотъ, послѣднее основывается на привычкѣ одѣваться, прикрываться, прятаться?

На это надо отвѣтить, что, несомнѣнно, имѣеть мѣсто и то, и другое. Одѣваніе или закутыванье прежде всего возникаетъ въ развитіи народовъ изъ основаній цѣлесообразности, а въ дальнѣйшемъ—для украшенія. Между тѣмъ существуетъ общее правило, въ силу котораго то, что мы однажды привыкли видѣть прикрытымъ, пріобрѣтаетъ высшее значеніе или большой интересъ для насъ, когда оно, въ видѣ исключенія, предстоить предъ нами неприкрытымъ. Между тѣмъ какъ прежде оно не выступало на первый планъ, теперь оно выступить, и не само по себѣ, а для насъ. Такимъ образомъ мы понимаемъ, что народы, у которыхъ практическая потребность въ одѣваніи отступаетъ на задній планъ или на какомъ нибудь основаніи не получаетъ удовлетворенія, или же получаетъ его въ меньшей степени,—не знаютъ нашей далеко идущей стыдливости, не будучи отъ этого однако безстыднѣе насъ. Естественное для нихъ является еще въ болѣе высокой степени естественнымъ и въ еще большей мѣрѣ само собою понятнымъ.

На ряду съ этимъ однако мы не должны забывать и другое, а именно меньшія духовныя требованія, предъявляемыя подобными народами къ людямъ. Человѣкъ въ его цѣломъ для нихъ является еще больше чувственно-животнымъ существомъ; противоположность чувственно-животнаго и духовнаго для нихъ меньше; поэтому потребность подчинять первое второму по необходимости у нихъ сравнительно слаба.

Какъ „приличіе“ въ ранѣе упомянутомъ смыслѣ слова,— т. е. главнымъ образомъ при ѣдѣ и питьѣ, — такъ и стыдливость является яснымъ признаніемъ того, что чувственная сторона ниже духовно-нравственной, и что она необходимо должна быть подчинена послѣдней. Это доказывается также и случаями, въ которыхъ требованіе прикрыванія—и не у „дикарей“, а у насъ — не выставляется или же простирается не такъ широко, какъ обыкновенно.

Допустимъ, что въ какомъ либо случаѣ обнаженіе или

менѣе полное прикрываніе тѣла, которое вообще нарушало бы чувство стыдливости, является необходимымъ и самоочевиднымъ средствомъ для законной и обязательной въ нравственномъ отношеніи, или для эстетически-значительной цѣли; тогда эта цѣль входитъ естественнымъ путемъ въ связь, въ которой высшій интересъ представляется господствующимъ, и чувство противорѣчія между цѣлями совершенно исчезаетъ.

Или же мы наталкиваемся на менѣе полное прикрываніе тѣла, чѣмъ обыкновенно, на какомъ нибудь праздничномъ торжествѣ, когда за чувственнымъ наслажденіемъ, которое не является голымъ, но подчиняется, по крайней мѣрѣ по видимости, эстетическимъ и духовнымъ интересамъ, признается большее право; въ такомъ случаѣ противоположность чувственного и духовнаго является относительно сглаженной въ общемъ характерѣ празднества, а потому меньшее прикрытіе тѣла уже не представляется постыднымъ. То обстоятельство, что мы признаемъ подобное право главнымъ образомъ за женщинами, указываетъ на то, что въ общемъ мы считаемъ ихъ болѣе чувственными существами, чѣмъ мужчинъ; поэтому противоположность между чувственнымъ и духовнымъ, какъ намъ кажется, можно легче сгладить у нихъ.

Требованія, выставляемые нами во имя стыдливости, естественнымъ образомъ подвержены широкимъ измѣненіямъ; то, что вообще представляется постыднымъ, не кажется болѣе таковымъ, когда чувственная сфера жизни, къ которой вообще предъявляются упомянутыя требованія, входитъ въ составъ охватывающихъ всю личность интересовъ, имѣющихъ по природѣ своей чувственно-нравственный характеръ. Какъ легко угадать, я имѣю въ виду въ настоящемъ случаѣ специально половую чувственность, и подъ чувственно-нравственнымъ интересомъ я разумѣю половую любовь.

Только такое чувственно-нравственное отношеніе, а не

какое нибудь внѣшнее узаконеніе, въ состояніи оправдать такое устраненіе чувства стыдливости. Чувство стыдливости, которое можно было бы уничтожить чисто-внѣшнимъ заявленіемъ о томъ, что его больше уже нѣтъ *нужды* сохранять, — въ дѣйствительности никогда и не существовало. Уже на одномъ этомъ основаніи бракъ безъ любви, въ особенности же для той стороны, отъ которой стыдливость требуется главнымъ образомъ, есть поношеніе личности.

Въ заключеніе упомянемъ здѣсь еще объ одномъ обстоятельствѣ. Какъ любой видимый объектъ, такъ и тѣло человека, а въ особенности обнаженное, можетъ быть предметомъ различныхъ способовъ разсмотрѣнія. Среди послѣднихъ одинъ особенно выдвигается на первый планъ, это — эстетическій.

Чтобы представить себѣ особенность этого способа разсмотрѣнія, противопоставимъ человѣческому тѣлу ландшафтъ. На кусокъ земли можно смотрѣть прежде всего съ сельско-хозяйственной точки зрѣнія, то есть съ точки зрѣнія крестьянина. Тогда вопросъ состоитъ въ слѣдующемъ: къ чему можетъ служить этотъ кусокъ земли, что съ нимъ можно сдѣлать, какое значеніе имѣлъ бы онъ для меня, еслибы я обладалъ имъ? Тотъ, кто разсматриваетъ кусокъ земли съ такой точки зрѣнія, мысленно относитъ его къ самому себѣ или вообще къ людямъ, къ ихъ потребностямъ, побужденіямъ, въ данномъ случаѣ — специально къ потребности въ пищѣ.

Такого рода мысленное отношеніе вполне однако пропадаетъ при чисто-эстетическомъ разсмотрѣніи. Для послѣдняго рѣчь идетъ единственно о *жизни природы*, заключающейся непосредственно въ формахъ и краскахъ ландшафта, о силѣ и здоровьѣ, непосредственно находящихъ себѣ выраженіе въ этихъ формахъ и краскахъ, о воплощенномъ въ нихъ настроеніи природы и т. д.

Подобное эстетическое отношеніе возможно уже и относительно ландшафта въ природѣ. Если же ландшафтъ напи-

сань, то насъ прямо принуждаютъ къ этому приему художественнаго изображенія. Конечно, и написанный ландшафтъ можно разсматривать съ точки зрѣнія сельскаго хозяина. Однако тотъ, для кого это оказалось бы вполне естественнымъ, для кого не было бы, напротивъ, вполне понятнымъ и естественнымъ думать здѣсь только о жизни природы, разлитой въ ландшафтъ, и удалить изъ сознанія всѣ сельско-хозяйственные элементы ландшафта,—тотъ обнаружилъ бы свою полную эстетическую грубость. Онъ показалъ бы, что имъ вполне владѣютъ сельско-хозяйственные интересы. Онъ выказалъ бы себя мужикомъ въ отношеніи къ картинѣ, и только мужикомъ.

Нѣчто совершенно аналогичное существуетъ по отношенію къ формамъ человѣческаго тѣла; тутъ также существуетъ прежде всего не эстетическій способъ разсмотрѣнія, а именно точка зрѣнія чувственнаго человѣка. Всѣ мы—люди чувственные и имѣемъ право быть таковыми. Этотъ способъ разсмотрѣнія задается вопросомъ, къ чему служатъ формы; при немъ формы мысленно ставятся въ отношенія къ намъ и нашимъ стремленіямъ.

Отъ этого способа разсмотрѣнія совершенно однако отличается эстетическая точка зрѣнія. Для эстетическаго разсмотрѣнія, даже и въ томъ случаѣ, если предметомъ его служитъ человѣческое тѣло, *вовсе не* существуетъ мысленнаго отношенія къ намъ и нашимъ стремленіямъ. Напротивъ, вопросъ въ этомъ случаѣ состоитъ лишь въ слѣдующемъ: что заключается въ формахъ тѣла, независимо отъ всякаго подобнаго мысленнаго отношенія его къ намъ? Интересъ эстетическаго разсмотрѣнія направленъ единственно на общую жизнь тѣла и на чувство жизни, выражающееся въ этихъ формахъ, на силу и мягкость, на здоровье и гибкость, на жизнь, проявляющуюся въ образованіи почекъ, въ ихъ набуханіи и цвѣтеніи. Даже и живое тѣло въ природѣ можетъ быть предметомъ такого эстетическаго разсмотрѣнія или такого разсмотрѣнія съ точки зрѣнія эстетической цѣнности.

А художественному произведенію свойственно по природѣ *вынуждать* насъ именно къ такой оцѣнкѣ.

При этомъ, конечно, мы дѣлаемъ одно предположеніе. Чисто-эстетическое разсмотрѣніе ландшафта тоже можетъ разбудить мысль о томъ, къ чему *служатъ* человѣку почва и то, что на ней растеть. Изображенный на картинѣ ландшафтъ можетъ, на примѣръ, показывать намъ природу не въ чистомъ видѣ, взятую самое по себѣ, а представлять какимъ нибудь образомъ въ то же время ея отношеніе къ человѣку и его потребностямъ. Въ такомъ случаѣ подобное отношеніе къ человѣку необходимымъ образомъ составляетъ также содержаніе эстетическаго разсмотрѣнія.

Но объ этомъ я и не говорилъ выше. Равнымъ образомъ я не говорю и въ настоящемъ случаѣ о художественномъ представленіи человѣческаго тѣла, при которомъ нѣкоторое отношеніе къ чувственному побужденію заключается въ самомъ изображеніи, такъ что подобное отношеніе какъ либо изображается вмѣстѣ съ нимъ, т. е. я имѣю въ виду не кокетливое, соблазнительное, похотливое изображеніе, а цѣломудренное. Въ отношеніи его примѣнимо положеніе, что для человѣка чистаго все чисто, а нечистый все можетъ загрязнить. Тотъ, кто клеймитъ названіемъ „безиравственнаго“ подобное изображеніе обнаженнаго человѣческаго тѣла, кто громитъ цѣломудренную „наготу“,—обнаруживаетъ полную грубость въ эстетическомъ отношеніи. Ему неизвѣстно чисто-эстетическое созерцаніе; ему знакомо лишь другое—неэстетическое отношеніе къ тѣлу. Мысленное отношеніе къ чувственному побужденію такъ въ немъ преобладаетъ, что оно не въ состояніи быть изгнаннымъ даже художественнымъ изображеніемъ, которому свойственно по природѣ устранять такое отношеніе къ чувственности. Если мы назовемъ такого человѣка „щепетильнымъ“, то ясно, какое свидѣтельство выдаетъ самому себѣ такой „щепетильный“ человѣкъ. Еслибы онъ былъ благоразуменъ, онъ, по

крайней мѣрѣ, не сталъ бы громко высказывать свое мнимо-нравственное негодованіе.

Можетъ быть, однако, такого рода „щепетильный человекъ“ скажетъ, что самъ - то онъ, конечно, способенъ къ чисто-эстетическому созерцанію художественнаго произведенія, такъ что ему остается чуждымъ то, что лежитъ внѣ эстетическаго созерцанія, — но онъ якобы долженъ опасаться, чтобы подобныя мысли не пришли въ голову другимъ.

Въ такомъ случаѣ надо прежде всего замѣтить, что тотъ, для кого эстетическое созерцаніе является естественнымъ и само собою понятнымъ, склоненъ предполагать его и у другихъ, и въ немъ, во всякомъ случаѣ, пока онъ дѣйствительно *занимается* эстетическимъ разсмотрѣніемъ предмета, не можетъ найтись мѣста мысли, будто другіе склонны къ иному способу разсмотрѣнія.

Вообще же слѣдуетъ замѣтить, что нѣтъ лучшаго средства *воспитанія* чисто-эстетическаго разсмотрѣнія художественнаго произведенія, какъ именно само художественное произведеніе и его чисто-эстетическое созерцаніе. Пусть же поэтому чистымъ художественнымъ произведеніямъ будетъ предоставлено оказывать свое чистое дѣйствіе; пусть каждому будетъ предоставленъ случай постоянно испытывать на себѣ такое дѣйствіе. Конечно, вѣдь чистое художественное произведеніе представляетъ собою прекрасную, возвышенную вещь, предназначенную для такого чистаго эстетическаго разсмотрѣнія и для того, чтобы пробуждать эстетическую симпатію и такимъ образомъ возвышать, обогащать, расширять собственное наше чувство жизни. Слѣдовательно, воспитаніе такого рода эстетическаго разсмотрѣнія вещи, безъ сомнѣнія, стоитъ труда.

Съ другой стороны, конечно, существуетъ также средство *разрушать* такое чистое эстетическое разсмотрѣніе или способность къ нему, — стоитъ только *злоупотреблять* какимъ нибудь образомъ искусствомъ съ цѣлью возбужденія неэстетическихъ мыслей, чувствъ, страстей, напримѣръ, полити-

ческаго или религіознаго характера. Такимъ образомъ насъ *приучаютъ* къ подобному неэстетическому разсмотрѣнію. Неудивительно, если въ послѣдствіи оно является и въ отношеніи художественной „наготы“. Оно можетъ и *должно* въ концѣ концовъ появляться не потому, чтобы человѣческая природа была испорчена, а потому, что она портится искусственнымъ образомъ отъ подобнаго злоупотребленія художественными изображеніями.

Наконецъ, отличнымъ средствомъ разрушенія чисто-эстетическаго созерцанія является именно вышеупомянутая „щепетильная“ *ревность*.

Я уже совершилъ переходъ изъ области чувственнаго въ эстетическую область. Точкою отиравленія для меня послужило чувство вкуса. Обыкновенно мы противопоставляемъ ему глаза и уши, какъ органы *высшихъ* чувствъ; мы это дѣлаемъ не только вслѣдствіе большей тонкости зрѣнія и слуха и ихъ особеннаго значенія для ориентированія въ мірѣ, но также и въ томъ смыслѣ, что доставляемыя глазами и ушами *наслажденія* мы считаемъ высшими.

Это могло бы на первый взглядъ показаться удивительнымъ. Почему наслажденія этого рода выше наслажденій, доставляемыхъ вкусовыми ощущеніями, между тѣмъ какъ вѣдь чувства слуха и зрѣнія такія же *вышнія*, какъ и чувство вкуса? Въ отвѣтъ на это можно сказать, что наслажденіе зрительными и слуховыми ощущеніями представляетъ собою всегда нѣчто *большее*, чѣмъ чувственное наслажденіе само по себѣ. Мы всегда влагаемъ нѣкоторую часть нашей личности въ то, что видѣли и слышали. Мы оживляемъ и одушевляемъ то, что видѣли и слышали, и дѣлаемъ его предметомъ эстетической симпатіи,— слѣдовательно, эстетическаго наслажденія, выходящаго за предѣлы чувственнаго.

Поэтому-то всякое *искусство* обращается непосредственно къ *глазамъ* или *ушамъ*. Художественное произведеніе никогда

не удовлетворяет *просто* глазъ и ушей, а, напротивъ, всякій разъ его собственное содержаніе заключаетъ въ себѣ что нибудь личное, какую либо часть нашей жизни; это-то обстоятельство и возвышаетъ наслажденіе художественнымъ произведеніемъ, какъ и вообще наслажденіе прекраснымъ, надъ простымъ чувственнымъ наслажденіемъ. Ибо здѣсь подымается жизненный тонъ уже не просто извѣстной *точки* или извѣстнаго *участка* на нашей *поверхности*, а, напротивъ, *всей* нашей личности, взятой въ большемъ или меньшемъ объемѣ, на большей или меньшей глубинѣ. Въ такомъ случаѣ чувственное раздраженіе уже не только касается насъ въ какой нибудь *точкѣ*, а, напротивъ, охватываетъ все *наше существо*. Что же касается нашего переживанія себя въ другомъ существѣ, то, какъ я уже говорилъ раньше, это именно и составляетъ сущность всякой, а слѣдовательно—и эстетической симпатіи.

Въ то же время мы *возвышаемся* надъ самими собою благодаря дѣйствию прекраснаго и искусства. Сказанное мною выше относительно возвышеннаго справедливо въ извѣстной мѣрѣ и по отношенію ко всякаго рода прекрасному, къ каждому произведенію искусства. Мы влагаемъ въ прекрасное и въ художественное произведеніе не наше эмпирическое „я“, т. е. не самихъ насъ, каковы мы *фактически*, а идеальное, т. е. болѣе чистое, въ то же время въ какомъ нибудь отношеніи болѣе широкое и болѣе высокое „я“. Все прекрасное въ моментъ нашего наслажденія имъ дѣлаетъ насъ лучшими, болѣе полными и, слѣдовательно, нравственными людьми. Такимъ образомъ завершается смыслъ „эстетической симпатіи“.

Смыслъ всякаго художественнаго произведенія, поскольку оно заслуживаетъ подобнаго названія, состоитъ въ томъ, чтобы будить въ насъ и создавать такую эстетическую симпатію. Каждое художественное произведеніе является лишь постольку таковымъ, поскольку оно удовлетворяетъ подобной задачѣ; всякій художникъ лишь въ той степени пред-

ставляетъ собою художника, въ какой онъ умѣетъ дѣлать людей посредствомъ своего искусства богаче, человѣчнѣе и, слѣдовательно, нравственнѣе. Всѣ *средства*, которыми пользуется искусство, имѣютъ цѣлью сдѣлать это дѣйствіе совершенно *чистымъ* и возможно болѣе *интенсивнымъ*,— дать намъ возможность симпатически переживать сколь возможно чище и совершеннѣе такое симпатически волнуемое человѣка или заимствованное изъ жизни человѣка содержаніе художественнаго произведенія. Всякая художественная „форма“ имѣетъ это значеніе.

Соотвѣтственно этому, художественное произведеніе тѣмъ выше, чѣмъ глубже и богаче доступное человѣку содержаніе, которое оно представляетъ для переживанія, и чѣмъ больше форма или система художественныхъ средствъ въ состояніи заставить это содержаніе воздѣйствовать на насъ чистымъ, вѣрнымъ и глубокимъ образомъ. Въ сущности объ этомъ второмъ факторѣ, формѣ, конечно, можно совѣтъ не упоминать отдѣльно. Содержаніе *безъ* формы, т. е. безъ средствъ, которыя его *дѣлаютъ* впервые содержаніемъ художественнаго произведенія, можетъ быть налицо для нашей мысли, для нашей рефлексіи,—для чисто-эстетическаго разсмотрѣнія оно не существуетъ. Слѣдовательно, оно и не можетъ быть называемо содержаніемъ *художественнаго произведенія*. Каждое „содержаніе“ художественнаго произведенія является таковымъ лишь *въ* *точно* *такой* *мгртъ*, въ какой оно, если заключить его въ форму, предлагается и внушается намъ ею съ большою силою, точностью, непосредственностью и чистотою. Обратнo, пустая форма, т. е. лишенная содержанія, не можетъ быть художественной, а потому также не можетъ принадлежать художественному произведенію, какъ таковому. Короче, содержаніе и форма художественнаго произведенія являются всегда двумя нераздѣльными сторонами одной и той же вещи.

Предыдущія соображенія показываютъ также, что какое нибудь художественное произведеніе или какой либо видъ художественныхъ произведеній не въ состояніи давать всего. Всѣ искусства болѣе или менѣе оказываются односторонними. Различіе между ними обусловливается различіемъ художественныхъ средствъ, находящихся въ ихъ распоряженіи, или различіемъ формы. А всякая новая форма обусловливаетъ, согласно только что сказанному, одновременно иное содержаніе художественнаго произведенія.

Въ наше время *музыка* отдается, повидимому, предпочтеніе передъ другими искусствами. Нѣкоторые даже, кажется, видятъ въ ней искусство по преимуществу. Эта мысль заключаетъ въ себѣ важное заблужденіе. Музыка въ состояніи заставить звучать въ насъ все, что мы можемъ переживать внутреннимъ образомъ; но она это дѣлаетъ въ общей, а потому и неопредѣленной формѣ. Въ этомъ заключается ея сила, но также и ея слабость. Музыка освобождаетъ душу отъ конкретнаго и индивидуальнаго и погружаетъ ее въ общія *настроенія*: сильныя и слабыя, свѣтлыя и мрачныя, веселыя и томительныя, тихія и страстныя. Мы въ состояніи наслаждаться ею, забывая о мірѣ, закрывая глаза, отдаваясь ей пассивно, предаваясь грезамъ.

Въ этомъ заключается односторонность, представляющая въ то же время опасность. Человѣкъ не предназначенъ только къ постояннымъ грезамъ и погруженію въ настроенія: онъ долженъ также сосредоточиваться, обращать вниманіе на конкретное и характеристически-индивидуальное, направлять свой взоръ и свою волю на ясно-отмѣченное, живо схватывать точно опредѣленные цѣли; онъ долженъ также *знать*, что онъ думаетъ и чего хочетъ. Исключительное господство музыки можетъ вредить способности къ такому направленію нашей воли; оно въ состояніи загипнотизировать человѣка, лишить его мозга и костей, создать расплывчатыхъ и расплывшихся людей. Разумѣется, въ настоящемъ случаѣ также существуютъ различія, смотря по роду музыки.

Велѣдствіе такой односторонности музыка нуждается въ дополненіи. Она можетъ найти его въ живописи и скульптурѣ съ ихъ рѣзко-очерченными образами, съ опредѣленными дѣйствіями и болѣе конкретными аффектами; она можетъ найти его также въ архитектурѣ и художественномъ ремеслѣ съ ихъ яснымъ взаимодействіемъ силъ, осуществляющихъ опредѣленные цѣли. Разумѣется, я не имѣю въ виду въ данномъ случаѣ кашеобразно-расплывающейся архитектуры, тѣстоподобнаго стиля, нерѣдко встрѣчающагося въ наше время.

Особеннаго вниманія заслуживаетъ художественное ремесло, искусство, вошедшее въ повседневную жизнь. Чрезвычайно важное значеніе имѣетъ задача возбуждать въ повседневной жизни вкусъ къ прекрасному (которое тутъ, къ тому же, всегда бываетъ полнымъ смысла и по содержанію, и по формѣ), а также дѣлать пріятными простыя вещи и устраивать такъ, чтобы человѣкъ повсюду встрѣчалъ лишь предметы, ласкающіе его взоръ. Кто мечтаетъ о „высокомъ“ искусствѣ и можетъ выносить, чтобы въ повседневной жизни его окружали вещи, грубыя въ художественномъ отношеніи, тотъ даетъ сильный поводъ нѣсколько сомнѣваться въ его художественной потребности и эстетическомъ чувствѣ. Можетъ быть, онъ обманываетъ самъ себя, или ему хотѣлось бы обмануть другихъ.

Наконецъ, не слѣдуетъ отодвигать на второй планъ искусство, которое является царицей искусствъ, такъ какъ средства его могущества — самыя обширныя. *Поэзія* въ ея различныхъ видахъ способна вліять самымъ разностороннимъ образомъ. Въ особенности если къ этому прибавить драматическое искусство. Если музыка погрузила насъ въ расплывчатыя настроенія, то драма, съ ея характерами, ея аффектами и страстями, направленными на опредѣленные объекты, съ ея судьбами и дѣйствіями, съ человѣческимъ ничтожествомъ и величіемъ, съ нравственными конфликтами, — въ состояніи снова собрать насъ и направить

нашъ взоръ на смыслъ и задачи жизни. Конечно, мы должны при этомъ держать глаза открытыми. Зато и они *будутъ*, въ свою очередь, поддерживать насъ въ состояніи бодрствованія. Она встряхиваетъ насъ, что для насъ въ значительной мѣрѣ необходимо.

Впрочемъ, и искусство въ общемъ имѣетъ односторонній характеръ и таитъ въ себѣ опасность. Міръ художественныхъ произведеній, въ какой бы мѣрѣ ни отражалъ міръ дѣйствительной жизни и нашъ собственный внутренний міръ, всетаки самъ по себѣ есть только міръ нашей фантазіи.

Въ этомъ отношеніи *наука*, или, говоря общѣе, познаніе, стоитъ въ непосредственной противоположности къ искусству. Она его нѣкоторымъ образомъ дополняетъ, именно благодаря такой противоположности между ними. Знаніе имѣетъ дѣло съ *дѣйствительностью*. Его конечною цѣлью является духовное господство надъ послѣдней. Кто познаетъ дѣйствительнымъ образомъ, тотъ говоритъ: такъ *должно* быть, а не: такъ есть. Это духовное господство также представляетъ собою великое благо.

Съ другой стороны, однако, наслажденіе познаніемъ опять-таки отступаетъ передъ наслажденіемъ искусствомъ, если брать въ расчетъ его значеніе по отношенію ко всей личности. Художественное произведеніе вызываетъ сочувствіе всей личности; оно въ состояніи вызвать къ участию самую внутреннюю сущность послѣдней.

Для познанія характерно, что оно не обращаетъ никакого вниманія на вопросъ о томъ, пріятна ли и радостна ли намъ дѣйствительность, или же она противна всему нашему существу. Для познанія безразлично, нравится ли намъ познанный фактъ или нѣтъ, соответствуетъ ли онъ нашимъ желаніямъ и, въ концѣ концовъ, нашимъ священнѣйшимъ интересамъ или противорѣчитъ имъ. Познаніе только при-

знаеть фактъ. Личность съ ея индивидуальнымъ отноше-
ніемъ къ *своимъ* познаваемымъ предметамъ не находитъ
себѣ мѣста въ познаніи.

Раньше я говорилъ прежде всего о *наслажденіи* художе-
ственнымъ произведеніемъ; точно также и въ настоящемъ
случаѣ я буду говорить прежде всего о *наслажденіи* отъ об-
ладанія знаніемъ. И то, и другое не только представляютъ
собою нѣкоторое благо, но и указываютъ также на нѣчто
хорошее—на цѣнность личности. Я имѣю здѣсь въ виду спо-
собность наслаждаться, бодрость духа, интенсивность вну-
тренней дѣятельности, силу и стремленіе схватывать и со-
хранять, живость проникновенія и пониманія,—короче, энер-
гію духовной жизни, которая заключается во всякаго рода
правильномъ наслажденіи. Вообще каждая способность на-
слажденія является цѣнною. Однако всякая такая способ-
ность является цѣнною лишь въ той степени, въ какой
предметъ наслажденія имѣетъ значеніе для личности въ
цѣломъ.

Между тѣмъ *творческая* сила, художественное или науч-
ное *творчество*, стоитъ еще выше силы наслажденія. Вполнѣ
законны радость или гордость, которыя испытываетъ отъ
своего собственнаго *творчества* художникъ или человѣкъ
науки. При этомъ я имѣю въ виду настоящаго художника,
т. е. такого, который творитъ подъ влияніемъ внутренняго
стремленія своего существа, и человѣка науки, честно пови-
нующагося жаждѣ истины.

Между тѣмъ даже самый настоящій художникъ и самый
преданный истинѣ изслѣдователь всетаки представляютъ
собою лишь часть человѣческаго существа, пока каждый
изъ нихъ остается только художникомъ или изслѣдовате-
лемъ. Художникъ, какъ я уже говорилъ, строитъ міръ изъ
своей фантазіи. Какъ бы этотъ міръ ни былъ близокъ къ
человѣческому,—слѣдовательно, сколько бы значенія онъ ни

имѣлъ съ точки зрѣнія нравственности, — всетаки цѣль нравственнаго хотѣнія этимъ не достигается. Эта цѣль состоитъ не въ томъ, чтобы добро осуществлялось въ качествѣ содержанія фантазіи, а въ томъ, чтобы оно осуществлялось *въ міръ*.

Согласно этому человѣкъ не можетъ считать себя достигшимъ величайшей нравственной высоты *въ своемъ внутреннемъ міръ*, если онъ удовлетворяется переживаніемъ и созиданіемъ *въ своей фантазіи* того, что важно съ человѣческой точки зрѣнія, или же, что волнуетъ человѣка. Напротивъ, происходящія въ дѣйствительной жизни переживаніе и сопереживаніе, участіе въ горѣ и радости, въ любви и ненависти, а также соотвѣтственное волевое побужденіе *къ дѣйствию* — выше предыдущаго переживанія и созиданія въ фантазіи. Для этого требуется и въ этомъ обнаруживается *болѣе высокая сила* симпатіи, а потому, какъ ея предпосылка, — высшая интенсивность собственнаго переживанія. Вѣдь дѣйствительность обыкновенно не представляется задрапированной въ художественную мантию; у нея нѣтъ средствъ, находящихся въ распоряженіи художника, чтобы сдѣлать содержаніе художественнаго произведенія непосредственно нагляднымъ и доступнымъ воспріятію, а также, чтобы поставить его въ непосредственной близости къ духу и навязать его послѣднему. Нерѣдко, съ точки зрѣнія эстетической или художественной, самымъ неинтереснымъ фактомъ окажется именно дѣйствительно существующее, важное съ нравственной точки зрѣнія въ дѣйствительности; и тѣмъ не менѣе эта дѣйствительность предъявляетъ нравственныя требованія.

Въ настоящемъ случаѣ надо принять въ соображеніе главнымъ образомъ еще слѣдующее: сопереживанію того, что обнаруживается дѣйствительностью, и соотвѣтственному образу дѣйствій повсюду препятствуютъ *эгоистическіе интересы*, исключенные изъ эстетическаго разсматриванія и не

находящіе точекъ соприкосновенія съ міромъ художественной фантазіи и его содержаніемъ.

Неудивительно поэтому, что есть люди, въ высшей степени способные къ художественному творчеству или предающіеся исключительно эстетическому наслажденію, которые всетаки остаются, можетъ быть, безучастными по отношенію къ нравственнымъ интересамъ дѣйствительной жизни, или у которыхъ, по крайней мѣрѣ, чувству симпатіи недостаетъ силы, потребной для того, чтобы перейти въ дѣйствіе. Художественныя способности являются чѣмъ-то своеобразно возвышеннымъ; однако нѣтъ никакого сомнѣнія въ томъ, что въ борьбѣ за увеличеніе нравственныхъ благъ нужно обладать чѣмъ-то еще большимъ, именно — гораздо большей нравственной силой. Удаляться съ поля этой борьбы, заключаться въ міръ художественной фантазіи, убаюкиваться въ исключительно эстетическомъ разсматриваніи міра—это значитъ проявлять эгоистическую ограниченность, слабость или слѣпоту. Чваниться такого рода поведеніемъ — преступно.

Опасность, представляемая искусствомъ, состоитъ въ томъ, что односторонняя жизнь въ искусствѣ и чрезмѣрная оцѣнка его *ведутъ къ возможности* уклоненія отъ нравственныхъ задачъ суровой дѣйствительности и заблужденія относительно ихъ важности.

Между тѣмъ мы снова переживаемъ эпоху, когда эта опасность угрожаетъ многимъ. Мы готовы преувеличивать значеніе искусства, возводя его въ культъ, разстраивать себѣ нервы излишкомъ художественныхъ наслажденій,—не говоря уже о томъ, что часто даже *самый* предметъ нашего наслажденія способенъ расслаблять и разстраивать нервы въ нравственномъ отношеніи.

Къ тому же, какъ много затрачивается силъ на малоцѣнный художественный трудъ, силъ, которыя могли бы создать нѣчто болѣе цѣнное и доставляющее большее удовлетвореніе обладателю ихъ. Какое количество человѣ-

ческой силы растрчивается въ изобиліи на художественныя упражненія нашего времени!

Опасность преувеличенной оцѣнки угрожаетъ также наукѣ и научному образованію, подобно тому, какъ она угрожаетъ искусству. Тотъ, кто *творитъ* въ области научнаго знанія, тоже проявляетъ только одну сторону своего существа, которую мы можемъ назвать разсудкомъ. И если кто либо замыкается въ этой области своей дѣятельности, то ему грозитъ опасность, что онъ ослабитъ и умертвитъ остальную часть своей личности. Онъ не отвращается отъ дѣйствительной жизни, но, пожалуй, теряетъ воспримчивость къ ея практическимъ задачамъ и высочайшимъ жизненнымъ цѣлямъ жизни.

Надо въ особенности отмѣтить *одно* заблужденіе, которое, повидимому, встрѣчается въ наукѣ, а *также* и въ искусствѣ. Нерѣдко восхваляютъ науку для науки и искусство для искусства. Между тѣмъ „наука“ и „искусство“ суть лишь абстракціи. Наука и искусство существуютъ только въ людяхъ и для людей. Эти понятія имѣютъ дѣйствительное значеніе лишь въ качествѣ человѣческаго познанія и художественнаго упражненія или человѣческаго художественнаго наслажденія.

Соотвѣтственно этому упомянутая похвала можетъ, повидимому, имѣть лишь *слѣдующій* смыслъ: слѣдуетъ заниматься наукой и искусствомъ не ради нихъ самихъ, а ради тѣхъ, кто ими *занимается*. Для меня, какъ художника или человѣка науки, должно быть достаточнымъ—проявляться въ области моихъ занятій; я долженъ довольствоваться тою пользою и тѣмъ удовлетвореніемъ, которыя они мнѣ приносятъ сами по себѣ.

Въ самомъ дѣлѣ, упомянутая похвала *должна* имѣть такое значеніе просто потому, что въ противномъ случаѣ она была бы вовсе лишена смысла. Если же однако эта похвала имѣетъ только что указанное значеніе, въ такомъ случаѣ она является выраженіемъ той „исключительности“,

которая представляет собой не что иное, как другое название высокомерия и эгоистической ограниченности. Конечно, чисто-научный интерес, равно какъ и чисто-художественный, не опредѣляется въ своемъ проявленіи соображеніемъ о могуществѣ, о чьей либо благосклонности, объ успѣхѣ. Вся честь *науки* заключается главнымъ образомъ въ томъ, чтобы отдаваться безусловно только требованіямъ истины. И разумѣется, человѣкъ науки или художникъ долженъ удовлетворять прежде всего самого себя; но не идти дальше такого самоудовлетворенія и довольствоваться только имъ — не свойственно ни наукѣ, ни искусству.

Предположимъ, что какойнибудь художникъ вполне проникнуть цѣнностью художественнаго наслажденія, или какойнибудь ученый — цѣнностью познанія; въ то же время ни тотъ, ни другой не остается слѣпымъ эгоистомъ: въ такомъ случаѣ они должны, скорѣе, желать, чтобы эта цѣнность *по возможности осуществлялась*, т. е. они должны желать, чтобы, сколь возможно, большее количество людей принимало въ ней участіе.

Такое же желаніе долженъ имѣть также тотъ, кто, не будучи человѣкомъ искусства или науки, *высоко цѣнитъ* и то, и другую, то есть онъ долженъ желать, чтобы искусство и наука сдѣлались по возможности всеобщимъ благомъ. Искусство и наука не должны являться удѣломъ отдѣльныхъ привилегированныхъ личностей, то есть, точнѣе говоря, людей богатыхъ: чѣмъ болѣе справедливо то, что говорится о высокой цѣнности искусства и науки, тѣмъ вѣрнѣе должна быть обезпечена за всѣми возможность участія въ томъ и другой, каждому въ той мѣрѣ, въ какой онъ имѣетъ къ этому способность и желаніе. Искусство также должно быть сдѣлано доступнымъ для „народа“, и должно быть *создано народное* искусство. Точно также должно быть организовано научное обученіе въ доступной для народа формѣ. Чѣмъ затруднительнѣе послѣдняя задача, тѣмъ болѣе она достойна дѣйствительной науки.

Наука въ особенности бываетъ виновна еще въ другого рода высокоомѣрїи. Это — высокоомѣрїе *чистой* науки, т. е. науки, пренебрегающей заботами о практической *примѣн-ности*. Это — странная „исключительность“, склонность считать себя тѣмъ знатнѣе, чѣмъ меньше дѣлаешь для чело-вѣчества.

Если искусство и наука хотятъ по возможности существовать для чело-вѣчества, онѣ вступаютъ въ кругъ разно-образно организованныхъ видовъ чело-вѣческой дѣятельно-сти, которые стремятся къ одному и тому же. Нѣкоторые виды такой дѣятельности считаются „низшими“. Но самая низкая дѣятельность, простѣйшая ручная работа, имѣетъ цѣнность въ нравственномъ смыслѣ уже въ томъ случаѣ, когда въ ней какимъ либо образомъ сосредоточиваются хотѣніе и сила чело-вѣка. *Есть нѣчто нравственно-прекрасное* во всякой радостной готовности къ труду. Она имѣетъ болѣе высокое значеніе, когда является сознательной борьбой за собственное существованіе и въ дальнѣйшемъ — за существо-ваніе другихъ людей, прежде всего тѣхъ, кто стоитъ ближе прочихъ къ трудящемуся чело-вѣку. Въ концѣ концовъ та-кой трудъ принимаетъ участіе въ выработкѣ высочайшихъ нравственныхъ цѣнностей, когда онъ соединенъ съ созна-ніемъ нравственной конечной цѣли всякаго рода работы и созиданія цѣнностей личности во мнѣ и въ другихъ. Благо-родство или измененность труда опредѣляется не предметомъ занятій, а силой, широтой и нравственной высотой хотѣнія.

Это однако не исключаетъ, а, напротивъ, предполагаетъ, что работа, рассматриваемая сама по себѣ, бываетъ тѣмъ выше, чѣмъ больше ей свойственно по природѣ направляться *непосредственно* на указанную конечную цѣль всякаго рода труда. Всякое чело-вѣческое усиліе, имѣющее непосредственно въ виду созиданіе цѣнностей личности, — слѣдовательно, соб-ственно нравственныхъ цѣнностей, — мы можемъ обнять од-

нимъ названіемъ *воспитаніе*. Поэтому нельзя представить себѣ болѣе высокаго призванія, чѣмъ призваніе воспитателя. При этомъ я имѣю въ виду призваніе матерей, воспитателей менѣе и болѣе зрѣлаго юношества и вообще всѣхъ тѣхъ, кто какимъ либо образомъ оказываетъ непосредственное вліяніе, по призванію, на нравственную личность. Среди этихъ воспитателей я имѣю въ виду и правителей, поскольку послѣдніе хотятъ быть не повелителями, а именно правителями, — не тѣми правителями, которые поддерживаютъ ходъ нѣкотораго соціального механизма, только потому, что онъ уже существуетъ, а тѣми, которые, напротивъ, способствуютъ созиданію соціального *организма*; подъ послѣднимъ же я разумѣю организмъ, въ которомъ человѣческія личности содѣйствуютъ общими усиліями къ достиженію нравственной конечной цѣли человѣческаго существованія, проявляясь свободно и съ сознаниемъ такого рода конечной цѣли.

Первымъ дѣломъ во всякомъ воспитаніи является, конечно, самовоспитаніе, работа надъ собствѣнною личностью.

Въ наше время снова много говорится о соціальномъ положеніи. Открываемъ ли мы повсюду доступъ къ высшему общественному положенію тѣмъ, кто его заслуживаетъ по праву? На это надо отвѣтить, что часто имѣетъ мѣсто какъ разъ обратное. Мы видимъ, что соціального положенія добиваются и достигаютъ паразиты на народномъ тѣлѣ, которые не принимаютъ на себя никакихъ обязанностей, а хотятъ лишь наслаждаться, къ которымъ поэтому примѣнима уже однажды приведенная пословица, что кто не хочетъ трудиться, не долженъ также и ѣсть. Наоборотъ, настоящая аристократія человѣчества, тѣ люди, которые жертвуютъ собою для нравственного блага другихъ, преслѣдуя нравственныя цѣли и умѣя ихъ достигать, встрѣчаютъ пренебреженіе къ себѣ.

Искусство и наука, о которыхъ я говорилъ раньше, представляютъ собою цвѣты на древѣ жизни. Но древо жизни должно приносить не только цвѣты, но и плоды. Рядомъ съ этимъ положеніемъ мы можемъ поставить и другое: искусство и наука относятся вмѣстѣ къ *вѣтви* зданія нравственныхъ цѣлей. Но послѣднему нуженъ прежде всего фундаментъ. Я уже говорилъ однажды, что люди для того, чтобы жить какимъ бы то ни было образомъ,—слѣдовательно, и для того, чтобы быть личностью, одаренною духовной и нравственной высотой,—должны прежде всего вообще жить, то есть существовать. Дадимъ этому положенію болѣе общее выраженіе: существуютъ цѣли, относящіяся къ другимъ цѣлямъ такъ, какъ предположеніе относится къ возможному слѣдствію, то есть такимъ образомъ, что одна цѣль должна быть осуществлена для того, чтобы другая могла быть достигнута. Ясно, что тутъ первая цѣль должна предшествовать послѣдней. Этимъ указывается новый способъ, какъ одна цѣль можетъ *предшествовать* другой въ системѣ или организмѣ цѣлей, требуемомъ нравственностью.

Люди должны прежде всего *жить*. А между тѣмъ сколько народу еще бьется за одно лишь существованіе честнымъ образомъ, и всетаки не всегда съ успѣхомъ! Но одного лишь голаго существованія недостаточно. Люди должны также жить, какъ *люди*. А для этого нужны различныя условія: на примѣръ, чтобы люди могли стоять на собственныхъ ногахъ; чтобы они пріобрѣтали имущество, по отношенію къ которому были бы господами; чтобы не все ихъ силы и время поглощались ручной работой, а, напротивъ, чтобы каждому оставалась достаточная часть времени и силъ для заботъ о собственномъ существованіи, для жизни въ кругу своихъ, для ученья и веселья, для участія въ общественныхъ интересахъ, для высказыванія вмѣстѣ съ другими своего свободного слова въ дѣлахъ личныхъ и государственныхъ,—короче, для возможности проявляться и чувствовать себя людьми,—

слѣдовательно, быть нравственною самоцѣлью и сочленами человѣчества, а не рабами труда.

Сколько здѣсь остается дѣла обществу и главнымъ образомъ тѣмъ, которыхъ общественное положеніе непосредственно предназначаетъ къ этому, — слѣдовательно, работодателямъ и правителямъ. Сколько здѣсь въ дѣйствительности существуетъ упущеній!

И сколько такого рода социальнаго труда могли бы совершить какіе угодно другіе люди, которые принимаютъ въ этомъ дѣлѣ не столь непосредственное участіе, но которые однако освобождены отъ борьбы за существованіе, или которымъ послѣдняя облегчена! Сколько можно было бы произвести здѣсь исправленій и освободительной работы! Сколько различныхъ призваній могло бы здѣсь открыться для тѣхъ людей, о которыхъ теперь тщетно спрашиваютъ, какова собственно цѣль ихъ существованія!

„Соціальный вопросъ“ былъ названъ вопросомъ желудка. Допустимъ, что у тѣхъ, кто ставитъ его въ своемъ собственномъ интересѣ, онъ и не имѣетъ иного характера. Въ такомъ случаѣ другіе все же были бы обязаны *понимать* его, какъ вопросъ *нравственности*. Но, съ другой стороны, они должны были бы помнить, что социальный вопросъ даже и постольку, поскольку онъ *дѣйствительно* представляетъ собою вопросъ желудка и, въ качествѣ такового, имѣетъ *законное* право на существованіе, всетаки *самъ по себѣ* является вопросомъ нравственности, а именно вопросомъ нашего нравственнаго хотѣнія, нашего долга и обязанностей общества.

Самое высокое въ нравственномъ отношеніи исполненіе обязанности бываетъ всякій разъ *радостнымъ* исполненіемъ ея. Однако оно является исполненіемъ именно *обязанности*, т. е. необходимымъ образомъ заключаетъ въ себѣ сознаніе серьезной обязанности. Это относится также и къ общественному исполненію обязанностей. Мы, а въ особенности тѣ, кто въ силу своего собственнаго социальнаго

положенія является спеціально къ этому призваннымъ, должны, слѣдовательно, стараться содѣйствовать улучшенію соціальнаго положенія гонимыхъ и подавляемыхъ не съ сознаниемъ особаго рода „великодушія“, а, напротивъ, съ сознаниемъ своего долга и права притѣсняемыхъ жить и проявляться въ качествѣ людей. Говорить о благодареніяхъ въ томъ случаѣ, когда дѣло идетъ просто лишь о томъ, чтобы дѣлать должное, есть заблужденіе съ нравственной точки зрѣнія.

Родъ „благотворительности“, состоящей въ томъ, чтобы танцевать, веселиться, „забавляться“ какимъ нибудь образомъ „въ пользу“ бѣдныхъ, является безусловно и совершенно безнравственнымъ. Такой способъ удовлетворенія соціальныхъ обязанностей показываетъ въ лучшемъ случаѣ, какъ далеко зашла бессмысленность и моральная поверхность богатыхъ и „знатныхъ“ людей. Въ худшемъ же случаѣ онъ указываетъ на плебейскую грубость чувствъ и представляетъ собой иронию надъ несчастными, которыхъ предполагается осчастливить подобнаго рода „благотворительностью“.

Я сказала, что нравственные задачи слѣдуетъ начинать съ основанія. Ближайшей задачей и является сооруженіе его. Но подобныя задачи существуютъ и въ другомъ смыслѣ. Существуетъ, кромѣ упомянутыхъ, еще четвертая противоположность нравственныхъ цѣлей. Я имѣю въ виду противоположность между цѣлями, ближайшими къ намъ, потому что онѣ *относятся* къ „ближнему“, и такими, которыя *удалены* отъ насъ въ томъ же самомъ смыслѣ. По отношенію къ этому справедливо очевидное правило, что ближній долженъ быть для насъ ближе другихъ. Всякаго рода человѣческой интересъ и каждое исполненіе обязанности начинаются естественнымъ образомъ въ ближайшей средѣ. Объ этомъ уже при случаѣ шла рѣчь въ другомъ мѣстѣ.

Я сказалъ, что если мнѣ предстоитъ выборъ: *проявлять*, а не просто лишь таить, благосклонныя намѣренія по отношенію къ болѣе близкимъ и болѣе далекимъ мнѣ людямъ, то я отдамъ, само собою разумѣется, предпочтеніе тому, кто стоитъ ко мнѣ ближе, и не потому, чтобы проявленіе благожелательнаго духовнаго склада въ пользу человѣка, стоящаго ко мнѣ ближе, было въ нравственномъ отношеніи выше, а потому, что *отсутствіе проявленія* такихъ намѣреній обнаружило бы особенный *недостатокъ* въ нихъ. Если предположить, что кто нибудь мечтаетъ объ осчастливленіи народовъ и можетъ бездѣятельно присутствовать при страданіяхъ близкихъ людей, мы были бы въ правѣ разсматривать такого рода мечтанія, какъ пустыя и ложныя.

Въ настоящемъ случаѣ рѣчь идетъ о всякаго рода „добродѣтеляхъ“, носящихъ отдѣльныя названія. Такова, напри- мѣръ, „добродѣтель“—благодарность. Я чувствую себя свя- заннымъ благодарностью не въ отношеніи того, кто оказы- ваетъ мнѣ добро по своекорыстному побужденію, а въ отно- шеніи того, кто это дѣлаетъ по благожелательному духов- ному складу личности. Такимъ образомъ благодарность относится къ *благожелательному нравственному строю лич- ности*. Этотъ благожелательный строй личности вступая въ тѣснѣйшее отношеніе ко мнѣ, если проявляется въ отно- шеніи *меня*. Еслибы благожелательный строй личности даже и въ такомъ случаѣ не представлялся мнѣ цѣннымъ, то это значило бы, что онъ вовсе не затрагиваетъ моего чувства. Поэтому хотя благодарность и не представляетъ собою вы- сокой добродѣтели, зато неблагодарность, конечно, заслу- живаетъ особеннаго порицанія. Она является предосудитель- ной, какъ *симптомъ*.

Однако, чѣмъ болѣе благодарность обоснована въ нрав- ственномъ отношеніи, т. е. чѣмъ болѣе она представляетъ собой признаніе *благожелательнаго духовнаго склада*, тѣмъ вѣрнѣе она не можетъ не представлять собою чего-то *большаго*, чѣмъ простая благодарность. Она становится оцѣнкой

благожелательнаго духовнаго склада, кому бы послѣдній ни принадлежалъ и кому бы ни служилъ на пользу—мнѣ или другимъ людямъ.

Подобнымъ же образомъ дружба — т. е. оцѣнка личности того человѣка, который всѣмъ своимъ существомъ стоитъ ко мнѣ внутреннимъ образомъ особенно близко или же особенно близко подошелъ ко мнѣ благодаря внѣшнимъ обстоятельствамъ—предназначена съ нравственной точки зрѣнія къ тому, чтобы выйти изъ своихъ собственныхъ границъ и перейти въ оцѣнку факторовъ, дѣлающихъ упомянутую личность для меня цѣнной, *гдѣ бы* я съ ними ни сталкивался. Дружба драгоценна. Но нельзя допустить, чтобы истинно дружеское расположеніе—т. е. оцѣнка, вытекающая не изъ удовлетворенія эгоизма или суевѣности, не изъ полученныхъ благодѣяній, не изъ встрѣченнаго или ожидаемаго взаимнаго признанія и т. п., а единственно изъ разсмотрѣнія личныхъ достоинствъ друга—ограничивалась лишь этимъ кругомъ или кругомъ друзей.

Наконецъ, то же самое относится и къ любви къ отечеству. Любовь къ отечеству—благородна, но она бываетъ истинной только при наличности двухъ предположеній. Во первыхъ, что ея проявленіе начинается въ очень тѣсномъ кругу. Истинная любовь къ отечеству начинается необходимымъ образомъ исполненіемъ нравственныхъ обязанностей въ отношеніи самого себя и ближняго. Если намъ не дороги прежде всего величіе, честь, свобода насъ самихъ и нашихъ близкихъ, то любовь къ отечеству, ломаніе копій за его величіе, честь, свободу, есть пустая мечтательность, опьяненіе понятіемъ, словомъ, неясною мыслью или же нѣчто еще худшее, именно—лицемѣріе.

Точно также, если мы любимъ дѣйствительно достойное любви и уваженія въ нашемъ отечествѣ, — а недостойное любви и уваженія мы *должны* не любить, — то мы должны любить все это и во всѣхъ другихъ странахъ. Невозможно, чтобы эта любовь заканчивалась тамъ,

гдѣ случайно водружены въ землю пограничныя столбы со цвѣтами нашего государства. Истинная любовь къ отечеству должна, въ концѣ концовъ, также быть поглощена любовью къ человѣку.

Любовь къ отечеству заключаетъ въ себѣ также обязанность защищать его противъ непріятелей, которые замышляютъ противъ него зло, даже цѣною собственной крови, если потребуется. Но эта обязанность должна быть также серьезна, какъ и радость побѣды, не только вслѣдствіе испытываемаго, но и вслѣдствіе причиняемаго нами ужаса, вслѣдствіе уничтоженія нами человѣческихъ жизней, а также матеріальныхъ и нравственныхъ благъ, истребленныхъ нами. Если нравственная необходимость матеріальнаго и моральнаго самосохраненія не принуждаетъ какой нибудь народъ къ войнѣ, если послѣдняя не ведется съ сознаниемъ серьезной нравственной обязанности, то она является преступленіемъ, отличающимся отъ убійства и ограбленія, совершаемыхъ отдѣльною личностью, только въ томъ отношеніи, что представляетъ собою преступленіе одного народа противъ другого. Для отношеній между народами не существуетъ иныхъ нравственныхъ нормъ, чѣмъ для отношеній между отдѣльными личностями. Народы являются именно отдѣльными личностями.

Каждый отдѣльный солдатъ становится виновнымъ въ такомъ преступленіи, если онъ не руководится сознаниемъ упомянутой нравственной цѣли. Въ настоящемъ случаѣ является нравственнымъ ослѣпленіемъ также мысль, что кто нибудь другой можетъ снять съ меня отвѣтственность за то, что я дѣлаю съ открытыми глазами. Конечно, отвѣтственность тѣхъ, кто заставляетъ меня принимать участіе въ подобномъ преступленіи, больше моей. Много говорится о воинственности и боевомъ пылѣ, о военномъ одушевленіи и всему этому воздается хвала. Всѣмъ однако извѣстно, что очень часто въ настоящемъ случаѣ играетъ роль нѣчто совершенно иное, чѣмъ сознательное пожертвованіе соб-

ственной личности ради нравственной цѣли. Между тѣмъ *добродѣтель* храбрости состоитъ единственно въ такомъ служеніи нравственной цѣли..

Наконецъ, есть еще пятая, или, вѣришь, пятая и шестая противоположности между человѣческими цѣлями, имѣющія важное значеніе въ нравственномъ отношеніи. Это—противоположность между достижимымъ и недостижимымъ, а также противоположность между болѣе и менѣе достижимымъ. Въ данномъ случаѣ я имѣю въ виду прежде всего то, что является достижимымъ при извѣстныхъ *обстоятельствахъ*. Мы должны твердо сохранять самыя высокія цѣли въ качествѣ послѣднихъ цѣлей нашихъ стремленій, даже еслибы онѣ еще не могли получить осуществленіе. Мы не должны однако *растрачивать* силу нашего *хотѣнія* и *дѣйствія* на недостижимое. Существуетъ обязанность дисциплины въ отношеніи самого себя, состоящая въ сознательномъ отказѣ отъ того, чего, согласно обстоятельствамъ, мы не въ состояніи достигнуть. Для этого, разумѣется, надо предполагать пониманіе природы обстоятельствъ, познаніе того, что при данныхъ обстоятельствахъ представляется возможнымъ. Но и стараніе пріобрѣсти подобное пониманіе и подобное познаніе также относится къ нравственному хотѣнію.

Съ другой стороны, представляется не меньшею обязанностью употреблять наши силы на то, что мы можемъ осуществить, сообразно съ нашими *склонностями* и положеніемъ, занимаемымъ нами въ свѣтѣ, и отказываться отъ того, что другіе могутъ сдѣлать лучше. Еслибы люди были одинаковы другъ съ другомъ, то подобнаго обязательства не существовало бы. Къ счастью, однако, они—неодинаковы, и потому является возможность и вмѣстѣ съ тѣмъ—обязанность раздѣленія въ нравственныхъ задачахъ, организаціи людей въ социальное цѣлое, въ которомъ каждый,

выполняя свою нравственную культурную задачу, вносить въ общую работу то, къ чему онъ наиболѣе способенъ.

Я сказалъ при вступленіи въ эту лекцію, что нравственный порядокъ цѣлей представляется въ отдѣльной нравственной личности въ видѣ организма цѣлей или системы силъ, направленныхъ на осуществленіе цѣли. Мы познакомились въ настоящее время съ пятью или шестью направленіями, въ которыхъ проявляется такой порядокъ. Эти направленія опредѣляются противоположностью безусловныхъ и условныхъ цѣлей, противоположностью болѣе или менѣе значительныхъ по объему цѣлей въ различномъ смыслѣ этихъ выраженій, противоположностью между цѣлями, относящимися другъ къ другу, какъ предположеніе къ слѣдствію, противоположностью болѣе близкихъ и болѣе далекихъ мнѣ цѣлей, наконецъ противоположностью достижимаго и недостижимаго въ абсолютномъ или относительномъ смыслѣ слова, будь то достижимо или недостижимо по положенію дѣла, или же по моему личному расположенію и моему положенію въ свѣтѣ.

Встрѣчаетъ ли этотъ организмъ препятствія въ своей жизнедѣятельности, и можетъ ли онъ встрѣчать ихъ? Другими словами, когда нѣсколько возможныхъ цѣлей противопоставляются другъ другу, то представляется ли намъ одна изъ нихъ всегда и съ полною достовѣрностью высшей и предшествующей другой? Иначе говоря, не существуетъ ли для насъ неразрѣшимыхъ нравственныхъ конфликтовъ даже въ случаѣ самаго серьезнаго нравственнаго размышленія?

Отвѣтъ долженъ гласить, что такого рода конфликты, разумѣется, могутъ имѣть мѣсто. Уже во вступленіи въ первую лекцію я говорилъ, что вѣрное рѣшеніе относительно того, что должно являться въ данномъ случаѣ правильнымъ

съ нравственной точки зрѣнія, можетъ требовать пониманія, превышающаго границы возможнаго для человѣка. Теперь мы должны признать еще больше. Мы видѣли, что цѣли могутъ быть высшими, такъ какъ онѣ охватываютъ большой кругъ людей; съ другой стороны, цѣли могутъ быть высшими потому, что онѣ имѣютъ значеніе болѣе или менѣе *глубокое и широкое* для отдѣльной личности или для нѣсколькихъ, немногихъ личностей. Если происходитъ соперничество между тѣми и другими цѣлями, то какая точка зрѣнія должна имѣть для меня болѣшую важность?

Это одинъ изъ возможныхъ случаевъ, и намъ нѣтъ нужды измышлять другіе случаи. Существо совершенное, которое обладало бы совершеннымъ пониманіемъ всѣхъ вещей, которому во всякое время было бы ясно, какое значеніе имѣетъ осуществленіе какойнибудь цѣли для нравственной совокупности міра,—такое существо было бы способно взвѣшивать въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ съ вѣрностью и находить абсолютно правильное въ нравственномъ отношеніи. Но мы не представляемъ собою такого рода совершенныхъ существъ. Поэтому мы подвергаемся возможности неразрѣшаемаго нравственнаго сомнѣнія, а слѣдовательно—и возможности нравственнаго заблужденія; совершенно подобно этому и на томъ же самомъ основаніи мы не можемъ избѣгнуть сомнѣнія и заблужденія въ области *теоретическаго познанія*, несмотря на самыя серьезныя усилія *науки*.

Порядокъ вещей былъ бы хуже существующаго, еслибы дѣйствія или отдѣльныя волевыя рѣшенія были единственнымъ предметомъ нравственнаго сужденія. Но намъ извѣстно, что дѣло обстоитъ не такъ, и что собственно цѣннымъ или негоднымъ, съ точки зрѣнія нравственности, является человѣкъ, взятый въ своей совокупности, его духовный складъ. Хорошія черты духовнаго склада состоятъ не въ томъ, чтобы угадывать правильный способъ дѣйствія, а въ томъ, чтобы серьезно и честно хотѣть такъ поступать. Если мы, не-

смотря на это, находимся въ заблужденіи и убѣждаемся въ этомъ, то намъ очень жаль нашей ошибки, но совѣтъ наша выносить намъ оправдательный приговоръ. Самое высшее, чего только можно требовать отъ людей, это — *полная добросовѣстность.*

Восьмая лекція

Соціальные организмы

(Семья и государство)

Последній изъ шести пунктовъ, отмѣченныхъ въ предыдущей лекціи, заставляеть насъ сдѣлать еще шагъ дальше. Въ то время какъ отдѣльная личность дѣлается членомъ цѣлаго, состоящаго изъ личностей, и исполняетъ въ немъ задачу, соотвѣтствующую ея естественной способности, тогда возникаетъ другого рода организмъ, не тотъ, о которомъ шла рѣчь раньше: не организмъ *самой* личности, и не организмъ въ личности, а, напротивъ, организмъ *изъ личностей*, *соціальный организмъ*, предназначенный къ тому, чтобы во взаимодействіи своихъ членовъ и въ противоположности ихъ взаимоотношеній господства и подчиненія исполнять нравственную задачу въ той степени, въ какой она представляется возможной для людей.

Если слѣдуетъ дѣлать на свѣтѣ возможное добро, то для этого требуется такое взаимодействіе и взаимоотношеніе господства и подчиненія. Сколь возможно большее осуществленіе нравственной конечной цѣли *связывается* съ существованіемъ нравственно-соціального организма. Построеніе и отдѣлка послѣдняго, а также включеніе въ него отдѣльной личности, являются, слѣдовательно, нравственною

обязанностью. Бѣгство изъ міра представляетъ собой бѣгство отъ обязанностей, налагаемыхъ міромъ. Поэтому оно— безнравственно.

Въ данномъ случаѣ мы могли бы немедленно спросить: что представляетъ собою абсолютный нравственный организмъ? Отвѣтъ на это долженъ гласить слѣдующее: имъ долженъ бы быть необходимымъ образомъ организмъ, охватывающій *все человечество, — всемірное государство*, или, если угодно, *вселенская церковь*. Его правителями должны быть люди самые сильные въ нравственномъ отношеніи, самые богатые внутреннимъ содержаніемъ и самые свободные; въ то же время это значить, что они должны быть въ высшей степени предусмотрительными. Подобно имъ, каждый въ этомъ государствѣ исполняетъ свободно, съ полнымъ сознаніемъ нравственной конечной цѣли ту задачу, къ которой онъ имѣетъ назначеніе и способности по своей природѣ.

Веѣ блага, могущество, почести, владѣніе имуществомъ раздѣляются согласно нравственному праву, — другими словами, согласно нравственному достоинству личностей и съ точки зрѣнія возможно большаго осуществленія добра т. е. осуществленія на свѣтѣ нравственной личности.

Между тѣмъ подобное идеальное всемірное государство, или такого рода идеальная вселенская церковь, представляетъ собою именно лишь идеаль. Мы можемъ и должны желать осуществленія такого абсолютнаго нравственнаго организма; но мы не можемъ *хотѣть* его, — иначе говоря, мы не можемъ хотѣть вызвать его къ жизни въ настоящее время. Какъ было сказано въ послѣдней лекціи, представляется нравственною обязанностью обращать силу своего хотѣнія на то, что *достижимо* въ томъ смыслѣ, что данныя обстоятельства дѣлаютъ возможнымъ его осуществленіе. Практическій вопросъ и въ настоящемъ случаѣ состоитъ не въ томъ, что всего совершеннѣе, а въ томъ, что всего лучше изъ достижимаго.

Но, съ другой стороны, однако, упомянутый выше абсо-

лютный нравственно-соціальный организм указанъ не исключительно лишь съ цѣлью сказать, что въ немъ каждая отдѣльная личность содѣйствуетъ со своей стороны осуществленію общей нравственной цѣли. Этотъ абсолютный нравственный организмъ не можетъ быть организмомъ, состоящимъ изъ свободныхъ отдѣльныхъ личностей, а въ остальныхъ частяхъ представлять собою нерасчлененную массу. Напротивъ, масса отдѣльныхъ личностей должна подвергнуться дальнѣйшей дифференціаціи. Абсолютный организмъ долженъ въ свою очередь заключать въ себѣ относительно самостоятельные организмы; послѣдніе въ свою очередь — другіе и т. д. Иначе говоря: отдѣльныя личности должны сплачиваться въ низшія единства, эти послѣднія — въ высшія и т. д. Только самое высшее единство можетъ быть представлено вышеназваннымъ всемірнымъ государствомъ.

Необходимость такого порядка вещей вытекаетъ уже изъ всякаго рода естественныхъ обстоятельствъ: пространственной близости и пространственной отдаленности, различій въ условіяхъ сношеній, равенства и различія матеріальныхъ жизненныхъ условій, равенства и различія расовыхъ и національныхъ особенностей, языка, всякаго рода формъ соотвѣтствія и противоположности, которыя создались историческимъ путемъ и не могутъ быть устранены по произволу; съ другой стороны,—изъ естественной необходимости соединенія многихъ въ одно для преслѣдованія одной и той же цѣли, а также—изъ раздѣленія массъ при стремленіи къ различнымъ цѣлямъ; всѣ подобныя условія оказываютъ связывающее вліяніе, заключаая людей, съ одной стороны, въ одно болѣе или менѣе тѣсное цѣлое, а съ другой, — производя раздѣленія въ такомъ цѣломъ. Если, согласно природѣ, противоположности, элементы противоположнаго способны дополнять другъ друга до полнѣйшаго единства, то сама противоположность можетъ дѣйствовать объединяющимъ образомъ.

Самою основною противоположною, имѣющей глубочайшія основанія въ человѣческой природѣ и въ то же время указывающей самымъ опредѣленнымъ образомъ на такого рода *взаимодополненіе*, — является, несомнѣнно, *половая противоположность*. Въ то время какъ происходитъ такое взаимодополненіе, возникаетъ самое элементарное, но въ то же время и самое тѣсное единство между отдѣльными личностями—семья.

Я не изслѣдую въ настоящемъ случаѣ вопроса о томъ какое положеніе могла принимать семья въ первоначальныя времена историческаго развитія соціальныхъ организмовъ, или какъ должно представлять себѣ „первобытную семью“. Во всякомъ случаѣ семья есть простѣйшій соціальный организмъ, основанный на человѣческой природѣ, своего рода живая клѣточка въ тѣлѣ большихъ организмовъ, на которые распадается человѣческой родъ.

Семья основана на бракѣ. Что такое бракъ? Этотъ вопросъ имѣетъ въ данномъ случаѣ значеніе исключительно съ этической точки зрѣнія, а не юридической. Ставя его, мы хотимъ знать не то, на какихъ условіяхъ въ томъ или другомъ мѣстѣ брачный союзъ оказывается легализованнымъ государствомъ или санкціонированнымъ церковью, а, напротивъ, то, въ чемъ состоитъ его собственная сущность. Мы хотимъ знать не о томъ, что связываетъ супруговъ другъ съ другомъ съ какой либо правовой или уставной точки зрѣнія, а о томъ, что ихъ внутренне соединяетъ одного съ другимъ.

Если поставить вопросъ такимъ образомъ, то въ этомъ случаѣ бракъ, говоря вообще, является прежде всего чувственно-нравственнымъ половымъ отношеніемъ, возникающимъ благодаря половой любви.

Но вмѣстѣ съ тѣмъ немедленно указывается нѣкоторая проблема. Представляетъ ли половая любовь, а потому и бракъ, по своей внутренней сущности, чувственное и, *кроме*

того, нравственное отношеніе двухъ половъ другъ къ другу? Или же онъ представляетъ собою соединеніе того и другого въ одномъ неразрывномъ цѣломъ? Представляютъ ли собою чувственное и нравственное отношенія два факта, существующіе *независимо* другъ отъ друга, или они являются двумя нераздѣльными сторонами одного и того же? Какъ обстоитъ тутъ дѣло съ *нравственной точки зрѣнія*? Какъ оно должно обстоять въ данномъ случаѣ?

Я опредѣлю смыслъ этого вопроса болѣе точнымъ образомъ: безъ сомнѣнія, общимъ *фактическимъ основаніемъ* брачнаго союза или тѣмъ, что прежде всего составляетъ брачный союзъ въ дѣйствительности, является *чувственное* половое отношеніе. Мы требуемъ однако, чтобы брачный союзъ представлялъ собою въ то же время *нравственное* отношеніе.

А такое требованіе можетъ имѣть два смысла. Или, по нашему мнѣнію, нравственное отношеніе должно прибавляться къ чувственному, какъ нѣчто новое и самостоятельное, и въ то же самое время какъ нѣчто естественнымъ образомъ высшее, подобно именно тому, какъ вообще въ человѣкѣ „нравственное“, т. е. духовно-нравственное, должно присоединяться къ чувственному, — говоря болѣе конкретно, такимъ же образомъ, напримѣръ, какъ человѣкъ долженъ, *кромя побужденія питанія*, давать мѣсто также *эстетическимъ и интеллектуальнымъ* потребностямъ. Въ этомъ случаѣ за чувственнымъ моментомъ брачнаго союза признается *самостоятельное право*; чувственное влеченіе половъ другъ къ другу получаетъ само по себѣ, и безъ осуществленія нравственнаго момента, законное оправданіе, подобно тому, какъ за потребностью питанія признается самостоятельное право на проявленіе, — такъ что къ нему не предъявляется требованіе, чтобы оно постоянно являлось *соединеннымъ* съ эстетической или интеллектуальной потребностями, чтобы оно проявлялось не иначе, какъ *идя рука объ руку* съ ними.

Или же это требованіе означаетъ, что чувственное влеченіе половъ другъ къ другу должно всякій разъ, какъ оно получаетъ силу и домогается права на проявленіе, быть *нравственнымъ* само въ себѣ; согласно этому мнѣнію, такое чувственное влеченіе или побужденіе должно оставаться тѣмъ, что оно есть, только тогда и въ той степени, когда и въ какой степени оно является *связаннымъ* съ нравственнымъ моментомъ. вмѣстѣ съ тѣмъ за этимъ влеченіемъ или побужденіемъ *оспаривается* самостоятельное право существованія, или же право приобрѣтать значеніе также въ качествѣ *просто* чувственного влеченія или побужденія.

Попробуемъ сперва допустить, что торжествуетъ послѣдняго рода мнѣніе. Пусть, слѣдовательно, существуетъ требованіе, что чувственный моментъ половыхъ отношеній долженъ всегда связываться съ нравственнымъ моментомъ такимъ образомъ, чтобы первый достигалъ всегда своего осуществленія только *въ соединеніи* съ послѣднимъ или въ предположеніи одновременной наличности послѣдняго момента. Въ такомъ случаѣ спрашивается: какое имѣемъ мы право предъявлять подобное требованіе?

На это можетъ быть данъ только слѣдующій отвѣтъ. Вопросъ о томъ, что *должно быть*, какъ мы уже раньше убѣдились, является всякій разъ *вопросомъ о фактѣ*. Когда говорятъ, что нѣчто должно быть, или что нѣчто требуется въ нравственномъ отношеніи, то такое выраженіе всегда означаетъ: это требуется, и *необходимо* требуется, въ той мѣрѣ, въ какой мы являемся *людьми*, т. е. вполнѣ людьми,—слѣдовательно, существами, у которыхъ всѣ положительныя человѣческіе элементы дѣйствуютъ съ полною силою, причемъ всякій болѣе высокій изъ этихъ человѣческихъ элементовъ бываетъ тѣмъ болѣе дѣятельнымъ, *чѣмъ болѣе* онъ высокъ, т. е. чѣмъ большее значеніе имѣетъ онъ для человѣка въ его цѣломъ и для полноты положительныхъ элементовъ его человѣческаго существа.

Соотвѣтственно этому и вопросъ о томъ, какимъ обра-

зомъ въ насъ должно возникать и оказывать свое дѣйствіе чувственное половое влеченіе, значить то же самое, что вопросъ о слѣдующемъ фактѣ: какъ обстоитъ въ этомъ случаѣ дѣло въ дѣйствительности, и какъ оно необходимымъ образомъ должно обстоять, если и поскольку мы представляемъ собою такихъ людей въ полномъ смыслѣ слова? На этотъ фактическій вопросъ нельзя, пожалуй, дать отвѣта на основаніи простыхъ социальнo-утилитарныхъ соображеній. Разумѣется, такого рода соображенія должны имѣть мѣсто въ данномъ случаѣ. Свободное распоряженіе простымъ чувственнымъ влеченіемъ имѣеть или должно было бы имѣть социальныя послѣдствія, могущія представлять значеніе для нравственнаго человѣка. Въ особенности же мы считаемъ, что женщина, отдавшаяся такому влеченію внѣ нравственныхъ узъ брачнаго союза, уменьшила или уничтожила свое нравственное достоинство. Это однако снова приводитъ насъ къ вопросу: *почему* мы судимъ такимъ образомъ? Какое правовое основаніе, съ точки зрѣнія нравственности, мы имѣемъ въ пользу подобнаго сужденія?

Указываютъ также на социальныя послѣдствія для потомства, рождающагося только изъ чувственнаго полового отношенія, на опалу, которую „общество“ по необдуманности и, конечно, по грубости нравовъ переноситъ съ родителей на ни въ чемъ неповиннаго ребенка; или же напоминаютъ намъ о нравственномъ вредѣ, который долженъ произойти для ребенка вслѣдствіе отсутствія нравственнаго отношенія между его родителями. Однако такимъ путемъ нравственное право исключительно чувственнаго отношенія или отсутствіе такого права было бы поставлено въ зависимость отъ случайности существованія потомства.

Но мы не можемъ удовлетворяться этимъ. Не можетъ быть сомнѣнія, что исключительно чувственное половое отношеніе подвергается осужденію, уже *какъ таковое*. Всѣ ли подвергаютъ его осужденію, или только лишь многіе, и наконецъ сколь многіе, — въ данномъ случаѣ совершенно безразлично.

Достаточно, что мы дѣйствительно *встрѣчаемся* съ подобнымъ осужденіемъ. А это дѣлаетъ для насъ необходимымъ вопросъ, по какому нравственному *праву* оно совершается. Очевидно однако, что въ этомъ заключается въ то же время вопросъ, совершается ли такое осужденіе на основаніи нравственнаго права, и *въ какой мѣрѣ* оно совершается такимъ образомъ.

Какъ было уже сказано, это вопросъ о фактахъ. Но въ данномъ случаѣ разсматривается прежде всего фактъ, *известный* каждому. Уже въ животномъ царствѣ чувственное влеченіе половъ другъ къ другу соединено съ *эстетическими* моментами. Во всякомъ случаѣ, у *человѣка* дѣло обстоитъ такимъ образомъ. Здѣсь эта склонность, или влеченіе, пробуждается юношескою красотой, привлекательностью, симпатичностью всего облика и проявленій какого либо *человѣка*. Наоборотъ, это влеченіе *страдаетъ* или *разстраивается* подъ вліяніемъ эстетическаго *неудовольствія*.

Мы поймемъ все значеніе этого обстоятельства, если припомнимъ уже ранѣе указанные факты. Отмѣченный эстетическій моментъ не является исключительно *внѣшнимъ*. Удовольствіе, доставляемое *внѣшнимъ* обликомъ *человѣка*, непосредственное „симпатическое“ впечатлѣніе, производимое *человѣкомъ*, заключается не въ этомъ *внѣшнемъ* обликѣ, какъ таковомъ, а въ томъ, что мы влагаемъ въ него, во внутренней, личной жизни, которою, какъ намъ кажется, наполнены *внѣшнія* формы. Какъ чувство, вызываемое раздраженіемъ, производимымъ природой, является радостнымъ чувствомъ симпатіи къ такого рода *жизни*, точно также, только въ гораздо болѣе непосредственной формѣ, интересъ въ отношеніи *внѣшняго* явленія *человѣческой* личности является подобнымъ же чувствомъ.

Жизнь, которой повидимому наполнены формы *человѣческаго* тѣла, которая составляетъ предметъ этого чувства симпатіи, представляетъ собою, какъ уже раньше объ этомъ было сказано, прежде всего чувственную или чувственно-

животную жизнь. Обликъ человѣка, какъ я говорилъ ранѣе, отражаетъ для насъ силу или нѣжность, здоровье, гибкость, живость или покой жизни, которая бьется въ дѣйствительности или повидимому въ ея формахъ, — напр., этотъ обликъ отражаетъ почкованіе, цвѣтеніе и набуханіе этой жизни. Короче говоря, при видѣ прекраснаго или „симпатичнаго“ внѣшняго облика человѣка мы ощущаемъ радостный подъемъ чувства жизни. Мы это ощущаемъ или переживаемъ „въ лицѣ другого“, т. е. путемъ перенесенія себя въ чувственный обликъ другого человѣка.

Но этого всетаки недостаточно; съ перваго взгляда видно, что общее чувство жизни, о которомъ я говорю въ настоящемъ случаѣ, не можетъ быть мыслимо только какъ чувственно-животное, какъ простое чувство *тѣлесной* жизни. Общій ритмъ тѣлесной жизни въ томъ видѣ, въ какомъ онъ отражается для насъ во внѣшнемъ обликѣ человѣка, никакъ не можетъ не быть также образомъ ритма всей жизни и формой бытія и самочувствія *личности, взятой въ ея совокупности*. Прекрасный или симпатичный внѣшній обликъ человѣка производитъ на насъ впечатлѣніе *совокупной личности*, опредѣленнымъ образомъ организованной, сильной или нѣжной, чувствующей себя такъ или иначе; мы переживаемъ въ себѣ внутреннимъ образомъ такого рода совокупную личность въ актѣ перенесенія насъ самихъ въ это явленіе. Она составляетъ предметъ нашей симпатіи. Чувственно-животная жизнь образуетъ при этомъ прежде всего основаніе.

Но это тоже говорить слишкомъ мало. Впечатлѣніе *болѣе спеціальныѣхъ* видовъ содержанія высшаго, *непосредственно духовно-нравственнаго* характера присоединяется къ такому впечатлѣнію общей формы личнаго бытія и самочувствія и образуетъ вмѣстѣ съ нимъ единство. Мы уже видѣли однажды, что зеркаломъ *души* или *духовно-нравственнаго* въ человѣкѣ являются *непосредственныѣхъ* образомъ преимущественно глаза и ротъ, а затѣмъ вообще формы лица. Гордость и смиреніе, упорство и покорность, любовь и ненависть, духовная жи-

вость того или другого рода, наконецъ все, что даетъ положительное содержаніе человѣческой личности, отпечатлѣвается въ общихъ или частныхъ чертахъ внѣшняго облика прекраснаго и симпатичнаго намъ человѣка. Къ этому присоединяется еще слѣдующее: всякаго рода движеніе, всякій способъ внѣшняго поведенія, всякое выраженіе лица и жестъ, каждое сказанное слово дѣлаетъ его рѣчь болѣе сильной и болѣе разнообразной и обогащаетъ нашу симпатію.

Дѣло обстоитъ такимъ образомъ, несмотря на то, что намъ нѣтъ нужды отдавать себѣ въ этомъ отчетъ; да мы и не могли бы сдѣлать это, хотя бы только относительно частныхъ. Можетъ быть, приведенное воззрѣніе покажется поэтому невѣроятнымъ; сначала кажется непонятнымъ, какимъ это образомъ всякое впечатлѣніе внѣшняго облика человѣка должно быть основано на такого рода моментахъ. Это однако не мѣшаетъ тому, что дѣло въ всякаго сомнѣнія происходитъ именно такимъ образомъ. Внѣшній видъ человѣка представлялся бы намъ самою безразличною вещью на свѣтѣ, еслибы мы, на основаніи опыта, не привыкли связывать самымъ тѣснымъ и неразрывнымъ образомъ формы и всякаго рода способы внѣшняго представленія человѣка съ представленіемъ о животной и духовной жизни, соединенной съ этими формами.

Этимъ именно объясняется то обстоятельство, что внѣшній образъ человѣка производитъ на насъ настолько глубокое дѣйствіе, что иногда кажется намъ возвышеннымъ, божественнымъ и можетъ совершенно овладѣть нами. Отсюда же обнаруживается въ первый разъ также значеніе эстетическаго момента или непосредственнаго внѣшняго впечатлѣнія для влеченія половъ другъ къ другу. Въ то время, какъ это влеченіе соединено съ эстетическимъ моментомъ или непосредственнымъ внѣшнимъ впечатлѣніемъ, съ юношескою красотою, привлекательностью, прелестью всего внѣшняго вида, съ непосредственно и, можетъ быть, съ совершенно загадочно симпатическимъ эле-

ментомъ той формы, въ какой личность представляется внѣшнимъ образомъ, — такое влеченіе, говоря короче, является связаннымъ съ перечисленными видами содержанія личности. Оно представляетъ собою влеченіе къ совокуности животнаго и духовно-нравственнаго существа, какимъ послѣднее представляется въ дѣйствительности или повидимому во внѣшности личности.

Въ данномъ случаѣ я долженъ сказать намѣренно: какимъ оно „представляется въ дѣйствительности или *повидимому* во внѣшности личности“. Этимъ я указываю на то, что внутренняя сторона личности, выражающаяся во внѣшнемъ обликѣ человѣка, вовсе не всегда совпадаетъ съ дѣйствительною личностью. Прекрасной внѣшности можетъ соответствовать мало прекрасная или бѣдная внутренняя сторона. Симпатія къ личности, произведенная внѣшнимъ впечатлѣніемъ, можетъ не выдержать критики при соприкосновеніи съ дѣйствительною личностью. Въ той степени однако, въ какой этотъ случай имѣетъ мѣсто, именно знаніе истинной сущности личности исправляетъ нашъ образъ послѣдней. И чѣмъ живѣе и вѣрнѣе это знаніе, чѣмъ болѣе мы, слѣдовательно, не даемъ при столкновеніи съ человѣкомъ ввести себя въ обманъ видимостью или внѣшнимъ впечатлѣніемъ, а, напротивъ, имѣемъ непосредственно передъ глазами его истинную сущность, — тѣмъ вѣрнѣе въ такомъ случаѣ наша симпатія является обусловленной этою *истинною сущностью*, а потому и соединенное съ этой симпатіей чувственное побужденіе или влеченіе обусловлено ею.

Въ такомъ случаѣ чувственно-нравственное отношеніе половой любви становится влеченіемъ къ личности, взятой въ ея цѣломъ, и къ ея общей дѣйствительной сущности, хотѣніемъ обладать этою личностью со всѣмъ ея личнымъ содержаніемъ, стремленіемъ обладать всѣмъ физически-духовнымъ существомъ и, наконецъ, сліяніемъ двухъ чело-вѣкъ, взятыхъ въ ихъ цѣломъ. Мы не способны вскрыть послѣднее основаніе такого единства чувственнаго и ду-

ховно-нравственнаго. Это единство является фактомъ и въ то же самое время одной изъ глубочайшихъ тайнъ человѣческой природы, истиннымъ „*unio mystica*“. Неудивительно, что подобный фактъ вѣчно представляетъ интересъ для человѣчества, что онъ служитъ, главнымъ образомъ, самой неистощимой темой для искусства.

Впрочемъ, для характеристики этого факта не хватаетъ еще одного существеннаго момента. Половое влеченіе, о которомъ я говорю въ настоящемъ случаѣ, представляетъ собою влеченіе къ *другому* полу. А симпатія, съ которой послѣднее, повидимому, связано, является симпатіей къ чему-то относительно *другому*, чѣмъ мое собственное внутреннее содержаніе. Я уже означалъ ее, какъ нѣкоторое *дополненіе*. Въ этомъ лежитъ новая проблема, хотя и болѣе легкая для пониманія.

Повсюду мы находимъ въ человѣческомъ существѣ противоположности, противоположныя формы, въ которыхъ люди могутъ внутренне сознавать себя и проявляться, противоположности „ритма“ или „пульса“ внутреннихъ событій, контрасты „тѣмбра“ человѣческихъ проявленій жизни.

Въ человѣкѣ существуетъ „суровое“ и „нѣжное“, „сильное“ и „кроткое“, „повелительное“ и „покорное“; существуетъ влеченіе къ болѣе легкимъ, болѣе живымъ, болѣе бурнымъ возбужденіямъ и влеченіе къ покою и тишинѣ, склонность къ ясно-опредѣленному и конкретному, а также—къ чувственно неопредѣленному и общему, къ охвату широкихъ горизонтовъ и къ усердному кропанію надъ мелочами. Всѣ эти формы внутренняго проявленія одинаково свойственны людямъ и одинаковымъ образомъ принадлежатъ къ полному образу человѣка. Въ извѣстной степени всѣ люди *одновременно* предрасположены или предназначены къ подобнымъ другъ другу противоположнымъ способамъ проявленія. Во

всѣхъ существуетъ потребность и возможность такого рода противоположныхъ формъ внутренняго быванія.

Въ то же время однако въ человѣкѣ всегда существуетъ общее направленіе *совокупности его существа*, физическая и духовная совокупная организація, которая бываетъ болѣе или менѣе *одностороння* и, смотря по своимъ особенностямъ, благопріятствуетъ тѣмъ или другимъ изъ названныхъ другъ другу противоположныхъ формъ проявленія. Напримѣръ, я проявляю себя въ цѣломъ въ качествѣ повелительной натуры. Это не значить, чтобы во мнѣ вполне отсутствовало противоположное влеченіе. Этимъ говорится лишь, что послѣднее не въ состояніи проявляться въ такой же мѣрѣ въ силу общаго направленія моего духа, пока я предоставленъ только самому себѣ и своей организаціи въ цѣломъ. Этотъ тонъ заглушенъ въ аккордѣ моего существа. Эта струна моей внутренней жизни лишена возможности дать полный звукъ.

Подобная односторонность присуща какъ мужскому, такъ и женскому существу. Она заключается въ общей физической и духовной организаціи обоихъ половъ. Обусловливаемое ею различіе въ жизненномъ положеніи только усиливаетъ эту односторонность. Тѣмъ не менѣе въ мужчинѣ существуетъ женская черта, а въ женщинѣ—мужская, но только именно черта, которая не въ состояніи получить въ нихъ свободнаго проявленія сама по себѣ, пока мѣсть мужчины и женщины остаются замкнутыми сами въ себѣ.

Между тѣмъ повсюду, гдѣ только въ человѣкѣ существуетъ такого рода односторонность, существуетъ возможность дополненія путемъ *симпатіи*. Чѣмъ человѣкъ не въ состояніи быть непосредственно въ себѣ, тѣмъ онъ можетъ быть въ другихъ. Въ этомъ-то именно и состоитъ симпатія: она, повторяю, представляетъ собою переживаніе насъ самихъ въ другомъ человѣкѣ.

Въ настоящемъ случаѣ существуетъ *законъ контраста*, на основаніи котораго тѣ стороны жизни, которыя существуютъ

въ насъ, но, въ виду общей организаціи нашего существа, не могутъ быть осуществлены нами самими, особенно сильно стремятся къ осуществленію, когда намъ представляется случай пережить ихъ въ другомъ человѣкѣ. Чѣмъ сильнѣе въ насъ какойнибудь элементъ человѣческаго существа, и чѣмъ систематичнѣе онъ подавляется односторонностью общей нашей организаціи, взятой въ ея совокупности, тѣмъ сильнѣе стремленіе осуществить его въ актѣ симпатіи, т. е. въ сопереживаніи чужой жизни, и тѣмъ сильнѣе побужденіе радоваться при этомъ его осуществленію. Мы можемъ сказать вообще: то человѣческое, что мы встрѣчаемъ внѣ насъ самихъ и что переживаемъ совмѣстно съ другими, производитъ на насъ самое сильное дѣйствіе—не въ томъ случаѣ, когда оно во всякое время можетъ свободно проявляться и дѣйствительно проявляется въ нашемъ собственномъ существѣ, а тогда, когда оно существуетъ въ насъ въ формѣ сдерживаемаго стремленія и неудовлетворенной потребности, которая только теперь, въ актѣ симпатіи, становится свободной и получающей удовлетвореніе.

Я сказалъ однажды *о произведеніи искусства*, что оно насъ обогащаетъ, расширяетъ, ставитъ выше самихъ себя. Мы переживаемъ въ немъ, какъ я говорилъ, самихъ себя, и не въ нашемъ настоящемъ видѣ, а въ томъ, въ какомъ мы могли бы быть; мы находимъ въ немъ „я“ нашего страстнаго стремленія. Такого рода „я“ есть предметъ нашего стремленія, поскольку наше собственное существо заключаетъ въ себѣ зародышъ его, котораго мы однако не можемъ осуществить сами по себѣ или въ нашемъ собственномъ ограниченномъ существованіи.

Напримѣръ, сильное развитіе мощнаго зданія превышаетъ мѣру нашихъ силъ. Тѣмъ не менѣе мы переживаемъ въ себѣ это мощное развитіе, наслаждаясь архитектурой зданія. Оно впервые освобождаетъ въ насъ именно это влеченіе и приводитъ его въ осуществленіе. Какъ мы уже видѣли,

сущность эстетической симпатіи осуществляется впервые лишь въ подобнаго рода наслажденіи нашимъ „я“, вышедшимъ за предѣлы нашего собственнаго существа въ его цѣломъ.

При этомъ наше существо въ высшей степени обогащается и расширяется за свои предѣлы посредствомъ переживанія чужого существа, которое находится въ отношеніи контраста къ моему собственному существу, взятому въ своей совокупности. Такъ какъ въ мірѣ людей нѣтъ большаго душевнаго контраста, чѣмъ контрастъ половъ, то отсюда ясно, что нѣтъ симпатіи выше той, которая заключается въ половой любви.

Такимъ образомъ особаго рода сущность половой любви вполне отмѣчена. Она представляетъ собою чувственно-нравственное побужденіе или наслажденіе, доставляемое взаимодополненіемъ. Это не просто лишь оборотъ рѣчи, а выраженіе факта, когда брачный союзъ или то, что составляетъ его нравственную сущность, разсматривается, какъ соединеніе двухъ половъ въ одно цѣлое. Надо только прибавить, что обѣ половины могутъ соединяться внутреннимъ образомъ въ одно цѣлое лишь въ той мѣрѣ, въ какой каждая половина сама по себѣ въ глубинѣ своей основы представляетъ собою цѣлое, но въ то же время встрѣчаетъ препятствіе для своего проявленія въ качествѣ цѣлаго въ границахъ своей сущности. Такимъ образомъ эта симпатія, или любовь между мужемъ и женою, представляетъ собой въ одинаковой степени притяженіе однородныхъ элементовъ, какъ и притяженіе противоположныхъ. Она является притяженіемъ элементовъ однородныхъ, но разобщенныхъ по различнымъ и противоположнымъ направленіямъ, приведенныхъ вслѣдствіе этого къ одностороннему выраженію. Человѣкъ, самый полный по существу, въ то же время въ высшей степени мужественный или женственный, будетъ способенъ къ наиболѣе интенсивной половой любви.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, наконецъ, такого рода *соединеніе* чувственнаго момента полового отношенія съ нравственнымъ получаетъ весь свой смыслъ: оно является соединеніемъ чувственнаго влеченія съ влеченіемъ или побужденіемъ къ такого рода *своеобразному* и *дополняющему* совмѣстному переживанію содержанія личности въ томъ видѣ, въ какомъ это переживаніе имѣетъ мѣсто именно въ этой особенной симпатіи къ особѣ другого пола.

Ясно однако, что чѣмъ глубже въ нашей природѣ заложено стремленіе къ высшему и наивысшему содержанію личности, чѣмъ меньше насъ удовлетворяетъ, согласно нашей собственной сущности, болѣе низкое и болѣе бѣдное содержаніе личности, или чѣмъ болѣе недостатки послѣдней даютъ намъ себя чувствовать, т. е., въ концѣ концовъ, чѣмъ болѣе высоки мы въ нравственномъ отношеніи, тѣмъ большія требованія должны мы предъявлять къ личности (особенно съ точки зрѣнія ея духовно-нравственнаго содержанія), вызывающей ту своеобразную симпатію, которая выражается въ формѣ половой любви.

Поскольку вышеупомянутое естественное *состояніе соединенія* чувственнаго влеченія половъ съ такого рода симпатіей имѣетъ мѣсто, мы должны сказать, что, согласно нашей природѣ, чѣмъ болѣе мы ищемъ все высшаго и высшаго содержанія личности, или чѣмъ мы выше въ нравственномъ отношеніи, чѣмъ богаче и тоньше организованы, тѣмъ болѣе чувственное влеченіе въ насъ должно въ то же время непосредственно содержать требованіе удовлетворенія высшихъ духовно-нравственныхъ потребностей или требованіе рядомъ съ половой *симпатією* также личной связи, основанной на высшемъ духовно-нравственномъ содержаніи.

Въ настоящемъ случаѣ я говорю умышленно: *поскольку* эта связь имѣетъ мѣсто. Этимъ я хочу указать уже здѣсь, что подобная связь встрѣчается не во всякомъ человѣкѣ и не въ одинаковой *степени*. Объ этомъ я намѣренъ говорить

впослѣдствіи точнѣе. Но теперь я отвлекаюсь отъ подобныхъ возможностей въ человѣческой природѣ и предполагаю, слѣдовательно, что степень такой связи повсюду — одна и та же.

При такомъ предположеніи относительно сказаннаго выше справедливо и обратное: чѣмъ меньше чувственно-половое влеченіе въ человѣкѣ заключаетъ въ себѣ непосредственно потребность и требованіе высшаго нравственнаго отношенія, чѣмъ болѣе, слѣдовательно, чувственное влеченіе можетъ приобрѣсти могущество безъ внутренняго отношенія и соединенія личностей высшаго или болѣе глубокаго духовно-нравственнаго рода, тѣмъ болѣе должны мы предполагать, что въ такомъ человѣкѣ стремленіе къ нравственному содержанію жизни слабо, и что, слѣдовательно, личность обладаетъ болѣе низкимъ характеромъ въ нравственномъ отношеніи.

Въ этомъ заключается настоящее *зло* покорнаго слѣдованія чувственному влеченію при отсутствіи въ то же время высшихъ нравственныхъ узъ. Такое покорное слѣдованіе представляетъ собою зло, какъ симптомъ отсутствія высшей нравственной *потребности*, слѣдовательно, какъ признакъ недостатка *въ нашемъ существѣ*. Однимъ словомъ, мы можемъ назвать эту покорность зломъ въ томъ смыслѣ, въ какомъ мы вообще находимъ зло въ человѣческой природѣ. Мы вѣдь достаточно убѣдились, что зломъ въ насъ повсюду является недостатокъ, слабость, порча. Повсюду нравственность требуетъ господства высшаго надъ низшимъ, нравственнаго надъ чувственнымъ. Чувственное влеченіе или побужденіе половъ другъ къ другу въ состояніи однако, поскольку существуетъ упомянутое естественное единство или естественная связь чувственнаго влеченія съ высшими нравственными потребностями человѣка, получить силу и *безъ* удовлетворенія такого рода потребностей, только въ предположеніи, что эти нравственныя потребности сами по себѣ обладаютъ незначительной силой или являются относи-

тельно ослабленными, т. е. по сравненію съ силою чувственнаго влеченія.

Я говорилъ уже выше и только что повторилъ: *поскольку существуетъ* упомянутое естественное единство или естественная связь между чувственными и нравственными побужденіями. Въ этомъ заключается ограниченіе раньше сказаннаго. Высказанное выше утвержденіе имѣло бы значеніе совершенно общее и для всѣхъ людей въ одинаковой формѣ, еслибы такое единство встрѣчалось у всѣхъ людей въ равной мѣрѣ. Между тѣмъ *можно думать* прежде всего, что это обстоитъ не такъ, и что такое единство у различныхъ отдѣльныхъ людей то тѣснѣе, то слабѣе. Въ какойнибудь отдѣльной личности могли бы существовать относительно *другъ возлѣ друга* чувственное влеченіе и потребность въ нравственномъ содержаніи личности. Соотвѣтственно этому, чувственное влеченіе могло бы имѣть болѣе значительную силу и стремиться къ осуществленію *независимо* отъ высшихъ нравственныхъ потребностей; но это не было бы въ той же мѣрѣ, какъ въ другихъ случаяхъ, признакомъ нравственно болѣе низкой и болѣе бѣдной природы даннаго человѣка. Въ той степени, въ какой это имѣло бы мѣсто, такая самостоятельная сила чувственнаго влеченія показала бы въ данномъ случаѣ менѣе достойной осужденія съ нравственной точки зрѣнія, если оставить безъ вниманія то, о чемъ рѣчь будетъ далѣе.

Въ самомъ дѣлѣ, нѣтъ сомнѣнія, что это предположеніе въ данномъ случаѣ дѣйствительно имѣетъ мѣсто; необходимо замѣтить это. Только такимъ образомъ мы можемъ предохранить себя отъ измѣренія всѣхъ одной и той же мѣрой и тѣмъ самымъ отъ несправедливаго сужденія и осужденія.

Конечно, чувственное влеченіе, о которомъ у насъ идетъ рѣчь въ данномъ случаѣ, *должно всегда* быть связано съ наличностью нравственнаго отношенія и притомъ высшаго порядка. Нравственность повсюду требуетъ самаго вы-

сокаго, на что только человѣкъ способенъ. Каждая черта въ человѣкѣ должна принимать высшую нравственную форму, какую она только *можетъ* принять. Все чувственное, въ особенности то, что по своей природѣ *способно* сдѣлаться нравственнымъ, быть связаннымъ съ нравственнымъ элементомъ и вмѣстѣ съ тѣмъ быть поставленнымъ въ высшую нравственную сферу,—*должно непремѣнно* являться таковымъ въ самой высокой *степени*. Въ тѣхъ случаяхъ, когда этого нѣтъ, человѣку недостаетъ чего-то, сообщающаго ему нравственную цѣнность; въ этой части его существа есть нѣкоторый недостатокъ, есть нѣчто отрицательное, чѣмъ онъ, пожалуй, не можетъ похвастаться, какъ и вообще всею отрицательнымъ. Въ этомъ опредѣленномъ отношеніи человѣкъ является не сильнымъ, а слабымъ стоитъ въ нравственномъ отношеніи не высоко, а низко.

Такимъ же образомъ и специально чувственное влеченіе половъ, если ему недостаетъ вышаго духовно-нравственнаго содержанія, *во всякомъ случаѣ* не должно существовать; при этомъ мы имѣемъ въ виду чувственно-половое влеченіе не само по себѣ, а поскольку въ немъ отсутствуетъ именно такое высшее содержаніе, непосредственно облагораживающее въ нравственномъ отношеніи.

Но сужденіе о *личности*, въ ея цѣломъ, представляетъ собой нѣчто иное, чѣмъ нравственное сужденіе относительно какого нибудь *пункта* въ существѣ этой личности. Въ этомъ отношеніи справедливо сказанное выше: если у какого нибудь человѣка, согласно его природѣ, половой чувственный элементъ связанъ съ нравственнымъ менѣе тѣснымъ непосредственнымъ образомъ, или если тотъ и другой въ немъ сравнительно независимы другъ отъ друга, то такой человѣкъ можетъ въ значительной степени подчиняться силѣ чувственнаго влеченія; при этомъ, несмотря на присущій ему недостатокъ, онъ можетъ имѣть въ остальныхъ отношеніяхъ высокое нравственное содержаніе личности, — слѣ-

довательно, можетъ стоять высоко съ нравственной точки зрѣнія, какъ личность въ цѣломъ.

Сюда прежде всего относится выше отмѣченный фактъ, что *женщина*, подчиняясь чувственному влеченію, не основанному на нравственномъ отношеніи, полномъ высшаго содержанія, какъ намъ кажется, въ большей мѣрѣ уничтожается во всемъ своемъ нравственномъ существѣ или оскорбляется въ своей человѣческой чести, чѣмъ мужчина; мужчина при тѣхъ же самыхъ условіяхъ кажется намъ меньше униженнымъ, чѣмъ женщина. Этотъ фактъ долженъ имѣть внутреннее основаніе. Это основаніе можетъ заключаться только въ слѣдующемъ: опытъ, повидимому, показываетъ, что упомянутое соединеніе чувственнаго влеченія съ нравственною потребностью, ихъ естественное единство, *имѣетъ мѣсто* у женщины въ большей мѣрѣ, а у мужчинъ— въ меньшей; другими словами, опытъ показываетъ, что у женщины половая сторона ея существа срослась со всею личностью болѣе высокимъ, болѣе непосредственнымъ и болѣе принудительнымъ образомъ, между тѣмъ какъ у мужчины *независимое сосуществованіе* половой стороны его существа *на-ряду* съ остальными сторонами личности обнаруживается въ большей степени.

Отсюда являются два слѣдствія: во первыхъ, поскольку женщина является вообще носителницей болѣе глубокаго нравственно-духовнаго содержанія, постольку она, отдавая себя индивидууму другого пола, будетъ въ особенности полна этимъ высокимъ содержаніемъ; слѣдовательно, ея любовь будетъ особенно заполнять всю глубину ея существа, захватить всѣ ея интересы въ свое распоряженіе или подвергнуть ихъ освѣщенію съ извѣстной точки зрѣнія; женщина можетъ быть *вся* любовь, и *только* любовь, въ такомъ смыслѣ, который противорѣчитъ естественному назначенію мужчины; она цѣликомъ принадлежитъ и хочетъ принадлежать мужчине, которому она однажды отдалась, въ томъ смыслѣ, въ какомъ мужчина никогда не принадлежитъ жен-

щинѣ и никогда не *можетъ* принадлежать ей согласно своему естественному, а потому и нравственному назначенію.

Съ другой стороны, отсюда же слѣдуетъ обратное, а именно: половое влеченіе, лишенное болѣе глубокой индивидуальной основы и болѣе глубокихъ духовно-нравственныхъ соотношеній, и поэтому, слѣдовательно, не стремящееся установить нравственныхъ связей между личностями,—подобное половое влеченіе у женщинъ (въ большей степени, чѣмъ у мужчинъ) достигаетъ господства лишь *тогда, когда* женщина лишена глубокихъ духовно-нравственныхъ основъ, а слѣдовательно, лишена и потребности въ нравственномъ содержаніи личности, или, по крайней мѣрѣ, когда эти потребности у нея очень слабы. Однимъ словомъ, большая подчиненность половому влеченію, или, выражаясь отрицательно, подчиненность ему, обусловленная въ меньшей степени наличностью нравственныхъ узъ, является у женщины въ болѣе высокой степени симптомомъ недостатка не въ одномъ лишь *пунктѣ* ея существа, а во всемъ ея существѣ, пониженіемъ всей нравственной высоты женщины, выраженіемъ несостоятельности ея личности.

Поэтому мы полагаемъ не безъ основанія, что женская *честь*, что специфическое благородство женщины связано главнымъ образомъ съ этимъ пунктомъ ея существа, въ то время какъ честь мужчины, повидимому, въ болѣе значительной степени зависитъ еще отъ другихъ условій. Такъ должно быть, если наше предположеніе справедливо, т. е. если женскому существу свойственно въ большей степени, чѣмъ мужскому, отдаваться всею своею личностью половому влеченію тамъ, гдѣ оно является. Женщина, отказывающаяся отъ требованія нравственнаго содержанія въ половомъ отношеніи къ мужчинѣ и отъ требованія нравственнаго оправданія такого отношенія, строго говоря, уничтожаетъ себя. Мужчина же въ соотвѣтственномъ случаѣ можетъ быть еще значительною величиною. Онъ въ меньшей степени унижаетъ себя такимъ образомъ.

Къ этому можно прибавить еще одно обстоятельство, вытекающее отсюда, а именно: если при вышеуказанныхъ обстоятельствахъ женщина, подчиняющаяся чувственному влеченію безъ высшаго нравственнаго побужденія и безъ высшаго нравственнаго права, подвергается большому осужденію, то этотъ фактъ самъ по себѣ означаетъ, что ей доставляется обществомъ особенная защита или огражденіе, но въ то же время послѣднее влечетъ за собой, конечно, также и пагубныя ограниченія. Чѣмъ сильнѣе это огражденіе и эта защита, тѣмъ болѣе безстыдства и дерзости требуется для ихъ нарушенія.

Изъ сказаннаго можно вывести также слѣдствія и относительно поведенія мужчины. То, что говорилось выше объ оцѣнкѣ мужчины, имѣетъ въ настоящемъ случаѣ свою обратную сторону. Мы должны сказать слѣдующее: то обстоятельство, что позоръ женщины, подчиняющейся чувственному влеченію безъ высшаго нравственнаго права, является большимъ, увеличиваетъ одновременно и позоръ мужчины. Въ половой связи, лишенной своего нравственнаго права, мужчина присоединяетъ къ собственному, самому по себѣ меньшему, униженію еще и то, что онъ подвергается униженію и позору другую сторону. Если вѣрно, что женщина въ большей степени способна отдаваться цѣликомъ, или что она въ болѣе полной мѣрѣ отдаетъ свою *душу*, то отъ этого еще болѣе усиливается вина мужчины, который безсердечно играетъ ею и такимъ путемъ приноситъ самый глубокой вредъ человѣческому существу, а можетъ быть и губить его. Если женщина гибнетъ, теряетъ свою честь, свою женскую гордость и благородство, то виновенъ въ этомъ мужчина, который похищаетъ у нея ея гордость и благородство. Въ самомъ лучшемъ случаѣ это вытекаетъ у него изъ недомыслія; въ худшемъ же случаѣ, т. е. въ случаѣ большей сознательности, — изъ нравственной грубости и безчестности. Такимъ путемъ мужчина *обнаруживаетъ* не только испорченность своего существа, но онъ вмѣстѣ съ тѣмъ продолжаетъ и

далѣе приносить себѣ внутренній вредъ и въ концѣ концовъ можетъ погибнуть всею своею личностью, подобно загубленной имъ женщинѣ. Мужскому полу присуще глубокое нравственное ослѣпленіе, скрывающее отъ него то обстоятельство, что позоръ, который скопляется на падающей чувственно женщинѣ, обращается противъ мужчины. Самъ по себѣ онъ располагаетъ, несомнѣнно, большею свободою, но послѣдняя налагаетъ на него въ то же время и большую отвѣтственность. Мужчина хвастается большею силою вообще, и въ частности — большею нравственною силою. Пусть въ такомъ случаѣ онъ обнаруживаетъ эту силу, защищая покой, самоуваженіе, честь, чистоту и благородство тѣхъ, кого онъ считаетъ слабѣе себя, а не разрушаетъ ихъ. Разрушеніе столь высокихъ и благородныхъ вещей представляетъ собою проявленіе не силы, а скотскости. А если это дѣлается подъ маскою личной привязанности, высшихъ нравственныхъ чувствъ, даже подъ видомъ союза на всю жизнь, тогда это уже не скотство, а нѣчто гораздо худшее: трусливое предательство, безчестный обманъ. Примемъ въ соображеніе, какой оцѣнкѣ подвергается такое поведение въ прочихъ случаяхъ, — какимъ образомъ, на примѣръ, судятъ того, кто подъ личиною дружбы губить другихъ людей. Разсмотримъ въ такомъ свѣтѣ уловки соблазнительей. Любовь же представляетъ собой нѣчто еще болѣе глубокое, чѣмъ дружба; при этомъ рѣчь идетъ о всей личности съ ея самою интимною сущностью.

Допустимъ въ заключеніе, что у какой либо женщины уже нѣтъ или въ сущности никогда и не было той чести или того благородства, о которомъ я только что говорилъ. Въ такомъ случаѣ всетаки тотъ, кто пользуется этимъ обстоятельствомъ въ своихъ видахъ, фактически признаетъ подобное положеніе вещей, а потому — принимаетъ въ немъ участіе, отождествляется съ низменнымъ. Это, конечно, не благородно, а низко, въ концѣ концовъ даже болѣе, чѣмъ низко.

Тѣмъ не менѣе есть мужчины, считающіе себя честными людьми и истинными рыцарями, лишая обманнымъ образомъ слабое созданіе самаго лучшаго его достоянія или пользуясь утратою чести. И для настоящаго случая существуетъ, наконецъ, пробный камень, который можетъ показать даже слѣпому, что справедливо, и что нѣтъ. Намъ уже извѣстенъ этотъ пробный камень; къ тому же его примѣненіе часто предлагалось и въ другихъ случаяхъ: обобщить правило своего дѣйствія. Кто полагаетъ себя въ правѣ сдѣлать какую либо женщину жертвой своего каприза или своей страсти, въ сознаниіи своей мужественности, тотъ пусть представитъ себѣ въ моментъ спокойнаго обдумыванія собственныхъ дѣйствій возможность причиненія къ себѣ нибудь изъ окружающихъ его или изъ близкихъ подобнаго дѣйствія ему самому; пусть онъ тогда спроситъ себя, какимъ образомъ онъ отнесся бы къ такому человѣку внутренно, а можетъ быть, и внѣшне. Пусть затѣмъ разсмотритъ въ такомъ свѣтѣ свою мужскую честь.

Можетъ быть, образованный, знатный человѣкъ, что называется „кавалеръ“, считаетъ себя въ правѣ губить женщину, принадлежащую къ „низшему“ классу общества, бѣдную женщину изъ народа, не налагая этимъ пятна на собственную нравственную честь? Въ такомъ случаѣ надо вспомнить, что женская честь всюду—одна и та же, что права на нее нельзя пріобрѣсти, напримѣръ, благодаря имени, сословію, имуществу. Вспомнимъ еще, кромѣ того, что женщины низшаго класса бываютъ обыкновенно болѣе беззащитны; а тѣмъ человѣкъ беззащитнѣе, тѣмъ, конечно, легче, но также и тѣмъ безчестнѣе погубить его.

Выше я былъ принужденъ ограничить одно предложеніе, высказанное сперва въ общемъ видѣ, а именно слѣдующее: въ той степени, въ какой чувственно-половое влеченіе въ нѣкоторой личности получаетъ силу и требуетъ

своего права на существованіе независимо отъ отношенія высшаго духовно-нравственнаго содержанія или отъ высшей духовно-нравственной связи между личностями, данная личность вообще является лишенной высшаго духовно-нравственнаго содержанія и потребности въ немъ,—слѣдовательно, обнаруживается въ качествѣ личности низшаго рода въ духовно-нравственномъ отношеніи. Мнѣ хочется въ настоящемъ случаѣ сдѣлать еще одно замѣчаніе, которое равнымъ образомъ можетъ ограничить приведенное положеніе.

Мы находимъ чувственно-половое влеченіе естественнымъ образомъ связаннымъ прежде всего съ половою симпатіею или любовью, возникающей *изъ непосредственнаго впечатлѣнія* отъ внутренняго существа какой нибудь личности, т. е. изъ впечатлѣнія, непосредственно вызываемаго внѣшнимъ чувственнымъ видомъ человѣка и его манерой держать себя. Этой симпатіи мы противопоставляли симпатію *къ дѣйствительной* личности въ томъ видѣ, въ какомъ насъ знакомить съ нею опытъ.

Касательно этого мы можемъ заранѣе сказать слѣдующее. Нравственная личность характеризуется между прочимъ и тѣмъ, что ея симпатія или преданность къ другой личности *не* обусловливается непосредственно впечатлѣніемъ, и въ этой своей непосредственности обманчивымъ впечатлѣніемъ отъ этой личности. Сюда же можно отнести также и тотъ фактъ, что симпатія проявляется въ отношеніи дѣйствительнаго человѣка, а не въ отношеніи призрака человѣка. Противоположность этому составляетъ слабость,—личный, слѣдовательно, нравственный недостатокъ. Поэтому существуетъ также нравственное требованіе, чтобы *чувственная* черта личности проявлялась въ своемъ истинномъ видѣ, чтобы она была связана съ существованіемъ нравственнаго отношенія къ данной *дѣйствительной* личности.

Къ этому присоединяется еще слѣдующее: половая симпатія, обусловленная только непосредственнымъ впечатлѣ-

ніемъ, можетъ имѣть меньшее *нравственное содержаніе*, хотя это и не необходимо. Можетъ быть, она имѣетъ очень высокое нравственное содержаніе у того, кому непосредственное впечатлѣніе даетъ поводъ создать въ своей фантазіи *идеальный образъ* любимой особы, изукрашенный всякаго рода высокими нравственными чертами. Пусть этотъ образъ несколько не отвѣчаетъ дѣйствительности; пока идеаль, какъ таковой, существуетъ и является предметомъ вѣры, онъ даетъ любящему человѣку то же, что ему дала бы однородная *дѣйствительность*. Положеніе рѣшительнымъ образомъ мѣняется, если эта идеализація исчезаетъ, когда я достаточно ясно созналъ, что непосредственное впечатлѣніе личности и ея истинная внутренняя сущность являются вещами различными, а подчасъ—даже *очень* различными, когда, слѣдовательно, я долженъ сказать себѣ, что высшія духовно-нравственныя потребности и требованія, можетъ быть, *не* удовлетворяются дѣйствительною сущностью любимой особы, или когда я совершенно увѣренъ, что это дѣйствительно такъ. Симпатія или любовь, вытекающая изъ непосредственнаго впечатлѣнія, является въ такомъ случаѣ *болѣе чувственной* не только въ томъ смыслѣ, что она непосредственно связана съ чувственнымъ явленіемъ, но и посколькѣ она лишена достовѣрности высшаго духовно-нравственнаго содержанія, или посколькѣ она сохраняетъ силу, несмотря на сознанный недостатокъ такого содержанія. Съ другой стороны, надо обратить вниманіе также на слѣдующее: упомянутая симпатія, пробуждаемая *непосредственнымъ* впечатлѣніемъ, является по своей природѣ прежде всего *болѣе первоначальной*. *Непосредственное* впечатлѣніе является съ самаго начала, именно въ качествѣ *непосредственнаго*. Знакомство съ внутреннимъ фактическимъ содержаніемъ человѣка слѣдуетъ за нимъ. Упомынутая симпатія, обусловленная непосредственнымъ впечатлѣніемъ, можетъ возникать молніеносно. Первый взглядъ или одно мгновеніе, которое въ состояніи опредѣленнымъ образомъ освѣтитъ

личность, можетъ внезапно пробудить ее. Напротивъ, симпатія, основанная на знаніи, нуждается, разумѣется, во времени, само собой потому, что само знаніе нуждается во времени.

Къ этому прибавляется далѣе то обстоятельство, что упомянутое непосредственное впечатлѣніе можетъ имѣть особенно *принудительную силу* у нѣкоторыхъ людей. Юность въ особенности имѣетъ извѣстное естественное право предаваться такого рода впечатлѣнію, а вмѣстѣ съ тѣмъ и основанной на *нѣмъ* половой симпатіи; это потому, что юность есть преимущественно время сильныхъ непосредственныхъ впечатлѣній. Конечно, юность есть вмѣстѣ съ тѣмъ время „идеаловъ“. Юность, а именно *здоровая* юность, представляетъ собою поэтому время, когда для непосредственнаго впечатлѣнія и для пробужденной имъ половой любви создается въ фантазіи обыкновенно высшее духовное и нравственное содержаніе, идеализирующее любимую личность. Какъ бы ни были обманчивы такіе идеалы, и какъ бы быстро они ни разсѣивались, всетаки подобная мечтательная юношеская любовь—хорошая вещь. Но даже тамъ, гдѣ нѣтъ такой юношеской мечтательности, можетъ развиваться любовь, болѣе или менѣе исключительно обусловленная чувственнымъ впечатлѣніемъ, однако не дающая намъ права низко цѣнить поэтому такого человѣка въ нравственномъ отношеніи. Нѣкоторымъ людямъ можетъ быть свойственно, чтобы непосредственное впечатлѣніе дѣйствовало на нихъ съ принудительною силою, могущественнѣе, чѣмъ на другихъ людей, такъ что они непреодолимо подчиняются основанной на *нѣмъ* непосредственной симпатіи, въ особенности же непосредственной половой симпатіи. Сюда принадлежать по преимуществу натуры съ чрезмѣрно развитой эстетической стороною. Вѣдь именно эстетическому впечатлѣнію по существу свойственно находиться въ связи съ непосредственнымъ явленіемъ и имѣть своимъ содержаніемъ то, что чувственное явленіе, повидимому, содержитъ въ себѣ непосред-

ственнымъ образомъ. Съ знаніемъ истинной сущности предмета или личности послѣднее по своей природѣ не имѣетъ ничего общаго. Сила же эстетическаго впечатлѣнія есть вещь цѣнная.

Но, съ другой стороны, такого рода половая симпатія, согласно сказанному выше, является лишенной высшаго духовно-нравственнаго содержанія. Она во всякомъ случаѣ лишена увѣренности въ подобномъ содержаніи, если послѣдующее познаніе не дополняетъ непосредственнаго впечатлѣнія. Въ этой мѣрѣ, какъ я уже сказалъ, подобная половая симпатія имѣетъ болѣе чувственный, слѣдовательно, низшій характеръ. Въ какой бы степени однако половая симпатія ни обладала упомянутыми свойствами, и какъ бы такая *эстетическая* любовь, основанная на симпатическомъ элементѣ простаго вишняго явленія или наружнаго поведенія *безъ* наличности и достовѣрности высшаго духовно-нравственнаго содержанія, ни увлекала человѣка съ указанной душевной организаціей, всетаки это не значитъ, чтобы такому человѣку вообще были непременно *чужды* высшія духовно-нравственныя потребности. Подобный человѣкъ можетъ представлять собою нѣкоторымъ образомъ двѣ личности: изъ нихъ одна страстно захватывается непосредственнымъ, въ особенности же эстетическимъ впечатлѣніемъ, а другая — всей душой стремится къ духовно-нравственной высотѣ, которая не является въ одинаковой мѣрѣ предметомъ непосредственнаго впечатлѣнія; гдѣ же второго рода личность достигаетъ подобной высоты, тамъ она наслаждается ею въ высшей мѣрѣ. Высшая потребность сама по себѣ въ немъ *сильнѣе*; онъ ищетъ въ концѣ концовъ именно ея удовлетворенія. Недостатокъ же высшаго духовно-нравственнаго элемента въ упомянутой болѣе чувственной любви выступаетъ съ самаго начала враждебнымъ образомъ противъ этой любви и въ концѣ концовъ побѣдить ее. Тѣмъ не менѣе понятно, что такая любовь меньшаго духовно-нравственнаго содержанія, а также одновременно свя-

занное съ нею чувственное влеченіе пріобрѣтаютъ силу въ такомъ человѣкѣ. Высшей силѣ, принадлежащей духовно-нравственному элементу въ такомъ человѣкѣ, противопоставляется именно могущество, имѣющее болѣе принудительное значеніе, могущество непосредственнаго впечатлѣнія, соотвѣтствующее природѣ такого человѣка.

Иногда случается, что подобный человѣкъ мало уважаетъ или даже презираетъ предметъ такой болѣе чувственной любви, коль скоро онъ спрашиваетъ себя, что служить предметомъ такой любви. Однако то, что производитъ (или кажется производящимъ такое непосредственное впечатлѣніе) и вызываетъ непосредственную симпатію, въ теченіе извѣстнаго времени держать его крѣпко въ своей власти. Въ концѣ концовъ возможно даже кажущееся противорѣчіе, состоящее въ томъ, что такая болѣе чувственная любовь можетъ идти нѣкоторое время *рядомъ* съ любовью, имѣющею высшее духовно-нравственное содержаніе. При этомъ хотя первая и обоснована болѣе поверхностнымъ образомъ, всетаки, пока чувство существуетъ, оно будетъ носить характеръ особенной интенсивности, и соотвѣтственно этому любовь второго рода на нѣкоторое время можетъ быть оттѣснена совершенно на задній планъ.

Между тѣмъ высшая и глубже обоснованная любовь будетъ продолжаться. Чѣмъ глубже она обоснована, тѣмъ вѣрнѣе она будетъ сохраняться, и тѣмъ вѣрнѣе въ концѣ концовъ она сохранится одна. Точно также и въ другихъ случаяхъ относительно неважное, однако почему либо особенно сильное непосредственное впечатлѣніе, навязывающееся извиѣ, можетъ на время совершенно увлечь насъ и оттѣснить для насъ на задній планъ то, что является для насъ предметомъ глубочайшаго и никогда не угасающаго интереса.

При всемъ томъ сказанное выше сохраняетъ свою силу: практическое состояніе увлеченія непосредственнымъ впе-

чутлѣнїемъ за счетъ *дѣйствительности* высшаго порядка, увлеченїя болѣе чувственнымъ элементомъ за счетъ духовно-нравственнаго есть слабость; главнымъ же образомъ уклоненїе отъ предмета любви, цѣнность котораго мы знаемъ уже, въ сторону другого, менѣе цѣннаго, привлекающаго лишь своимъ внѣшнимъ обликомъ,—есть заблужденїе. Даже *явно эстетическое* впечатлѣнїе не должно обладать надъ нами въ дѣйствительной жизни. Какое бы высокое значенїе ни представляло эстетическое впечатлѣнїе, въ особенности же впечатлѣнїе человѣческой красоты или симпатичныхъ человѣческихъ свойствъ, всетаки въ отношенїи дѣйствительной жизни этотъ эстетическій элементъ всегда долженъ быть преодолеваемъ. Господство его есть результатъ слѣпоты, и мнимое право слѣпо руководиться имъ есть самоослѣпленїе.

Но, съ другой стороны, требуется и справедливость сужденїя. Если любовью болѣе чувственнаго характера увлекается человѣкъ, стоящій высоко въ духовномъ и нравственномъ отношенїяхъ,—напримѣръ, художникъ, одаренный высокой духовно-нравственной организаціей, если онъ подпадаетъ подъ особенную власть непосредственнаго чувственно-эстетическаго впечатлѣнїя, производимаго на него какою нибудь личностью, то, конечно, въ немъ одерживаетъ верхъ собственно-чувственное влеченїе, но его нельзя ставить въ слѣдствїе этого на одинъ уровень съ болѣе низкою натурою, которая слѣдуетъ такому влеченїю исключительно оттого, что ей не хватаетъ высшихъ духовно-нравственныхъ потребностей, такъ что она даже и не чувствуетъ недостатка удовлетворенїя послѣднихъ.

Также и въ этомъ отношенїи cadaго человѣка надо оцѣнивать въ его цѣломъ. Также и въ настоящемъ случаѣ хорошимъ или плохимъ оказывается въ послѣднемъ итогѣ не отдѣльное движенїе, а вся личность, обнаруживающаяся во внутреннемъ и внѣшнемъ поведенїи.

Странно, что мы привыкли употреблять выраженія: нравственный и безнравственный, или моральный и immoralный,—спеціально въ примѣненіи къ половому отношенію. Поскольку въ этомъ проявляется сознаніе высокаго нравственнаго значенія такой стороны человѣческой жизни,—противъ этого ничего нельзя возразить. Надо также ожидать, что эта сторона жизни въ наше время снова будетъ подвергнута особенно серьезному обсужденію.

Въ то же время упомянутая привычка рѣчи въ свою очередь дурна, поскольку она можетъ заставить насъ забыть, что нравственность въ послѣднемъ основаніи всегда является предикатомъ человѣка, взятаго въ его цѣломъ, и что, съ другой стороны, ничто изъ дѣйствительнаго или только возможнаго содержанія человѣка не можетъ быть совершенно лишено значенія съ точки зрѣнія оцѣнки человѣка въ нравственномъ отношеніи.

Но, конечно, весь „вопросъ о нравственности“—въ свою очередь и я употребляю это слово въ его спеціальномъ значеніи—нуждается не въ одномъ только серьезномъ *обсужденіи*. Этотъ вопросъ заключаетъ въ себѣ также серьезные общественныя задачи, задачи, покровительства и воспитанія, а именно: покровительства и воспитанія юношества, а также защиты женщинъ и защиты всѣхъ тѣхъ, кто не можетъ защищать себя самъ. Никто не скажетъ, чтобы общество въ настоящемъ случаѣ дѣлало достаточно. Оно, повидимому, относится довольно беззаботно къ тому, что женщины гибнутъ, юношество отравляется, мужчины вырождаются, а вырожденіе переходитъ путемъ наслѣдственности изъ поколѣнія въ поколѣніе и все увеличивается. Въ настоящемъ случаѣ является законнымъ прежде всего вопросъ: что значить внѣшній блескъ государственной культуры при такой внутренней порчѣ? Общество произноситъ приговоры, выталкиваетъ и выбрасываетъ испорченныхъ членовъ; оно требуетъ также уголовныхъ законовъ. Но важнѣе было бы подумать о спасеніи испорченныхъ людей

и позаботиться о предотвращеніи внутреннихъ и внѣшнихъ условій зла.

Допустимъ теперь, что существуетъ совершенная половая любовь,—слѣдовательно, такая, которая *должна* быть съ нравственной точки зрѣнія. Въ ней лежитъ также требованіе *исключительности*. Ей внутренне-присуще свойство принадлежать въ нравственномъ смыслѣ одному только индивидууму. Въѣсть съ этимъ чувственно-половое влеченіе, съ точки зрѣнія нравственности, ограничено однимъ индивидуумомъ. Истинный брачный союзъ—моногамиченъ прежде всего вслѣдствіе собственной природы брака, а не вслѣдствіе социальнаго значенія моногаміи въ смыслѣ гарантіи прочности брака или обезпеченія выгодъ для возможнаго потомства, хотя въ данномъ случаѣ опять-таки подобныя социальныя послѣдствія не лишены существеннаго значенія. Опытъ показываетъ, что чѣмъ интимнѣе и содержательнѣе чувственно-нравственная связь между супругами, тѣмъ вѣрнѣе она *предъявляетъ притязанія* на исключительность. А вслѣдствіе этого подобная исключительность требуется всюду. Какъ было сказано выше, нравственность повсюду требуетъ самаго высшаго.

Въ то же время бракъ является идеально-нерасторжимымъ, пока живы оба супруга. Если между ними существуютъ нравственныя, душевныя, духовныя отношенія, основанныя на сущности личности, то время можетъ связать ихъ еще лишь крѣпче. Въ такомъ случаѣ эти отношенія должны также пережить чувственную и чувственно-эстетическую сторону брачнаго союза. Равнымъ образомъ глубокой внутренней *антагонизмъ* между двумя личностями долженъ еще болѣе возрасти при совмѣстной жизни супруговъ; бракъ между такими личностями съ теченіемъ времени перестаетъ существовать, такъ какъ въ дѣйствительности его никогда и не было; а въ такомъ случаѣ не

слѣдовало его и заключать, и онъ долженъ быть расторгнутъ также и внѣшнимъ образомъ. Продолженіе половыхъ отношеній является въ этомъ случаѣ столь же безнравственнымъ, какъ въ другихъ случаяхъ чисто-половое отношеніе. Нравственная унижительность ложной видимости добра только усиливаетъ нравственный вредъ. Провозглашеніе внѣшней нерасторжимости брачнаго союза, принудительныя мѣры къ внѣшнему сохраненію внутренне распавшагося брака представляютъ собою намѣренную защиту лжи и основываются на внѣшнемъ понятіи о брачномъ союзѣ, понятіи, которое игнорируетъ нравственную сущность брака и потому само является внутренне-безнравственнымъ.

„Бракъ“ былъ для насъ до сихъ поръ чувственно-нравственною половою связью независимо отъ внѣшней формы, доставляющей браку общественное признаніе. Такимъ образомъ, однако, эта внѣшняя форма не обезцѣнивалась въ нравственномъ отношеніи. Нравственная сущность брачнаго союза заключаетъ въ себѣ также и то, что супруги безъ достаточныхъ нравственныхъ основаній стараются не навлекать на себя презрѣнія и избѣгать практическихъ соціальныхъ послѣдствій, вытекающихъ изъ нелегальности ихъ отношеній и въ концѣ концовъ угрожающихъ также самому браку, т. е. чувственно-нравственному отношенію супруговъ. Къ тому же уваженіе къ существующему общественному порядку вообще и его нравственной цѣнности уже можетъ служить достаточнымъ мотивомъ для желанія узаконить супружескія отношенія.

Съ другой стороны нельзя, однако, не признать, что нравственное право сообщается брачному союзу вовсе не этимъ узаконеніемъ его, а единственно сущностью чувственно-нравственнаго отношенія. Легализація представляетъ собою не основаніе для нравственнаго права брачнаго союза, а можетъ быть только естественнымъ и необходимымъ слѣдствіемъ такого права. Никакая внѣшняя форма не можетъ создать нравственной цѣнности. Конечно, однако, *существую-*

щая нравственная цѣнность можетъ *требовать* необходимымъ образомъ внѣшней формы, въ которой она представляется и посредствомъ которой охраняется.

Согласно сказанному, брачный союзъ самъ въ себѣ заключаетъ свою нравственную цѣнность. Онъ не представляетъ собою просто средства для достиженія какой либо цѣли. Но свое полное естественное назначеніе и вмѣстѣ съ тѣмъ полное нравственное значеніе брачный союзъ получаетъ впервые только, когда семья дополняется потомствомъ, и общія заботы о ребенкѣ, объ его тѣлесномъ и нравственномъ благополучіи создаютъ новыя нравственныя узы. Особенное естественное отношеніе матери къ ребенку, я имѣю въ виду прежде всего отношеніе *физическое*, а также различіе въ физической и нравственной организаціи половъ обуславливаетъ различіе задачъ мужа и жены по отношенію къ дому и къ семьѣ, различіе, не нуждающееся въ дальнѣйшемъ поясненіи. Всегда будетъ имѣть значеніе то обстоятельство, что женщина принадлежитъ въ большей мѣрѣ семьѣ, а мужчина— болѣе широкому соціальному цѣлому, что въ семьѣ будетъ заключаться высшее призваніе женщины, а не мужчины.

Вслѣдствіе этого, однако, и женщина принадлежитъ болѣе широкому соціальному цѣлому. Она тоже является человекомъ среди другихъ людей. Незамужняя же женщина, которая не можетъ найти въ семьѣ того, что давало бы ей жизни цѣль и содержаніе, должна искать и найти жизненную цѣль гдѣ нибудь въ другомъ мѣстѣ. Тутъ мы сталкиваемся съ „женскимъ вопросомъ“ и прежде всего въ формѣ вопроса о видахъ женскаго призванія. Какимъ образомъ слѣдуетъ отвѣтить на такой вопросъ? Говоря вообще, отвѣтъ долженъ быть данъ не въ силу какихъ либо привычекъ мышленія, а въ силу нѣкоторыхъ основаній согласно реально обоснованному правилу, т. е. такому, которое можетъ быть высказано въ видѣ общаго правила. Та-

кое правило уже извѣстно намъ: всякій долженъ дѣлать то полезное и доброе, на что онъ *способенъ*. Всякій однако можетъ приносить тѣмъ болѣе пользы и добра, чѣмъ болѣе онъ находится на своемъ мѣстѣ, т. е. чѣмъ болѣе старается дѣлать то, что соотвѣтствуетъ его особенной природѣ и способностямъ. Въ этомъ заключается его естественное призваніе.

Это правило относится также и къ женщинѣ. Нѣтъ нужды въ особомъ правилѣ для опредѣленія свойственныхъ женщинѣ профессій.

Что же это однако значить? Какіе виды профессій соотвѣтствуютъ женской природѣ и способностямъ, и какіе не соотвѣтствуютъ? Этотъ вопросъ отчасти находитъ вѣрный отвѣтъ въ общеизвѣстныхъ фактахъ женской организациі; но только отчасти. Въ той же мѣрѣ, въ какой послѣднее не имѣетъ мѣста, надо поступать такъ, какъ это дѣлаютъ и въ другихъ сомнительныхъ случаяхъ, т. е. надо представить рѣшеніе этого вопроса правильно поставленному опыту, а не отрицать необдуманнѣмъ и скоропалительнѣмъ образомъ у женщины *способность* къ той или иной профессіи.

Пусть, поэтому, сдѣлаютъ серьезные *опыты*. Пусть женщинѣ будетъ предоставлена возможность показать свои силы и *испытать* ихъ. Пусть и въ настоящемъ случаѣ будетъ данъ свободный путь всякому честному хотѣнію. Пусть во всякомъ случаѣ будутъ осуществлены необходимыя условія для *развитія* женскихъ силъ.

Вѣдь никому неизвѣстно, что могутъ дать какія нибудь силы и способности, пока ихъ ослабляютъ, вмѣсто того, чтобы развивать.

Особенно же слѣдуетъ отказаться отъ предразсудка, въ силу котораго женщина является прежде всего „украшеніемъ жизни“, предназначеннымъ для удовольствія мужчинъ, „цвѣткомъ“ въ жизненномъ саду, которому полагается цвѣсти и увядать, нѣкоторой декоративной фигурой, наконецъ своего рода игрушкой, хотя бы и въ высшей степени бла-

городной. Надо приучить себя къ мысли о томъ, что женщины—тоже люди, что онѣ также имѣютъ нѣкоторую самоцѣль и въ то же время могутъ однако осуществлять цѣль своего существованія только въ качествѣ дѣятельныхъ членовъ человѣческаго общества. Для этого требуется, конечно, чтобы сами женщины привыкали смотрѣть на себя, какъ на людей, имѣющихъ самоцѣль, а не какъ на развлеченіе мужчины. А отсюда слѣдуетъ, что ихъ надо приучить къ подобному взгляду на самихъ себя.

Вмѣстѣ съ тѣмъ надо остерегаться постояннаго и исключительнаго обращенія въ настоящемъ вопросѣ съ общимъ понятіемъ „женщина“: женщины тоже бываютъ различны. Чтò не соотвѣтствуетъ природѣ одной изъ нихъ, можетъ отвѣчать природѣ другой.

И еслибы даже выяснилось, что призваніе, которому посвятила себя какая нибудь женщина, не вполне подходитъ къ женской природѣ, то надо вспомнить, что абсолютнаго соотвѣтствія призванія мужчины съ его характеромъ и способностями также нельзя всегда достигнуть. Замѣтимъ, что во всякомъ случаѣ *каждое* серьезное жизненное содержаніе, каждое призваніе, каждый долгъ лучше, чѣмъ жизнь безъ серьезнаго содержанія, чѣмъ безцѣльная растрата существованія, будь то даже „цвѣтеніе“ и отцвѣтаніе безъ призванія и цѣли.

Можетъ быть, опасаются конкуренціи, которую мужчина долженъ бы былъ выдерживать со стороны профессиональной дѣятельности женщины? Подобнаго рода опасеніе плохо вяжется съ ученіемъ о высшихъ способностяхъ мужчины. Если мужчина гдѣ нибудь падаетъ въ этой конкуренціи, то это значитъ, что такъ и *должно* быть. Впрочемъ, въ наше время мужчинѣ было бы въ высшей степени полезно, чтобы такое состязаніе заставило его серьезно заняться развитіемъ своихъ мужскихъ силъ и способностей.

Въ особенности же не слѣдуетъ лишать женскій полъ средствъ къ достиженію *высшаго духовнаго образованія*. Поскольку

послѣднее является профессиональнымъ образованіемъ, постольку вопросъ идетъ о томъ, годится ли для женщины соотвѣтствующая профессія. Поскольку же это образованіе является общечеловѣческимъ, „гуманистическимъ“ въ истинномъ смыслѣ слова, оно должно быть безусловно доступно какъ женщинамъ, такъ и мужчинамъ сообразно съ ихъ способностью принять его и переработать. Женщина, болѣе къ этому способная, должна имѣть на это съ нравственной точки зрѣнія высшее право, чѣмъ менѣе способный мужчина. Духовныя способности должны быть развиваемы не потому, что онѣ принадлежатъ мужчинамъ или женщинамъ, а потому, что онѣ существуютъ, и что представляютъ собою силу, требующую развитія.

Тяжелѣе всего, повидимому, побѣдить въковой тысячелѣтній предрасудокъ въ отношеніи *политическихъ* правъ женщины. Намъ отталкиваетъ въ данномъ случаѣ необычность представленія. Въ такомъ случаѣ, однако, намъ слѣдуетъ привыкнуть именно къ этому представленію. Признаніе политическихъ правъ за женщиной отнюдь не является отрицаніемъ полового различія; напротивъ, какъ разъ *признаніе* полового различія *требуетъ* признанія за женщиной политическихъ правъ, именно въ томъ случаѣ, если признается, что женщина и мужчина *одинаково* суть *люди* и члены человѣческаго общества. Конечно, половое различіе существуетъ, и различіе самое глубокое. Но именно отсюда слѣдуетъ, что у женщины есть свои собственные интересы, матеріальные и нравственные. Въ ней осуществлены особенныя стороны человѣчества; у нея есть свои силы; она представляетъ собственные человѣческія потребности и требованія. Всякій признаетъ за мужчинами право представлять свои разнообразныя интересы въ общинѣ и въ государствѣ. Но въ представительствѣ народа или части послѣдняго должны найти себѣ мѣсто интересы всѣхъ,—слѣдовательно, также и особые интересы женщины. Весь народъ со всѣми своими естественными требованіями, всѣми матеріальными и духовными

жизненными потребностями долженъ выражаться въ своемъ представительствѣ, а потому должно быть представлено и то своеобразное, что женщины вносятъ въ данную народную среду. Подобно мужчинѣ, женщина должна имѣть право *сама* заботиться о собственныхъ интересахъ. Она не должна зависѣть отъ милости или случайной благосклонности мужчины. Этого не должно быть уже потому, что она вѣдь ближайшимъ образомъ чувствуетъ свои особенные жизненные интересы и интересы своего пола и, слѣдовательно, должна понимать ихъ наиболѣе непосредственно. Поэтому, она прежде всего должна имѣть возможность сама *выбирать* себѣ представителя, который бы ей годился. Наконецъ естественно ея *представителемъ* должна быть личность, живущая сама тѣми же интересами, слѣдовательно, принадлежащая къ одному съ нею полу.

Конечно, каждому представителю народа должно вмѣстѣ съ тѣмъ быть близко благосостояніе *цѣлаго*. Въ то же время каждый съ своей стороны долженъ его отстаивать по мѣрѣ своего *разумѣнія*. Однако общее благосостояніе, въ особенности же нравственное, должно также входить въ интересы женщины, поскольку вѣрно, что она является членомъ народа въ такой же мѣрѣ, какъ и мужчина. Существуютъ явленія, въ отношеніи которыхъ чувство и взоръ женщины впечатлительнѣе и шире; существуютъ отношенія, которыя женщина, именно какъ таковая, способна разсматривать глубже и судить о нихъ яснѣе, чѣмъ мужчина. Въ нашихъ народныхъ представительствахъ нѣкоторыя вещи разсматривались бы женщиною иначе: иныя, можетъ быть, — болѣе узкимъ образомъ, менѣе умно; другія же, напротивъ, — шире; нѣкоторыя же во всякомъ случаѣ — чище, человѣчнѣе, нравственнѣе; это не повредило бы общественной жизни.

Намъ возражать, пожалуй, ссылкой на политическую незрѣлость женщины. Возможно, что она велика, и что въ среднемъ она превосходитъ незрѣлость мужчины, но въ та-

комъ случаѣ пусть позаботятся о политическомъ воспитаніи
и мужчины, и женщины.

Упомяну еще объ одномъ старомъ возраженіи: мужчина несетъ взаимнѣ за свои политическія права воинскую повинность. Я же спрошу въ свою очередь: не оказываетъ ли женщина еще бѣльшую услугу государству, рождая для него сыновей и дочерей въ боляхъ и съ опасностью для жизни? Но вѣдь это относится не *ко всемъ* женщинамъ. Однако вѣдь и воинскую повинность несутъ также не все мужчины. Наконецъ, и на войнѣ женщины оказывали услуги, правда, не нанося ранъ, а перевязывая ихъ. Последнее, безъ сомнѣнія, выше перваго.

Наконецъ, развѣ не было мудрыхъ и достойныхъ королевъ? Или же, можетъ быть, полагаютъ, что дѣятельность короля есть мало серьезное въ политическомъ отношеніи дѣло?

Идя дальше, я не буду говорить въ отдѣльности о социальномъ организмѣ, общинѣ и объ единицахъ ихъ. Не буду также говорить отдѣльно о свободныхъ соединеніяхъ людей въ ассоціаціи и объ ихъ важномъ значеніи съ нравственной точки зрѣнія. Вѣдь ясно, что такое значеніе существуетъ, и что оно тѣмъ выше, чѣмъ больше облегчаетъ чело-вѣку осуществленіе правильныхъ съ человѣческой точки зрѣнія и, въ концѣ концовъ, самыхъ высокихъ нравственныхъ цѣлей, которыя чело-вѣкъ одинъ не способенъ осуществить. Можно лишь прибавить, что моментъ свободы усиливаетъ нравственную цѣнность, такъ какъ люди вѣдь предназначены къ тому, чтобы свободно осуществлять добро. Поэтому право ассоціацій—высокое благо, а его защита и развитіе есть нравственная обязанность. Последнее имѣетъ тѣмъ бѣльшую важность, чѣмъ больше дѣло идетъ при этомъ о самыхъ высокихъ и глубокихъ въ нравственномъ смыслѣ интересахъ и вопросахъ.

Какъ уже сказано, я не намѣренъ останавливаться на этомъ. Въмѣсто того я обращаюсь непосредственно къ самому широкому по объему, фактически существующему социальному организму, который еще собственно можно обозначить, какъ социальный организмъ. Это въ то же время такой организмъ, который охватываетъ въ самыхъ обширныхъ размѣрахъ всего человѣка со всѣми его интересами.

Подобно тому, какъ чувственно-нравственное отношеніе между полами устанавливается посредствомъ брачнаго союза, такъ *государство* получаетъ свое установленіе благодаря дѣйствующему въ немъ *праву*. Что представляетъ собою такое „право“, въ чемъ состоитъ его нравственная сущность, какъ относится оно къ *справедливости*?

Послѣдній вопросъ можетъ имѣть троякій смыслъ. Во первыхъ, чѣмъ устанавливается *понятіе* права? Каковы должны быть отличительные признаки предмета, который является или долженъ называться „правомъ“, а именно „правомъ“ въ томъ смыслѣ, въ какомъ это слово употребляется въ настоящемъ случаѣ, — въ юридическомъ смыслѣ, слѣдовательно, какъ дѣйствующее право? На это надо отвѣтить прежде всего, что право всегда противопоставляется простому произволу или капризу. „Право“ всегда заключается или можетъ быть заключено въ общихъ положеніяхъ. Право выступаетъ въ видѣ *общей нормы*.

Въ то же время эта общая норма имѣетъ *значеніе* въ томъ смыслѣ, что признаніе ея не зависитъ отъ усмотрѣнія отдѣльной личности. Послѣдняя *должна* признать общую норму, если не теоретически, то, по крайней мѣрѣ, практически. Правовыя нормы имѣютъ *принудительный* характеръ.

Соединяя вмѣстѣ то и другое, мы можемъ сказать, что дѣйствующее право представляетъ собою волю, которая заключена или можетъ быть заключена въ общія положенія, которая требуетъ со стороны отдѣльныхъ личностей практическаго признанія и которая при случаѣ имѣетъ намѣреніе и власть принудить къ подобному признанію.

Но въ понятіе дѣйствующаго права не входитъ требованіе, чтобы оно имѣло *нравственное содержаніе*. Дѣйствующее право остается, дѣйствуетъ, какъ бы ни было далеко отъ нравственности его содержаніе. Въ данномъ случаѣ отсюда въ то же время слѣдуетъ: то обстоятельство, что право дѣйствуетъ фактически, или что оно существуетъ въ качествѣ „права“,—само по себѣ не заключаетъ никакого *обязательства въ нравственномъ отношеніи* признавать его. Напротивъ, можетъ иногда явиться нравственная обязанность сопротивляться этому „праву“, т. е. въ настоящемъ случаѣ указанному насилію, чтобы вопреки ему поступать *по справедливости*.

Этотъ вопросъ въ такомъ случаѣ можетъ имѣть второй смыслъ: имѣетъ ли *дѣйствующее у насъ право* нравственное содержаніе? Имѣетъ ли наше государство или наши государства съ ихъ учрежденіями—нравственныя цѣли? На этотъ вопросъ, имѣющій уже не абстрактно-логическое, а реальное значеніе, мы, разумѣется, должны отвѣчать утвердительно. Конечно, утверждаютъ, и, пожалуй, даже съ нѣкоторою высокопарностью, что государство не является исправительнымъ учрежденіемъ. Это, безъ сомнѣнія, правильно. Однако государство является учрежденіемъ, или, вѣрнѣе, организмомъ, стремящимся къ осуществленію нравственныхъ цѣлей. Какъ всякому извѣстно, оно покровительствуетъ и споспѣшествуетъ искусству, наукѣ, религіи. Оно заботится о нравственномъ воспитаніи юношества. Оно караетъ и при этомъ обнаруживаетъ также нравственныя намѣренія.

Переходимъ, наконецъ, къ третьему возможному смыслу вопроса. Вопросъ, понимаемый въ этомъ *третьемъ* смыслѣ, представляетъ собою не логическую и не фактическую, а этическую проблему. Соответственно этому онъ является вопросомъ, который именно и подлежитъ здѣсь нашему изслѣдованію. Онъ гласитъ: *должно ли право имѣть нравственное содержаніе, а государство—нравственныя цѣли?*

На этотъ вопросъ мы должны теперь дать утвердитель-

ный отвѣтъ еще болѣе опредѣленнымъ образомъ, чѣмъ на первый.

✕ Государство должно имѣть нравственныя цѣли, уже потому, что мы не можемъ требовать отъ него, чтобы оно имѣло безнравственныя цѣли. ✕ Въ самомъ дѣлѣ, цѣли государства неизмѣнно были бы безнравственными, еслибы онѣ не были нравственными. Допустимъ, что государство было бы, какъ утверждали иногда, исключительно учрежденіемъ охраны. Въ такомъ случаѣ то, что государство охраняетъ, могло бы быть нравственнымъ или безнравственнымъ. Государство необходимымъ образомъ охраняетъ существующій социальный порядокъ. Послѣдній является справедливымъ или несправедливымъ съ нравственной точки зрѣнія. Такимъ образомъ, области, въ которыя вмѣшивается организующая дѣятельность государства, вообще не являются безразличными въ нравственномъ отношеніи. Слѣдовательно, государство не можетъ въ нихъ вмѣшиваться, не желая вмѣстѣ съ тѣмъ чего либо нравственнаго или безнравственнаго. Естественно, оно должно въ такомъ случаѣ хотѣть нравственнаго, такъ какъ нравственное вѣдь и есть именно то, что *должно* быть повсюду.

Если же государство ставитъ себѣ нравственныя задачи, и если оно должно ихъ ставить себѣ, то, повидимому, оно не имѣетъ границъ для своей дѣятельности. Его цѣлью, повидимому, должно являться осуществленіе нравственнаго вообще.

Въ настоящемъ случаѣ однако возникаетъ своеобразное противорѣчіе. Нравственному свойственно по природѣ совершаться свободно, по свободному убѣжденію; а государство въ отношеніи отдѣльныхъ личностей употребляетъ принужденіе.

Это противорѣчіе можетъ быть разрѣшено лишь слѣдующимъ путемъ: государство создаетъ *условія для развитія свободной нравственной личности*, причемъ по мѣрѣ надобности прибѣгаетъ и къ принужденію. Оно создаетъ внѣшнія и

внутреннія предварительныя условія, при которыхъ отдѣльная личность, поскольку она сама пользуется *свободно своими силами*, можетъ жить, какъ нравственный индивидуумъ, и съ своей стороны входитъ въ цѣлое.

Государство создаетъ для этого *внѣшнія* условія; это означаетъ слѣдующее: оно охраняетъ жизнь, заботится о больныхъ и лишенныхъ способности работать; оно охраняетъ дозволенное съ нравственной точки зрѣнія владѣніе, честь, свободу личности, нравственное проявленіе послѣдней въ качествѣ индивидуума, въ качествѣ члена семьи, общества, государства. Оно создаетъ, поддерживаетъ и умножаетъ посредствомъ *положительнаго труда* общія *матеріальныя условія* жизни, здоровья, заработка и упомянутыхъ разнообразныхъ формъ проявленія личности. Оно вызываетъ къ жизни и содержитъ *учрежденія, мѣропріятія, организаціи*, обеспечивающія за отдѣльными личностями возможность жить согласно *индивидуальнымъ способностямъ*, а также руководясь на основаніи *свободнаго рѣшенія* тѣми или иными родами *призванія, интересовъ и потребностей*, имѣющими значеніе для *матеріальнаго и духовно-нравственнаго существованія и развитія цѣлаго*.

Государство создаетъ также *внутреннія* условія для нравственнаго существованія отдѣльныхъ личностей и ихъ участія въ организмѣ цѣлаго; это означаетъ слѣдующее: оно заботится не только о возможности, но и объ *общей наличности* тѣлеснаго, умственнаго и нравственнаго *воспитанія и образованія*, которое является *необходимой общей основой* для обращенія путемъ *свободнаго выбора* къ той или другой жизненной профессіи или къ тому или иному жизненному *матеріальному или духовно-нравственному интересу*, имѣющему значеніе для цѣлаго.

Очевидно, я имѣю въ виду народное образованіе и народное воспитаніе. Въ концѣ концовъ вѣдь всѣ задачи государства сводятся къ двумъ: охраненію и воспитанію нравственной личности. Подобно тому, какъ воспитаніе, согласно

сказанному выше, является высшимъ призваніемъ чело-
вѣка, такъ оно составляетъ высшую задачу государства.

Во всемъ этомъ государство употребляетъ, гдѣ требуется,
принужденіе; но послѣднее предназначается для охраненія
и для возможности *свободнаго проявленія нравственной жизни*.

Къ формамъ проявленія челоуѣка, которымъ по природѣ
свойственно главнымъ образомъ быть свободными, относятъ
искусство, религія, наука и всякаго рода нравственныя
убѣжденія, а, слѣдовательно, и всѣ соціальныя и полити-
ческія убѣжденія. *Искусство* необходимымъ образомъ выте-
каетъ изъ внутреннихъ стремленій и переживаній художника.
Религія вытекаетъ изъ собственной внутренней потребности
человѣческаго сердца. *Научная истина* происходитъ изъ без-
условнаго подчиненія фактамъ и ихъ логическимъ послѣд-
ствіямъ, какъ бы эти факты и послѣдствія ни противорѣ-
чили самымъ законнымъ желаніямъ и интересамъ людей.
Пониманіе *нравственной истины* въ жизни *отдѣльныхъ лично-
стей* и въ совокупной жизни людей, проявляющейся въ
обществѣ и государствѣ, пріобрѣтается только путемъ сво-
бодной внутренней дѣятельности, въ свободномъ мышленіи
и обмѣнѣ убѣжденій. Поэтому, когда государственная власть
дѣлаетъ какое нибудь опредѣленное направленіе искусства
официальнымъ, когда она указываетъ наукѣ, какихъ *результатовъ*
она *должна* достигать, когда она опредѣляетъ, въ
чемъ заключается *истинная религія*, когда она *предписываетъ*
нравственныя, соціальныя, политическія *убѣжденія*, когда,
наконецъ, она подавляетъ или преслѣдуетъ внѣшними сред-
ствами то, что оказываетъ сопротивленіе ея собственнымъ
воззрѣніямъ въ какой нибудь изъ перечисленныхъ областей,—
въ такомъ случаѣ всѣ эти явленія представляютъ само-
противорѣчіе, отравленіе внутренняго существа этихъ вы-
сочайшихъ духовныхъ жизненныхъ интересовъ.

Конечно, во всѣхъ этихъ областяхъ заблужденію при-
надлежитъ широкое поле. Однако ошибки въ нихъ должны
быть исправляемы не иначе, какъ путемъ наставле-

нія, посредствомъ указанія того, что можетъ вести къ правильному сужденію, посредствомъ теоретическаго или практическаго *обнаруженія* истины. Заблужденіе можетъ быть побѣждено исключительно лишь *внутри* сознанія. А для этого, какъ уже сказано однажды, требуется возможность свободнаго обнаруживанія *всякаго* рода убѣжденія, право совершенно свободнаго обмѣна и сравниванія мнѣній. Каждое принужденіе, направленное противъ убѣждений, какъ уже объ этомъ было сказано, создаетъ лицемѣровъ, разрушаетъ чувство истины и этимъ наноситъ глубочайшій ударъ нравственному существу человѣка.

Такимъ образомъ, однако, отнюдь не устранены все границы, а скорѣе, напротивъ, *проведены* вполне опредѣленные рамки. Государство, конечно, должно заботиться о томъ, чтобы всякое честное убѣжденіе дѣйствительно могло обнаруживаться *свободнымъ образомъ*, чтобы сама духовная борьба не велась средствами принудительнаго характера, чтобы мѣсто такой борьбы, являющейся борьбой при помощи логическихъ основаній, не заняли оскорбленія, угрозы, преслѣдованія людей, чтобы также при этомъ сохранялись условія нравственной жизни и сожительства людей. Государство не имѣетъ права воспрепятствовать *критику* упомянутыхъ условій, а лишь можетъ и должно охранять фактическое существованіе ихъ. Оно не должно запрещать свободы критики, такъ какъ критика является однимъ изъ упомянутыхъ условій нравственной жизни и сожительства людей, и притомъ—отнюдь не изъ послѣднихъ. Говоря короче, въ данномъ случаѣ государство также создаетъ подобнаго рода „условія свободнаго развитія нравственной личности“.

Конечную цѣль права и основаннаго на послѣднемъ государства составляетъ свободная нравственность индивидуума. Только въ этомъ и заключается нравственное право существованія государства и права. Всякій государственный законъ находитъ себѣ руководящее направленіе и завершеніе въ нравственномъ законѣ.

Въ самомъ дѣлѣ, всякій законъ и всякое право носятъ въ себѣ элементъ, указывающій на нравственный законъ, какъ на свое завершеніе. Право, какъ на это указывалось съ особеннымъ удареніемъ, состоитъ въ общихъ нормахъ. Это относится равнымъ образомъ и къ нравственному закону или нравственнымъ законамъ.

Но не всѣ общія нормы имѣютъ нравственный характеръ. Нормы могутъ давать права и обязанности определеннымъ *классамъ* людей, но съ точекъ зрѣнія, лежащихъ внѣ соображенія нравственности. Онѣ могутъ связывать права и обязанности со внѣшними вещами, со случайностью имени, рожденія, принадлежностью къ какой нибудь семьѣ или къ какому нибудь сословію. Если допустить, что правовыя нормы *могутъ* имѣть такой характеръ, то онѣ устанавливають внѣшнія *классовыя* права или *привилегіи*.

Напротивъ, *нравственный законъ* соединяетъ права и обязанности исключительно *съ личностью*, съ ея нравственнымъ существомъ и съ возможностью, что посредствомъ личности будетъ оказано содѣйствіе общей нравственной цѣли и вообще осуществленію нравственной личности. Если предположить, что право состоитъ изъ нормъ, которыя такимъ образомъ имѣютъ внутреннее, личное, нравственное основаніе, обусловленное совокупностью нравственныхъ цѣлей, то несомнѣнно, что такое право имѣетъ нравственный характеръ, а упомянутое классовое право или привилегія — безнравственны.

Этимъ опредѣляется тотъ путь, по которому должно направляться нравственное развитіе права. Всякаго рода внѣшняя общность правовыхъ нормъ, т. е. всякая общность, состоящая въ томъ, что нормами охватываются личности, которыя характеризуются внѣшними признаками, должна уступить мѣсто внутренней общности нравственныхъ нормъ. Правовыя обязательства или преимущества, обоснованныя внѣшними моментами или приносившія къ нимъ, должны уступить мѣсто правовымъ предписаніямъ, обоснованнымъ и обуслов-

леннымъ внутреннимъ моментомъ: сущностью каждой личности и ея значеніемъ для нравственныхъ цѣлей общества. Короче говоря: классовое право и право привилегій должно перейти въ нравственное право чловѣка.

Классовое право и право привилегій обыкновенно опирается на историческія традиции. Многіе, повидимому, вполнѣ серьезно утверждаютъ особое нравственное достоинство за исторически создавшимся правомъ. Въ дѣйствительности такого достоинства нѣтъ, его и не можетъ быть. Все, что существуетъ, какъ хорошее, такъ и дурное, создано исторически; какъ право, такъ и его нарушеніе и безправіе имѣютъ историческое происхожденіе. Еслибы историческое возникновеніе было источникомъ нравственнаго достоинства, то, слѣдовательно, всякое зло, между прочимъ также и безправіе, и правонарушеніе обладали бы такимъ достоинствомъ.

Какъ бы то ни было, историческія традиции не лишены всякаго значенія при оцѣнкѣ права. Я говорилъ уже, что мы должны стараться осуществить въ настоящее время не совершенное, а лишь наилучшее изъ достижимаго. Въ практическомъ отношеніи имѣетъ значеніе стремиться не къ высшему идеалу, а къ возможному при данныхъ обстоятельствахъ. Такимъ образомъ для извѣстнаго времени какое либо право можетъ являться обоснованнымъ съ нравственной точки зрѣнія; въ иныя же эпохи то же право можетъ и не быть таковымъ, или же еще не быть имъ. Если мы назовемъ цѣлесообразнымъ въ нравственномъ отношеніи то, что среди данныхъ обстоятельствъ наиболѣе способствуетъ осуществленію нравственнаго на свѣтъ, въ такомъ случаѣ всякое право является дозволительнымъ въ нравственномъ смыслѣ, поскольку оно — *нравственно-цѣлесообразно.*

Въ этомъ уже заключается значеніе историческаго для права. Безъ сомнѣнія, исторически данное право, какъ таковое, не есть еще нравственное право, но несомнѣнно и то,

что историческія традиции вообще составляютъ условіе, которому необходимымъ образомъ подчиняется образованіе права, если оно должно быть нравственно оправданнымъ.

При этомъ однако надо вспомнить, что это условіе можетъ измѣняться, что данное въ извѣстный историческій моментъ также легко можетъ превратиться въ нѣчто иное, какъ оно въ свое время произошло изъ чего либо иного. Въ исторіи каждое мгновенье является конечнымъ пунктомъ, но въ то же время и исходной точкой, т. е. въ исторіи всѣ мгновенья суть промежуточные моменты. Исторія представляетъ собой постоянное возникновеніе, теченіе, развитіе. Обстоятельства, а равнымъ образомъ и люди, ихъ воззрѣнія и привычки измѣняются. Это означаетъ вмѣстѣ съ тѣмъ, что *въ правѣ* также не можетъ быть состоянія покоя. Почва, приобретаемая правомъ въ исторической традиціи, утрачивается имъ, ускользаетъ изъ-подъ него, если право застываетъ въ неизмѣнныхъ формахъ. Право, дѣйствительно долговѣчное, т. е. твердо обоснованное на продолжительное время, можетъ поэтому быть только постоянно *созидающимся* или непрерывно развивающимся. И мы сами въ настоящее время являемся или должны являться въ этомъ развитіи факторами, т. е. мы должны способствовать такому развитію. Мы должны содѣйствовать преобразованію внѣшнихъ отношеній и стремиться къ вліянію на другихъ людей; то и другое мы должны дѣлать въ нравственномъ смыслѣ, т. е. такимъ образомъ, чтобы въ будущемъ являлась возможной болѣе нравственная форма права. То и другое относится также къ задачѣ государства. Такимъ образомъ правовой порядокъ, коренящійся въ историческихъ традиціяхъ, именно при историческомъ разсмотрѣніи оказывается съ одной стороны имѣющимъ право на существованіе, а съ другой стороны, въ свою очередь, не имѣющимъ такого права. Онъ имѣетъ право на существованіе лишь въ качествѣ промежуточнаго момента: онъ долженъ существовать для постоянной смѣны.

Исторія даетъ намъ также указаніе относительно того, какимъ образомъ можетъ и должно происходить такое развитіе; намъ надо лишь стараться понять ея указанія. А тотъ, кто полагаетъ, что годное для одного времени можетъ годиться и для другого, конечно, плохо понимаетъ историческія указанія. Мы понимаемъ исторію, выводя изъ ея фактовъ *законы*, указывающіе намъ, какимъ образомъ развиваются условія нравственнаго правообразованія, и какой высоты можетъ достигнуть это правообразованіе при такихъ условіяхъ. При этомъ мы не должны также забывать, что на насъ лежитъ обязанность содѣйствовать созданію условій для осуществленія возможно болѣе нравственнаго правового строя, и что исполненіе этой обязанности является также нѣкоторымъ факторомъ въ развитіи права. Главнымъ же образомъ исторія учитъ, что развитіе совершается непрерывно. Предпосылки должны быть твердо обоснованы, если желаютъ, чтобы построенное на нихъ было долговѣчно. Новое должно укрѣпиться въ тѣхъ жизненныхъ формахъ, въ какихъ живутъ люди въ извѣстное время; это новое должно обратиться въ извѣстной степени въ *привычку*, прежде чѣмъ можно будетъ сдѣлать дальнѣйшій шагъ впередъ въ томъ же направленіи. При этомъ всегда могутъ явиться противоположныя мнѣнія относительно быстроты возможнаго движенія впередъ, или относительно того, существуютъ ли въ наличности условія для дальнѣйшаго шага, или относительно того, когда они возникнутъ. Противоположность нѣкотораго консерватизма и нѣкотораго радикализма находитъ въ настоящемъ случаѣ свое естественное оправданіе.

При всемъ томъ остается справедливымъ, что ничто не является законнымъ съ нравственной точки зрѣнія исключительно потому, что оно существуетъ. Въ настоящее время охотно провозглашаются священными извѣстные дѣйствительные или мнимые устои существующаго порядка, и ихъ

запрещается затрогивать и даже подвергать обсужденію. Иногда это, повидимому, дѣлается исключительно потому, что они представляют собою устои *сущестующаго* порядка. Между тѣмъ для человѣка, не окончательно слѣпому въ нравственномъ отношеніи, вопросъ можетъ состоять только въ томъ, представляютъ ли они устои *нравственнаго* порядка, а именно самаго нравственнаго изъ возможныхъ въ данное время, — являются ли они, слѣдовательно, *цѣлесообразными съ нравственной точки зрѣнія*. Вопросъ въ томъ, обладаютъ ли эти устои такими свойствами въ дѣйствительности для серьезнаго нравственнаго размышленія и для лишеннаго предразсудковъ изслѣдованія фактовъ, или, напротивъ, не являются ли они въ такомъ свѣтѣ лишь для человѣка, легкомысленно судящаго о серьезныхъ вещахъ, слѣдующаго предразсудкамъ или произвольному рѣшенію случайнаго авторитета.

Главнымъ образомъ, „собственность“, т. е., точнѣе говоря, существующій въ настоящее время *порядокъ* имущественныхъ и владѣльческихъ отношеній, затѣмъ существующая государственная конституція, въ Германіи—монархическая, означается такимъ образомъ, какъ святая и неприкосновенная. Въ данномъ случаѣ мы должны сказать слѣдующее: они—святы и неприкосновенны, пока они святы, т. е. пока *они* нравственно цѣлесообразны, слѣдовательно, способны болѣе, чѣмъ что нибудь другое, содѣйствовать нравственной конечной цѣли государства, осуществленію сильной, богатой и свободной личности. Они теряютъ свое нравственное право на существованіе, вопросъ сохраненія ихъ сводится къ вопросу простого насилія, съ того момента, какъ оказывается, что они уже утратили свою нравственную цѣлесообразность.

Я не буду теперь изслѣдовать вопроса, наступилъ ли у насъ такой моментъ въ настоящее время, или когда онъ наступитъ. Мы знаемъ лишь слѣдующее: еслибы такой моментъ наступилъ, каждый изъ насъ былъ бы обязанъ со-

дѣйствовать перестройкѣ этихъ устоевъ соціального и общественнаго порядка. Уже въ настоящее время мы не должны никому запрещать—давать согласно своему убѣжденію отвѣтъ на вопросъ объ этой ихъ сообразности и совершать *тотъ* долгъ, который ему предписывается его убѣжденіемъ. Въ наше время надо съ особенною настойчивостью подтверждать, что не существуетъ соціального консерватизма, „вѣрности королю“ или „преданности монархіи“, не существуетъ „охраненія государственнаго строя“, т. е. охраненія существующихъ въ настоящее время формъ государственнаго быта, которое составляло бы добродѣтель или давало бы поводъ хвастаться добродѣтельностью само по себѣ,—другими словами, независимо отъ вопроса о нравственной цѣлесообразности существующихъ въ данное время соціального порядка или государственной формы. Никто не имѣетъ права выдавать за плохого человѣка или менѣ національно и патріотически настроеннаго того, кто по чистой совѣсти отвѣчаетъ *отрицательно* на одинъ изъ означенныхъ вопросовъ. Все это представляетъ собою чрезвычайное смѣшеніе нравственныхъ понятій, легкомысленное или преступное подтасовываніе патріотизма или національнаго настроенія. Лишь того человѣка можно и надо называть плохимъ и не имѣющимъ отечества, который судитъ объ упомянутыхъ нравственныхъ вопросахъ о цѣлесообразности не съ точки зрѣнія нравственной цѣли, т. е. нравственнаго величія родины и человѣчества, а съ точки зрѣнія своей выгоды, продолженія или осуществленія въ будущемъ своихъ эгоистическихъ требованій или притязаній, лишенныхъ нравственнаго основанія. Всякаго, кто судитъ о названныхъ вопросахъ на основаніи своихъ привычекъ мышленія или даетъ одурачить себя посредствомъ неясныхъ идей, крылатыхъ словъ, фразъ консервативнаго или радикальнаго характера, можно упрекнуть въ духовной ограниченности или легкомысліи.

Существуетъ прекрасное обыкновеніе прибавлять къ

титуламъ государей слова: „Божіею милостію“. Эта „Божья милостію“ непосредственнымъ и *непримиримымъ* образомъ противоположна фикціи относительно нравственнаго достоинства исторической традиціи, которая повсюду и необходимымъ образомъ обуславливается *слѣпымъ человѣческимъ* хотѣніемъ и слѣпою *судьбою*. Конечно, это выраженіе получило часто невѣрное истолкованіе; но ясно, каковъ *можетъ* быть его единственный смыслъ. Само собою разумѣется, оно не можетъ значить, что тотъ, кто является дѣйствительно облеченнымъ въ королевскій санъ, всегда представляетъ собою угоднаго Богу и поставленнаго Имъ правителя страны, такъ какъ вѣдь и то обстоятельство, что въ извѣстный моментъ престолъ занимаетъ этотъ человѣкъ, а не тотъ, есть исторически-данное. Слѣдовательно, и при немъ, какъ при всемъ, что дается исторіей, необходимымъ образомъ играютъ роль слѣпое человѣческое хотѣніе и слѣпая судьба.

Человѣческія правовыя опредѣленія, подверженныя человѣческой близорукости, слабости и извращенности, повели къ тому, что данному человѣку достался въ настоящую минуту санъ государя; этому оказали также содѣйствіе всякаго рода слѣпныя случайности. Поэтому, при подобнаго рода пониманіи, божественное хотѣніе приравнивалось бы къ такимъ человѣческимъ свойствамъ близорукости, слабости, извращенности и къ слѣпымъ случайностямъ.

Кромѣ того, всемъ извѣстно, что бываютъ государи хорошіе и плохіе, помнящіе о своихъ обязанностяхъ и забывающіе о нихъ. Правленіе какого нибудь государя можетъ вести страну къ нравственному благу или къ нравственной гибели. И было бы богохульствомъ утверждать, что нравственная гибель угодна Богу, и что правленіе государя клонящееся къ такого рода нравственной гибели, можетъ, получить божественную санкцію.

Смыслъ приведеннаго выше выраженія можетъ быть только тотъ, что государь какой нибудь страны, подобно

каждому человеку, является ответственным за свои дѣйствія въ концѣ концовъ не передъ людьми, а передъ Богомъ и передъ голосомъ Бога, раздающимся въ его совѣсти; это выраженіе означаетъ, что права и обязанности, заключающіяся въ королевскомъ санѣ, подобно тому, какъ *всѣ* истинныя права и обязанности, *должны* быть нравственными, слѣдовательно, должны являться религіозному сознанию, какъ такія, которыхъ *хочетъ* Богъ, и которыя получаютъ Его санкцію. Въ такомъ случаѣ въ этомъ выраженіи заключается вмѣстѣ съ тѣмъ признаніе, что права и обязанности сана государя сохраняются или имѣютъ характеръ *дѣйствительныхъ* правъ и обязанностей лишь постольку, поскольку они нравственно обоснованы или санкціонированы Богомъ, т. е. съ нравственной точки зрѣнія. Права и обязанности сана государя обоснованы въ нравственномъ отношеніи въ томъ случаѣ, когда они составляютъ условіе возможно большаго осуществленія нравственного начала въ управляемомъ народѣ, наибольшей нравственной силы и свободы его членовъ. Высочайшее нравственное право является въ данномъ случаѣ, какъ повсюду, имѣющимъ одинаковое значеніе съ высочайшею возможностью и совершеннѣйшимъ хотѣніемъ исполненія нравственныхъ обязанностей.

Такимъ образомъ, упомянутая „Божія милость“ представляетъ собою въ концѣ концовъ выраженіе именно такого положенія вещей. Она указываетъ на то, въ чемъ *состоитъ* истинное призваніе государя, какъ и каждое истинное призваніе человека. Это выраженіе *требуетъ*, чтобы санъ государя былъ *высочайшимъ* призваніемъ человека.

Конечною цѣлью всякаго государственнаго устройства является совершенный нравственный порядокъ, т. е. совершенный нравственный организмъ людей. Объ этомъ рѣчь уже велась. Я сказалъ, что въ такого рода нравственномъ организмѣ *всѣ* блага, владѣніе, власть, почести раздѣлены съ точки зрѣнія нравственной цѣнности личностей и возможно большаго осуществленія добра въ мірѣ. При этомъ

перечисленные вещи не зависятъ отъ случая, не зависятъ отъ не обоснованнаго въ нравственномъ отношеніи, а потому грубаго, историческаго факта, ни отъ имени, ни отъ милости имущихъ власть, ни также отъ внѣшнихъ знаковъ, льстящихъ дѣтской суетности и ослѣпляющихъ глаза толпѣ. Приближеніе къ этой цѣли опредѣляетъ ходъ нравственнаго развитія всякаго правового порядка. Главнѣйшая задача современнаго порядка состоитъ въ томъ, чтобы сдѣлать возможнымъ переходъ къ формамъ, лежащимъ ближе къ таковаго рода цѣли. Наши государственныя конституціи тоже не имѣютъ болѣе высокой задачи, чѣмъ созданіе условій, при которыхъ нравственно цѣлесообразными становятся нравственно болѣе высокія формы конституціи. Въ этомъ смыслѣ слова наши конституціи не имѣютъ болѣе высокой задачи, чѣмъ *упраздненіе* самихъ себя. Между тѣмъ болѣе высокая степень всякій разъ является болѣе свободною; это столь же вѣрно, какъ и то, что нравственному свойственно по природѣ свободно проявляться, слѣдуя своему собственному закону. Высшей государственной формой является, конечно, не наша наслѣдственная монархія, но, равнымъ образомъ, и не все уравнивающая демократія, а все охватывающая *этическая аристократія* совершеннаго въ нравственномъ отношеніи организма; она является уже не нѣкоторымъ государствомъ на-ряду съ другими государствами, а царствомъ нравственнаго человѣчества, „царствомъ Божиимъ на землѣ“.

Это, какъ уже сказано, идеаль. Я не буду также спорить противъ тѣхъ, кто сказалъ бы, что это—навѣки недостижимый идеаль. Однако это не измѣняетъ дѣла въ настоящемъ случаѣ. Нравственная конечная цѣль не измѣняется даже въ томъ случаѣ, если она никогда не можетъ быть вполне достигнута. Нашею обязанностью остается работа въ направленіи къ этой цѣли; а для этого подобная конечная цѣль должна, *въ качествѣ* конечной цѣли, приковывать наше *вниманіе*.

Во всей этой работѣ господствуетъ упомянутый законъ

постояннаго развитія. При этомъ всетаки надо вспомнить еще объ одномъ. Можетъ также существовать непрерывное развитіе, которое при разематриваніи съ внѣшней стороны кажется прерывистымъ. Всякій великій поступокъ отдѣльной личности, направляющій человѣчество на новые пути, составляетъ подобный случай. Мы также встрѣчаемся съ такого рода непрерывнымъ развитіемъ и при другихъ обстоятельствахъ.

Допустимъ, что какой нибудь народъ стремится съ нравственною необходимостью къ нѣкоторой формѣ существованія, высшей съ нравственной точки зрѣнія, а какая нибудь сила препятствуетъ такому движенію впередъ. Въ такомъ случаѣ могущество этого стремленія непрерывно возрастаетъ въ народѣ въ той степени, въ какой онъ обладаетъ нравственной силой. И въ заключеніе безнравственная сила опровергается другой силой. Въ этомъ заключается непрерывность прогресса, въ силу котораго постепенно вздымающійся ручей прорываетъ внезапно въ концѣ концовъ искусственныя плотины.

Или же, напримѣръ, какая либо форма насилія отравляетъ общія нравственныя условія существованія какого нибудь народа. Если въ такомъ случаѣ нѣтъ иного средства для устраненія границъ, поставленныхъ насиліемъ, какъ другое насиліе, тогда послѣднее является нравственнымъ.

Всякій признаетъ право *физической* самозащиты въ минуту крайней опасности. Съ еще большею увѣренностью слѣдуетъ признать право *нравственной* самозащиты, нравственной самообороны отдѣльной личности и народовъ. Я не страшусь слова „революція“, но я имѣю въ виду нравственно необходимую революцію; послѣдняя имѣетъ несомнѣнное право на существованіе. Революція есть право, если она есть долгъ. А она *можетъ* быть самымъ священнымъ долгомъ.

Ни одинъ народъ не имѣетъ права дать погубить себя въ нравственномъ отношеніи. И горе народу, лишенному нрав-

ственной силы исполнить эту обязанность въ томъ случаѣ, когда она представляется!

Мы живемъ въ эпоху рѣзкихъ противоположностей и могучаго внутренняго броженія. Мы питаемъ надежду, что развитіе будетъ совершаться непрерывно не только во внутреннемъ, но также и во внѣшнемъ отношеніи. При этомъ, какъ повсюду, *добро должно одерживать побѣду*, по какую бы сторону оно ни находилось. *Нравственная высота человечества есть высочайшій законъ и абсолютное право.*

Девятая лекція.

Свобода воли.

Вопросы, которыми мы занимались до сихъ поръ, были главнымъ образомъ вопросами о фактахъ. Въ то же время намъ всетаки часто представлялась задача изслѣдовать понятія, разъяснить ихъ туманность, устранять ихъ многозначность.

Теперь, когда мы обращаемся къ вопросу о свободѣ чело-вѣческой воли, наша задача станетъ преимущественно задачей послѣдняго рода. Относительно этого вопроса много писали и говорили; но навѣрное говорили бы и писали гораздо менѣе, еслибы тѣ, кто занимался этимъ, всегда старались ясно мыслить, не употреблять понятій безъ предварительнаго тщательнаго анализа и безъ испытанія ихъ при помощи правомѣрнаго опыта. Большая часть этихъ взглядовъ, конечно, осталась бы не высказанной и не написанной даже въ томъ случаѣ, еслибы только люди, говорившіе и писавшіе объ этомъ, могли принять рѣшеніе отказаться *отъ искусственнаго смѣшенія* относящихся сюда понятій. Можно утверждать, что просто и естественнымъ образомъ мыслящій чело-вѣкъ врядъ ли можетъ впасть въ сомнѣніе относительно того, какъ обстоитъ дѣло со свободою чело-вѣческой воли. Жизненная практика въ этомъ отношеніи также находится по существу на правильномъ пути. Лишь

ученость внесла въ вопросъ о свободѣ воли путаницу, которая въ немъ и въ настоящее время еще часто господствуетъ. Люди, задумывавшіеся надъ этой проблемой, не умѣли просто подойти къ простому вопросу.

Вопросъ о свободѣ воли нельзя собственно причислять къ *основнымъ вопросамъ* этики, такъ какъ онъ являлся по существу просто вопросомъ о понятіяхъ. Еще менѣе позволительно, когда иные люди, повидимому, намѣреваются превратить его въ спеціальній основной вопросъ этики такимъ образомъ, какъ будто отъ отвѣта на него зависить рѣшеніе остальныхъ основныхъ вопросовъ этики.

Этой зависимости на самомъ дѣлѣ нечего опасаться. Какъ уже было сказано, „этическіе основные вопросы“, которыми мы занимались до сихъ поръ, были по существу вопросами о фактахъ. Говоря точнѣе, они касались фактовъ нашего *сознанія*. Если же эти факты являются дѣйствительными фактами, которые можно въ самомъ дѣлѣ отыскать въ нашемъ сознаніи, то ихъ нельзя устранить, какъ бы мы ни отнеслись къ понятію свободы воли.

Какое бы воззрѣніе ни существовало относительно свободы воли, соединялись ли бы съ нимъ ясныя понятія или неясныя, всетаки остается твердо установленнымъ, что для насъ существуютъ объекты нашей оцѣнки, слѣдовательно, мотивы или цѣли, и что имѣются четыре рода такой оцѣнки, а именно: съ одной стороны—эгоистическія и альтруистическія реальныя оцѣнки, а съ другой—оцѣнки нашей собственной личности и оцѣнки другихъ личностей.

Равнымъ образомъ, остается твердо установленнымъ, что мы можемъ представлять себѣ съ бѣльшимъ или меньшимъ совершенствомъ возможныя человѣческія цѣли, что мы въ состояніи подвергать ихъ объективному или общечеловѣческому освѣщенію, разсматривать и оцѣнивать ихъ объективнымъ образомъ и на основаніи подобнаго разсматриванія и оцѣнки соизмѣрять и взвѣшивать другъ съ другомъ, что, наконецъ, мы при этомъ въ состояніи отвлекаться или

абстрагироваться отъ субъективныхъ условій хотѣнія и дѣйствования, отъ субъективныхъ „склонностей“ или наклонностей. Остается также твердо установленнымъ, что, при предположеніи *полнаго* представленія *всевозможныхъ* чело-вѣческихъ цѣлей и *при совершенномъ* и *чистомъ* объективномъ разсматриваніи и оцѣнкѣ ихъ, эти цѣли вступаютъ въ порядокъ, соотвѣтствующій ихъ объективной цѣнности и повсюду одинаковый. Въ то же время остается твердо установленнымъ сознаніе долга и его содержаніе, которое при только что сдѣланномъ предположеніи является повсюду, т. е. во всѣхъ личностяхъ, одинаковымъ.

Нравственный законъ остается не въ меньшей мѣрѣ закономъ нашего собственнаго существа. Въ данномъ случаѣ особенныя отношенія между цѣлями и основанныя на нихъ требованія того порядка, въ какомъ послѣднія были изложены въ нашей седьмой лекціи, остаются въ силѣ. Наконецъ, особую силу сохраняетъ то обстоятельство, что безусловною цѣнностью въ нравственномъ отношеніи обладаетъ только нравственная личность, что, соотвѣтственно этому, только совершенный человекъ можетъ быть послѣднею цѣлью нравственнаго хотѣнія въ насъ и въ другихъ людяхъ. Однимъ словомъ, остаются неприкосновенными всѣ факты, о которыхъ шла до сихъ поръ рѣчь.

Но перейдемъ къ нашему вопросу. *Что такое свобода воли?* Что мы можемъ и должны разумѣть подъ этимъ? Для того, чтобы получить вѣрный отвѣтъ на такой вопросъ, поставимъ сперва общій вопросъ: что мы понимаемъ подъ „свободой“ вообще? Что разумѣемъ мы подъ этимъ словомъ повсюду *въ другихъ случаяхъ?*

На этотъ вопросъ намъ легко дать отвѣтъ. Какое нибудь дерево растетъ „свободно“ или является „свободнымъ“ въ своемъ ростѣ. По всеобщему мнѣнію, это означаетъ слѣдующее: дерево предоставлено самому себѣ въ своемъ ростѣ:

оно растеть такъ, какъ свойственно его природѣ. Ростъ дерева въ томъ видѣ, въ какомъ онъ представляется нашимъ глазамъ, имѣетъ свое *основаніе* и *причину* въ свойствахъ дерева. Ростъ происходитъ извѣстнымъ образомъ, потому что оно таково, каково есть. Дерево было бы *не* свободно, а *стѣснено* въ своемъ ростѣ, еслибы что *нибудь иное*, чѣмъ само дерево, *препятствовало бы* его росту или *насилъно* давало бы другое направленіе послѣднему.

Подобный же смыслъ мы соединяемъ и въ другихъ случаяхъ со словомъ „свобода“. И тогда, когда камень падаетъ „свободно“, это означаетъ слѣдующее: камень при своемъ паденіи не встрѣчаетъ ни *препятствія* со стороны чего *нибудь иного*, чѣмъ онъ самъ, ни *принужденія* къ паденію вообще или къ опредѣленной формѣ послѣдняго со стороны опять-таки чего *нибудь*, отличающагося отъ него самого. Паденіе камня было бы *несвободнымъ*, когда бы его *толкали* внизъ, *напримѣръ*, данный мною толчокъ.

Мы должны, безъ сомнѣнія, придавать подобный же смыслъ понятію о свободѣ, говоря, что *человѣческая воля* свободна, или что *человѣкъ* свободенъ въ своемъ хотѣніи. Свобода воли должна быть тѣмъ, чѣмъ повсюду является „свобода“, только съ тою особенностью, что именно эта свобода *приписывается воли*.

Конечно, если рѣчь идетъ о какомъ *нибудь* *человѣкѣ*, который *хочетъ* называть свободою воли что либо иное, то мы должны предоставить ему такое пользованіе терминомъ „свобода воли“. Въдъ въ концѣ концовъ никому нельзя воспретить понимать какое угодно слово *въ какомъ угодно* *смыслѣ*. Но тотъ, кто строитъ иное понятіе свободы воли, чѣмъ мы, уклоняется отъ общаго и естественнаго смысла слова „свобода“ и насилуетъ установившееся словоупотребленіе. А такое насилуваніе можетъ быть только источникомъ путаницы.

Пусть, однако, дѣло обстоитъ съ этимъ, какъ угодно; во всякомъ случаѣ тотъ, кто и въ настоящемъ случаѣ *прини-*

маеть слово „свобода“ въ общеупотребительномъ смыслѣ, имѣеть *больше* правъ на это.

Мы же намѣрены по возможности оставаться повсюду въ согласіи съ общимъ словоупотребленіемъ, а потому въ данномъ случаѣ мы также подчинимся ему. Мы беремъ сперва слово *свобода* въ обычномъ смыслѣ. Затѣмъ мы переносимъ это обычное понятіе безъ измѣненія также и въ свое пониманіе „свободы *воли*“.

Человѣческая воля свободна, или человѣкъ свободенъ въ своемъ хотѣніи, это означаетъ слѣдующее: хотѣніе человека имѣеть свое основаніе или свою *причину* въ природѣ человека; оно представляетъ собой то хотѣніе, которое получается, когда человѣкъ предоставляется самому себѣ въ своемъ волевомъ актѣ; *свободное* хотѣніе имѣеть такой-то, а не иной характеръ, потому что человѣкъ имѣеть такой-то, а не иной характеръ.

Несвобода же хотѣнія существуетъ какъ разъ въ той степени, въ какой подобный случай *не* имѣеть мѣста, въ какой, слѣдовательно, человеку (я имѣю въ виду его внутреннюю личность) въ его хотѣніи мѣшаетъ нѣчто иное, чѣмъ онъ самъ,—другими словами, постольку, поскольку нѣчто, чуждое его волѣ, навязываетъ ему хотѣніе, которое не вытекаетъ изъ данной его сущности, когда онъ предоставленъ самому себѣ. Можно было бы, однако, думать, что словоупотребленіе всетаки не даетъ намъ права на такого рода пониманіе термина „свобода *воли*“; намъ могутъ возразить, что понятіе *свободы* въ другихъ случаяхъ правда, всегда употребляется въ указанномъ нами смыслѣ, однако въ настоящемъ случаѣ, когда рѣчь идетъ о свободѣ воли, подъ нею разумѣютъ нѣчто совершенно иное.

Прежде всего такое возраженіе было бы очень страннымъ, такъ какъ подобнаго рода исключеніе въ общемъ словоупотребленіи не легко понять. Къ тому же, и въ дѣйствительности дѣло обстоитъ *не такъ*.

Впрочемъ, мы хорошо едѣлаемъ, если немедленно разли-

чимъ *двоакій смыслъ* обычнаго понятія „свободы воли“. Согласно общему словоупотребленію, свобода воли означаетъ: во первыхъ, что я свободенъ *въ* моемъ *хотѣніи*, во вторыхъ, что мое *хотѣніе* свободно въ своемъ *проявленіи*. Очевидно, что лишь свобода *перваго рода* является свободой воли въ собственномъ смыслѣ. Свободу второго рода было бы точнѣе обозначить, какъ свободу *дѣйствія*.

Въ обоихъ случаяхъ, однако, понятіе *свободы одно и то же*. По всеобщему мнѣнію, тотъ, кого запирають въ тюрьму или насильно тащатъ изъ одного мѣста въ другое, лишень своей свободной воли, т. е., говоря точнѣе, онъ не свободенъ *поступать*, какъ ему угодно. Онъ свободенъ *хотѣть* идти, куда угодно, но его хотѣніе ни къ чему не ведетъ. Такого рода несвобода означаетъ не что иное, какъ то, что мѣсто, гдѣ человекъ находится, и соотвѣтственно этому способъ его перемѣщенія навязываются ему чѣмъ-то инымъ, чѣмъ онъ самъ, что мѣсто или способъ передвиженія имѣютъ свое основаніе или свою причину не въ *хотѣніи* человека, говоря болѣе общимъ образомъ—не въ немъ самомъ, а въ вещи, отличающейся отъ него, въ тюрьмѣ или волѣ тѣхъ людей, которые его тащатъ.

Наоборотъ, мы называемъ человека *свободнымъ* въ его движеніяхъ, поскольку его движенія опредѣляются его хотѣніемъ или, выражаясь въ болѣе общей формѣ, *производятся имъ самимъ*,—слѣдовательно, если они имѣютъ свое основаніе или свою *причину* въ немъ самомъ.

Въ настоящемъ случаѣ рѣчь шла о свободѣ или несвободѣ воли во второмъ значеніи, т. е. о свободѣ или несвободѣ *самопроявленія*. Отъ такого рода свободы или несвободы мы отличили свободу или несвободу *человѣка* въ его *хотѣніи*. Несвобода подобнаго рода извѣстна всякому; человеку недостаетъ свободы воли въ собственномъ и болѣе узкомъ смыслѣ, когда *само хотѣніе* его встрѣчаетъ задержку, или же когда нѣчто иное, чѣмъ онъ самъ, *принудительнымъ* образомъ заставляеть его чего нибудь *хотѣть*.

Нѣчто подобное имѣеть мѣсто при гипнотизаціи. Если загипнотизованному отдается приказаніе поднять руку, и если онъ ее поднимаетъ, то онъ вынуждается къ движенію руки не непосредственнымъ образомъ; о немъ нельзя сказать, что онъ свободенъ въ своемъ хотѣніи и несвободенъ лишь въ своей дѣятельности. Напротивъ, *само* его хотѣніе стѣснено или парализовано. Желаящая личность усыплена гипнотизаторомъ и вмѣстѣ съ тѣмъ лишена возможности функционировать. Воля; требующая поднятія руки,—если только въ настоящемъ случаѣ вообще можетъ идти рѣчь о „волѣ“ въ собственномъ смыслѣ слова,—представляетъ собой не *его* волю, т. е. она не вытекаетъ ни изъ его личности, ни изъ ея существа, ея интересовъ и размышленій.

Такой же смыслъ имѣеть, по общему воззрѣнію, несвобода воли, когда мы называемъ лишеннымъ свободы человека, находящагося въ состояніи опьяненія. Можетъ быть, пьяный имѣеть очень сильное хотѣніе; но личность сама по себѣ не выражается въ послѣднемъ. Физиологическое состояніе опьяненія останавливаетъ извѣстнаго рода хотѣнія, мысли, разсужденія и такимъ образомъ насильно направляетъ хотѣніе по опредѣленному пути.

Напротивъ, мы говоримъ вообще, что личность *свободна* въ своемъ хотѣніи, когда она свободна, т. е. проявляется въ своемъ хотѣніи, не встрѣчая остановки или принужденія со стороны чего нибудь, отличающагося отъ нея самой. Слѣдовательно, и въ данномъ случаѣ свобода означаетъ состояніе причинной зависимости отъ личности, отъ ея существа и ея формъ проявленія.

Резюмируя все предыдущее, мы можемъ сказать слѣдующее: свобода, поскольку мы видѣли до сихъ поръ, есть не что иное, какъ выраженіе того, что мое дѣйствіе обуславливается моею личностью, а не чѣмъ либо, отличающимся отъ нея. Свобода *дѣйствія* представляетъ собою состояніе обусловленности дѣйствія путемъ *хотѣнія*, т. е. путемъ проявляющей хотѣніе *личности*; свобода хотѣнія является

состояніемъ обусловленности *хотѣнія* посредствомъ личности, проявляющей хотѣніе.

Какимъ образомъ обстоитъ дѣло съ *существованіемъ* той и другой свободы? Существуетъ ли свобода воли въ первомъ менѣе точномъ и во второмъ болѣе точномъ смыслѣ? На оба вопроса надо дать, безъ сомнѣнія, утвердительный отвѣтъ. Такого рода свобода существуетъ въ извѣстныхъ границахъ, измѣняющихся съ каждымъ моментомъ и съ каждою отдѣльною личностью. Всѣ мы то болѣе, то менѣе свободны и въ то же время—то болѣе, то менѣе *несвободны*.

Соединимъ сейчасъ же со сказаннымъ предварительное разсмотрѣніе понятій *вмѣняемости* и *отвѣтственности*. При этомъ я замѣчу, что оба эти понятія я употребляю въ данномъ случаѣ въ одномъ и томъ же значеніи, но что впоследствии будетъ цѣлесообразнымъ установить определенное различіе между вмѣняемостью и отвѣтственностью. Отвѣтственность въ особенности пріобрѣтеть при этомъ новый смыслъ.

Я снова предложу сперва слѣдующій вопросъ: каково значеніе вмѣняемости или отвѣтственности въ другихъ случаяхъ, т. е. внѣ сферы человѣческаго хотѣнія и человѣческаго дѣйствования?

Что хочу я сказать, когда „вмѣняю“ или отношу на „счетъ“ почвенныхъ условій гдѣ либо появляющуюся и распространяющуюся болѣзнь, когда я дѣлаю характеръ почвы „отвѣтственнымъ“ за появленіе болѣзни и ея распространеніе, или, пользуясь еще болѣе широкимъ выраженіемъ, когда я появленіе болѣзни ставлю въ „вину“ почвѣ? Безъ сомнѣнія, это значитъ, что я разсматриваю почву, какъ *причину* болѣзни и ея распространенія. Совершенно подобное значеніе имѣютъ тѣ же выраженія и въ другихъ случаяхъ.

Значитъ, утвержденіе, что дѣйствіе мнѣ вмѣняется, или что я дѣлаюсь за него отвѣтственнымъ, должно означать прежде всего: я разсматриваюсь, какъ причина дѣй-

ствія. Или же: дѣйствіе разсматривается, какъ происходящее отъ меня, относящееся ко мнѣ,—какъ *мое* именно въ этомъ значеніи слова. Если оно мнѣ *не* вмѣняется, а относится на „счетъ“ внѣшнихъ обстоятельствъ, такъ что внѣшнія обстоятельства дѣлаются за него отвѣтственными, то это означаетъ, что дѣйствіе разсматривается—*не* какъ мой поступокъ, а какъ необходимый результатъ этихъ *обстоятельствъ*.

Этому понятію вмѣненія естественнымъ образомъ соотвѣтствуетъ понятіе *вмѣняемости*. Какомунибудь чловѣку вмѣняется какое либо дѣйствіе, это означаетъ прежде всего, что данное дѣйствіе можно или должно разсматривать, какъ такое, причина или основаніе котораго заключается въ данной личности.

Вмѣстѣ съ тѣмъ также указано отчасти, какимъ образомъ относятся другъ къ другу вмѣняемость и свобода воли: первая можетъ имѣть мѣсто лишь въ той мѣрѣ, въ какой имѣетъ мѣсто послѣдняя; при этомъ свобода воли принимается нами не въ какомъ угодно смыслѣ этого слова, а именно въ установленномъ нами выше.

Все это, конечно, требуетъ еще нѣкотораго добавленія. Приведенное выше сравненіе хромаетъ. Мы, несомнѣнно, можемъ отнести на „счетъ“ почвенныхъ условій какуюнибудь болѣзнь или же сдѣлать ихъ „отвѣтственными“ за нее. Но такого рода вмѣненіе лишено *нравственнаго* характера. Мы не возлагаемъ на почвенныя условія *нравственной* отвѣтственности за болѣзнь. А въ данномъ случаѣ рѣчь идетъ именно о *нравственномъ* вмѣненіи и о нравственной отвѣтственности. Въ этихъ понятіяхъ заключается нравственное сужденіе или нравственная *оцѣнка*. Нравственное вмѣненіе есть вмѣненіе нравственной цѣнности или негодности; а таковое не можетъ имѣть мѣста по отношенію къ почвеннымъ условіямъ.

Это между тѣмъ не лишаетъ силы сказаннаго выше: послѣднее нуждается только въ дополненіи. Въ самомъ дѣлѣ, „вмѣнять нравственнымъ образомъ какоенибудь дѣйствіе

какому либо лицу“ означаетъ не только ставить это дѣйствіе въ вышеуказанномъ смыслѣ слова на „счетъ“ данному лицу, но и въ то же время слѣдующее: *оцѣнивать* это лицо по его дѣйствию. Такъ какъ намъ извѣстно, что цѣнность личности означаетъ то же самое, что и нравственная цѣнность, то такое именно оцѣниваніе является *нравственнымъ*.

Но что же значитъ *оцѣнивать* личность по ея дѣйствию? Мы уже видѣли однажды, что дѣйствіе можетъ являться „цѣннымъ въ нравственномъ отношеніи“, если мы понимаемъ это выраженіе въ нѣкоторомъ опредѣленномъ *значеніи*, даже несмотря на дѣйствующую личность или на внутреннее отношеніе личности къ дѣйствию. Въ этомъ смыслѣ дѣйствіе является „цѣннымъ въ нравственномъ отношеніи“ тогда, когда оно создаетъ доброе или вызываетъ его къ жизни, когда оно служитъ осуществленію нравственныхъ цѣлей. Такого рода дѣйствіе мы называли точнѣе—*отраднымъ* въ нравственномъ отношеніи. Точно такимъ же образомъ какое нибудь дѣйствіе можетъ быть *негоднымъ* съ нравственной точки зрѣнія, независимо отъ дѣйствующей личности. Оно является послѣднимъ, когда оно—*дурное* дѣйствіе, т. е. когда оно *приноситъ* зло или препятствуетъ и вредитъ осуществленію нравственныхъ цѣлей. Подобное дѣйствіе мы называли точнѣе—*достойнымъ сожалѣнія* съ точки зрѣнія нравственности.

Напротивъ того, какъ мы видѣли въ томъ же мѣстѣ, дѣйствіе никогда не бываетъ хорошо само по себѣ вслѣдствіе того хорошаго, что оно вызываетъ къ существованію, т. е. одни только результаты его не могутъ еще сдѣлать его *благороднымъ, достохвальнымъ* съ нравственной точки зрѣнія. Равнымъ образомъ, дѣйствіе никогда не бываетъ *достойнымъ порицанія* въ нравственномъ отношеніи или *злымъ* и *плохимъ* вслѣдствіе того только, что вызывается имъ къ существованію, или, короче говоря, вслѣдствіе его результата; предметомъ похвалы или порицанія съ нравственной точки зрѣнія, иначе говоря, хорошимъ въ *смыслѣ* достойнаго по-

хвалы съ точки зрѣнія нравственности, а съ другой стороны, злымъ, плохимъ, достойнымъ порицанія является всегда только личность. Дѣйствіе въ этомъ случаѣ можетъ, конечно, носить такое же названіе, однако лишь въ той степени, въ какой въ немъ *обнаруживается* личность, достойная, съ нравственной точки зрѣнія, похвалы или порицанія; слѣдовательно, дѣйствіе называется нравственнымъ, исключительно какъ *симптомъ*.

Отсюда становится яснымъ, что нужно разумѣть подъ нравственнымъ вмѣненіемъ. Какъ уже сказано, вмѣнять въ нравственномъ отношеніи какому нибудь человѣку нѣкоторое дѣйствіе значитъ измѣрять по нравственной цѣнности дѣйствія нравственную цѣнность личности, переносить нравственную оцѣнку дѣйствія на личность. Это же въ свою очередь значитъ называть хорошей, т. е. достойной хвалы въ нравственномъ отношеніи, самое личность ради того хорошаго, т. е. *отраднago*, что есть въ ея дѣйствіяхъ; въ такомъ же смыслѣ называютъ личность *злой* или *плохой* въслѣдствіе ея *дурного* дѣйствія. Я вмѣняю какому нибудь человѣку хорошее дѣйствіе, т. е. дѣйствіе, которое производитъ что либо хорошее; это значитъ: ради поступка, производящаго хорошее, и въ той мѣрѣ, въ какой этотъ поступокъ производитъ хорошее, я признаю самого виновника этого поступка хорошимъ и *хваляю* его. Я вмѣняю человѣку дурной поступокъ, т. е. поступокъ, производящій дурное; это означаетъ равнымъ образомъ: въслѣдствіе дурного поступка и въ той мѣрѣ, въ какой этотъ поступокъ дуренъ или производитъ дурное, я признаю самого его виновника злымъ или плохимъ; я *порицаю* его за это.

Я могу такимъ образомъ измѣрять цѣнность личности въ нравственномъ отношеніи по нравственной цѣнности поступка, но только въ той мѣрѣ, въ какой я могу изъ дѣйствія личности заключать о послѣдней или объ ея „образѣ мыслей“, или въ какой дѣйствіе можетъ служить симптомомъ соотвѣтственной внутренней сущности личности. А

это, въ свою очередь, возможно именно въ той степени, въ какой дѣйствіе возникаетъ изъ соотвѣтственнаго образа мыслей, обуславливается послѣднимъ, т. е. данною личностью, или, короче говоря, это является возможнымъ именно въ той степени, въ какой существуетъ свобода воли въ вышеустановленномъ смыслѣ.

Согласно этому, при допущеніи нашего дополненнаго понятія о вмѣняемости также остается въ силѣ положеніе, что вмѣняемость существуетъ исключительно въ той мѣрѣ, въ какой существуетъ свобода воли; мы имѣемъ въ виду свободу воли именно въ принятомъ нами смыслѣ обыкновенной рѣчи,—слѣдовательно, въ смыслѣ обусловленности хотѣнія моею личностью.

Я нарочно придаю особенное значеніе тому обстоятельству, что изложенное здѣсь находится въ полномъ согласіи съ обыденнымъ воззрѣніемъ. Я вмѣняю кому нибудь нѣкоторый поступокъ; это означаетъ для каждого слѣдующее: я порицаю его и называю плохимъ за дурной поступокъ. И всякій считаетъ такое вмѣненіе невозможнымъ, если поступокъ не имѣетъ основанія въ соотвѣтственномъ нравственномъ строѣ личности, а вызывается или обуславливается чѣмъ нибудь другимъ,—напримѣръ, принудительными обстоятельствами, дѣйствующими независимо отъ меня. Наоборотъ, по всеобщему мнѣнію, дурной поступокъ долженъ быть вмѣненъ мнѣ, если его основаніе заключается въ соотвѣтствующемъ нравственномъ строѣ,—слѣдовательно, если онъ является такимъ дурнымъ потому, что я самъ такъ плохъ.

Въ то же время въ понятіи о вмѣненіи непосредственно заключается всегда слѣдующее: *дѣйствія* заслуживаютъ нравственной похвалы или нравственнаго порицанія только при предположеніи возможности подобнаго вмѣненія. Въ особенности же *плохимъ дѣйствіемъ* кажется всѣмъ лишь такое, которое вмѣняется виновнику его, т. е. которое разсматривается, какъ симптомъ основнаго зла, заключаю-

шагося въ существѣ личности. Никто, напримѣръ, не назоветъ плохимъ того дѣйствія, посредствомъ котораго я приношу вредъ другому лицу, если оно причиняется только случаемъ, слѣдовательно, не даетъ основанія сдѣлать заключеніе относительно свойствъ личности. Въ этомъ случаѣ всякій ограничивается тѣмъ, что называетъ дѣйствіе печальнымъ или *достойнымъ сожалѣнія*. Все это имѣетъ значеніе, если только понятіе о вмѣняемости является въ то же время выраженіемъ признанія недавно вновь отмѣченнаго факта, что дѣйствія могутъ заслуживать похвалы или порицанія съ нравственной точки зрѣнія, лишь какъ симптомы нравственнаго строя личности.

Намъ слѣдуетъ однако разсмотрѣть еще подробнѣе понятіе свободы воли. Свободу воли опредѣляютъ также, какъ *свободу выбора*, и совершенно справедливо: наше хотѣніе обыкновенно является выборомъ. Въ нормальномъ человѣкѣ на-ряду съ мотивами, опредѣляющими его хотѣніе въ извѣстномъ направленіи, существуютъ другіе мотивы, направляющіе его хотѣніе въ другую сторону. Если я хочу встать, то во мнѣ, слѣдовательно, существуетъ для этого нѣкоторый мотивъ. Рядомъ съ этимъ существуютъ однако и мотивы, побуждающіе сидѣть на мѣстѣ. Такого рода мотивъ заключается уже въ томъ обстоятельстве, что сидѣнье на мѣстѣ представляется болѣе удобнымъ. Всякій разъ, когда дѣло обстоитъ такимъ образомъ, волевое рѣшеніе принимается въ силу нѣ котораго *выбора*, хотя бы послѣдній и не доходилъ до нашего сознанія. Существованіе такого выбора содержится уже въ словѣ „волевое рѣшеніе“. Выборъ происходитъ въ то время, какъ одинъ изъ противоположныхъ другъ другу мотивовъ получаетъ перевѣсъ надъ другимъ, — точнѣе, онъ *состоитъ* въ этомъ процессѣ.

Когда жѣ этотъ выборъ совершается *свободно*? Спросимъ сперва, когда онъ происходитъ *несвободно*. Согласно сказан-

ному выше, какъ воля, такъ и выборъ могутъ являться не-свободными въ двоякомъ смыслѣ. Допустимъ, что во мнѣ дѣйствуютъ противоположные другъ другу мотивы; но внѣшнее принужденіе заставляеть меня дѣйствовать въ направленіи одного изъ нихъ. На-ряду съ этимъ представимъ себѣ другую возможность: нѣкоторые изъ различныхъ мотивовъ, которые заключаются во мнѣ и могутъ проявить дѣйствіе, парализуются въ слѣдствіе вліяній, которыя получаютъ мною извнѣ,—положимъ, въ слѣдствіе гипноза или наркоза. Очевидно, оба эти возможные случая несвободы выбора не отличны отъ тѣхъ, къ которымъ мы пришли уже выше при разсмотрѣніи свободы воли.

Напротивъ, нашъ выборъ является свободнымъ, когда онъ свободенъ, а именно, когда онъ свободенъ отъ принужденія и стѣсненія, когда, слѣдовательно, рѣшеніе между двумя противоположными возможностями является *вполнѣ моимъ дѣйствіемъ*, происходитъ вполнѣ отъ меня, имѣетъ свое достаточное основаніе во мнѣ, т. е. вполнѣ обусловленъ мною: моимъ существомъ, моимъ образомъ мыслей, моими склонностями, моими размышленіями и т. п. Я не повторяю уже, что съ подобнаго рода свободой является непосредственно связанной вмѣняемость или отвѣтственность.

■ Въ этомъ смыслѣ свобода выбора или свобода воли есть вполнѣ очевидное и вполнѣ опредѣленное явленіе, и не менѣе яснымъ представляется ея отношеніе къ вмѣняемости и отвѣтственности. Не можетъ существовать, повидимому, болѣе простой вещи, чѣмъ такая свобода и подобное отношеніе ея къ вмѣняемости. Но нѣкоторые философы никакъ не хотятъ удовлетвориться именно такимъ простымъ отношеніемъ вещей. Они требуютъ свободы другого, въ нѣкоторомъ смыслѣ совершенно противоположнаго рода. Въ особенности же, когда они говорятъ *о свободѣ выбора*, они хотятъ разумѣть подъ этимъ нѣчто совершенно иное, какъ по крайней мѣрѣ они увѣряютъ; и они дѣлаютъ это, конечно,

съ совершенно честнымъ убѣжденіемъ. Однако можно опасаться, что они впадаютъ въ самообманъ.

Во первыхъ, иногда утверждаютъ слѣдующее: у меня есть свобода воли или свобода выбора; это значить, что если я принялъ нѣкоторое волевое рѣшеніе, то я всетаки *могъ бы* также воздержаться отъ него или *могъ бы* принять противоположное рѣшеніе. А къ этому прибавляютъ еще: подобная свобода выбора *существуетъ*; она представляетъ собою достовѣрный фактъ моего сознанія. При моемъ хотѣніи мнѣ извѣстно съ непосредственною достовѣрностью, что упомянутая возможность принять иное рѣшеніе существуетъ или существовала для меня.

Противъ подобнаго объясненія намъ сперва нечего возразить. Мы признаемъ, что дѣло обстоитъ такимъ образомъ. Но такое объясненіе ничего не измѣняетъ въ нашемъ пониманіи свободы воли. Чтобы убѣдиться въ этомъ, достаточно лишь спросить себя, что же собственно означаетъ или можетъ означать выраженіе: я „*могъ бы*“ также принять иное рѣшеніе? Очевидно вѣдь, что мы не можемъ отказаться отъ разсмотрѣнія этого вопроса и удовольствоваться простымъ утвержденіемъ.

Допустимъ, что двѣ недѣли назадъ была хорошая погода. Я *знаю*, что это было такъ. Тѣмъ не менѣе я говорю: двѣ недѣли назадъ „*могъ бы*“ также идти дождь.

Это можетъ означать двѣ вещи. Метеорологъ, знакомый съ погодой, пожалуй, станетъ противорѣчить моему утвержденію. Онъ скажетъ: нѣтъ, въ тотъ день необходимо *должна* была быть хорошая погода. Онъ не утверждаетъ этого голословнымъ образомъ, а указываетъ мнѣ одновременно, что тогда были на-лицо всѣ условія для хорошей погоды, что, согласно общимъ правиламъ образованія погоды, при данныхъ въ то время метеорологическихъ условіяхъ могла наступить только прекрасная погода.

Можетъ быть, я подчинюсь этому доказательству. Слѣдовательно, я также скажу: *должна* была быть хорошая по-

года. Но что я въ такомъ случаѣ хотѣлъ сказать раньше, утверждая, что могъ также пойти дождь? Что выражалъ я этимъ? Просто лишь то, что *до* сообщенія метеоролога относительно основаній въ пользу хорошей погоды я ничего еще *не зналъ* объ этомъ. Такимъ образомъ всегда, когда мнѣ неизвѣстны основанія, по которымъ могло бы наступить какое либо событіе, я имѣю право сказать: „могло бы“ также случиться и иначе. Я этимъ даю всякій разъ понять только, что для меня не существуетъ принудительныхъ основаній для дѣйствительнаго совершенія событія,—слѣдовательно, для меня нѣтъ ничего *немыслимаго* въ томъ, чтобы фактически случившееся совсѣмъ *не совершилось*. Такимъ же образомъ и заявленіе, что двѣ недѣли назадъ могъ идти дождь, является исключительно выраженіемъ того факта, что въ подобномъ предположеніи для меня нѣтъ ничего *немыслимаго*.

Утверждаемая мною возможность дождя представляетъ собой только его мыслимость. Однако противоположность *всякаго рода* дѣйствительному событію остается мыслимою только до тѣхъ поръ, пока мнѣ неизвѣстны основанія, изъ которыхъ для меня могла бы *слѣдовать* необходимость случившагося событія. Утвержденіе подобной мыслимости или возможности является такимъ образомъ не чѣмъ инымъ, какъ выраженіемъ моего невѣдѣнія.

Второго рода возможность такова: я говорю, что двѣ недѣли назадъ могъ бы также идти дождь, такъ какъ мнѣ извѣстно, что въ то время были на-лицо *условія*, которыя обыкновенно вызываютъ въ другихъ случаяхъ дождь,—напримѣръ, благоприятное послѣднему направленіе вѣтра. Въ такомъ случаѣ утвержденіе, что могъ бы пойти дождь, служить выраженіемъ наличности условій или частей причины дождя. Такимъ же образомъ, если мнѣ извѣстно о существованіи нѣкоторыхъ условій или частей причины событія, я говорю и въ другихъ случаяхъ, что какой либо

фактъ, въ дѣйствительности не случившійся, всетаки могъ бы произойти.

Объ эти возможности имѣютъ значеніе и по отношенію къ нашему хотѣнію. Я говорю: я поступилъ такимъ образомъ, но могъ бы, конечно, поступить и иначе; этимъ я хочу сказать слѣдующее: я не сознаю основаній, заставившихъ меня поступить такъ, какъ я это сдѣлалъ. Еслибы я зналъ о нихъ, еслибы все то, что побуждало меня къ дѣйствию, не только внѣшнія вліянія, но и весь мой внутренній строй, всѣ мои естественныя и пріобрѣтенныя склонности, каждое малѣйшее движеніе моей внутренней сущности, предшествующее разсматриваемому дѣйствию, было бы мнѣ теперь вполне извѣстнымъ, то я, пожалуй, могъ бы признать, что изо всего этого въ то время не могло бы послѣдовать никакого иного поступка,—иными словами, при этихъ условіяхъ я бы сказала: я не могу себя представить, какимъ образомъ при наличности этихъ условій могъ бы возникнуть иного рода поступокъ.

Но такъ какъ въ данную минуту у меня нѣтъ представленія обо всѣхъ этихъ условіяхъ, то я могу легко себя представить, что я дѣйствовалъ бы иначе. Въмѣсто того, чтобы выразить эту мысль, мы говоримъ короче: „я могъ бы дѣйствовать иначе“.

На самомъ дѣлѣ наше хотѣніе и наше дѣйствіе довольно часто, или, скорѣе, всегда, опредѣляются въ концѣ концовъ безчисленными факторами, о взаимодействіи которыхъ мы не отдаемъ и не можемъ отдавать себѣ отчета въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ. Наконецъ, въ каждомъ отдѣльномъ дѣйствиіи принимаетъ какимъ нибудь образомъ участіе даже вся наша прошлая жизнь.

Въ нѣкоторыхъ особенно убѣдительныхъ случаяхъ мы открыто признаемъ, что дѣло обстоитъ такимъ образомъ. Мы говоримъ: я не знаю, какъ я пришелъ къ подобному образу дѣйствій. Этимъ самымъ мы не отрицаемъ того, что послѣдній имѣетъ свои основанія или является обусловленнымъ ими. Напротивъ, мы даемъ, скорѣе, ясный поводъ ра-

зумѣть подѣ такимъ выраженіемъ, что основанія или причина такого дѣйствія, *конечно*, существуетъ; только именно намъ о ней неизвѣстно. Мы говоримъ иногда, что поступокъ обязанъ своимъ возникновеніемъ капризу, причудамъ. Подобнаго рода капризомъ и причудами является именно не что иное, какъ то неизвѣстное, которое лежитъ въ основѣ нашего дѣйствія.

Во всѣхъ такихъ случаяхъ мы употребляемъ также слѣдующее выраженіе: мы могли бы, равнымъ образомъ, поступить иначе. Подѣ этимъ мы разумѣемъ, что совершенно легко *представить* себѣ такого рода иной образъ дѣйствій. Въ дѣйствительности легко себѣ представить послѣдній, пока намъ неизвѣстны вполнѣ основанія, въ силу которыхъ мы дѣйствовали даннымъ образомъ. Въ другомъ случаѣ мы разумѣемъ подѣ возможностью иного поступка слѣдующую комбинацію обстоятельствъ: я знаю, что въ то время, какъ я дѣйствовалъ въ извѣстномъ направленіи, у меня были мотивы, которые согласно своей природѣ влекли меня къ иному дѣянію. Въ дѣйствительности я не послѣдовалъ этимъ мотивамъ. Я однако послѣдовалъ бы имъ, если бы мотивы другого рода не оказались сильнѣе; а въ такомъ случаѣ въ дѣйствительности долженъ бы былъ явиться иной образъ дѣйствій. Слѣдовательно, во всякомъ случаѣ наличность мотивовъ перваго рода представляла *возможность* иного образа дѣйствій. Таковую-то возможность мы выражаемъ также утвержденіемъ: я могъ бы поступить и инымъ образомъ. Другими словами, я означаю этимъ наличность мотивовъ, которые, будучи разсматриваемы сами по себѣ, *заклю- чаютъ въ себѣ* возможность того, чтобы я поступилъ инымъ образомъ.

Все это нисколько не затрагиваетъ нашего понятія о свободѣ воли. Отсюда не возникаетъ никакого новаго понятія свободы воли. Остается попрежнему въ силѣ утвержденіе, что волевые акты и дѣйствія всегда обусловлены нѣкоторыми причинами; послѣднія заключаются во мнѣ

или въ чемъ-то отдѣльномъ отъ меня; точнѣе говоря, эти причины въ однихъ случаяхъ заключаются преимущественно во мнѣ, а въ другихъ случаяхъ—преимущественно внѣ меня. Въ первомъ случаѣ поступки свободны, а во второмъ они не свободны.

Между тѣмъ на это обыкновенно отвѣчаютъ, что утверждение: я „могъ бы“ поступить иначе, имѣетъ совершенно иной смыслъ.

Конечно, мы требуемъ въ такомъ случаѣ, чтобы этотъ смыслъ былъ намъ поясненъ. Въ отвѣтъ на такое требованіе мы узнаемъ приблизительно слѣдующее: положимъ, человѣкъ совершаетъ какое нибудь дѣйствіе; мнѣ совершенно извѣстны личность, характеръ, образъ мыслей, — короче, все внутреннее существо этого человѣка, и не только въ общихъ чертахъ, а и въ его послѣднемъ основаніи; я въ то же время весьма глубоко проникаю во всякое предыдущее и одновременное движеніе его внутренней сущности, въ каждую самую тонкую игру мотивовъ, во всякую мысль, во всякое разсужденіе. Мнѣ въ равной степени извѣстно самымъ точнымъ образомъ всякаго рода внѣшнее воздѣйствіе, испытывавшееся и испытываемое человѣкомъ какъ со стороны собственнаго тѣла, такъ и со стороны лежащаго внѣ его міра. Короче говоря, я совершенно проникаю совокупность какъ внѣшнихъ, такъ и внутреннихъ условій, при которыхъ совершается дѣйствіе. И всетаки я не имѣю права думать, что дѣйствіе *опредѣляется совокупностью такихъ условій въ одномъ только смыслѣ*. Я не имѣю права говорить, что при всѣхъ этихъ условіяхъ человѣкъ не *можетъ* принимать иного волевого рѣшенія, чѣмъ то, которое онъ принялъ именно въ настоящемъ случаѣ. Напротивъ, я имѣю право допускать, что всѣ эти условія даны въ абсолютной полнотѣ и совершенной неизмѣнности, и всетаки отсюда произошло бы хотѣніе совсѣмъ иного рода. Я во всякомъ случаѣ

могу себѣ представить, что изъ всей системы условій въ результатѣ можетъ получиться какъ данный волевой актъ, такъ и прямо ему противоположный.

Къ этому прибавляютъ слѣдующее: смыслъ термина „свобода воли“ состоитъ именно въ вышеуказанномъ свойствѣ человѣческаго духа, т. е. въ томъ, что человѣческое хотѣніе при совершенно одинаковыхъ внутреннихъ и внѣшнихъ условіяхъ можетъ выразиться то въ одной, то въ другой прямо противоположной формѣ, такъ что вмѣсто опредѣленнаго, проявленнаго человѣкомъ, хотѣнія въ немъ могло бы осуществиться также и совершенно противоположное хотѣніе, и эта противоположность вовсе не обосновывается какимъ либо различіемъ въ сущности человѣка, въ томъ, что происходило въ немъ, или въ томъ, что на него дѣйствовало. Человѣкъ *обладаетъ* свободной волей, такъ какъ *существуетъ* подобнаго рода фактъ.

Здѣсь мы стоимъ, конечно, на совершенно иной почвѣ. *Такое* понятіе свободы воли совсѣмъ отличается отъ того, которое мы предполагали до сихъ поръ. Оно обозначаетъ не только иное, но даже нѣкоторымъ образомъ и противоположное тому, что мы разумѣемъ подъ свободой воли, а слѣдовательно и тому, что вообще понимается подъ свободой. Мы нашли, что, согласно общему смыслу понятія „свободы“, хотѣніе человѣка можно назвать свободнымъ, поскольку оно опредѣляется личностью, т. е. поскольку его свойства зависятъ отъ свойствъ личности. Теперь мы узнаемъ, что хотѣніе свободно, когда оно *не* опредѣляется ни внѣшнимъ міромъ, ни личностью, когда оно, слѣдовательно, могло бы также быть и *инымъ*, чѣмъ оно есть, несмотря на внѣшній міръ и личность.

Какимъ же образомъ оправдываютъ такую мысль? Можно ли придти къ ней на основаніи опыта? Существуетъ ли возможность показать, что дѣйствительно бываютъ волевые рѣшенія, независимыя не только отъ внѣшнихъ вліяній, но даже отъ свойствъ личности и отъ того, что въ ней есть и

дѣйствуетъ. Конечно, нѣтъ. Внутреннія условія нашего хотѣнія, принимающіе въ немъ участіе психическіе факторы, какъ уже было сказано, никогда не доходятъ полностью до нашего сознанія. Механизмъ или ткань внутренняго процесса слишкомъ тонки для того, чтобы мы могли когда нибудь вполне въ нихъ проникнуть. Вслѣдствіе этого мы никогда не можемъ сказать, насколько глубоко какое нибудь волевое рѣшеніе можетъ быть обусловлено извѣстными намъ причинами.

Изложенная нами теорія вызвана этическими соображеніями слѣдующаго характера. Если волевое рѣшеніе опредѣляется въ одномъ опредѣленномъ направленіи внутренними и внѣшними обстоятельствами, при которыхъ оно имѣетъ мѣсто, если въ этихъ обстоятельствахъ заключается достаточное основаніе такого рѣшенія,—однимъ словомъ, если оно причиняется, производится, вызывается обстоятельствами, то въ такомъ случаѣ оно при совокупности этихъ обстоятельствъ оказывается *необходимымъ*. Какъ мы говорили уже выше, такое волевое рѣшеніе не можетъ быть инымъ, чѣмъ оно есть. Эта необходимость требуется понятіемъ причинности,—говорятъ сторонники излагаемой нами теоріи: если какое нибудь событіе обуславливается чѣмъ нибудь въ полномъ смыслѣ слова, то это всегда означаетъ, что событіе *должно* наступить, если дается причина. Результатъ *неотвратимымъ* образомъ таковъ, потому что такова его причина.

Такого рода необходимости однако *противопологается* свобода. Я не свободенъ, если я испытываю *принужденіе*. Если, слѣдовательно, мое хотѣніе обуславливается нѣкото-рою *причиною*, то оно не оказывается свободнымъ. Между тѣмъ свобода воли представляетъ собою условіе нравственной вмѣняемости или отвѣтственности. Она является предпосылкой для нравственной оцѣнки волевыхъ рѣшеній. Такимъ образомъ послѣдняя устраняется, когда наше хотѣніе является *обусловленнымъ* внѣшними обстоятельствами или личностью, или тѣмъ и другимъ вмѣстѣ.

Противъ этого разсужденія мы могли бы прежде всего возразить, что въ немъ заключается игра словами, и притомъ въ двойной формѣ. У меня въ самомъ дѣлѣ нѣтъ свободы воли, если я *вынуждаюсь* къ какому либо хотѣнію. Если однако я говорю, что испытываю принужденіе, то я устанавливаю необходимымъ образомъ противоположность между мною самимъ, *испытывающимъ принужденіе*, и чѣмъ-то отдѣльнымъ отъ меня, *что* оказываетъ на меня принудительное вліяніе.

„Принужденіе“ представляетъ собою дѣйствование; послѣднее же предполагаетъ разницу между дѣйствующимъ лицомъ и тѣмъ, что испытываетъ дѣйствіе. Поэтому утвержденіе: я оказываю *самъ на себя* принудительное вліяніе, не имѣетъ смысла. Въ данномъ случаѣ вовсе не имѣется *акта принужденія*. О *воздѣйствіи* со стороны когонибудь на нѣчто иное, чѣмъ онъ самъ, въ настоящемъ случаѣ совершенно нѣтъ рѣчи. Я самъ себя принуждаю къ нѣкотораго рода хотѣнію; это означаетъ въ дѣйствительности лишь слѣдующее: я являюсь опредѣляющимъ основаніемъ моего хотѣнія. Такимъ образомъ это только иное и въ то же время очень неудачное выраженіе того факта, что я принимаю волевое рѣшеніе по собственному почину, не встрѣчая ни принужденія, ни препятствія со стороны чегонибудь отличнаго отъ меня,—слѣдовательно, принимаю волевое рѣшеніе свободно.

Съ другой стороны, здѣсь есть игра словами—хотѣніе и воля. Воля, проявляющаяся въ отдѣльныхъ волевыхъ актахъ или хотѣніяхъ, представляетъ собою не отдѣльную силу или даже не отдѣльное существо во мнѣ, которое могло бы существовать независимо отъ меня. Воля—это я самъ. Воля есть моя личность, проявляющаяся въ хотѣніи. А хотѣніе представляетъ собой внутреннее преслѣдованіе какойнибудь цѣли, преслѣдованіе, исходящее отъ меня самого или отъ моей личности. Хотѣніе есть внутреннее направленіе моего существа на какуюлибо цѣль или обнаруженіе моей сущности.

Воля, какъ я могу, слѣдовательно, сказать точнѣе.—это

я самъ, *поскольку* я внутренно проявляюсь и при этомъ *стремлюсь* къ конечной цѣли моей дѣятельности. Свобода *воли* представляетъ собой поэтому мою *собственную* свободу,— все равно, говорю ли я о свободѣ воли или о свободѣ личности, и именно—внутренней личности.

Такого рода личность можетъ быть свободной только отъ чего нибудь иного, чѣмъ она сама. Нѣтъ ни малѣйшаго смысла считать личность свободной или независимой отъ самой себя. Поэтому нѣтъ, равнымъ образомъ, никакого смысла разсматривать волю, какъ нѣчто независимое отъ меня или отъ моей личности.

Если же хотѣніе является стремленіемъ внутренней дѣятельности къ чему нибудь или моимъ внутреннимъ обращеніемъ къ какой либо конечной цѣли, то безсмысленно было бы допускать, что подобное внутреннее *направленіе* моей личности не зависитъ отъ меня; въ такомъ допущеніи столь же мало смысла, какъ, на примѣръ, еслибы мы стали направленіе двигающагося камня или стремленіе движенія къ нѣкоторой опредѣленной точкѣ мысленно отдѣлять и представлять независимымъ отъ камня и его движенія.

Въ разбираемомъ случаѣ, повидимому, существуютъ налицо именно такія невозможныя представленія. Сторонники излагаемой нами теории называютъ *волю* свободной и разумѣютъ при этомъ не только свободу воли отъ внѣшнихъ воздѣйствій, но также и ея независимость отъ самого меня. Такимъ образомъ въ данномъ случаѣ допускаютъ на самомъ дѣлѣ независимость меня отъ самого себя или воли отъ себя самой. Въ этомъ заключается мысленное удвоеніе меня самого или воли. Безъ подобнаго рода удвоенія нельзя было бы представить себѣ никакого отношенія между мною и мною, слѣдовательно, также и независимости меня отъ меня. Въ дѣйствительности однако я представляю собой только *единственное „я“*.

Въ этихъ разсужденіяхъ называютъ свободнымъ *хотѣніе*, т. е. отдѣльный волевой актъ, въ смыслѣ свободы

или независимости подобнаго акта воли отъ меня. Такимъ образомъ мое внутреннее обращеніе къ чему либо, мое внутреннее поведеніе, мою внутреннюю жизнь отрываютъ отъ меня, *который* проявляетъ это направленіе, такое поведеніе, такую форму жизни, и затѣмъ устанавливаютъ независимость другъ отъ друга этихъ двухъ различныхъ моментовъ.

Укажемъ теперь традиціонный терминъ, означающій только что изложенное нами ученіе о свободѣ воли. Точку зрѣнія, допускающую хотѣніе, которое бы не находилось въ причинной зависимости ни отъ однихъ только внѣшнихъ обстоятельствъ, ни отъ внѣшнихъ обстоятельствъ въ связи съ самою личностью,—подобную точку зрѣнія означаютъ терминомъ *индетерминизмъ*. Согласно этому, мы можемъ обозначать „свободу воли“, полагаемую равнозначной такого рода отсутствію причинной связи, какъ индетерминистическую. Въ противоположность этому свобода воли, о которой мы говорили раньше, и которая одна заслуживаетъ такого названія, представляетъ собою детерминистическую свободу воли; точка зрѣнія, признающая исключительно эту свободу воли, есть точка зрѣнія детерминизма. Первая точка зрѣнія носитъ названіе индетерминизма потому, что, согласно ей, человѣческое хотѣніе не опредѣляется или не *детерминируется*. Обратио, наша точка зрѣнія называется детерминизмомъ потому, что мы полагаемъ, что человѣческое хотѣніе непременно опредѣляется или детерминируется въ одномъ направленіи совокупностью всѣхъ условій, среди которыхъ оно наступаетъ; мы исключаемъ, слѣдовательно, мысль о томъ, чтобы хотѣніе могло быть неодинаковымъ при одинаковыхъ условіяхъ.

Присмотримся ближе теперь къ точкѣ зрѣнія индетерминизма и мнимой индетерминистической свободы воли. Согласно вышесказанному, эта точка зрѣнія отрицаетъ, что наше хотѣніе подчиняется закону причинности или обуслов-

ленности, закону, имѣющему всеобщее значеніе въ прочихъ случаяхъ. Этотъ законъ утверждаетъ совершенно общимъ образомъ: всякое событіе имѣетъ свою причину. Въ этомъ законѣ высказывается то утвержденіе, которое было уже приведено нами при изложеніи индетерминистическихъ взглядовъ: если дана причина нѣкотораго событія (и притомъ дана цѣликомъ), вслѣдъ за этимъ можно себѣ представить только наступленіе такого-то опредѣленнаго событія. Или, если угодно: это событіе наступаетъ *по необходимости* и *необходимо* именно въ томъ видѣ, въ какомъ оно является, если имѣется на-лицо данная причина, какъ таковая. Такимъ образомъ это означаетъ просто лишь слѣдующее: задержка такого рода событія или наступленіе вмѣсто него иного событія для насъ *немыслимы*.

Мы не можемъ примѣнять этотъ законъ причинной связи или обусловленности всякаго событія въ одномъ мѣстѣ и оставлять безъ примѣненія въ другомъ. Если предположить, что мы пришли къ нему путемъ *опыта*, тогда это было бы возможно. Мы могли бы сказать: намъ слѣдуетъ примѣнять этотъ законъ тамъ, гдѣ этого требуетъ опытъ. Мы могли бы, конечно, оставлять этотъ законъ безъ примѣненія въ тѣхъ областяхъ, гдѣ нѣтъ эмпирической необходимости въ подобномъ примѣненіи.

Однако законъ причинности полученъ *не* изъ опыта: это законъ нашего мышленія, законъ, заключающійся въ природѣ человѣческаго духа. Было бы однако безсмыслицей, чтобы человѣческій духъ мыслить, не сообразуясь со своими законами или со своей природой. Поэтому, по правдѣ говоря, идея безпричиннаго хотѣнія совершенно лишена смысла. Она представляетъ собою утвержденіе, чуждое мышленію.

Этому, повидимому, противорѣчить то обстоятельство, что въ обыденной рѣчи мы всетаки говоримъ о *случаяхъ*. Мы говоримъ, что то или иное произошло чисто случайно. Между тѣмъ то, что происходитъ случайно, лишено необходимости. Вмѣсто него „могло бы“ также случиться нѣчто

иное. Поэтому кажется, что, если мы говоримъ о случаѣ, то тѣмъ самымъ мы отрицаемъ законъ причинной связи или тотъ законъ, по которому всякое событіе имѣетъ свою причину. Мы *можемъ*, слѣдовательно, отрицать этотъ законъ, можемъ допускать, что нѣчто совершается безъ причины.

И въ самомъ дѣлѣ многимъ можетъ показаться, что дѣло обстоитъ такимъ образомъ. Но эта видимость обманчива. Понятіе случая имѣетъ двоякій смыслъ. Я прохожу по улицѣ черезъ толпу мальчиковъ, играющихъ въ снѣжки. Одинъ снѣжокъ „случайно“ попадаетъ мнѣ въ голову. Это означаетъ только, что это случилось *ненамѣренно*, а не то, чтобы данный процессъ не имѣлъ причины. Эта причина состоитъ въ томъ обстоятельстве, что я шелъ именно по этой дорогѣ, и что одинъ изъ мальчиковъ случайно, т. е. безъ намѣренія попасть въ меня, бросилъ снѣжокъ въ томъ направленіи, въ которомъ я шелъ.

Мы говоримъ о случаѣ также въ другомъ смыслѣ. Если съ крыши падаетъ черепица и попадаетъ въ меня, то это случайность. Это означаетъ опять-таки не то, чтобы паденіе этой черепицы не имѣло причины или совершалось независимо отъ естественныхъ законовъ. Причина такого явленія заключается въ силѣ тяжести, въ томъ обстоятельстве, что черепица плохо закрѣплена или расшаталась съ теченіемъ времени; можетъ быть, эта причина состоитъ также въ томъ, что въ настоящее мгновеніе подулъ болѣе сильный порывъ вѣтра и т. д.

То, что я обозначаю словомъ „случай“ въ данное время, выражаетъ собой только мое невѣдѣніе причины. Такимъ образомъ случай—также какъ, согласно сказанному раньше, „возможность“—является выраженіемъ не отсутствія причинъ, а нашего *незнанія* ихъ. Мы ставимъ на мѣсто неизвѣстной причины это слово, на мѣсто нѣкоторой величины—этотъ *x*. Мы такъ далеки отъ отрицанія существованія причинъ, что, именно употребляя слово „случай“, мы *указываемъ*

на *присутствіе* неизвѣстныхъ причинъ тамъ, гдѣ отсутствуютъ извѣстныя. Въ концѣ концовъ мы даже возводимъ случай въ таинственное существо, одаренное *особенною* способностью дѣйствія и причиннаго проявленія. Мы говоримъ объ особомъ могуществѣ, о *демонѣ* случая, о коварствѣ этого демона и т. д.

Но если мы должны, согласно природѣ нашего духа, примѣнять законъ причинности ко всякаго рода явленіямъ, то мы принуждены примѣнять его также и къ человѣческимъ волевымъ актамъ. Размышляя о нихъ, мы дѣлаемъ это неотвратимымъ образомъ.

Теперь я опять вернусь къ той фикціи, которую я выше влагалъ въ уста представителю идеи о „свободѣ случайности“, — я имѣю въ виду защитника индетерминистической свободы воли. Въ силу этой фикціи намъ вполнѣ точно извѣстны все существо, характеръ, образъ мыслей, каждое внутреннее движеніе человѣка, совершающаго въ данную минуту опредѣленное дѣйствіе. Мнѣ извѣстны равнымъ образомъ всѣ воздѣйствія, вліяющія извнѣ на его личность.

Теперь я предполагаю, что всѣ эти вышеописанныя условія совершенно точно воспроизводятся гдѣ либо въ другомъ мѣстѣ свѣта. Точно такой же человѣкъ переживаетъ точно то же. Въ этомъ случаѣ я съ увѣренностью ожидаю такого же волевого рѣшенія. Еслибы въ дѣйствительности наступило иное волевое рѣшеніе, тогда я, какъ и всякій другой, а также какъ и индетерминистъ, спросилъ бы: „какимъ образомъ это происходитъ? Какъ объясняется такое различіе?“ Въ этомъ заключается непосредственное признаніе того, что такое различіе *должно* быть объяснено *какимъ либо образомъ*, слѣдовательно, должно имѣть нѣкоторое *основаніе*. А это означаетъ слѣдующее: во второмъ случаѣ должно быть нѣчто, какое нибудь обстоятельство, уклонившееся отъ наблюденія, которое могло *вызвать* иное волевое рѣшеніе. Безъ этого обстоятельства иной характеръ волевого рѣшенія во второмъ случаѣ явился бы намъ непонятнымъ, невообразимымъ, — короче говоря, немислимымъ.

Послѣднее означаетъ, что индетерминистическая *свобода*, или „свобода случайности“, является немыслимой. Вслѣдствіе этого она никогда и не была предметомъ мышленія. Соотвѣтственныя слова произносились, но говорившіе ихъ никогда не думали о томъ, что они означаютъ.

Для насъ, равно какъ и для самого индетерминиста, всего важнѣе этическое значеніе этой такъ называемой „свободы“ воли. Мы видѣли, что изъ детерминистической свободы воли непосредственно слѣдуетъ вмѣняемость или отвѣтственность. Слѣдовательно, прежде всего нѣтъ никакой нужды, чтобы индетерминистъ посредствомъ своей индетерминистической теоріи *спасалъ* ученіе о вмѣняемости или отвѣтственности. Онъ однако не только не спасаетъ, а, напротивъ, *губитъ* его, такъ какъ индетерминизмъ является *самъ по себѣ отрицаніемъ* такого ученія.

Поскольку свойства волевого рѣшенія обусловливаются не мною, поскольку они не являются основанными въ моей личности, не возникаютъ изъ моего существа,—короче говоря, поскольку они отличаются признаками, чуждыми мнѣ, и осуществляются независимо отъ моего существа, такъ что эти свойства могутъ быть тѣми или иными *вопреки* моей личности,—постольку данное волевое рѣшеніе, говоря тривіально, *меня совершенно не касается*. Оно становится моею судьбою, противодѣйствующей мнѣ. Оно представляетъ собой не мое, а просто нѣкоторое волевое рѣшеніе; оно есть не мое дѣйствіе, а нѣкоторое событіе, нѣкоторый фактъ, происходящій или совершающійся во мнѣ безъ моего содѣйствія. Я вовсе не въ правѣ говорить въ такомъ случаѣ: „я хочу“,—я долженъ говорить безлично: „хочется“, подобно тому, какъ я, на примѣръ, говорю: „свѣтаетъ“.

Конечно, я не могу нести отвѣтственность за подобнаго рода „хотѣніе“. Было бы безмысленно вмѣнять человѣку хотѣніе, которое въ дѣйствительности не можетъ быть от-

несено за его счетъ, т. е. обусловливается не имъ. Нельзя возлагать на дерево отвѣтственность за тѣ свойства плодовъ, которыя не основаны на природѣ дерева.

Разсмотримъ также еще и дальнѣйшія слѣдствія, которыя получились бы изъ подобнаго индетерминизма. Человѣкъ испытаннаго благороднаго образа мыслей находится передъ выборомъ совершить или не совершить нѣкоторую низость. Его способность спокойнаго разсужденія предполагается не затемненной. Сверхъ того, я предполагаю, что онъ не получилъ бы важной выгоды изъ низкаго поступка. Въ такомъ случаѣ мы съ увѣренностью ожидаемъ, что данный человѣкъ не совершитъ его. Мы говоримъ: совершенно невозможно, чтобы онъ его совершилъ. Мы въ немъ сильно ошиблись бы, онъ оказался бы по всему своему существу совсѣмъ инымъ, еслибы онъ совершилъ упомянутую низость.

Не такъ долженъ разсуждать представитель означенной выше невозможной свободы воли. По его мнѣнію, или, точнѣе говоря, на основаніи слѣдствій, вытекающихъ изъ его утвержденій, какъ бы человѣкъ ни былъ благороденъ, это однако не мѣшаетъ ему сдѣлать низость, и не въ минуту, напримеръ, мгновеннаго помраченія (послѣднее мы нарочно только что исключили изъ нашихъ предположеній, такъ какъ въдь и въ помраченіи заключалась бы опять-таки причина плохого поступка), а въ полномъ сознаніи. Можетъ быть, въ дѣйствительности „благородный человѣкъ“ не совершаетъ плохого дѣйствія. Въ такомъ случаѣ однако мы не имѣемъ права сказать, что иначе и быть не можетъ. Въдь индетерминистическая свобода воли и состоитъ именно въ томъ, что волевое рѣшеніе всегда *могло бы* быть также и инымъ. Мы должны, слѣдовательно, ожидать, что въ нѣкоторомъ другомъ совершенно аналогичномъ случаѣ тотъ же самый человѣкъ однако совершитъ плохой поступокъ.

Легко видѣть, какое практическое слѣдствіе вытекаетъ отсюда. Всякій изъ насъ поступилъ бы хорошо, выстроивъ

себѣ неприступную крѣпость по отношенію ко всякому другому; въ эту крѣпость не слѣдовало бы впускать никого, даже самыхъ лучшихъ и наиболѣе испытанныхъ друзей: вѣдь отъ ихъ индетерминистической свободы воли можно бы было ожидать каждое мгновеніе всего наихудшаго. Да и подобнаго рода добровольная изолированность не принесла бы пользы: вѣдь мы и сами обладаемъ индетерминистической „свободой воли“. Для насъ поэтому былъ бы нуженъ сторожъ; но и послѣднему мы не могли бы довѣрять.

Такимъ образомъ, подобнаго рода мнимая свобода воли вообще разрушила бы всякое довѣріе. Всякое довѣріе къ человѣческому хотѣнію и дѣйствіямъ основывается вѣдь на ожиданіи, что извѣстный характеръ, извѣстный образъ мыслей, — короче говоря, личность, организованная опредѣленнымъ образомъ, проявляется соотвѣтственно своей организаціи. Чѣмъ прочнѣе и глубже укоренится хорошей образъ мыслей, тѣмъ съ большею увѣренностью мы ожидаемъ хорошаго дѣйствія, тѣмъ необходимѣе, по нашему мнѣнію, послѣднее *должно* наступить. Всякаго рода довѣріе къ людямъ основывается на нашемъ убѣжденіи въ общемъ значеніи закона причинности. Нравственная увѣренность есть одна изъ формъ общей увѣренности въ томъ, что тогда, когда дается нѣкоторая причина, соотвѣтствующее ей дѣйствіе должно послѣдовать. Другими словами, нравственная увѣренность есть одно изъ проявленій увѣренности въ законмѣрности всякаго рода явленій на свѣтѣ. Наоборотъ, если законъ причинности лишень силы въ области хотѣнія, въ такомъ случаѣ всякаго рода нравственная увѣренность рушится.

Вмѣстѣ съ этимъ всякое воспитаніе, всякое ободреніе или награжденіе, всякая угроза или наказаніе теряють смыслъ и цѣль. Этими приѣмами мы вѣдь стремимся вызвать или сохранить нѣкоторый нравственный характеръ личностей; и отъ добраго дерева мы ожидаемъ добрыхъ плодовъ. Въ противоположность этому представитель индетерминистической свободы воли говоритъ намъ, что добрые плоды,

конечно, могутъ расти на добромъ деревѣ, но что то же самое дерево можетъ приносить равнымъ образомъ и плохіе плоды.

Въ данномъ случаѣ однако индетерминистъ можетъ обвинить насъ въ нѣкоторомъ преувеличеніи. Онъ опять заявитъ, что рѣчь идетъ не объ этомъ, и что индетерминистъ принадлежитъ къ числу тѣхъ людей, которые всегда понижаютъ эти отношенія между явленіями „иначе“.

Такой индетерминистъ можетъ намъ сказать, что въ его ученіи нѣтъ и рѣчи о безграничной свободѣ, такъ какъ его ученіе допускаетъ свободу только въ извѣстныхъ границахъ. Однако внутри этихъ границъ она *дѣйствительно* существуетъ.

Въ такомъ случаѣ я спрошу: что же это значитъ? Насколько я могу усмотрѣть, на-лицо имѣются три возможности. Можетъ быть, скажутъ прежде всего: извѣстная волевая рѣшенія являются обусловленными, другія—нѣтъ. Въ такомъ случаѣ я предложу вопросъ: какія же волевая рѣшенія относятся къ первому классу, и какія — ко второму? Являются ли, напримѣръ, волевая рѣшенія, имѣющія значеніе въ нравственномъ отношеніи, детерминированными или обусловленными, а менѣе важныя въ нравственномъ отношеніи—недетерминированными или необусловленными? Или же существуетъ обратное отношеніе? Можетъ быть, говоря языкомъ индетерминиста, дѣйствія, имѣющія съ нравственной точки зрѣнія важное значеніе, являются несвободными, а дѣйствія, имѣющія значеніе менѣе важное, являются свободными? Или же справедливо обратное отношеніе?

Индетерминистъ не можетъ держаться ни того, ни другого мнѣнія. Въ настоящемъ случаѣ вспомнимъ только, почему индетерминистъ вообще устанавливаетъ свою теорію. Какъ уже было сказано, онъ это дѣлаетъ изъ основаній этического характера. Онъ это дѣлаетъ потому, что человекъ

не можетъ нести отвѣтственность за *несвободные* акты воли, — слѣдовательно, согласно понятію о свободѣ у индетерминиста, за тѣ волевые акты, которые причинно обусловлены, нельзя ни хвалить, ни порицать человѣка.

Въ такомъ случаѣ, конечно, нѣтъ смысла въ утвержденіи, что дѣйствія, имѣющія менѣе важное значеніе въ нравственномъ отношеніи, остаются индетерминированными, а дѣйствія, болѣе значительныя, являются детерминированными, такъ какъ это означало бы слѣдующее: мы *отвѣтственны* исключительно за дѣйствія, имѣющія *менѣе важное* значеніе въ нравственномъ отношеніи; за дѣйствія же болѣе значительныя мы, напротивъ, не несемъ никакой отвѣтственности.

Скорѣе ужъ нужно стать на противоположную точку зрѣнія. Но если мы сдѣлаемъ обратное предположеніе, если мы допустимъ, что дѣйствія, *имѣющія важное значеніе* съ нравственной точки зрѣнія, являются „свободными“, то, согласно со сказаннымъ раньше, остается въ силѣ нижеслѣдующее: такъ какъ свобода отождествляется съ индетерминированностью или съ отсутствіемъ обусловленности, то въ такомъ случаѣ дѣйствія, имѣющія самое важное значеніе съ точки зрѣнія нравственности, слѣдовательно, въ особенности самыя благородныя дѣйствія, являлись бы наиболѣе, несомнѣнно, индетерминированными, т. е. не обоснованными въ образѣ мыслей или въ самой личности; мы менѣе всего могли бы рассчитывать на ихъ осуществленіе. При совершенніи подобныхъ дѣйствій мы должны были бы ожидать больше всего, что они уступятъ когда нибудь мѣсто совершенно неблагородному дѣйствию. Мы должны были бы *менѣе всего питать довѣріе* къ тѣмъ, кого мы называемъ *благородными* вслѣдствіе благородства ихъ дѣйствій.

Индетерминистъ можетъ, пожалуй, сказать: всѣ волевые рѣшенія опредѣляются или детерминируются свойствами личности въ извѣстныхъ *основныхъ чертахъ*. Напримѣръ, человѣкъ съ благороднымъ образомъ мыслей не можетъ по-

ступать совсѣмъ неблагородно, онъ не въ состояніи нарушать сознательно ясно сознанную обязанность. Между тѣмъ отдѣльныя частности его дѣйствій, особенная манера обнаруженія имъ его благороднаго образа мыслей является обусловленной.

Эту теорію индетерминистъ опять-таки не можетъ защищать серьезно, такъ какъ отсюда для него вытекало бы, что человѣкъ является отвѣтственнымъ только за *второстепенный* элементъ въ своихъ волевыхъ рѣшеніяхъ, а не за то, что составляетъ ихъ собственно нравственный характеръ. Намъ не могли бы быть въ особенности зачтены благородныя и предосудительныя дѣйствія, поскольку они являются таковыми; они могли бы намъ вмѣняться, лишь поскольку они приводятся въ исполненіе тѣмъ или инымъ образомъ.

Наконецъ, упомянутую ограниченную индетерминистическую свободу воли можно было бы опредѣлить ближе слѣдующимъ утвержденіемъ: личность, характеръ, нравственный строй личности опредѣляютъ *всѣ* волевые акты, и опредѣляютъ не только въ ихъ основныхъ чертахъ, но также и въ ихъ менѣ существенныхъ особенностяхъ. Однако ни одно волевое рѣшеніе не опредѣляется такимъ путемъ *абсолютно*. Другими словами, зная, что нравственный строй личности какого нибудь человѣка благороденъ, и что мы можемъ ожидать отъ него съ *нѣкоторою* увѣренностью благородныхъ поступковъ, мы тѣмъ не менѣ никогда не можемъ быть совершенно въ этомъ увѣрены, или, выражаясь иначе, нравственный строй личности дѣлаетъ *вѣроятнымъ*, что дѣйствіе будетъ соответствовать нашей увѣренности, но въ то же время противоположное также является *вѣроятнымъ*, хотя и въ меньшей степени.

Такимъ образомъ, обнаруженные нами до сихъ поръ сомнѣнія по отношенію къ индетерминистической свободѣ воли уменьшились бы, но не были бы устранены. Допустимъ, что въ ящикѣ лежатъ двѣнадцать приносящихъ счастье и шесть приносящихъ несчастье шаровъ. Въ этомъ случаѣ

является болѣе вѣроятнымъ, что я вытащу изъ ящика шаръ, приносящій счастье. Однако мысль о приносящихъ несчастье шарахъ, можетъ быть, заставляетъ меня опускать руку въ ящикъ съ величайшей неохотой. Можетъ быть, я предпочту вовсе не трогать послѣдняго. Говоря безъ образовъ: если дѣйствіе благороднаго человѣка явится, по всей вѣроятности, благороднымъ, но если однако существуетъ возможность, что оно окажется совершенно неблагороднымъ, то всетаки въ этомъ случаѣ я держался бы, ради безопасности, вдали не только отъ неблагородныхъ людей, но также и отъ даннаго благороднаго человѣка. Во всякомъ случаѣ я приближался бы къ нему съ нѣкотораго рода страхомъ и трепетомъ, подобно тому, какъ я это дѣлаю во время непогоды, становясь подъ защиту дерева. Послѣднее прежде всего защищаетъ меня, и вѣроятность, чтобы молнія ударила именно въ это дерево, представляется крайне незначительной. Однако, несмотря на это, *можетъ* случиться, что она ударитъ въ него.

По этому поводу я сдѣлаю здѣсь еще одно замѣчаніе. Еслибы не существовало увѣренности въ томъ, что *всякій* благородный строй личности, проявляющійся вполнѣ свободно въ нашемъ смыслѣ слова, производитъ соотвѣтственныя благородныя дѣйствія, то всетаки мы ожидали бы всегда благородныхъ дѣйствій отъ благороднаго образа мыслей съ *тѣмъ болѣею* увѣренностью, *чѣмъ болѣе благороденъ* этотъ образъ мыслей. Наконецъ, отъ святаго мы ожидали бы съ полною увѣренностью однихъ только добрыхъ дѣлъ. Мы сказали бы, что онъ можетъ дѣйствовать только хорошо. Въ такомъ случаѣ, согласно индетерминистической теоріи, это значило бы, что мы болѣе *не* должны были бы вмѣнять святому въ заслугу то добро, которое онъ творитъ, мы не имѣли бы основаній поэтому прославлять его. Дѣйствія его были бы лишены нравственной цѣнности.

Мы называемъ *Бога* святымъ. Соотвѣтственно этому мы говоримъ о Немъ, что Онъ *не можетъ* хотѣть ничего, кромѣ

добра. Мы полагаемъ, что у Него добро вытекаетъ *съ необходимостью* изъ Его существа. Слѣдовательно, если индетерминистъ правъ, мы не можемъ „вмѣнять“ Богу творимаго Имъ добра, т. е. мы не имѣемъ основаній прославлять Его, какъ святого, ради творимыхъ Имъ святыхъ дѣлъ.

Въ дѣйствительности однако мы Его прославляемъ. Мы считаемъ, что святость Его существа *обнаруживается* именно въ Его святыхъ дѣлахъ. Индетерминистъ тоже держится этого мнѣнія; онъ также считаетъ, что нельзя прославлять, какъ святого, такого Бога, который не хочетъ и не творить безпрестаннаго совершеннаго добра. Слѣдовательно, индетерминистъ также принимаетъ въ данномъ частномъ случаѣ нравственную цѣнность хотѣнія и дѣйствованія за масштабъ нравственной цѣнности существа. Такимъ образомъ индетерминистъ вмѣняетъ этому существу нравственную цѣнность его хотѣнія и дѣйствованія. Онъ поступаетъ такъ, несмотря на отсутствіе свободы воли въ его смыслѣ этого слова. Однако для *упрямаго* индетерминиста подобное противорѣчіе ничего не значитъ.

Въ концѣ концовъ у индетерминиста остается еще одинъ доводъ противъ детерминизма, который можетъ показаться чѣмъ-то особенно соблазнительнымъ. Если законъ причинности имѣетъ общее значеніе, то онъ сохраняетъ свою силу и по отношенію къ *человѣческой личности*, или къ ея характеру и къ ея образу мыслей. Слѣдовательно, данная личность имѣетъ тѣ свойства, которыя принадлежать ей, такъ какъ обстоятельства, при которыхъ она сложилась, являются таковыми. Она даже не *можетъ* при наличности данныхъ обстоятельствъ ни существовать, ни мыслить иначе, чѣмъ она есть.

Отсюда дѣлаютъ слѣдующее заключеніе: значитъ, *не моя вина въ томъ*, что я именно такой, а не иной человѣкъ, что мое существо, мой характеръ, мой духовный складъ

именно такіе, а не иные. И насколько мои дѣйствія обусловливаются моимъ духовнымъ складомъ, настолько я ничѣмъ не могу повліять на свое дѣяніе. Я, согласно этому, не являюсь отвѣтственнымъ ни за нравственный строй моей личности, ни, слѣдовательно, за мои дѣйствія,—другими словами, ни духовный строй моей личности, ни мое поведеніе не могутъ мнѣ быть вмѣняемы.

Такого рода заключительный выводъ является прежде всего игрой словами. Если мои дѣйствія происходятъ изъ моего характера, изъ моего образа мыслей, или, говоря короче, изъ самого *меня*, обладающаго данными свойствами, то я, безъ сомнѣнія, „виновенъ“ въ моихъ дѣйствіяхъ. Последнее обстоятельство *означаетъ* исключительно вѣдь только то, что дѣйствіе исходитъ отъ меня; это обстоятельство и не можетъ означать ничего другого. Какъ мы видѣли, возможность *вмѣненія дѣйствія* или отвѣтственность за последнее *основывается* именно на подобнаго рода сущности вещей.

Напротивъ, утвержденіе, что нравственный строй моей личности или мой *характеръ* не могутъ быть мнѣ вмѣняемы, заключаетъ въ себѣ нѣкоторую долю правды. Иначе говоря, нравственный строй моей личности не *можетъ* мнѣ быть вмѣняемъ, прежде всего потому, что въ этомъ нѣтъ никакой *нужды*. Какъ намъ извѣстно, вмѣненіе *дѣйствія* въ нравственномъ отношеніи является перенесеніемъ нравственной оцѣнки дѣйствія на меня самого или на мою личность. Поэтому нравственное вмѣненіе *строя личности* являлось бы перенесеніемъ съ него нравственной оцѣнки на меня самого или на мою личность. Въ такого рода перенесеніи однако нѣтъ *нужды*. Цѣнность нравственнаго строя моей личности *является* именно по своему происхожденію *моєю* собственною цѣнностью.

Если угодно, мы могли бы выразить подобнаго рода сущность вещей также слѣдующимъ образомъ: вмѣненіе нравственнаго строя личности является повсюду *понятнымъ само по себѣ*; строй личности, признаваемый *моимъ* и всетаки не

вмѣняемый *мысль*, представлялъ бы собою нѣкоторое внутреннее противорѣчіе.

Такимъ образомъ только что высказанное утверждение перешло бы въ свою противоположность. Это кажется страннымъ. Между тѣмъ рѣшеніе этой загадки просто: понятіе вмѣняемости, а также и понятіе отвѣтственности въ дѣйствительности совсѣмъ не можетъ быть *прилагаемо къ нравственному строю личности*; въ такого рода примѣненіи оно совершенно теряетъ свой собственный смыслъ.

Впрочемъ, изложенный выше заключительный выводъ требуетъ нѣкоторой *поправки* въ своемъ содержаніи. Безъ сомнѣнія, утвержденіе: „я не при чемъ въ строѣ моей личности или въ моемъ характерѣ“, имѣетъ слѣдующій смыслъ: мой образъ мыслей или мой характеръ выработался такимъ, каковъ онъ есть, *безъ моего содѣйствія*. Это неврѣно: извѣстныя черты моего характера, конечно, мнѣ прирождены, и, слѣдовательно, въ нихъ я „неповиненъ“; съ другой стороны, на мой характеръ воздѣйствовали обстоятельства, вещи и люди, и эта сторона моей жизни также не зависитъ отъ меня; однако всякая мысль, *продуманная мною*, каждое мое прошлое хотѣніе, каждая уступка какому либо искушенію или сопротивленіе ему также содѣйствовали опредѣленію моего характера въ томъ видѣ, какъ онъ существуетъ теперь,—слѣдовательно, я все-таки кое-что сдѣлалъ для выработки моего характера и нравственнаго строя моей личности. И я каждую минуту снова оказываю подобнаго рода „содѣйствіе“.

Разумѣется, всякая такая мысль или всякій волевой актъ, каждая уступка или каждое сопротивленіе въ свою очередь основываются на моемъ характерѣ и произведенныхъ на него вліяніяхъ извнѣ. Каждая стадія моего духовнаго и нравственнаго бытія развивается *закономѣрно* изъ предыдущихъ. Окидывая же взоромъ совокупность этого развитія и задаваясь вопросомъ о причинѣ этой *совокупности*, я, понятно, долженъ сказать, что эта совокупность,

какъ таковая, имѣть не во мнѣ свою причину, такъ какъ, въ противномъ случаѣ, я долженъ бы былъ существовать прежде, чѣмъ я родился.

Все это однако не мѣшаетъ тому, что я въ каждое мгновеніе оказываюсь *виновнымъ въ томъ*, что я держусь того или иного образа *поведенія*,—именно: я отвѣтствененъ за свое поведеніе постольку, поскольку оно во мнѣ имѣть свое основаніе. Это не мѣшаетъ тому, что въ каждую минуту *зависитъ отъ меня* вести себя *нравственно*; эта зависимость простирается опять-таки точно въ такой степени, въ какой недостатокъ моего нравственнаго поведенія имѣть во мнѣ свое основаніе. Выраженіе, что нѣчто „зависитъ отъ меня“, равно какъ и вышеупомянутое выраженіе, что я „виновенъ въ чемъ нибудь“, означаютъ не что иное, какъ именно такого рода обоснованіе во мнѣ поведенія.

Прежде всего сказанное не устраняетъ того обстоятельства, что мой *хорошій* образъ мыслей *хорошъ*, а *плохой*—*плохъ*, что поэтому, съ точки зрѣнія нравственности, первый является предметомъ *уваженія*, а второй—*порицанія*.

Въ противномъ случаѣ какое же отношеніе съ нравственной точки зрѣнія имѣть критическій разборъ моего образа мыслей къ вопросу о томъ, каково въ концѣ концовъ происхожденіе послѣдняго? Когда дерево пышно растетъ кверху, когда оно здорово и могуче, или когда, напротивъ, другое дерево является внутренно слабымъ, больнымъ, несчастнымъ, спрашиваемъ ли мы въ такомъ случаѣ, какъ это *происходитъ*, чтобы *соответственно съ этимъ* опредѣлить нашу *оцѣнку*, въ частности же, напримѣръ, наше сужденіе о красотѣ? Конечно, и то, и другое явленіе имѣютъ свое основаніе. Однако становится ли отъ этого великолѣпное дерево жалкимъ, а жалкое—великолѣпнымъ?

Или пусть кто нибудь является малознающимъ и погруженнымъ во всевозможныя заблужденія. Мы прекрасно понимаемъ, *отчего* это происходитъ: онъ, можетъ быть, мало надѣленъ природными дарами или же не имѣлъ случая

учиться. Является ли однако подобный человекъ въ духовномъ отношеніи *не бѣднымъ*, а богатымъ, не ограниченымъ, а умнымъ?

Такимъ же точно образомъ наше сужденіе относительно нравственнаго строя личности или относительно характера какого нибудь человека вовсе не зависитъ отъ того, какъ сложился у человека этотъ характеръ и этотъ строй мысли. Человекъ *имѣетъ данную* цѣнность въ нравственномъ отношеніи при всякаго рода обстоятельствахъ, и мы имѣемъ право и должны *оцѣнивать* его сообразно съ данною его цѣнностью. Наше пониманіе *происхожденія* этой нравственной цѣнности не увеличиваетъ и не убавляетъ ея, а потому не можетъ также измѣнить нашей оцѣнки.

Это, разумѣется, не исключаетъ того факта, что пониманіе нами какого нибудь *образа дѣйствій* даетъ намъ довольно часто поводъ къ составленію болѣе мягкаго — при случаѣ, конечно, также болѣе рѣзкаго — сужденія о какой нибудь личности. Въ этой, но и только въ этой, степени имѣетъ силу слѣдующее предложеніе: все понять значить все простить. Между тѣмъ *нравственный строй личности* не можетъ сдѣлаться болѣе заслуживающимъ извиненія, т. е. менѣе достойнымъ порицанія, вслѣдствіе того, что мы его понимаемъ, т. е. проникаемъ взоромъ въ то, какъ этотъ образъ мыслей возникъ и долженъ былъ возникнуть.

Тотъ фактъ, что нашъ образъ мыслей и его развитіе подчиняются закону причинности, имѣетъ въ *практически-этическомъ* отношеніи еще одно въ высшей степени важное значеніе. Всякое событіе имѣетъ свою причину. Это положеніе имѣетъ также и обратную сторону: всякое событіе имѣетъ свое слѣдствіе. И уже только что сказалъ, что всякаго рода мысль, всякое хотѣніе, всякая уступка и внутренняя побѣда принимаютъ участіе въ развитіи нашего характера.

Существуетъ мнѣніе, что если развитіе нашего характера опредѣляется въ одномъ направленіи суммою дѣй-

ствующихъ на него факторовъ, если, слѣдовательно, первое съ необходимостью вытекаетъ изъ послѣдней, то намъ въ такомъ случаѣ ничего не остается, какъ сложить руки и предоставить себя въ распоряженіе этой необходимости. Въ дѣйствительности же однако справедливо какъ разъ противоположное. Говоря такимъ образомъ, забываютъ, что къ факторамъ, оказывающимъ вліяніе на мой характеръ, *относится* прежде всего *моя собственная дѣятельность*. Въ самомъ дѣлѣ, *ни одинъ* изъ остальныхъ факторовъ не проявляетъ болѣе *непрерывнаго и непосредственнаго* дѣйствія.

Такимъ образомъ изъ пониманія законмѣрности развитія характера получается не уныніе, а *бодрость*. Мнѣ извѣстно, что ни одна моя мысль, ни одно дѣйствіе, ни одно движеніе во мнѣ не пропадаетъ, а, напротивъ, все оставляетъ послѣдствія въ моемъ существѣ.

Въ то же время этотъ фактъ заключаетъ въ себѣ серьезное *напоминаніе*. Я не имѣю права допускать, что для меня не было бы вредно поддаваться, на примѣръ, какому либо искушенію. Мнѣ не слѣдуетъ утѣшать себя увѣреніемъ въ томъ, что я могу всетаки другой разъ снова оказаться благоразумнымъ, достойнымъ, хорошимъ. Напротивъ, я долженъ знать, что если въ данный моментъ мое внутреннее поведеніе имѣло какое либо направленіе, то вслѣдствіе этого въ слѣдующій моментъ я сталъ уже инымъ, и этотъ новый человѣкъ обнаруживаетъ иной способъ дѣйствія, чѣмъ прежній. Я сталъ сильнѣе или слабѣе.

Подобное же серьезное напоминаніе вытекаетъ изъ упомянутаго выше пониманія нашихъ отношеній *къ другимъ людямъ*. Равнымъ образомъ всякаго рода отношеніе къ другому человѣку измѣняетъ какимъ нибудь способомъ этого послѣдняго. Оно благопріятствуетъ или вредитъ его существу. И въ этомъ случаѣ ничто не пропадаетъ даромъ. Такія вліянія могутъ быть незамѣтными въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ; однако въ нравственной области, т. е. въ области *абсолютныхъ* цѣнностей, представляется важнымъ даже самое

малое дѣйствіе. Къ тому же малыя дѣйствія суммируются въ большія. Слѣдовательно, *въ виду того*, что законъ причинности имѣетъ значеніе *также* для образованія не только нашего характера, но и характера другихъ людей, на которыхъ мы оказываемъ вліяніе, мы несемъ нравственную *отвѣтственность*.

Напротивъ, покорное убѣжденіе въ томъ, что всего лучше сидѣть сложа руки, было бы умѣстно, еслибы законъ причинности былъ *лишенъ* значенія въ области хотѣнія и въ нравственномъ строѣ личности, еслибы, слѣдовательно, *индетерминизмъ* былъ правъ. Какъ бы мы ни поступали, какъ бы мы ни относились къ себѣ и другимъ, всегда то или иное хотѣніе могло бы возникнуть въ насъ или въ другихъ людяхъ совершенно „свободно“, т. е. безпричинно. Мы не могли бы работать ни надъ самими собой, ни надъ другими людьми, въ ожиданіи вѣрнаго успѣха. Слѣдовательно, мы не могли бы нести *отвѣтственность* ни за волевые акты и дѣйствія, которые впоследствии мы сами можемъ совершить, ни за тѣ, которые могутъ быть совершены потомъ другими людьми.

Такимъ образомъ и здѣсь, слѣдовательно, детерминизмъ въ области человѣческаго хотѣнія оказывается условіемъ нравственной отвѣтственности; индетерминизмъ же, какъ оказывается, разрушаетъ послѣднюю и отрицаетъ ее. Нами твердо установлено, что свобода воли есть условіе нравственной отвѣтственности; но подѣ такого рода свободой надо всегда понимать только дѣйствительную свободу, свободу детерминистическую, которую имѣетъ въ виду естественное мышленіе, когда идетъ рѣчь о свободѣ. Эту свободу мы можемъ вкратцѣ опредѣлить слѣдующимъ образомъ: человѣкъ свободенъ въ той степени, въ какой онъ самъ является виновникомъ своихъ поступковъ.

Что же касается „свободы воли“ въ смыслѣ индетерминизма, то мы можемъ сказать: слава Богу, что такой свободы нѣтъ и не можетъ быть нигдѣ на свѣтѣ!

Десятая лекція.

Вмѣненіе, отвѣтственность, наказаніе.

Въ послѣдней лекціи рѣчь шла о противоположности и антагонизмѣ между индетерминистической и детерминистической концепціями свободы человѣческой воли. Въ связи съ этимъ мы должны были коснуться также понятія о вмѣняемости и объ отвѣтственности.

Я болѣе не вернусь къ разсматриванію борьбы этихъ двухъ ученій. Однако намъ еще рано окончательно разставаться съ понятіемъ о человѣческой свободѣ. Мы еще встрѣтимся съ двоякаго рода новымъ смысломъ этого слова, употребляемаго въ столь различныхъ значеніяхъ. При этомъ вмѣненіе и отвѣтственность будутъ составлять специальный предметъ настоящей лекціи. Въ связи съ этимъ мы должны также разъяснить понятіе о наказаніи и наказуемости.

Мы признали дѣйствительную—слѣдовательно, понимаемую съ детерминистической точки зрѣнія—свободу воли условіемъ вмѣняемости и отвѣтственности. Между тѣмъ это не означаетъ и обратнаго, т. е. нельзя сказать, чтобы всюду, гдѣ существуетъ свобода воли въ установленномъ нами смыслѣ этого слова, имѣли бы также мѣсто вмѣняемость и отвѣтственность. Напротивъ, человѣкъ можетъ быть свободенъ въ своемъ хотѣніи и въ осуществленіи предмета

хотѣнія, и всетаки онъ можетъ также быть болѣе или менѣе невмѣняемымъ и свободнымъ отъ отвѣтственности.

Однако это отношеніе измѣняется, если принять понятіе свободы воли менѣе точное и не однозначное, въ особенности, если согласиться съ тѣмъ новымъ двойственнымъ смысломъ этого понятія свободы воли, о которомъ я только что говорилъ. Въ этомъ новомъ смыслѣ понятіе оказывается приспособленнымъ къ понятіямъ вмѣняемости и отвѣтственности. Не удивительно, если въ такомъ случаѣ эти понятія непремѣнно подходятъ другъ къ другу, такъ что мы можемъ сказать, въ концѣ концовъ, что вмѣняемость и отвѣтственность повсюду имѣютъ мѣсто въ той же степени, что и свобода.

Вспомнимъ еще разъ о загипнотизированномъ, котораго мы уже ранѣе означали, какъ человѣка, лишеннаго свободы воли. Какъ я уже говорилъ, его личность является усыпленной. Его способность воспринимать, какія угодно, впечатлѣнія, реагировать на побужденія, размышлять, — ослаблена. Поэтому сообщенное ему приказаніе можетъ дѣйствовать автоматически. Исполняя подобное приказаніе, загипнотизированный субъектъ дѣйствуетъ *несвободно* въ томъ смыслѣ, что его личность встрѣчаетъ препятствіе въ своемъ проявленіи, какъ таковая, со стороны чего-то иного, чѣмъ она сама.

Съ этимъ надо сравнить извѣстнаго рода другіе, гораздо болѣе обыденные, случаи: кому нибудь угрожаютъ тяжкимъ бѣдствіемъ въ томъ случаѣ, если онъ отказывается совершить какое либо нарушеніе права. Или же ему предлагаютъ высокую награду *въ случаѣ, если онъ его совершитъ*. Пусть этотъ человѣкъ совершаетъ неправо дѣяніе; дѣйствуетъ ли онъ въ этомъ случаѣ несвободно? Или, по крайней мѣрѣ, дѣйствуетъ ли онъ при этомъ съ меньшей свободой воли?

Безъ сомнѣнія, согласно принимаемому нами до сихъ поръ понятію о свободѣ воли, ни то, ни другое не имѣетъ мѣста. Его личность не является усыпленной, подобно лич-

ности за гипнотизированнаго человѣка; она, равнымъ образомъ, и не встрѣчаетъ препятствія въ своемъ проявленіи ни отъ чего, чуждаго самой личности. Всѣ мотивы могутъ въ такомъ субъектѣ дѣйствовать какъ разъ съ тою силою, какою они обладаютъ согласно его природѣ. Онъ не лишень возможности размышлять.

Скажутъ, пожалуй, что вѣдь *другой человекъ* угрожаетъ бѣдствіемъ или же обѣщаетъ награду данному лицу; а это обстоятельство представляетъ собою внѣшнее воздѣйствіе, вмѣшивающееся опредѣляющимъ образомъ въ міръ хотѣній субъекта, на котораго производится подобнаго рода воздѣйствіе. Слѣдовательно, его хотѣніе и дѣйствіе уже опредѣляются не прямо изнутри. Между тѣмъ быть свободнымъ—это значитъ опредѣляться только своею собственною личностью.

Эти соображенія отчасти правильны, но отчасти въ нихъ заключается заблужденіе. Слова, заключающія угрозу или обѣщаніе награды, представляютъ собою, конечно, фактъ, воздѣйствующій на человѣка извнѣ. Однако то обстоятельство, что представленія награды и наказанія получаютъ въ немъ подобное *могущество*, или, наоборотъ, что противоположныя представленія, сознаніе права и неправоты, въ немъ слишкомъ слабы для уравниванія мотивирующей силы представленій перваго рода,—это является *его дѣломъ*, въ этомъ обстоятельствѣ его *личность* проявляется свободно. Это—такой человекъ, въ которомъ желаніе избѣжать бѣдствія опредѣленнаго характера и размѣра, или же не упустить награду извѣстнаго рода и величины, обладаетъ, согласно его природѣ, большею силою, чѣмъ боязнь передъ неправотою. Это своеобразіе его личности обнаруживается тѣми его волевыми рѣшеніями, которыя онъ принимаетъ свободно, т. е. не стѣсняется ничѣмъ въ своемъ проявленіи. Мы можемъ также сказать, что онъ дѣлаетъ свободный выборъ между обѣими возможностями, а именно: избѣжать даннаго бѣдствія или получить данную награду, совершить при

этомъ несправедливость или же отказаться отъ несправедливости и за то подвергнуться бѣдствію и потерять награду. Если человѣкъ выбираетъ первое, то этотъ выборъ обуславливается вполне имъ самимъ, его склонностью скорѣе совершить неправое дѣйствіе, чѣмъ перенести бѣдствіе или упустить изъ рукъ награду.

Какъ же рѣшить вопросъ о вмѣняемости такого человѣка? Надо вспомнить, что во вмѣненіи мы различали два момента: во первыхъ, простое вмѣненіе, т. е. простое отнесеніе на чей-либо счетъ въ томъ смыслѣ, въ какомъ возникновеніе и распространеніе болѣзни мы выводимъ изъ свойствъ почвы. Такого рода вмѣненіе указываетъ только на то, что мы разсматриваемъ какого нибудь человѣка, какъ *причину* нѣкотораго дѣйствія, а дѣйствіе выводимъ изъ его сущности. Конечно, *такое* „вмѣненіе“ имѣетъ *мѣсто* въ разсматриваемомъ нами примѣрѣ. Въдъ мы только что говорили, что данное неправое дѣйствіе имѣетъ свое основаніе въ человѣкѣ, который его совершаетъ, или же въ личности послѣдняго; оно случается именно потому, что личность обладаетъ данными свойствами.

Однако, какъ мы видѣли, при *нравственномъ* вмѣненіи къ этому простому опредѣленію причины присоединяется еще и другой моментъ, *дѣлающій* впервые это вмѣненіе „нравственнымъ“: *нравственное* вмѣненіе представляетъ собою измѣреніе цѣнности личности съ нравственной точки зрѣнія по нравственной цѣнности поступка.

Въ данномъ случаѣ это нравственное вмѣненіе является въ *смягченномъ* видѣ. Тотъ, кто побуждается къ совершенію неправаго дѣянія путемъ тяжелой угрозы или приводится къ нему благодаря широкимъ обѣщаніямъ, тотъ заслуживаетъ меньшаго нравственнаго порицанія, чѣмъ тотъ, для котораго нѣтъ нужды въ столь сильныхъ побудительныхъ причинахъ къ совершенію неправогo. Поступокъ является для него въ меньшей степени показателемъ нравственнаго строя личности, клонящагося къ неправому дѣйствію. Пред

метомъ нравственнаго порицанія или нравственной похвалы являются между тѣмъ не дѣйствія, а отдѣльные виды нравственнаго строя личности. Въ настоящемъ случаѣ опять-таки „нравственное вмѣненіе“ представляется яснымъ *выраженіемъ* этого факта.

Присоединимъ къ этому примѣру другой, часто упоминаемый, примѣръ дѣтоубійцы. Позоръ и раскаяніе, забота о собственномъ существованіи и о существованіи ребенка, мысль о безжалостности „добродѣтельнаго“ человѣческаго общества, о грубости чувствъ, дающей этому обществу поводъ считать заклеимленнымъ позоромъ даже невиннаго младенца, — всѣ эти мотивы въ ихъ совокупности побуждаютъ дѣтоубійцу къ ея пагубному дѣянію.

Тѣмъ не менѣе и эта несчастная имѣетъ возможность свободнаго выбора между двумя противоположными поступками. Тѣ мотивы, которые оказываютъ на нее преобладающее дѣйствіе, принадлежатъ *ей*. Интимнѣйшая сущность дѣтоубійцы проявляется въ томъ фактѣ, что у нея нѣтъ силы и величія души принять на себя послѣдствія, которыя вытекутъ изъ сохраненія жизни ребенкомъ и изъ огласки среди людей существованія этого ребенка; та же внутренняя сущность дѣтоубійцы проявляется равнымъ образомъ въ томъ фактѣ, что человѣческое состраданіе и материнская любовь недостаточно могущественны въ ней, чтобы удержать ее на правомъ пути. Слѣдовательно, и ея дѣйствіе, согласно принимаемому нами до сихъ поръ понятію свободы воли, является *свободнымъ*.

Съ другой стороны, такая преступница является, всетаки, въ *меньшей* степени *вмѣняемой* за свой поступокъ, чѣмъ та, которая совершила бы то же самое безъ подобныхъ мотивовъ. Ее можно называть въ меньшей степени злымъ или плохимъ человѣкомъ за ея дурной поступокъ. Она можетъ быть лучше, чѣмъ многіе, кто не имѣетъ повода совершить подобный поступокъ. Она можетъ также не быть лишенной человѣческаго и, въ особенности, материнскаго чувства;

послѣднее однако не развилось въ ней настолько, чтобы противостоять мощнымъ мотивамъ.

На томъ же основаніи мы и въ другихъ случаяхъ называемъ менѣе вмѣняемымъ того, кто подъ вліяніемъ сильныхъ мотивовъ совершаетъ дурное дѣйствіе, и всякій разъ такой человѣкъ тѣмъ менѣе вмѣняемъ, чѣмъ больше эти мотивы оправдываются съ человѣческой точки зрѣнія. Мы разсматриваемъ, далѣе, сильное возбужденіе аффектомъ, недостатокъ времени для размышленія и т. п., какъ моменты, обуславливающіе меньшую степень вмѣняемости. Мы держимся такого взгляда, такъ какъ допускаемъ, что нравственные мотивы могутъ существовать въ человѣкѣ и быть сильными, и, несмотря на это, — оставаться безъ дѣйствія при возбужденіи аффектомъ или при недостаткѣ времени для размышленія. Вообще говоря, во всѣхъ такихъ случаяхъ, въ предположеніи уменьшенія степени вмѣняемости, заключается сознаніе того факта, что одни и тѣ же дѣйствія не являются доказательствомъ однѣхъ и тѣхъ же формъ нравственнаго строя личности, и что нравственный строй личности можетъ быть опредѣленъ только путемъ разсмотрѣнія всѣхъ частныхъ поступка, въ особенности — силы высшихъ мотивовъ.

Въ данномъ случаѣ шла рѣчь о дурныхъ поступкахъ. Но и „хорошіе“ поступки также должны быть вмѣняемы при полной свободѣ воли то въ болѣе, то въ менѣе высокой степени. Мнѣ можетъ быть зачтенъ лишь въ незначительной степени геройскій и полный самоотверженія подвигъ, совершаемый мною изъ честолюбія, изъ-за пріобрѣтенія извѣстнаго значенія, а также благодаря тому, что я нахожусь въ нѣкотораго рода состояніи экстаза, или потому, что меня увлекаетъ примѣръ другихъ людей. Можетъ быть, тотъ, кто совершаетъ при подобныхъ обстоятельствахъ геройскій подвигъ, боязливо отказался бы отъ него, еслибы ему предстояло *ршииться* на него одному, незамѣченному другими людьми, на основаніи спокойнаго размышленія о

послѣдствіяхъ этого подвига для самого себя и для другихъ. Въ особенности же извѣтнаго рода „физическое“ мужество или вѣшняя отвага представляетъ собой въ нравственномъ отношеніи не только меньшую, но даже просто сомнительную цѣнность.

Легкомысліе и необдуманность, недостатокъ сознанія иного рода обязанностей, слѣдовательно, безсовѣстность, могутъ принимать въ такого рода подвигахъ значительное, и даже наиболѣе значительное, участіе. Моральная трусость можетъ идти рука объ руку со всѣмъ этимъ.

Въ особенности здѣсь нужно упомянуть объ особой формѣ готовности всѣмъ пожертвовать для своей чести. Если эта готовность вытекаетъ изъ описанныхъ выше основаній, то она не приноситъ человѣку чести.

Ничто однако не мѣшаетъ привести въ соотвѣтствіе во всѣхъ такихъ случаяхъ свободу воли со вмѣняемостью. Стоитъ только первую истолковывать соотвѣтственнымъ образомъ.

Дѣтубійца свободна въ своемъ хотѣніи; между тѣмъ *мотивы*, которые противопологаются въ ней дурному дѣянію, не оказываютъ свободнаго *вліянія* на ея хотѣніе, а встрѣчаютъ препятствіе въ этомъ отношеніи со стороны другихъ мотивовъ, лежащихъ въ *самой* личности.

Въ этомъ нѣтъ несвободы *воли*. Никому однако нельзя запретить называть это явленіе такимъ именемъ. Но въ послѣднемъ случаѣ мы имѣемъ два совершенно различныя понятія, выражающія, съ одной стороны, несвободу, а съ другой, слѣдовательно, — свободу воли. Первое понятіе выражаетъ свободу *личности*, взятой, какъ *цѣлое*. Это свобода данной личности хотѣть и соотвѣтственно этому осуществлять предметъ хотѣнія. Такая свобода требуетъ, чтобы личность въ своемъ хотѣніи не встрѣчала ни препятствія, ни принужденія при исполненіи предмета хотѣнія со стороны чего либо *отличнаго отъ нея самой*; эта свобода требуетъ также, чтобы всѣ ея мотивы, рассматриваемые сами по себѣ,

могли проявляться съ тою силою, которою они обладаютъ въ данной личности, и согласно природѣ послѣдней.

Другой же видъ свободы „воли“ представляетъ собою свободу мотивовъ, опредѣляющихъ своею силою волевое рѣшеніе. Въ этомъ случаѣ подъ свободою подразумѣвается свобода мотивовъ отъ противодѣйствія со стороны *другихъ мотивовъ*, свобода осуществленія этихъ мотивовъ *въ борьбѣ*, не встрѣчающая препятствій, способность ихъ достигнуть опредѣленнаго *успѣха* въ этой борьбѣ.

Свобода въ послѣднемъ смыслѣ этого слова дѣйствительно является уменьшенной въ поступкѣ дѣтоубійцы. Какъ уже сказано, мотивы материнской любви и общечеловѣческаго состраданія не могутъ достигнуть у дѣтоубійцы того результата, который они вообще могли бы имѣть вслѣдствіе ихъ силы, т. е. они не въ состояніи опредѣлить волевого рѣшенія. Они не способны на это потому, что мотивы стыда, раскаянія, заботы мѣшаютъ имъ въ этомъ отношеніи. Точно такое же уменьшеніе „свободы воли“ имѣетъ мѣсто, напримѣръ, у человѣка, который, будучи самъ по себѣ боязливымъ, совершаетъ однако чудеса храбрости въ пылу битвы. Здѣсь, вслѣдствіе исключительнаго положенія, перестаютъ вліять мотивы страха или заботы о собственной жизни, а также, конечно, и мотивъ челоѣчности, который могъ бы, пожалуй, представить ему „храбрость“ въ иномъ свѣтѣ, хотя всѣ эти мотивы при другихъ условіяхъ и могли бы повліять на его рѣшеніе.

Въ такомъ случаѣ со свободой послѣдняго рода непосредственнымъ образомъ совпадаетъ вмѣняемость, а съ соотвѣтственной несвободой—отсутствіе вмѣняемости. Это совпаденіе происходитъ въ той мѣрѣ, въ какой вмѣненіе измѣряется силою, принадлежащей мотивамъ *самимъ по себѣ*,—слѣдовательно, тою силою, которую мотивы обнаружили бы, еслибы они могли *безпрепятственно* проявляться.

Между тѣмъ, какъ было сказано, такое понятіе о свободѣ воли совершенно отличается отъ первоначальнаго, которое

мы установили въ послѣдней лекціи. Несмотря на это, оба понятія смѣшиваются другъ съ другомъ, и отъ этого возникаетъ заблужденіе.

Это объясняется нѣкоторою неясностью понятій, съ которой мы довольно часто встрѣчаемся и въ другихъ случаяхъ. Дѣтубійца, чтобы не искать иного примѣра, побуждается къ своему дѣйствию, какъ уже было сказано, мотивами, дѣйствующими въ ней самой,—слѣдовательно, чѣмъ-то, относящимся къ ея *собственному существу*. Въ этой мѣрѣ она самоопредѣляется въ своихъ дѣйствіяхъ. Но эти мотивы—стыда, раскаянія, заботы о себѣ и ребенкѣ—мысленно можно отдѣлить отъ личности, которой они принадлежатъ. Тогда можно разсматривать ихъ, какъ нѣчто, отдѣльное отъ личности и присоединяющееся къ ней извнѣ. Разумѣется, тогда кажется, что личность опредѣляется въ своемъ хотѣніи уже не сама собой и не своимъ нравственнымъ строемъ, а чѣмъ-то отъ нея отдѣльнымъ; она оказывается лишенной свободы воли въ первоначальномъ значеніи этого слова.

Какъ я уже сказалъ во вступленіи къ настоящей лекціи, насъ въ данномъ случаѣ будутъ занимать *два* новыхъ понятія о человѣческой свободѣ и несвободѣ. Мы встрѣчаемся со вторымъ изъ этихъ понятій о свободѣ, когда мы, напри- мѣръ, представляемъ себѣ такъ называемаго *прирожденнаго преступника*.

Понятіе *прирожденнаго преступника* въ настоящее время намъ знакомо въ особенности изъ наблюденій итальянца Ломброзо; это понятіе очень много заставляло говорить о себѣ. Нѣкоторымъ оно казалось какъ бы новымъ открытіемъ; они полагали, что понятія свободы и вмѣняемости должны были радикально измѣниться благодаря понятію о *прирожденномъ преступникѣ*.

Послѣднее предположеніе несостоятельно: понятіе о „при-

рожденномъ преступникѣ“ не говоритъ намъ ничего новаго въ принципиальномъ отношеніи. Намъ давно извѣстно, что всякаго рода характерныя предрасположенія прирождены человѣку; мы знаемъ также, что такого рода предрасположенія вліяютъ опредѣляющимъ образомъ на дѣйствія людей. Прирожденный же преступникъ является не чѣмъ либо инымъ, какъ человѣкомъ съ весьма рѣзко выраженными *дурными* характерными предрасположеніями, по своему происхожденію въ особенности неспособнымъ къ воспріятію нравственныхъ воздѣйствій, тупымъ въ отношеніи высшихъ душевныхъ движеній. Онъ не является однако особою разновидностью человѣка.

Рядомъ съ ломбрововскимъ страшилищемъ поставимъ человѣка, нравственное воспитаніе котораго было *запущено* или даже, еще лучше,—вовсе отсутствовало, а на-ряду съ послѣднимъ поставимъ человѣка ненормальнаго въ психическомъ отношеніи, поскольку именно въ его ненормальности заключается оупѣніе въ нравственномъ отношеніи или извращеніе личности, будь все это прирождено или благопріобрѣтено.

Во всѣхъ этихъ случаяхъ говорятъ опять объ *уменьшеніи свободы воли*. Однако при этомъ также нельзя подѣ „свободой“ разумѣть собственно *свободу воли*.

Прирожденный преступникъ, поскольку онъ не встрѣчаетъ препятствія въ своемъ естественномъ хотѣніи и дѣйствованіи со стороны чего-то другого, чѣмъ онъ самъ, также обладаетъ свободою воли или „выбора“. Дѣлаемый имъ выборъ возникаетъ изъ его природы или изъ его сущности. Если онъ рѣшается на злое дѣло, то именно въ такомъ рѣшеніи „свободно“ получаетъ силу его собственный характеръ, склонный ко злу. Онъ поступаетъ плохо, когда его личность предоставлена самой себѣ,—слѣдовательно, когда онъ можетъ проявляться „свободно“, не встрѣчая ни откуда ни препятствія, ни воздѣйствія. Плохой поступокъ принадлежитъ *ему*

или *можетъ* ему принадлежать, въ самомъ полномъ смыслѣ слова.

Нѣтъ также рѣчи и о томъ, что у прирожденнаго преступника, равно какъ и у того, кто побуждаетъ къ дурному дѣйствию путемъ тяжелой угрозы или заманчивыхъ обѣщаній, *при опредѣленіи волевого рѣшенія* лучшія черты характера встрѣчаютъ препятствіе со стороны достигшихъ преобладанія мотивовъ другого рода. Пусть мотивы, опредѣляющіе его дурной поступокъ, сильны или слабы, онъ во всякомъ случаѣ *склоняется* по своей *природѣ* къ тому, чтобы предоставить имъ достигнуть высшей степени ихъ развитія. Конечно, вслѣдствіе этого они становятся въ немъ *сильными*. Но вѣдь объ этомъ не было и рѣчи въ упомянутомъ случаѣ, когда человѣка соблазняютъ угрозы или обѣщанія. Сильные мотивы, о которыхъ тамъ шла рѣчь, были сильными сами по себѣ, т. е. по своему *содержанію*. Они являлись сильными мотивами независимо отъ той личности, въ которой они дѣйствовали, и отъ той почвы, которую они находили въ ней.

Согласно этому, прирожденный преступникъ обладаетъ свободой воли не только, когда мы принимаемъ послѣднее понятіе въ нашемъ первоначальномъ смыслѣ, но также и тогда, когда мы понимаемъ ее въ смыслѣ, о которомъ мы упоминали ранѣе,—слѣдовательно, въ смыслѣ свободы, благодаря которой *мотивы опредѣляютъ волевое рѣшеніе*.

Съ другой стороны, это не мѣшаетъ однако тому, чтобы называть прирожденнаго преступника *лишеннымъ свободы воли*. Вмѣстѣ съ тѣмъ понятіе свободы воли и соотвѣтствующее послѣднему понятіе несвободы воли берется снова въ совершенно *новомъ смыслѣ*. Прирожденный преступникъ является несвободнымъ, и именно несвободнымъ въ *нравственномъ* отношеніи; послѣднее же снова имѣетъ особое значеніе. Это не означаетъ того, чтобы въ немъ находилась личность, сама по себѣ болѣе нравственная, которая встрѣчала бы задержку или препятствіе въ свободномъ своемъ проявленіи

со стороны чего либо отъ нея самой отдѣльнаго. Напротивъ, нравственное начало, нравственная личность, полный человѣкъ, или человѣкъ, какимъ онъ *долженъ быть*, „идея“ нравственной личности подавлена въ немъ, связана или не достигала „свободнаго“ *осуществленія*. Этотъ человѣкъ, какимъ онъ долженъ быть, эта „идея нравственнаго человѣка“ существуетъ только *въ мышленіи*. Но съ этою мысленною идеею мы сравниваемъ дѣйствительную личность прирожденнаго преступника. При такомъ процессѣ эта личность кажется результатомъ суженія, ограниченія упомянутой „идеи“ нравственнаго человѣка, идеи „полнаго человѣка“ и т. д. Въ концѣ концовъ это лишь значить, что прирожденный преступникъ не *соотвѣтствуетъ* названной идеѣ, что въ лицѣ его мы имѣемъ *не* такого человѣка, какимъ долженъ быть „человѣкъ“, а бѣдную, тупую, узкую личность.

Мы однако склонны думать, что этимъ сказано больше. Въ данномъ случаѣ, какъ это бываетъ часто и въ другихъ, мы изъ предмета нашего мышленія дѣлаемъ нѣчто реальное. И мы думаемъ, что эта реальность находится на-лицо въ преступникѣ. Мы, слѣдовательно, воображаемъ, что въ немъ въ основаніи его существа лежитъ нравственное *начало*, *сама* нравственная личность, или натура, направленная къ нравственному, и что послѣдняя встрѣчаетъ *препятствія* въ своемъ проявленіи со стороны преступнаго *предрасположенія* человѣка.

Такимъ образомъ въ настоящемъ случаѣ, какъ и во многихъ другихъ случаяхъ, упомянутыхъ выше, мы какъ бы раздваиваемъ человѣка. Мы воображаемъ себѣ существо преступника: одинъ разъ какъ хорошее само по себѣ, а другой—какъ преступное, каковымъ оно и является въ дѣйствительности. Мы полагаемъ, что первое является собственнымъ или первоначальнымъ существомъ человѣка; второе же только какъ бы приходитъ извнѣ, задерживая развитіе перваго и воздвигая ему на пути препятствія.

Такимъ образомъ возникаетъ не только понятіе несвободы

вообще, но и въ частности такое понятіе несвободы, которое мы можемъ смѣшать съ правильнымъ понятіемъ несвободы воли: намъ кажется теперь, что собственная сущность чело-вѣка встрѣчаетъ препятствіе въ своемъ проявленіи со стороны чего-то *отличнаго* отъ нея самой.

Преступникъ несвободенъ, такъ какъ онъ подчиняется *принужденію* своего *естественнаго предрасположенія, отдѣльнаго*, по нашему мнѣнію, отъ его собственной личности, такъ какъ, слѣдовательно, онъ не въ состояніи хотѣть и дѣйствовать такимъ образомъ, какъ онъ сталъ бы хотѣть и дѣйствовать самъ по себѣ, т. е. независимо отъ даннаго естественнаго предрасположенія и отъ принужденія, исходящаго отъ него.

Что же можно сказать о вмѣняемости подобнаго рода прирожденнаго преступника? Нѣтъ болѣе нужды отвѣчать на этотъ вопросъ въ отдѣльности. Нравственное вмѣненіе состоитъ въ томъ, что мы измѣряемъ нравственную цѣнность личности нравственною цѣнностью поступковъ ея. Такого рода оцѣнку мы производимъ уже тогда, когда называемъ чело-вѣка прирожденнымъ преступникомъ. Его дурныя дѣйствія не кажутся намъ происходящими изъ *менѣе* дурныхъ *основаній*, — наоборотъ, они оказываются признакомъ въ высшей степени испорченной натуры. Прирожденный преступникъ *является плохимъ въ той мѣрѣ, въ какой онъ дурно поступаетъ*. Слѣдовательно, съ „уменьшеніемъ свободы“, которую допускаютъ въ настоящемъ случаѣ, *не идетъ* рука объ руку уменьшеніе вмѣняемости.

Какимъ, наконецъ, образомъ обстоитъ дѣло съ *ответственностью* прирожденнаго преступника и тою, которую мы выше предъявляли къ нему? Разумѣется, ответственность въ данномъ случаѣ столь же мало устранена, какъ и вмѣняемость, если мы продолжаемъ, какъ это дѣлали до сихъ поръ, *отождествлять* другъ съ другомъ понятія о вмѣняемости и ответственности.

Здѣсь однако я собираюсь исполнить обѣщанное въ предыдущей лекціи, т. е. отказаться отъ подобнаго отожде-

ствленія и дать новый и собственный смысл выраженію „отвѣтственность“. Я замѣчу заранѣе, что сознаю относительную произвольность подобнаго рода образа дѣйствій. Я не утверждаю, чтобы обычное словоупотребленіе давало мнѣ *право* на мое пониманіе понятія отвѣтственности или установленіе противоположности между отвѣтственностью и вмѣняемостью. Но я собираюсь здѣсь указать на нѣкоторую фактически новую сторону разсматриваемыхъ явленій и долженъ обозначить ее особымъ именемъ. Языкъ не даетъ мнѣ лучшаго названія для выраженія этого понятія, а потому я и беру терминъ „отвѣтственность“.

Я нахожу однако *поводъ* къ такому способу примѣненія понятія объ отвѣтственности въ нашей обычной манерѣ выражаться. Пусть какой нибудь прирожденный преступникъ или кто либо, падшій въ нравственномъ отношеніи вельдствіе окружающей его обстановки, недостаточности воспитанія, вельдствіе всякаго рода виѣшнихъ обстоятельствъ, совершаетъ какой нибудь дикій поступокъ; положимъ, что такой же дикій поступокъ совершаю и я, не причисляя себя ни къ прирожденнымъ преступникамъ, ни къ людямъ, падшимъ въ нравственномъ отношеніи. Въ данномъ случаѣ скажутъ, что я являюсь „отвѣтственнымъ“ за такой дикій поступокъ въ большей степени.

Можетъ быть, конечно, скажутъ также слѣдующее: дикій поступокъ долженъ быть мнѣ „вмѣненъ“ въ болѣе высокой степени. Такимъ образомъ однако мы получили бы въ этомъ случаѣ совершенно новое понятіе о *вмѣненіи*, такое, которое было бы совсѣмъ несовмѣтимо съ установленнымъ выше понятіемъ. Очевидно, согласно установленному *выше* понятію о вмѣненіи, я могу быть въ означенномъ случаѣ вѣдь только *менѣе* вмѣняемъ. При только что сдѣланномъ предположеніи, т. е., если я не грубъ ни отъ природы, ни вельдствіе воспитанія, я могу совершить дикій поступокъ не иначе, какъ вельдствіе опрометчивости, въ состояніи аффекта, во всякомъ случаѣ безъ предварительнаго спокой-

наго размышленія. А эти моменты представлялись намъ выше, вѣдь какъ условія *уменьшенія* вмѣняемости.

Я не хочу устанавливать здѣсь подобнаго рода новаго понятія о вмѣненіи. Во первыхъ, потому, чтобы не увеличивать безъ нужды путаницы; во вторыхъ, также и оттого, что *употреблявшееся до сихъ поръ* понятіе о вмѣненіи одно только, повидимому, соотвѣтствуетъ естественному смыслу слова „вмѣненія“. Главнымъ же образомъ, нравственная *вмѣняемость*, согласно простому значенію этого слова, можетъ, очевидно, означать не что иное, какъ такое состояніе моей особы, въ силу котораго нравственная оцѣнка моего *дѣйствія* можетъ быть *переносима* на мою *личность*.

Въ противоположность этому мы можемъ давать термину „отвѣтственность“ новое значеніе, такъ какъ естественный смыслъ слова не противорѣчитъ этому новому значенію, а скорѣе, какъ мы еще увидимъ, соотвѣтствуетъ ему. Но вслѣдъ за этимъ мы будемъ его принимать *только* въ указанномъ новомъ значеніи.

Оставимъ, слѣдовательно, за терминомъ „вмѣненіе“ его старое значеніе, но зато соотвѣтственно этому измѣнимъ смыслъ термина „отвѣтственность“. Какъ сказано, въ томъ случаѣ, который мы себѣ только что вообразили, меня дѣлаютъ *отвѣтственнымъ* въ болѣе высокой степени. Мы теперь спрашиваемъ: что же это значить? Или лучше поставимъ сейчасъ же вопросъ такимъ образомъ: *почему* высказываютъ такого рода сужденіе?

На этотъ же вопросъ всякій отвѣтитъ слѣдующее: такое сужденіе высказывается потому, что отъ меня, — а не отъ прирожденнаго преступника или отъ нравственно падшаго, — *ожидаютъ* иного образа дѣйствій, а именно лучшаго. Такого рода ожиданіе вводитъ понятіе, имѣющее въ настоящемъ случаѣ рѣшающее значеніе.

Въ нравственномъ сужденіи или оцѣнкѣ какого либо дѣйствія надо всегда различать два момента: во первыхъ, мы оцѣниваемъ дѣйствіе, какъ *болѣе высокое* или *болѣе низ-*

кое; во вторыхъ, мы производимъ оцѣнку съ болѣе или менѣе сильнымъ *выраженіемъ чувства*. Последняго рода различіе обусловливается *ожиданіемъ*.

Пусть совершенно дѣйствіе, указывающее на низкій и испорченный характеръ, и пусть мнѣ объ этомъ извѣстно. Я однако внутренно уже освоился съ мыслью объ испорченности характера у даннаго индивидуума. Я говорю: эта личность представляетъ собою именно то, что она есть; я знаю ея характеръ и понимаю его. Мнѣ извѣстно, какимъ условіямъ онъ обязанъ своимъ существованіемъ. Мнѣ извѣстно, что при данныхъ условіяхъ характеръ, конечно, не *можетъ* быть инымъ. Я поэтому не „жду“ отъ него ничего иного, кромѣ такого рода дурныхъ поступковъ. Если же я ожидаю отъ него только подобныхъ дурныхъ дѣйствій, то и мое ожиданіе не можетъ быть обмануто наступленіемъ ихъ. Слѣдовательно, у меня не возникаетъ сильнаго и живого чувства неудовольствія, которое обыкновенно получается въ результатъ воспріятія дурного поступка, когда мы ожидаемъ лучшаго поведенія. Мое чувство внутренней противоположности или противорѣчія въ отношеніи того, что я переживаю, утрачиваетъ свою остроту. Оно становится просто спокойнымъ неодобреніемъ, возникающимъ въ насъ естественнымъ образомъ въ отношеніи плохого, которое именно таково, какимъ мы его ожидаемъ.

Иначе обстоитъ дѣло, когда я ожидаю вмѣсто дурного поступка—хорошаго, и когда я *долженъ* ожидать его согласно даннымъ или принятымъ мною предположеніямъ. Въ настоящемъ случаѣ я уже не просто *осуждаю* дѣйствіе, какъ болѣе или менѣе плохое, а, напротивъ, выражаю противъ него внутренній протестъ съ большей или меньшей энергіей.

Спустимся на мгновеніе въ настоящемъ случаѣ по скалѣ нравственныхъ цѣнностей еще ниже прирожденнаго преступника. Звѣрь разрываетъ челоуѣка. Зададимъ же вопросъ и въ данномъ случаѣ: обладаетъ ли звѣрь *свободой воли*? Да, безъ сомнѣнія. Въ такого рода поступкѣ индивидуаль-

ность звѣря выражается вполне свободнымъ образомъ. Въ зломъ характерѣ этого дѣйствія проявляется низкая въ нравственномъ отношеніи ступень, на которой звѣрь находится.

Это означаетъ въ то же время, что звѣрь является *вмѣняемымъ* въ отношеніи своего дѣйствія. Не существуетъ ничего, что бы могло оправдывать утвержденіе, будто вмѣняемость звѣря является уменьшенной, хотя бы мы и въ настоящемъ случаѣ сохраняли за этимъ терминомъ его естественное значеніе. Мы такъ низко оцѣниваемъ звѣриный характеръ вслѣдствіе дѣйствій, совершаемыхъ звѣремъ, что для насъ „звѣрекій“ или „озвѣрѣвшій“ характеръ чело-вѣка обозначаетъ самую низкую ступень характера, какую только можно представить себѣ.

Между тѣмъ является ли звѣрь *ответственнымъ* за свой поступокъ? Я полагаю, скажутъ, что нѣтъ никакого смысла говорить объ ответственности въ настоящемъ случаѣ. „Вмѣненіе“ есть мысленный актъ, нѣкоторое „вычисленіе“. Напротивъ, въ возложеніи ответственности заключается нѣчто агрессивное, нѣкоторое обвиненіе, нѣкоторое сильное противоѣдѣствіе. Во всякомъ случаѣ мы хотимъ внести этотъ смыслъ въ актъ возложенія на кого либо ответственности. Но для такого возложенія ответственности не хватаетъ одного условія: мы не ожидаемъ отъ звѣря ничего иного. Извѣстной намъ звѣриной природѣ свойственно осуществлять подобнаго рода дѣйствія. Было бы *глупо* ожидать отъ нея чего либо другого. Иначе говоря: нѣтъ смысла „прилагать“ къ звѣрю масштабъ, который мы прилагаемъ къ *человѣку*.

Иллюстрируемъ то, что я хочу установить въ настоящемъ случаѣ путемъ аналогіи изъ другой области. Я называю великаномъ чело-вѣка, который лишь немного выше извѣстныхъ мнѣ людей; а гору во сто разъ болѣе высокую, чѣмъ самый высокій изъ людей, я называю малою. Это не значитъ, чтобы я считалъ по ошибкѣ великана-чело-вѣка выше, чѣмъ малень-

кая гора; хотя вѣдь вообще громадное непременно бываетъ обыкновенно больше, чѣмъ малое. Напротивъ, въ моихъ глазахъ данный человѣкъ сохраняетъ присущую ему величину, а гора остается гораздо болѣе значительной по величинѣ. Выраженія „громадное“ и „малое“ относятся отнюдь не къ величинамъ, *которыя* я подвергаю оцѣнкѣ, а, напротивъ, означаютъ *образъ* моего внутренняго отношенія къ этимъ величинамъ въ моемъ сужденіи о нихъ. Эти выраженія имѣютъ не объективное, а субъективное значеніе: этимъ означается, что величина человѣка мнѣ *представляется* именно, какъ *человѣческая* величина, и что, напротивъ, величина горы *обманываетъ* мои ожиданія въ качествѣ величины именно *горы*, а не какого либо другого предмета. Я „сравниваю“ человѣка съ человѣкомъ, а гору съ горой; при этомъ я чувствую, что величина даннаго человѣка превосходитъ то, что я ожидаю отъ людей, а величина данной горы остается ниже того, что я ожидаю отъ горъ.

Нѣчто подобное тому, что касается такого рода сужденій о величинѣ, относится извѣстнымъ образомъ также и къ нашимъ сужденіямъ о нравственной цѣнности. Я имѣю сознаніе о крайне ничтожной цѣнности звѣря въ духовномъ и нравственномъ отношеніи. Въ то же время, какъ я уже сказала, я жду отъ звѣря только того, чего я могу отъ него ожидать на основаніи опыта. Такого рода ожиданіе не уменьшаетъ моего сознанія ничтожной цѣнности звѣря съ точки зрѣнія нравственности, или не уменьшаетъ этого ничтожества въ моемъ сознаніи. Познанное ничтожество цѣнности въ нравственномъ отношеніи и является именно основаніемъ того обстоятельства, что я отъ него ожидаю только *тѣхъ дѣйствій*, которыя я у него замѣчаю. Однако ожиданіе уменьшаетъ *силу* такого сознанія, *оскорбительную* сторону въ ничтожествѣ цѣнности или *остроту* моей внутренней противоположности. Послѣднее имѣетъ мѣсто въ тѣмъ болѣе степені, чѣмъ ниже мы ставимъ звѣря на основаніи опытныхъ данныхъ.

Мы обозначаемъ этотъ фактъ, говоря, что возлагаемъ на звѣря меньшую отвѣтственность. Слѣдовательно, сознание отвѣтственности въ данномъ случаѣ прежде всего имѣетъ одинаковое значеніе съ энергіей нашей нравственной реакціи въ отношеніи того, что представляетъ ничтожную цѣнность съ нравственной точки зрѣнія, или въ отношеніи зла.

Между тѣмъ также обстоитъ дѣло и съ прирожденнымъ преступникомъ. Какъ уже было сказано, мы называемъ его менѣе отвѣтственнымъ. Въ настоящемъ случаѣ это можетъ также означать лишь слѣдующее: мы реагируемъ внутреннимъ образомъ съ меньшей энергіей на его личность, такъ какъ намъ уже извѣстно изъ опыта, что отъ подобнаго человѣка мы не можемъ ожидать ничего высокаго. Мы его „измѣряемъ“ также особаго рода масштабомъ, а именно какъ разъ тѣмъ, который предоставляетъ намъ опытъ. Въ данномъ случаѣ мы также произносимъ наше осужденіе *съ меньшею* силою, возлагаемъ на него, слѣдовательно, тѣмъ *меньшую* отвѣтственность, *чѣмъ болѣе* мы убѣдились на основаніи опытныхъ данныхъ въ ничтожной цѣнности личности. Здѣсь также наше соотвѣтствующее опыту сознание ничтожной цѣнности находится въ обратномъ отношеніи къ отвѣтственности или къ энергіи нашего осужденія. Въмѣсто этого я, очевидно, могу также сказать слѣдующее: отвѣтственность и *вмѣняемость* находятся въ данномъ случаѣ въ обратномъ отношеніи другъ къ другу.

У насъ есть различныя названія для разныхъ степеней энергіи нравственной реакціи. Мы разсматриваемъ характеръ звѣря, какъ нѣкоторый фактъ, понятный самъ собою. Мы, пожалуй, „сожалѣемъ“ идиота, который ближе всѣхъ стоитъ къ звѣрю. Мы сожалѣемъ во всякомъ случаѣ человѣка больного въ духовномъ и въ моральномъ отношеніи. Мы „ненавидимъ“ прирожденнаго преступника; но, если онъ намъ извѣстенъ, какъ таковой, то мы не выражаемъ негодовація по поводу его поступковъ. Мы скорѣе дѣлаемъ „упреки“ человѣку, который вслѣдствіе получен-

наго имъ воспитанія палъ въ нравственномъ отношеніи. Если онъ только *палъ*, то въ немъ существуетъ доброе зерно, которое заключаетъ въ себѣ возможность лучшаго. Мысль же объ этомъ рождаетъ въ насъ нѣкоторую степень ожиданія этого лучшаго. А столкновеніе между нашимъ ожиданіемъ и негодностью дѣйствительности усиливаетъ нашу нравственную реакцію.

Мы дѣлаемъ еще болѣе сильныя упреки, мы впадаемъ въ нравственный *гнѣвъ* по поводу злыхъ дѣйствій того, кто обладаетъ нормальной организаціей и принадлежитъ къ такому кругу, въ которомъ мы ожидаемъ найти вообще нѣкоторымъ образомъ нравственное поведеніе, такъ какъ условія сложились благопріятно для этого. Мы, наконецъ, *негодумемъ, возмущаемся*, мы выходимъ *изъ себя* по поводу низкаго дѣйствія человѣка талантливаго, образованнаго, вполне способнаго къ размышленію, потому что мы ожидаемъ отъ него съ величайшею увѣренностью хорошаго.

Всѣ эти способы поведенія, получившіе столь различныя названія, означаютъ столько же различныхъ степеней *отвѣтственности*, которую мы возлагаемъ на людей за дурныя поступки. Мы дѣлаемъ человѣка образованнаго въ большей степени отвѣтственнымъ, чѣмъ человѣка, лишеннаго образованія; на этого послѣдняго мы возлагаемъ большую отвѣтственность, чѣмъ на человѣка, очевидно плохо воспитаннаго; а на послѣдняго, въ свою очередь, мы возлагаемъ опять-таки большую отвѣтственность, чѣмъ на человѣка, падшаго въ собственномъ смыслѣ этого слова, и т. д.

Такимъ путемъ мы провели ясное различіе между свободой воли или выбора въ первоначально взятомъ нами смыслѣ этого слова, между нравственною вмѣняемостью и, наконецъ, между отвѣтственностью. Такого рода различіе необходимо для избѣжанія путаницы понятій въ вопросахъ, относящихся къ подобнымъ фактамъ. Какъ уже было указано, путаница въ этой области велика.

Въ то же время ясно, каково отношеніе другъ къ другу

этихъ трехъ понятій, или означенной ими сущности фактовъ. Свобода представляетъ собою условіе вмѣняемости и отвѣтственности. Вмѣняемость, а слѣдовательно, и свобода, является условіемъ отвѣтственности. Однако нельзя утверждать, что свобода необходимо ведетъ за собой вмѣняемость и отвѣтственность, или свобода и вмѣняемость не предполагаютъ неизбѣжнымъ образомъ отвѣтственности. Точно также каждая *степень* вмѣняемости предполагаетъ соответствующую *степень* свободы; каждая же степень отвѣтственности предполагаетъ соответствующую степень вмѣняемости, а потому и соответствующую степень свободы. Однако обратное отношеніе опять-таки не справедливо. Степень свободы не опредѣляетъ масштаба для измѣренія степени вмѣняемости, а степень вмѣняемости не даетъ масштаба для измѣренія степени отвѣтственности.

Наконецъ, отвѣтственность обусловливаетъ *наказуемость*. Скорѣе, впрочемъ, первая представляетъ собою *одну сторону* послѣдней. Въ настоящемъ случаѣ, независимо отъ такого рода взаимоотношенія, мы зададимся прежде всего слѣдующимъ вопросомъ: что составляетъ смыслъ наказанія?

Наказаніе заключается въ причиненіи зла; но и дурное обращеніе есть также причиненіе зла. Поэтому наказаніе не можетъ состоять въ самомъ причиненіи зла, какъ таковымъ. Послѣднее является только *карательной мѣрой*.

Эта мѣра указываетъ на нѣкоторую цѣль. Какова же цѣль наказанія? При этомъ я говорю не о той цѣли, которую *можетъ* преслѣдовать человѣкъ, налагающій наказаніе, и не о той, которую можно поставить себѣ *по случаю* при мѣненія наказанія,—я говорю, напротивъ, о цѣли, которая можетъ быть специфически свойственна наказанію, которая характеризуетъ наказаніе, какъ таковое, которая *дѣлаетъ* его именно наказаніемъ.

Преступника можно заключить въ тюрьму, чтобы защи-

тить отъ него общество. Однако, когда мы уединяемъ опаснаго душевно-больнаго, мы вѣдь тоже заботимся объ охранѣ общества. Подобное уединеніе не является наказаніемъ, хотя подвергаемый ему субъектъ и воспринималъ бы его, какъ нѣкоторое зло.

Слѣдовательно, *охрана общества* не представляетъ собою цѣли наказанія даже въ томъ случаѣ, если человекъ, налагающій его, и имѣетъ въ виду эту цѣль и достигаетъ ея. Эта цѣль не составляетъ сущности наказанія, какъ такового.

Равнымъ образомъ и *устрашеніе другихъ людей* не можетъ представлять собою смыслъ наказанія. Я могу наказывать ребенка или преступника независимо отъ того, знаютъ ли объ этомъ другіе люди, которые могли бы быть этимъ уstraшены. Несмотря на это, наказаніе остается наказаніемъ.

Мы подойдемъ ближе къ истинѣ, говоря, что специфическая цѣль наказанія состоитъ въ уstraшеніи самого наказуемаго субъекта. Послѣдній долженъ благодаря наказанію отказаться впослѣдствіи отъ дурныхъ дѣйствій. Подобное уstraшеніе является внутреннимъ воздѣйствіемъ на наказаннаго субъекта, измѣненіемъ внутренняго отношенія послѣдняго къ его собственнымъ дѣйствіямъ. Внутренняя склонность къ такимъ дѣйствіямъ замѣняется обращеніемъ къ нимъ. Несомнѣнно, что цѣль наказанія должна заключаться въ такого рода внутреннемъ дѣйствіи.

При этомъ однако слѣдуетъ различать двѣ противоположныя возможности. „Устрашеніе“ наказаннаго можетъ состоять, во первыхъ, въ томъ, что онъ, понеся наказаніе, будетъ внутренно относиться къ плохому дѣйствію, какъ *таковому*, совершенно попрежнему, однако будетъ достаточно уменъ не совершать его вновь, такъ какъ горечь соединеннаго съ этимъ наказанія ясно сознается имъ въ настоящее время. Или же, во вторыхъ, уstraшеніе заключается въ томъ, что наказанный, обдумавъ свой поступокъ, обращаетъ вниманіе на его неправоту и внутренно отрицаетъ или осуждаетъ свой плохой нравственный строй.

Изъ обоихъ этихъ видовъ устрашенія только послѣдній представляетъ собою нравственное воздѣйствіе на наказаннаго. Если вѣрно поѣтому, что воздѣйствіе на *наказаннаго* должно составлять цѣль наказанія, и если, съ другой стороны, мы продолжаемъ признавать за наказаніемъ *нравственную* цѣль, а вмѣстѣ съ тѣмъ и нравственное *право*, то мы должны искать въ этомъ воздѣйствіи собственную цѣль наказанія.

Въ самомъ дѣлѣ мы преслѣдуемъ въ наказаніи такую цѣль. Это требованіе ясно заключено въ понятіи наказанія въ томъ видѣ, въ какомъ оно повсюду предполагается въ нашихъ сужденіяхъ о наказуемости и въ нашей уголовной практикѣ.

„Наказаніе“ во всякомъ случаѣ является не простымъ внѣшнимъ дѣйствіемъ, а выраженіемъ внутренней реакціи противъ совершеннаго неправаго поступка. Такая внутренняя реакція могла бы быть сама по себѣ двухъ родовъ. Она могла бы, во первыхъ, направляться противъ зла, вызываемаго дѣйствіемъ, противъ „печальныхъ послѣдствій“ этого дѣйствія, противъ вреда, проистекающаго изъ дѣйствія для общаго блага. Въ этомъ случаѣ наказаніе представляло бы собою волю, направленную къ сохраненію общаго блага отъ дальнѣйшаго поврежденія. Если допустить, что дѣло обстоитъ такимъ образомъ, то наказаніе, очевидно, должно было бы преслѣдовать исключительно *внѣшнее* устрашеніе,—я имѣю въ виду то устрашеніе, которое только дѣлаетъ преступника *умнѣе* на будущее время. Подобное устрашеніе охранило бы вѣдь общественное благо отъ дальнѣйшаго поврежденія со стороны преступника. „Наказаніе“ явилось бы внѣшней мѣрой цѣлесообразности: человѣку было бы причинено зло съ тою цѣлью, чтобы освободить отъ зла другихъ людей.

Противъ этого надо было бы замѣтить прежде всего слѣдующее: подобная мѣра цѣлесообразности является таковой, всетаки только въ томъ предположеніи, что ея при-

мѣненіе въ общемъ не увеличиваетъ, а уменьшаетъ зло на свѣтѣ. А между тѣмъ приходится сомнѣваться въ томъ, чтобы это имѣло мѣсто въ отношеніи каждаго наказанія, налагаемаго нами. Пусть, на примѣръ, кто нибудь подвергается наказанію за то, что въ порывѣ гнѣва нанесъ другому рану, опасную для его жизни. Можетъ быть, наказаніе приводитъ къ тому, что преступникъ отнынѣ воздержится отъ подобнаго злодѣянія, тогда какъ въ иномъ случаѣ онъ совершилъ бы его. Можетъ быть, однако, для этого нѣтъ нужды въ наказаніи, такъ какъ преступникъ и безъ того не позволилъ бы себѣ вторично увлечься до такого поступка. Такимъ образомъ зло, *предотвращаемое* наказаніемъ, является только *возможнымъ*. Напротивъ того, зло, *причиняемое* имъ, — совершенно *достоверно*. Согласно такому положенію вещей, наказаніе увеличивало бы дѣйствительное зло на свѣтѣ, чтобы уменьшить возможное зло. Такой расчетъ былъ бы очень плохъ. А что, еслибы оказывалось *достовернымъ*, что преступникъ не повторитъ своего злодѣянія? Что, еслибы разбойникъ, изъ какихъ либо цѣлесообразныхъ основаній, въ концѣ концовъ совершенно умиротворился бы?

Можно было бы привести еще другого рода подобныя соображенія, — на примѣръ, слѣдующее: при сдѣланномъ предположеніи наказаніе, налагаемое за опредѣленные *виды* обще-вредныхъ дѣйствій, должно бы было измѣряться вѣроятностью того, что подобнаго рода дѣйствія случаются вообще. Это означало бы между прочимъ, что неосторожное обращеніе съ огнестрѣльнымъ оружіемъ должно бы было наказываться тяжелѣе, чѣмъ обдуманное убійство, такъ какъ, конечно, не подлежитъ сомнѣнію, что *первое* въ *болѣе широкихъ* размѣрахъ угрожаетъ человѣческой жизни, чѣмъ послѣднее. Нравственное сознаніе оказываетъ сопротивленіе убійству. Поскольку это имѣетъ мѣсто, постольку нѣтъ нужды въ карательномъ устрашеніи. Напротивъ, никакой подобный моментъ не охраняетъ общества отъ неосторожнаго обращенія съ огнестрѣльнымъ оружіемъ и отъ его послѣдствій.

Среди людей легче встрѣтить легкомысліе, чѣмъ кровожадность. Слѣдовательно, такое различіе должно бы быть уравнено посредствомъ наказанія.

Всему этому однако противорѣчатъ основныя начала дѣйствительнаго наказанія. „Наказаніе“, опредѣленное именно такими точками зрѣнія, болѣе не являлось бы въ нашихъ глазахъ *наказаніемъ*. При этомъ не хватаетъ одного признака наказанія, а именно: наказаніе должно быть *заслужено*. Этотъ признакъ не означаетъ того, что общество должно быть защищено отъ повторенія дурнаго дѣйствія. Сознаніе заслуженности наказанія относится не къ его будущей цѣлесообразности, а къ его нынѣшней дѣйствительности. Это сознаніе чего-то, находящагося въ преступникѣ и обнаруживающагося въ немъ, а не сознаніе чего-то, предстоящаго обществу. Это *требуется ради* преступника, а не ради общества. Наказаніе, „заслуживаемое“ преступникомъ, должно имѣть извѣстное значеніе для самого преступника, а не для общества. Выраженіе: „я чего либо заслуживаю“, означаетъ всегда слѣдующее: нѣчто требуется или нѣчто должно случиться для того, чтобы это обстоятельство произвело дѣйствіе именно на меня, а не на кого либо другого. Это выраженіе указываетъ въ то же время болѣе опредѣленнымъ образомъ на то, что я долженъ получить заслуживаемое мною, именно *какъ человекъ, который* этого заслуживаетъ. Значеніе и дѣйствіе заслуживаемаго мною относится ко мнѣ не вообще, а *въ той мѣрѣ, въ какой* я этого заслуживаю. Я долженъ нѣчто „получить“ отъ этого или испытать вліяніе съ той стороны, *въ той степени, въ какой* я того заслуживаю.

Поступокъ заслуживаетъ *наказанія* не влѣдствіе вреда, приносимаго имъ обществу; не объективный фактъ, а единственно мое *хотѣніе* нанести вредъ или нравственный строй моей личности заслуживаетъ наказанія. Печальное послѣдствіе, вытекающее изъ моего дѣйствія для общества, лежитъ внѣ меня; только мое хотѣніе или мой нравственный строй принадлежитъ мнѣ. Дѣйствіе „заслуженнаго“ наказанія на-

правляется именно на этотъ духовный строй личности. *Ради него* наказаніе и приводится въ исполненіе.

Нравственный строй моей личности или *я самъ*, поскольку я обладаю такимъ строемъ, долженъ „получить“ нѣчто отъ причиняемаго мнѣ зла. Последнее должно „касаться“ именно этого *нравственного строя личности*.

Смыслъ этого положенія можетъ однако быть только таковъ: наказаніе представляетъ собою реакцію противъ подобнаго нравственного строя личности; оно представляетъ собою волю, клонящуюся къ отрицанію послѣдняго. Только тотъ получаетъ дѣйствительное „наказаніе“, кто его *чувствуетъ*, какъ таковое, т. е. кто вслѣдствіе полученія зла приводится къ сознанію своей неправоты. Кто хочетъ наказать, тотъ хочетъ вмѣстѣ съ тѣмъ, чтобы у наказываемаго явилось сознаніе, что съ нимъ поступаютъ по справедливости; наказывающій хочетъ, чтобы подвергающійся наказанію преклонился предъ авторитетомъ права, или того, что должно быть.

Полное подтвержденіе такого убѣжденія мы можемъ найти еще въ старомъ ученіи о томъ, что наказаніе должно являться *искупленіемъ* за „вину“ субъекта, подвергающагося наказанію. Необходимо только присмотрѣться къ значенію этихъ словъ: прежде всего вѣдь это слова.

Обыкновенно смыслу этихъ словъ придается слѣдующее толкованіе: отрицаніе, созданное дѣйствіемъ преступника, должно быть уничтожено или, въ свою очередь, подвергнуться отрицанію. Что однако разумѣется подъ такимъ „отрицаніемъ“? *Что* отрицалъ данный проступокъ? И *что* должно опять быть возстановлено посредствомъ наказанія?

Убийство является отрицаніемъ жизни убитаго. Это отрицаніе не можетъ однако подвергнуться отрицанію въ свой чередъ посредствомъ наказанія; убійство никоимъ образомъ не можетъ быть изглажено. Въ другихъ случаяхъ, конечно, дѣло обстоитъ иначе. Украденное мною я могу отдать на

задь; между тѣмъ принужденіе къ такому дѣйствию мы не называемъ наказаніемъ.

Говорятъ также, что попранное или подвергнутое отрицанію *право* должно быть возстановлено посредствомъ наказанія. Что же *это* однако значить? Что въ данномъ случаѣ разумѣютъ подъ словомъ *право*? Понятіе права? Или же совокупное понятіе *правовыхъ опредѣленій*, имѣющихъ гдѣ либо силу? Но ни понятіе права, ни подобнаго рода правовыя опредѣленія не подвергнуты отрицанію и не измѣнились вслѣдствіе даннаго преступленія, и потому не нуждаются въ возвращеніи путемъ наказанія къ тому, чѣмъ они были раньше. И понятіе права, и правовыя опредѣленія остаются въ той же силѣ, что и раньше. Да и какъ они могли бы быть вновь возстановлены наказаніемъ?

Въ дѣйствительности право существуетъ только въ сознаніи людей. „Право“ представляетъ собою или пустое слово, или человѣческое правосознаніе. А послѣднее, конечно, нарушается преступленіемъ. Преступникъ подвергаетъ его отрицанію въ самомъ себѣ посредствомъ своего злого хотѣнія. И именно подобное злое хотѣніе, поскольку оно намъ извѣстно, является въ насъ нарушеніемъ *нашего* правосознанія или оскорбленіемъ нашего правового чувства.

Если наказаніе должно возстановлять попранное право, если оно должно вообще какимъ нибудь образомъ служить къ устраненію происшедшаго отрицанія, то его цѣль можетъ состоять только въ томъ, чтобы уничтожить отрицаніе правосознанія въ преступникѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ уничтожить оскорбленіе, нанесенное правосознанію лицъ, знающихъ о преступленіи. На основаніи сказаннаго выше наказаніе можетъ достигнуть послѣдней цѣли, только осуществляя первую цѣль. Поэтому смыслъ наказанія состоитъ въ томъ, что дурное хотѣніе въ преступникѣ устраняется, посредствомъ причиненія зла онъ приводится ко вторичному отрицанію своего отрицанія того, что должно быть,—короче говоря, онъ приводится ко внутреннему осужденію своего дурного

хотѣнія. Такимъ образомъ устраняется въ то же время оскорбленіе нашего правосознанія. Вина искупляется, и у насъ является чувство „примиренія“. Искупленіе вины, поскольку это выраженіе не сводится къ пустымъ словамъ, должно имѣть указанный нами смыслъ. Другого же рода „возстановленіе“ или „отрицаніе отрицанія“ немислимо.

Если однако въ этомъ состоитъ смыслъ наказанія, то безъ этого момента оно теряетъ смыслъ; причиненіе зла можетъ быть оправдано изъ другихъ основаній, но оно не составляетъ *наказанія*, если цѣль такого нравственнаго дѣйствія на преступника не можетъ имѣть мѣста, если такая нравственная цѣль наказанія является исключенной.

Отсюда уже непосредственно вытекаетъ отношеніе между наказуемостью и отвѣтственностью. Однако мы должны еще разъ провести при этомъ вообще не обычное раздѣленіе этихъ двухъ понятій.

Наказуемость заключаетъ въ себѣ, какъ уже было сказано, два фактора. „Наказывать“ значитъ отрицать злое хотѣніе или дурной нравственный строй личности причиненіемъ зла. Поэтому наказаніе предполагаетъ, во первыхъ, злое хотѣніе. Наличие такого злого хотѣнія представляетъ собою основаніе *заслуженной наказуемости*.

Съ другой же стороны, посредствомъ причиненія зла, должно быть достигнуто исправленіе въ нравственномъ отношеніи. Послѣднее предполагаетъ, что причиненіе зла *можетъ* имѣть подобное дѣйствіе, что, слѣдовательно, исправленіе въ нравственномъ отношеніи является *возможнымъ* не только вообще, но и именно такимъ путемъ. Эта возможность есть *способность перенести наказаніе*.

Эти-то оба фактора, вмѣстѣ взятые, и составляютъ *наказуемость*. Она состоитъ въ единствѣ обоихъ факторовъ. Наказуемость не допустима тамъ, гдѣ отсутствуетъ одинъ изъ нихъ. Согласно этому предложенію: нѣкоторая личность

не „наказуема“, можетъ имѣть два, даже три значенія. Оно означаетъ, что данная личность не заслуживаетъ наказанія, или что эта личность неспособна переносить его, или, наконецъ, она и не заслуживаетъ, и неспособна переносить наказаніе. Понятно, эти возможности должны быть совершенно ясно отдѣляемы другъ отъ друга. Изъ несоблюденія этого требованія можетъ опять-таки произойти путаница.

Допустимъ, что въ нѣкоторомъ частномъ случаѣ отсутствуетъ способность къ воспріятію наказанія, т. е. мы знаемъ, что причиненіе зла не въ состояніи произвести нравственное дѣйствіе. Въ такомъ случаѣ все-таки можетъ существовать заслуженность наказанія. Это означаетъ слѣдующее: въ нѣкотораго рода дѣйствіи или поведеніи какой нибудь личности обнаруживается такой нравственный строй личности, который нуждается въ исправленіи и долженъ былъ бы быть исправленъ посредствомъ причиненія какого либо зла, *еслибы* только такое исправленіе являлось возможнымъ и могло быть осуществлено указаннымъ образомъ; только какъ разъ послѣднее условіе и отсутствуетъ: данная личность не наказуема; это выраженіе означаетъ не то, чтобы мы не имѣли права осудить ее съ нравственной точки зрѣнія, или чтобы мы должны были проявить въ отношеніи ея сентиментальное состраданіе; напротивъ, этимъ высказывается только тотъ фактъ, что данная карательная мѣра неприложима въ настоящемъ случаѣ. *Этотъ фактъ* мы можемъ въ такомъ случаѣ *оплакивать*.

Итакъ, мы возлагаемъ на человѣка *отвѣтственность* за злой поступокъ въ той мѣрѣ, въ какой мы можемъ на основаніи опыта ожидать отъ данной личности или отъ личностей такого рода нѣчто иное, а именно нѣчто лучшее. Мы можемъ однако ожидать лучшаго отъ данной личности постольку, поскольку въ ней существуютъ въ наличности соотвѣтствующія условія, т. е. поскольку въ ней существуютъ нравственные мотивы, которые дремали или слишкомъ слабо обнаруживались въ ней при такомъ плохомъ по-

ступкѣ, но которые *могутъ* пробудиться и приобрести сильное вліяніе.

Въ той мѣрѣ, въ какой это имѣетъ мѣсто, наказаніе находитъ себѣ опорный пунктъ. Нравственное дѣйствіе, которое оно должно производить, состоитъ именно въ томъ, что оно должно будить нравственные мотивы и приводить ихъ въ дѣйствіе. Преступникъ побуждается посредствомъ наказанія къ обдумыванію, къ сознанію своей неправоты; это совершается благодаря подобному пробужденію и оживленію нравственныхъ мотивовъ. Слѣдовательно, способность перенесенія наказанія существуетъ въ такой степени, въ какой существуетъ отвѣтственность, а именно отвѣтственность въ томъ смыслѣ, въ какомъ мы это слово принимали выше. Въмѣсто этого мы, очевидно, можемъ также сказать слѣдующее: мы довѣряемъ возможности нравственнаго дѣйствія наказанія, поскольку опытъ даетъ намъ право на подобное довѣріе.

Напротивъ того, способность перенесенія наказанія отсутствуетъ, а потому наказуемость тоже исчезаетъ, и наказаніе утрачиваетъ свой смыслъ или перестаетъ оставаться наказаніемъ въ той мѣрѣ, въ какой отсутствуетъ отвѣтственность, т. е. въ какой опытъ приводитъ насъ къ убѣжденію въ томъ, что условія нравственнаго дѣйствія наказанія не находятся на-лицо.

Съ другой стороны, нѣтъ нужды въ дальнѣйшемъ разъясненіи, что *вмѣняемость*, понимаемая опять-таки въ принятомъ нами смыслѣ, совпадаетъ съ *заслуженностью наказанія*.

Такимъ образомъ вмѣняемость и отвѣтственность представляютъ собою два условія наказанія, которыя слѣдуетъ ясно отличать другъ отъ друга.

Противъ подобнаго вывода намъ, пожалуй, возразятъ слѣдующимъ образомъ. Въ особенности тѣ, кто любитъ имѣть обращеніе съ понятіемъ „искупленія“ неправоты или

„выкупа“ за „вину“, скажутъ, что все это не удовлетворяетъ ихъ. Наказаніе, конечно, должно оказывать нравственное вліяніе на преступника. Въ томъ однако случаѣ, когда это не можетъ имѣть мѣста, остается всетаки въ силѣ требованіе „искупленія“. Неправота, *какъ таковая*, требуетъ будто бы наказанія, т. е. причиненія какого либо зла. Такіе защитники теоріи „искупленія“ говорятъ, пожалуй, о *святости* наказанія или карающаго правосудія, которая, по ихъ мнѣнію, существуетъ независимо отъ названной цѣли наказанія.

Подобныя объясненія не лишены основанія, но это все-таки ихъ не оправдываетъ; они основываются на одномъ общечеловѣческомъ чувствѣ, но обнаруживаютъ неправильное пониманіе этого чувства. Это чувство подобно тому, которое обнаруживается при зависти или злорадствѣ. Такое требованіе наказанія неправоты исключительно ради нея самой вызывается въ дѣйствительности не святостью права, а субъективнымъ удовлетвореніемъ. Мы, конечно, уже видѣли, что и въ другого рода случаяхъ люди съ высокопарностью величаютъ святымъ то, что, хотя и совершенно лишено объективнаго нравственнаго значенія, однако доставляетъ имъ нѣкоторое субъективное удовлетвореніе.

Наказаніе (я имѣю въ виду то, которое достигаетъ вышеуказанной нравственной цѣли и потому заслуживаетъ своего названія) примиряетъ насъ, какъ мы видѣли, съ преступникомъ. Оно дѣлаетъ это постольку, поскольку фактъ, оскорбляющій наше нравственное сознаніе, а именно возмущеніе противъ того, что должно быть, подвергается отрицанію со стороны самого преступника.

Наряду съ этимъ однако возможенъ еще иной родъ „примиренія“. Тотъ, кого постигаетъ какая нибудь бѣда или какое либо страданіе, становится предметомъ нашего состраданія. Последнее же не обусловливается необходимымъ образомъ нравственнымъ воздѣйствіемъ на личность того субъекта, которому причиняется страданіе. Мы проникаемся со-

страданіемъ даже къ звѣрямъ, подвергаемымъ дурному обращенію, хотя въ настоящемъ случаѣ мы не предполагаемъ существованія нравственнаго воздѣйствія.

Въ чемъ же заключается сущность подобнаго состраданія? Не исключительно лишь въ состраданіи. Мы уже видѣли раньше, что чужое страданіе, какъ и чужая радость являются предметомъ нашей собственной радости или собственного страданія, только при предположеніи, что мы можемъ симпатизировать личности, которая страдаетъ или радуется.

Такого рода положеніе вещей можетъ быть взято также въ обратномъ порядкѣ: страданіе другого будить и соотвѣтственно этому усиливаетъ нашу симпатію, насколько именно послѣдняя является вообще возможной согласно природѣ вещей или согласно свойствамъ личности. Въ концѣ же концовъ симпатія является возможной по отношенію ко всякому человѣку. Человѣкъ, страдающій на нашихъ глазахъ, кажется намъ человѣкомъ въ болѣе высокой степени, т. е. его человѣческое бытіе болѣе приближается къ намъ. Его человѣческая цѣнность становится для насъ болѣе явною и чувствительною. Нѣкоторая же человѣческая цѣнность существуетъ еще даже и въ величайшемъ преступникѣ.

Такимъ образомъ состраданіе заключается въ совмѣстномъ страданіи, а вмѣстѣ съ тѣмъ въ чувствованіи нѣкоторой цѣнности. Въ такого рода чувствованіи цѣнности состоитъ примиряющій элементъ состраданія. Каждое чувство цѣнности, какъ таковое, есть радостное чувство.

Подобный примиряющій моментъ существуетъ также въ томъ случаѣ, когда преступникъ подвергается наказанію. Онъ возникаетъ съ тѣмъ болѣею увѣренностью и силою, чѣмъ тяжелѣе наказаніе. Преступленіе производитъ въ насъ сильное внутреннее движеніе, возмущеніе, негодованіе. Сила такого чувства устраняется однако упомянутымъ примиряющимъ моментомъ. Возмущеніе является для насъ угнетающимъ, мучительнымъ. Мы освобождаемся отъ такого рода

мученія, приходимъ ко внутреннему покою благодаря состраданію,—слѣдовательно, благодаря причиненію зла, которое пробуждаетъ это состраданіе.

Такимъ путемъ мы приходимъ къ нѣкоторому пониманію слѣдующаго требованія: преступникъ, относительно котораго *нельзя* ожидать, чтобы наказаніе произвело на него нравственное дѣйствіе, всетаки долженъ быть наказанъ, т. е. ему должно быть причинено какое либо зло. Наказаніе безцѣльно въ отношеніи преступника, но оно производитъ на насъ благотѣльное вліяніе. Въ то же время намъ извѣстно теперь, что въ дѣйствительности означаетъ та „святость“ наказанія или карающаго правосудія, которая требуетъ, чтобы всякая несправедливость была искупаема причиненіемъ нѣкотораго зла: она состоитъ изъ такого рода благотѣльнаго дѣйствія въ насъ самихъ; она является мнимою святостью нашего желанія освободиться отъ тягостнаго чувства.

Однако подобное желаніе всюду, гдѣ причиненіе зла лишено нравственнаго дѣйствія на преступника, является *не* святымъ, а бессмысленнымъ. Поэтому упомянутая „святость“ требованія наказанія, которому должна подвергаться несправедливость ради нея самой, есть безумелица. Всякаго рода вопли о наказаніи и требованія кары, всякаго рода мнимое „чувство справедливости“, не основывающееся на требованіи нравственнаго воздѣйствія на преступника и не заключающееся въ такого рода требованіи, подлежатъ подобной же оцѣнкѣ, если только эти требованія не коренятся дѣйствительно въ заботѣ о нашемъ внѣшнемъ *благѣ*, въ опасеніи, что подобное преступленіе можетъ также направиться противъ насъ,—слѣдовательно, въ исканіи защиты, исканіи, о которомъ въ настоящемъ случаѣ мы не говоримъ.

Одно изъ двухъ только, повторяю, можетъ внутренне оскорблять и удручать насъ, когда совершено преступленіе: или зло, производимое несправедливостью, или злой нрав-

ственный строй личности, являющийся источником преступлений. Если это зло не устраняется наказаніемъ, и если мы въ то же время не принимаемъ въ расчетъ зла, которое, *можетъ быть*, преступникъ причинить своими *позднѣйшими* дурными дѣйствіями, то остается только наша внутренняя противоположность или противорѣчіе *нравственному строю личности*. Если же и этотъ *нравственный строй личности* не исчезаетъ, если, слѣдовательно, наказаніе не производитъ нравственнаго дѣйствія на преступника, то все основаніе для нашего мучительнаго чувства остается въ силѣ.

Конечно, это чувство *смягчается* причиненіемъ зла преступнику. Это однако ничуть не *измѣняетъ объективной сущности вещей*. А такъ какъ наше *нравственное сужденіе объективно*, т. е. опредѣляется объективными фактами, то это нисколько не *измѣняетъ* также подобнаго *нравственнаго сужденія*. Если, несмотря на это, мы оказываемся удовлетворенными, если мы всетаки приписываемъ нѣкоторое значеніе причиненію зла, то мы поступаемъ подобно чело-вѣку, который полагаетъ, зажмуривъ глаза, что опасности болѣе нѣтъ.

Я поясню это еще нѣсколько точнѣе. Я говорилъ уже, что требованіе, чтобы несправедливость была наказана ради нея самой, основывается на нѣкотораго рода чувствѣ, родственномъ злорадству. Въ самомъ дѣлѣ, удовлетвореніе по поводу наказанія, не производящаго на преступника никакого дѣйствія, является особаго *рода злорадствомъ*. Оно является чувствомъ *мести* (хотя бы даже и не имѣющей непосредственно личнаго характера), поскольку злорадство вызывается въ настоящемъ случаѣ тѣмъ, кто принесъ *вредъ обществу*.

При обыкновенномъ злорадствѣ мы *чувствуемъ* въ меньшей степени собственный недостатокъ, когда причиняется вредъ другому чело-вѣку, съ которымъ мы себя сравниваемъ; подобно этому и въ данномъ случаѣ мы въ меньшей степени *чувствуемъ* внутреннее противорѣчіе между нами самими и

преступникомъ, когда ему причиняють зло, и когда сообразно съ этимъ въ насъ шевелится чувство состраданія. Последнее набрасываетъ покрывало, скрывающее упомянутое противорѣчіе. Мы болѣе не *видимъ* этого противорѣчія, или видимъ его менѣе ясно. И подобно тому, какъ при обыкновенномъ злорадствѣ мы думаемъ, что причиненный намъ вредъ уменьшается съ объективной точки зрѣнія оттого, что мы слабѣе его чувствуемъ, такъ и въ настоящемъ случаѣ мы полагаемъ, что основаніе для внутренняго противорѣчія исчезло, такъ какъ чувство этого противорѣчія стало для насъ менѣе тягостнымъ.

Однако съ объективной точки зрѣнія все остается по-прежнему. Зло, созданное преступленіемъ, и недостатокъ, заключающійся въ личности преступника, не только продолжаетъ существовать, но мы можемъ также прибавить слѣдующее: причиненіе зла нисколько не измѣнило также и того факта, что преступникъ, несмотря на свое преступленіе, остается *человѣкомъ*, что преступленіе не отнимаетъ у него всякаго *человѣческаго достоинства*. Преступникъ въ настоящее время не является *человѣкомъ въ болѣе высокой степени*, чѣмъ раньше, если онъ не испыталъ нравственнаго воздѣйствія. Слѣдовательно, для чувства участія къ преступнику, для симпатіи, для *этого* примирительнаго чувства въ настоящее время нѣтъ большаго основанія, чѣмъ прежде. Такимъ образомъ для чувства примиренія вообще нѣтъ объективнаго основанія.

Если допустить, что мы представляемъ себѣ совершенно ясно все это объективное отношеніе вещей, то наше внутреннее отношеніе къ преступнику также совершенно не можетъ измѣниться вслѣдствіе причиненія ему зла; точно также въ моемъ внутреннемъ отношеніи къ собственному страданію ничто не можетъ измѣниться, когда я прихожу къ сознанію объективнаго содержанія фактовъ, т. е. когда я усматриваю, что чужой вредъ мнѣ ни въ чемъ не послужилъ на пользу и не сдѣлалъ меня ни богаче,

ни могущественнѣе, ни почтеннѣе и т. п. Стремленіе вредить другимъ, чтобы слабѣе чувствовать собственный недостатокъ, представляетъ собою заблужденіе въ нравственномъ отношеніи. Точно такимъ же заблужденіемъ съ нравственной точки зрѣнія является требованіе наказанія преступника безъ обращенія вниманія на возможность нравственнаго воздѣйствія на него, а слѣдовательно—и на способность его къ воспринятію наказанія.

Этотъ взглядъ на сущность наказанія ведетъ, конечно, къ практическимъ послѣдствіямъ рѣшительнаго характера. Упомяну сейчасъ же объ одномъ изъ нихъ, особенно бросающемся въ глаза: смертная казнь является недопустимой съ точки зрѣнія нравственности, такъ какъ она противорѣчитъ смыслу наказанія.

Можетъ быть, *угроза* смертной казни оказываетъ, въ самомъ дѣлѣ, свое нравственное вліяніе; но *исполненіе* ея не въ состояніи оказывать подобное вліяніе. А въ такомъ случаѣ, естественно, смертная казнь не должна быть и предметомъ угрозы. Между тѣмъ довольно часто смертная казнь не только бываетъ лишена вліянія въ нравственномъ отношеніи, но даже дѣлаетъ невозможнымъ подобнаго рода вліяніе. Преступникъ является, можетъ быть, исправимымъ, а вмѣсто того, чтобы испытать возможность такого исправленія, его убиваютъ. Разумѣется, такимъ путемъ въ немъ уничтожаютъ съ корнемъ и зло. Однако это не нравственный способъ уничтожать зло; строго говоря, зла вовсе нельзя уничтожать. Зло является само по себѣ чѣмъ-то отрицательнымъ: оно представляетъ собою отсутствіе добра. Все же положительное относится къ области добра. Даже самый плохой человѣкъ, слѣдовательно, представляется съ нравственной точки зрѣнія чѣмъ-то все еще большимъ, чѣмъ ничто, поставленное на его мѣсто смертною казнью.

Даже возможное исправленіе преступника *въ виду* смерт-

ной казни—вещь сомнительная. Такого рода исправленіе должно было бы обнаружиться *дѣйствительнымъ образомъ* въ послѣдующей жизни. Допустимъ однако, что исправленіе дѣйствительно; въ такомъ случаѣ исправившійся уже болѣе не *заслуживаетъ* наказанія; послѣднее является лишеннымъ смысла съ точки зрѣнія нравственности.

Собственно говоря, существуетъ только одинъ способъ, если не оправдывать, то мотивировать смертную казнь: онъ заключается въ ссылкѣ на упомянутое примиряющее чувство злорадства. Смерть является самымъ жестокимъ вмѣшательствомъ въ существованіе человѣка. Поэтому она наиболѣе приспособлена пробуждать симпатію къ тому человѣческому элементу, который еще остается даже въ преступникѣ. Смерть представляетъ собою величайшую примирительную силу. Она насъ вѣрнѣе всего освобождаетъ отъ внутренней противоположности по отношенію къ преступнику. Если мы говоримъ, что извѣстнаго рода преступленія могутъ быть искуплены только смертью, то это значить, что только смерть преступника въ состояніи привести въ насъ чувство такого рода противоположности къ покойному состоянію. Въ этомъ отношеніи мы не обманываемся; но мы заблуждаемся, думая, что такимъ образомъ исполняется нѣкоторое объективное требованіе нравственности или права.

Въ дѣйствительности существуетъ только еще *одна* возможность объяснять требованіе смертной казни. Преступникъ золь, т. е. *съ немъ* существуетъ *зло*. Послѣднее однако не должно существовать, подлежить, слѣдовательно, уничтоженію. Мы однако не отдѣляемъ зла въ человѣкѣ отъ самого человѣка. Такимъ образомъ наша ненависть по отношенію къ злу становится, путемъ нѣкоторой новой иллюзіи, ненавистью къ человѣку; поэтому наше желаніе, чтобы зло было уничтожено, превращается въ желаніе видѣть уничтоженнымъ самого человѣка. Это—слѣпота, которая можетъ дать намъ поводъ также къ уничтоженію цѣннаго предмета потому, что съ нимъ соединено нѣчто, уменьшающее

его цѣнность. Аналогія хромаетъ, поскольку человѣкъ, какъ бы ни былъ онъ золъ, оказывается не только цѣннымъ, но даже—частію абсолютно-цѣннаго.

Такимъ образомъ смертная казнь вообще не дозволительна съ нравственной точки зрѣнія, такъ какъ вмѣсто того, чтобы создавать нѣчто нравственно-цѣнное, она его скорѣе уничтожаетъ. Точно также и въ иныхъ случаяхъ каждый родъ наказанія находится въ зависимости отъ возможности творить посредствомъ него что либо нравственное. Болѣе сильныя карательныя мѣры требуются естественнымъ образомъ въ томъ случаѣ, когда нравственному воздѣйствію на преступника приходится преодолѣвать большія препятствія, т. е. когда преступникъ является болѣе тяжкимъ, не съ внѣшней стороны, а въ силу нравственного строя личности, лежащаго въ его основаніи.

Однако не только мѣра, но и характеръ наказанія долженъ всякій разъ находиться въ соотвѣтствіи съ подобнаго рода внутреннимъ основаніемъ дурного дѣйствія, т. е. наказаніе всегда должно носить такой характеръ, чтобы имѣть возможность оказывать вліяніе въ нравственномъ отношеніи на *тотъ* нравственный строй личности, который даетъ знать о себѣ въ дурномъ дѣйствіи опредѣленнаго рода. Такимъ образомъ по отношенію *къ одной личности* оказывается пригоднымъ одинъ родъ наказанія, а по отношенію къ другой—иной родъ наказанія. Слѣдовательно, наказаніе должно быть индивидуализировано.

Конечно, индивидуализація, подходящая ко всѣмъ, представляетъ собою недостижимый идеаль. Въ данномъ случаѣ практика указываетъ границы. Общественное уголовное судопроизводство неизбѣжнымъ образомъ нуждается въ общихъ нормахъ, которыя до извѣстной степени будутъ всегда шаблоны въ ихъ общности и не будутъ соотвѣтствовать всѣмъ различнымъ возможностямъ. Въ такомъ случаѣ, для законодателя является обязательнымъ заботиться по *возможности* о подобнаго рода соотвѣтствіи.

Общность карательныхъ нормъ находить существенную поправку въ свободѣ истолкованія ихъ, которая предоставлена тѣмъ, кто налагаетъ наказаніе. Если однако въ данномъ случаѣ должно господствовать правосудіе, то не только требуется, чтобы судья составлялъ сужденіе, независимое отъ своихъ индивидуальныхъ склонностей и расположеній, а также отъ требованій толпы и сильныхъ міра сего, чтобы, слѣдовательно, онъ составлялъ сужденіе этическое въ объективномъ смыслѣ этого слова, но для судьи нужны также: знаніе людей, психологическое пониманіе, способность вѣрнаго воспріятія сущности личностей, подлежащихъ наказанію.

Въ настоящемъ случаѣ мы должны, конечно, также признать слѣдующее; нельзя требовать въ практическомъ отношеніи, чтобы всѣ люди, призванные къ отправленію уголовного судопроизводства, обладали въ одинаково высокой степени такого рода проникновеніемъ и пониманіемъ. Тѣмъ не менѣе можно требовать, чтобы всѣмъ была предоставлена возможность, и чтобы на всѣхъ была возложена обязанность — приобрѣтать, насколько это окажется возможнымъ, перечисленныя условія ихъ отвѣтственнаго призванія. Нельзя переносить такого положенія вещей, при которомъ одинъ человѣкъ является вершителемъ человѣческой судьбы, не употребивъ всѣхъ своихъ усилій для возможнаго составленія себѣ представленія о томъ, что касается человѣка, что касается механизма и хода человѣческихъ представленій, мыслей, мотивовъ, вождельній, страстей.

Каждое наказаніе однако принимаетъ данный опредѣленный характеръ лишь посредствомъ формы осуществленія его. Въ особенности же *нравственное дѣйствіе* наказанія можетъ быть болѣе или менѣе совершеннымъ образомъ достигнуто или вовсе лишено силы, смотря по способу осуществленія наказанія. Нѣкоторыя формы приведенія наказанія въ исполненіе могутъ превратить нравственное дѣйствіе наказанія въ его полную противоположность.

Въ разбираемомъ случаѣ мы встрѣчаемъ суровыя сужденія относительно господствующихъ условій. Намъ заявляютъ изъ самыхъ освѣдомленныхъ и компетентныхъ источниковъ, что наши карательныя учрежденія являются отчасти и чѣмъ инымъ, какъ самыми изысканными разсадниками порока. Людей вталкиваютъ туда, можетъ быть, за ничтожный проступокъ; другими словами, ихъ толкаютъ на нравственную гибель, погружаютъ ихъ туда все глубже и глубже, чтобы затѣмъ все суровѣе и суровѣе наказывать.

Мы должны сказать въ данномъ случаѣ, что общество или государство, допускающее подобныя вещи, утрачиваетъ нравственное право наказанія. Въ этомъ случаѣ собственно преступникомъ является общество или государство, такъ какъ вреднѣе губить людей въ нравственномъ отношеніи, чѣмъ посягать на ихъ имущество, и даже на самую ихъ жизнь. Можетъ статься, укажутъ для извиненія общества или государства на милліоны, которые понадобились бы для проведенія въ жизнь реформы, соответствующей нравственной цѣли наказанія. Этихъ милліоновъ будто бы не имѣется. Если однако требуются милліоны для подобной цѣли, то они *должны* явиться. Ради чести народа ихъ надо найти, хотя бы для этого пришлось урѣзать все то, что создаетъ внѣшній блескъ народа.

Недостаточно однако, чтобы приведеніе наказанія въ исполненіе не губило въ нравственномъ отношеніи наказываемаго субъекта: оно должно его нравственно возвышать и спасать. Право наказанія заключаетъ въ себѣ также обязанность соединять съ наказаніемъ постоянное нравственное воздѣйствіе. Карательныя учрежденія не только не должны быть разсадниками порока, но, напротивъ, они должны стать учрежденіями для воспитанія нравственнаго сознанія и воли. Они должны пробуждать и укрѣплять силу и мужество нравственнаго хотѣнія, должны не душиить человѣческое чувство, а оживлять его. Строгость наказанія не должна быть дикою жестокостью, которая или рождаетъ подобнаго же рода же

токость, или разрушаетъ нравственную энергію жизни. Ответство нравственнаго человѣческаго достоинства должно отниматься у наказываемаго субъекта, а внушаться ему.

Если собственный смыслъ наказанія заключается въ нравственномъ дѣйствіи, то изъ его сущности слѣдуетъ также и то, что наказаніе, т. е. причиненіе нѣкотораго зла, должно отсутствовать, когда его цѣль въ нравственномъ отношеніи можетъ быть лучше достигнута другимъ путемъ, — напримѣръ, посредствомъ простаго предостереженія или отсыланіемъ преступника въ исправительное заведеніе. „Условное“ осужденіе, т. е. та форма послѣдняго, при которой наказаніе не приводится въ исполненіе, пока осужденный не окажется снова достойнымъ наказанія, было признано дѣйствительнымъ средствомъ для уменьшенія количества преступленій. Въ такомъ случаѣ слѣдуетъ примѣнять эти средства.

Ну, а что, если, наоборотъ, нравственная цѣль наказанія никоимъ образомъ не можетъ быть достигнута, если преступникъ является уже недоступнымъ ни для какого воздѣйствія, если онъ совершенно неисправимъ? Въ такомъ случаѣ и наказаніе тоже неумѣстно. Это не значитъ также, чтобы неисправимаго надо было предоставить самому себѣ; это не означаетъ, равнымъ образомъ, что ему не слѣдуетъ причинять никакого зла. Только въ этомъ случаѣ причиненіе зла является уже не наказаніемъ, а просто внѣшнею мѣрою цѣлесообразности, внушаемою интересами общества. Причиненіе зла служить средствомъ достиженія такой цѣли, если оказывается *годнымъ* для этого.

Сюда въ такомъ случаѣ относится также причиненіе зла съ цѣлью просто внѣшняго устрашенія, т. е. *такого* устрашенія, которое заставляеть преступника прекратить дурной образъ дѣйствій изъ опасенія возобновленія наказанія. Какъ говорилось выше, подобное устрашеніе не является наказаніемъ, несмотря на причиняемое преступнику зло. Оно мо-

жетъ быть только необходимою мѣрою въ томъ случаѣ, когда наказаніе является болѣе невозможнымъ.

Если же отсутствуетъ возможность подобнаго рода *устрашенія*, то должны явиться, вмѣсто него, иныя средства обезвреживанія преступной личности.

Выше рѣчь шла о способности къ воспріятію наказанія. *Заслуженность наказанія*, дающая право примѣнить наказаніе къ лицу, способному воспринять его, заключается въ зломъ нравственномъ строѣ личности. Наказаніе и должно касаться послѣдняго. Нерѣдко говорятъ, наказанію подвергается не нравственный строй личности, какъ таковой, а нравственный строй, перешедшій въ дѣйствіе. Но не слѣдуетъ смѣшивать дѣйствія съ успѣшностью его. А это дѣлается, когда, напримѣръ, оставляютъ безнаказанной „попытку совершить преступленіе при помощи негодныхъ средствъ“. Предположимъ, что одинъ человекъ даетъ другому, котораго онъ ненавидитъ, или который ему неудобенъ, съ обдуманномъ намѣреніемъ мнимо-смертельный ядъ, и не совершаетъ убійства исключительно лишь потому, что неумышленнымъ образомъ, напримѣръ, случайно, онъ схватилъ, вмѣсто яда, безвредный порошокъ. Въ такомъ случаѣ преступникъ „сдѣлалъ“ все, что только могъ сдѣлать для совершенія преступленія. *Его дѣло* сдѣлано. Случайно лишь произошло, что не послѣдовало убійства. Преступникъ же своимъ дѣйствіемъ совершенно обнаружилъ свой нравственный строй личности. Въ такомъ случаѣ можно благословлять случайность за отвращеніе зла. Заслуженность же наказанія со стороны преступника вълѣдствіе этого не уменьшается.

Если дурной нравственный строй личности составляетъ условіе наказанія, то цѣль послѣдняго выполнена, когда дурной нравственный строй личности измѣнился и обнаружилъ свою перемѣну. Поэтому, когда наступило подобнаго

рода измѣненіе нравственнаго строя личности, *продленіе* наказанія противорѣчитъ сущности послѣдняго. Позволительно требовать, чтобы дѣйствительно исправившійся преступникъ былъ освобождаемъ отъ дальнѣйшаго наказанія, и не изъ „милости“, а по праву. „Милость“ всегда требуется нравственностью, или же она является безнравственнымъ произволомъ; слѣдовательно, она въ дѣйствительности никогда не бываетъ милостью. Милости *нѣтъ* мѣста въ отношеніяхъ одного человѣка къ другому. „Милость“ можетъ быть только дополненіемъ законнаго кодекса или исправленіемъ юридической ошибки. Въ первомъ случаѣ въ кодексѣ существуетъ пробѣлъ, который слѣдуетъ заполнить; во второмъ—само право должно бы было исправить свою ошибку.

Между тѣмъ подобнаго рода освобожденіе отъ наказанія врядъ ли когда могло бы явиться внезапнымъ переходомъ отъ полнаго наказанія къ полнѣйшей свободѣ отъ него. Уже прежде чѣмъ послѣдняя могла бы наступить, слѣдовало бы попытаться облегчить участь наказаннаго и предоставить ему возможность сдѣлаться достойнымъ такой свободы отъ наказанія. Такимъ путемъ его слѣдовало бы *воспитать* для подобнаго рода свободы. Вѣдь необходимой конечной цѣлью наказанія является превращеніе преступника въ человѣка, не заслуживающаго наказанія.

Также и тотъ, кто искупилъ свое наказаніе, не долженъ быть просто предоставляемъ своей судьбѣ. Насколько вѣрно, что наказаніе преслѣдуетъ нравственную цѣль, настолько же вѣрно, что его слѣдствія не должны быть *губительны* для наказаннаго. Общество склонно смотрѣть на человѣка, подвергшагося наказанію, какъ на предметъ, заслуживающій презрѣнія, какъ на субъекта, разъ навсегда клеймленнаго, хотя бы наказаніе и произвело на него свое нравственное дѣйствіе. На государствѣ лежитъ задача защищать человѣка, перенесшаго наказаніе, отъ подобнаго взгляда на него со стороны общества. Государство не должно же въ остальныхъ отношеніяхъ давать погибнуть чело-

вѣку, исправившемуся въ нравственномъ отношеніи и желающему въ послѣдствіи жить честнымъ образомъ; напротивъ, оно должно ему протягивать руку помощи.

Но, въ концѣ концовъ, и это еще не опредѣляетъ самой важной задачи общества и государства, а въ то же время и отдѣльныхъ людей, въ отношеніи преступника. Какъ мы видѣли, самая форма судопроизводства можетъ дѣйствовать на преступника воспитательно. Но уже до этого государство или общество могутъ дѣйствовать подобнымъ образомъ. Если они и не воспитываютъ прямо преступниковъ, все же они допускаютъ до преступленія очень многихъ людей, которыхъ они могли бы спасти.

Вотъ на скамьѣ подсудимыхъ сидитъ преступникъ. Онъ одинъ только подвергается осужденію. Между тѣмъ за стѣнами суда, а также непосредственно впереди, позади и рядомъ съ осужденнымъ мы видимъ его сообщниковъ и, въ концѣ концовъ, пожалуй, даже въ большей степени виновныхъ, а именно—гражданское общество. Мы всегда должны помнить, являясь свидѣтелями осужденія какого нибудь преступника, что нѣтъ такого приговора, произносимаго надъ преступникомъ, который не былъ бы также приговоромъ надъ тѣмъ самымъ обществомъ, гдѣ жилъ обвиняемый, и гдѣ онъ сдѣлался преступникомъ.

Многіе гордятся правильно функционирующимъ уголовнымъ судопроизводствомъ. Мы должны однако стремиться не къ триумфамъ нашего уголовного судопроизводства, а къ тому, чтобы послѣднее не имѣло больше случая къ подобнымъ триумфамъ.

Эта задача однако составляетъ только часть истинной задачи общества и государства,—слѣдовательно, въ концѣ концовъ, каждой отдѣльной личности по мѣрѣ ея силъ. Повторяю еще разъ: настоящую задачу общества и государства, вмѣстѣ съ тѣмъ и каждой отдѣльной личности, составляетъ не усиленіе блеска и славы, богатства, могущества и внѣшняго почета отдѣльной личности, или цѣлой націи, а стр

мленіе къ возмoжнoму поднятію нравственнаго уровня членoвъ извѣстной націи и, въ концѣ концовъ, самаго чeлoвѣчeства,—стремленіе сдѣлать націю и, наконецъ, все чeлoвѣчeство—гуманнѣе, лучше, достoйнѣе,—защита и умноженіе всего, что въ нихъ оказывaется внyтpeннo великимъ, сильнѣмъ, свободнымъ. Задача, къ которой все стремится, въ концѣ концовъ, представляетъ собой нравственно-соціaльную задачу, задачу нравственной культуры. Все же остальное относится къ этой задачѣ, какъ средство къ цѣли.

Здѣсь я прихожу къ концу моего изложенія. Однако я не намѣренъ остановиться на послѣдней мысли. На свѣтѣ есть недостатки и зло, но также—и добро. Все чeлoвѣчeское въ положительномъ смыслѣ есть добро; оно является частью абсолютнаго добра, частью нравственной личности.

Абсолютное добро, а слѣдовательно, и нравственная личность, вмѣстѣ съ тѣмъ и царство такихъ личностей *должны быть* безусловны. Выставляя подобное требованіе, мы въ то же время должны требовать слѣдующаго: чтобы это абсолютное благо *могло существовать* или *могло* воцариться; чтобы *мировое теченіе вещей* стремилось къ осуществленію такого блага; чтобы въ послѣднемъ основаніи міромъ двигала нравственная конечная цѣль; чтобы, такимъ образомъ, *послѣднее основаніе мирового бытія* было *духовно-нравственнымъ*.

Такимъ образомъ нравственное сознаніе приводитъ насъ въ религіозной вѣрѣ. Нѣтъ болѣе прочной религіи, чѣмъ та, которая покоится на такого рода нравственномъ основаніи.

Три задачи ставитъ Кантъ философіи. Она должна дать отвѣтъ на слѣдующіе вопросы: что можемъ мы знать? что должны мы дѣлать? на что мы имѣемъ право надѣяться?

На первый вопросъ можетъ быть данъ съ *увѣренностью* *одинъ*, хотя и отрицательный отвѣтъ, что намъ отказано въ знаніи высочайшихъ и послѣднихъ вещей.

А что должны мы дѣлать? Добро. Относительно значенія этого слова я попытался въ настоящихъ лекціяхъ высказать кое-что.

На что же мы въ правѣ надѣяться? На то, что добро, которое мы должны стараться съ нашей стороны осуществлять, достигнетъ во всемъ мірѣ полнаго осуществленія, хотя и путемъ безконечно-долгаго прогресса.

Изданія О. Н. Поповой.

СОДЕРЖАНІЕ ШЕСТОЙ СЕРІИ

Образовательной Библіотеки:

1 и 2. **О. Даммеръ** *Доступные опыты по химіи*. Пер. съ нѣм. одъ ред. и съ дополненіями А. П. Нечаева. Съ 122 рис. 1 р.

Допущена въ ученическія бібліотеки среднихъ учебныхъ заведеній и въ бесплатныя народныя читальни.

№ 3. **Складовская-Кюри**. *Радій и радиоактивныя вещества*. Пер. въ франц. В. М. Филиппова. Съ 14 рис. 40 к.

Допущена въ ученическія, старш. возраста, бібліотеки среднихъ учебныхъ заведеній и въ бесплатныя народныя бібліотеки.

№ 4. **П. Лафаргъ**. *Американскіе трѣсти*. Ихъ экономическая, оціалная и политическая роль. Переводъ И. М. Биллика, подъ редакціей проф. В. Я. Желѣзнова.—40 к.

№ 5. **Гаральдъ Геффдингъ**. *Философскія проблемы*. Переводъ въ нѣмецкаго Θ . Капелюша.—40 к.

№ 6. **Лалуа**. *Эволюція жизни*. Перев. съ франц. М. Фактороча. (печатается).

Лица, выписывающія книжки „Образовательной Библіотеки“ въ издательства полными серіями, пользуются скидкой въ раз-
ѣръ 10%

Бердяевъ Н. *Субъективизмъ и индивидуализмъ въ общественной философіи*. Критическій этюдъ о Н. К. Михайловскомъ. Съ предисловіемъ П. Струве.—2 р 25 к.

Гейгеръ, Людвигъ. *Нѣмецкій гуманизмъ*. Пер. съ нѣм. Е. Н. Илларовской, подъ ред. и съ предисл. проф. Г. В. Форстена (р. 50 к.

Гюйо. *Исторія и критика современныхъ англійскихъ ученій о ответственности*. Пер. Н. Южина. Редакція Г. Фальборка и В. арнолдусаго.—2 р.

Киддъ, Бенжамень. *Соціальная эволюція*. Съ предисловіями К. Михайловскаго и профессора Вейсмана. Перев. съ англ.—р. 25 к.

Спенсеръ, Гербертъ. *Происхожденіе науки*. (The genesis of science изъ Essays, Vol. 2) Пер. съ англ.—30 к.

Изданія О. Н. Поповой.

Вѣтринскій, Ч. (В. Е. Чешихинъ) *Грановскій и его время.* Историческій очеркъ. Изданіе 2-е.—1 р. 60 к.

Попова О. Н. *Годъ на материкъ южнаго полюса*—30к.

Гюго, Викторъ. *Несчастные.* Пер. съ фр. О. Н. Поповой и А. Н. Энгельгардтъ.—3 руб.

Новое изданіе этой замѣчательной книги въ хорошемъ русскомъ переводѣ является безспорно желательнымъ.

„Русск. Мысль“ 1902, № 8.

Джіованіоли. Спартакъ. Перев. съ итал. А. Каррикъ и С. А. Гулишамбаровою.—1 р.

Французъ, К. Э. *Борьба за право.* Романъ. Пер. съ нѣм. О. Н. Поповой.—2 р.

Разсказы о родной странѣ и ея обитателяхъ. Этн. очерки Е. Э. Сно:

53. *На русскомъ привольѣ.*—Великороссы. Съ рис.—13 к.

54. *Въ степяхъ и садахъ Украйны.*—Малороссы. Съ 1 рис.—6 к.

55. *Въ болотахъ Польска.*—Бѣлоруссы съ 1 рис.—5 к.

56. *На западной окраинѣ.*—Поляки и литовцы. Съ 2 рис.—6 к.

57. *Въ странѣ скалъ и озеръ.*—Финны. Съ 2 рис.—10 к.

58. *Потомки Золотой Орды.*—Татары. Съ рис.—5 к.

59. *Чудный край и его жители.*—Кавказъ. Съ 2 рис.—13 к.

60. *У Ледовитаго океана.*—Самоѣды. Съ 1 рис.—5 к.

61. *За Уральскимъ хребтомъ.*—Иностранцы Сибири. Съ рис.—10 к.

62. *Среди знойныхъ пустынь и широкихъ степей.*—Народы Туркестана. Съ 2 рис.—10 к.

Книжный магазинъ О. Н. Поповой

Спб., Невскій пр., 54.

Каталогъ изданій и книжнаго магазина высылается по требованію бесплатно.

Пересылка изданій О. Н. Поповой за счетъ магазина.

Земскимъ книжнымъ складамъ, школамъ и библіотекамъ обычная уступка.





2007334086